

ПОВСЕДНЕВНАЯ

Татьяна Бобровникова



МОСКВА

ЖИЗНЬ

РИМСКОГО ПАТРИЦИЯ
В ЭПОХУ РАЗРУШЕНИЯ
КАРФАГЕНА



УДК 937.04
ББК 63.3(0)3
Б 72

Художественное оформление серии
С. ЛЮБАЕВА

ISBN 5-235-02399-4

© Бобровникова Т. А., 2001
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2001



*Посвящается
Владимиру и Белле
Бобровниковым*

Моя первая книга посвящена была Сципиону Старшему, вторая — Младшему. Имена обоих Сципионов неразрывно связаны на страницах истории. Редко встретишь такое удивительное, почти чудесное сходство. И тот и другой звался Публий Корнелий, и тот и другой начал свою карьеру в Испании, и тот и другой победил Карфаген и получил имя «Африканский». Оба были лучшими полководцами своего времени, оба прославились своим милосердием, благородством и честью, оба были горячими поклонниками эллинской культуры и покровителями поэтов, оба были горды и независимы, оба — главные герои истории Полибия. Все это удивительно. Но, если теперь мы припомним некоторые поразительные совпадения — например, и того и другого всюду сопровождал лучший друг и у обоих он звался Гай Лелий! — нам станет понятно, что современники видели в этом Промысел Божий. Более того, такой ученый человек, как Данте, даже не подозревал, что Сципионов было двое, и был уверен, что существовал только один «благословенный» Сципион, победивший Ганнибала и разрушивший Карфаген. А так как Младший родился чуть ли не в тот год, когда умер Старший, то люди, мистически настроенные, всерьез могли бы поверить, что дух великого героя вселился в его внука, чтобы вновь в годину бедствий спасти Рим.

На самом деле сходство это поверхностное. Трудно представить себе более разных людей. Подобно тому как само имя Сципиона Младшего обманчиво, ибо по рождению он был Эмилий Павел и лишь позднее через усыновление вошел в дом Сципионов и не имел в себе ни единой капли крови знаменитого победителя Ганнибала, так обманчиво и все его видимое сходство с этим героем. Сципион Старший был человеком настолько удивительным и странным, что подчас казался современникам существом из другого мира, только что упавшим на землю со звездного неба. Он не подчинялся ни установлениям, ни условностям, царившим в Республике. В размеренном и правильном римском обществе он был, «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Поэтому, хотя им и восхищались, его не понимали и менее всего почитали образцом для подражания.

Не то Сципион Младший — он был настоящий римлянин до мозга костей. Скажу более. Каждая эпоха создает свой идеал: рыцарь-крестоносец и монах-аскет в Средние века, благочестивый и расчетливый пуританин в Новое время, богатый и ловкий бизнесмен в наши дни. Но идеал этот бесплотен и туманен, красив, но безжизнен, как всякий идеал. А вот Сципион Младший — это словно оживший идеал римлянина, но идеал из плоти и крови, полный жизни, страстей и даже недостатков. Все современники признавали это. Полибий, отнюдь не склонный к восторженности, писал, что он подобен совершенной статуе, произведению великого мастера, где важна и продумана каждая деталь (*fr. 162*). Это человек «великий и совершенный» (*Polyb., XXXIX, 5*). «В жизни он ничего не подумал, ничего не сделал и ничего не сказал, что не было бы достойно восхищения», — писал римский историк Веллей Патеркул (*Vell. I, 12*). Для Цицерона он был воплощением *humanitas*, то есть квинт-эссенции лучших человеческих качеств.

Вот почему, по моему глубокому убеждению, целые тома, повествующие о быте и нравах римлян, не могут дать нам для понимания этого народа столько, сколько знакомство с этим одним человеком. И, ког-

да я думаю о нем, мне кажется, что я гляжу в глаза самому Риму.

Авторы, представляющие нам повседневную жизнь древних цивилизаций, обычно придумывают фиктивного героя. Они заставляют его заглядывать в лачуги бедняков и во дворцы богачей, любоваться пышными празднествами и плакать на печальных похоронах, путешествовать по опасным дорогам и участвовать в грозных битвах. Его жизнь является той нитью, на которую автор, словно блестящие бусины, нанизывает пестрые и яркие события описываемого им времени. Такими героями были для Масперо египетский вельможа Псару и ассирийский купец Иддина.

Но никакой писатель, даже обладай он гением Льва Толстого, не смог бы изобрести героя более подходящего для этой цели, чем Сципион Эмилиан, реальный гражданин Рима. Волею судеб он оказался в самом центре волнующих и бурных событий той эпохи. Он брал Карфаген и жил во дворце Македонских царей, он объехал Италию и гостил у Птолемея. Он был воспитанником историка Полибия и другом комедиографа Теренция. И, следуя за ним по всем путям и дорогам, мы попадаем то на Форум, то в военный лагерь, то в кабинет ученого, то в театр.

И еще одна черта, делающая рассказ о нем особенно живым. О нашем герое, как нарочно, писали его близкие знакомые: Полибий — его названный отец, Рутилий — близкий приятель, Люцилий — друг, Семпроний Азеллион — офицер. Более того. Цицерон воспитывался среди его ближайших друзей. В их кругу о Сципионе вспоминали так, как мы вспоминаем родителей, дедушек и бабушек. Цицерон знал его привычки, его острые слова, его манеры. Он видел его перед собой как живого. «Сципиона Младшего... мы знаем... по свежим следам», — пишет он (*Cic. Tusc., IV, 48*). Вот почему рассказы о Сципионе кажутся иногда не историей, а настоящими мемуарами. Мы порой смотрим на него не как на политического деятеля, но как на близкого друга. Мы видим его застенчивым мальчиком, потом юношей и, когда он стано-

вится великим полководцем, воспринимаем это с изумлением, словно слыша о подвигах с детства знакомого нам человека.

Цель моей книги — оживить людей той далекой эпохи, чтобы вновь зазвучали их голоса. Я пишу не политическую, не экономическую, не социальную историю — я хочу рассказать, как *жили* римляне: какая у них была семья и как они воспитывались, как они воевали и как справляли триумф, как добивались они благосклонности народа и как хоронили своих мертвых, как они говорили друг с другом и как держали себя, наконец, чем увлекались и о чем горячо спорили в своих тенистых садах. Мою мечту могут выразить слова Блока:

Так явственно из глубины веков
Пытливый дух готовит к возрожденью
Забывтый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.

И последнее. Я постоянно сталкивалась с одной трудностью. Я задумывала эту книгу до некоторой степени как продолжение первой. Ведь это повесть о событиях, случившихся через 50 лет после описанных в моей первой книге. Те, кого я оставила мальчиками, стали зрелыми людьми, дети моих прежних героев выросли и совершают великие дела. Как же быть? Повторять целые пассажи из той книги казалось мне неуместным, с другой стороны, каждый раз отсылать к ней читателя значило бы убить самостоятельную ценность второй. Я пошла по среднему пути, наверно, не всегда самому удачному. Некоторые события, без которых понимание моего рассказа невозможно, я позволила себе описать заново. Но я не стала объяснять, кто такие Катон или Масинисса.

В заключение я хочу выразить самую глубокую благодарность всем тем, кто помогал мне, советом или дружеским участием при написании этой кни-

ги — в первую очередь И. Г. Башмаковой, В. О. Бобровникову и И. Бобровниковой — моим первым читателям, таким внимательным и придиричивым и вместе с тем таким снисходительным и кротким, которые столько раз пускались со мной в увлекательные путешествия по Древнему Риму*.

* Быть может, некоторых читателей смутит название этой книги. Она — дань русской традиции.

Дело в том, что некогда римское общество действительно состояло из двух сословий — патрициев, имевших все права, и плебеев, почти целиком их лишенных. Но в ходе долгой и упорной борьбы плебеи добились политического равноправия. Отныне они ничем не уступали патрициям и к III веку до н. э. оба сословия окончательно слились в один народ.

Однако римское общество оставалось аристократическим. Знатные люди, хотя и уравненные с народом политически, в жизни никогда с ним не смешивались. Они назывались теперь *pobiles* (нобилы). То были потомки тех, чьи отцы и деды добились высших магистратур. Среди них были и представители старинных патрицианских фамилий, и возвысившиеся плебеи. По манерам и образу жизни они напоминали скорее русских дворян, чем тех простых торговцев и ремесленников, из которых, как мы узнаем из Аристофана, состояло общество демократических Афин. Из этих-то нобилей и происходил мой герой.

Однако слово «нобиль» так и не прижилось в русском языке. «Аристократ» — термин греческий, и сами римляне его никогда не употребляли. Вот почему я позволила себе вернуться к слову патриций. Тем более что мой герой был действительно *патриций*. А, как мы знаем из Цицерона, даже в его время патриции не утратили своей сословной гордости, и самые захудалые роды продолжали считать плебеев выскочками (*Mur.*, 15 — 16). Это превосходство еще подчеркивалось в глазах многих римлян тем, что только патриции допускались к некоторым почетным жреческим коллегиям, например коллегии салиев. Правда, реальной власти это не давало, но выделяло их из массы.

ЗНАТНЫЙ РИМСКИЙ ЮНОША

Римский патриций старых нравов. Воспитание старое и новое. Римский турист в Греции. Триумф. Рим глазами образованного грека. Римская молодежь знатного происхождения. Обычный способ добиваться популярности. Выезды римских дам, их наряды и колесницы. Имущественные вопросы.

В доме знатного римлянина. Обеды и развлечения. Римский театр. Комедия. Детективная история одного знаменитого поэта. Похороны знатного человека — обряд, поминки. Римский астроном. Путешествие по Италии: харчевни, цены. Война и набор войска.

В туманах, под сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.

А Блок

I

В то время как отшумели грозы великой Ганнибаловой войны и римляне во-круг себя и впереди видели, казалось, одно радостное, ничем не омраченное счастье, жил в Риме один знатный патриций Люций Эмилий Павел (род. ок. 230 г. до н. э.). Эмилии — очень старинный род, такой старинный, что корни его уходят вглубь веков, еще до основания Рима, чуть ли не к самому Энею. Сам Люций был сыном того самого Эмилия Павла, который командовал римским войском во время злополучной битвы при Каннах. Судьба этого полководца величественна и печальна. В то время народ выбрал консулом Варрона, дерзкого выскочку-плебея. Сенат боялся, что Варрон погубит армию, и, чтобы спасти положение, решил выдвинуть в консулы Павла. То был опытный полководец, благородный и честный чело-

век, однако с ним случилось тяжкое несчастье. За несколько лет до того он одержал блистательную победу, отпраздновал триумф, однако вскоре его обвинили перед судом в утайке части военной добычи. Обвинение это было ложным, но он был признан виновным, считал себя навеки опозоренным человеком, удалился от дел и впал в глубокое уныние. Когда сенаторы предложили ему стать консулом, он сперва отказывался, предчувствуя, что это принесет ему великое горе. Только чувство долга перед родиной заставило его принять на себя это тяжкое назначение. Но он не смог спасти римскую армию. Варрон вопреки здравому смыслу, вопреки совету коллеги дал битву Ганнибалу. Римляне были разбиты. Среди моря крови и смерти один молодой патриций, скакавший на коне, увидел окровавленного человека, который неподвижно сидел на камне. Вглядевшись, он узнал консула Эмилия Павла. С внезапным порывом юноша воскликнул:

— Ты менее всех виноват в сегодняшнем несчастье! Возьми моего коня и беги!

Но консул отвечал, что ни живым, ни мертвым не покинет своих воинов. А Варрон бежал с поля боя.

У этого-то злосчастливого и благородного полководца остались дочь и сын*. Дочь вышла впоследствии за великого победителя Ганнибала, Сципиона Африканского Старшего, и славилась как женщина верная, нежная и благородная. Вообще, говорят, у Эмилиев из рода в род передавались высокие нравственные качества (*Plut. Paul., 2*). Наш рассказ пойдет о сыне. Он был человеком кристальной честности, ясного ума и удивительного благородства. Был у него, однако, один недостаток, который в глазах соотечественников умалял его высокие достоинства: Эмилий был слишком горд и презирал чернь. Вот почему, хотя Павел и обладал исключительными способностями, блестяще воевал в Испании и происходил из

* Я имею в виду прославившихся детей. Само имя его дочери, жены Сципиона, Эмилии Терции указывает на то, что она была третьей дочерью в семье.

знатнейшего рода, римляне стали обходить его почестями. Гордый патриций не стал заискивать перед квиритами. Он отказался от государственных дел, как некогда его отец, и посвятил всего себя заботам о семье. Жил он скромно, презирал богатство и, хотя вывез из Иберии горы золота, не оставил себе ни асса, с полным равнодушием отдав все в казну (*Polyb.*, XVIII, 35, 3—9; XXXII, 8, 1—4). «Он вообще не любил и не умел наживать деньги» (*Plut. Paul.*, 4).

Но судьба готовила еще Эмилию испытания и славу. Персей, сын и наследник Филиппа Македонского, объявил Риму войну (171 г. до н. э.). Она была так хорошо подготовлена, Македония еще так грозна и сильна, и началось все так неожиданно, что два первых года римляне терпели поражение за поражением. Между тем они забыли само слово «поражение», и гордость их страдала невыносимо. Вот тут-то народ и вспомнил об Эмилиии Павле, его мужестве, таланте и опыте. Римляне просили его снова быть у них консулом, но гордый полководец наотрез отказался. Тогда они стали ходить к нему под окна, толпились у его дверей, громко кричали и молили явиться на Форум. Наконец он согласился. Под клики восхищения он вышел в ослепительно белой тоге соискателя, и тут же был выбран консулом. После этого он обратился к квиритам с короткой и суровой речью. Он сказал, что все консулы почитают свое избрание за великую милость, оказанную им римским народом, а потому начинают свою речь к народу с того, что благодарят его. Но он, Эмилий Павел, вовсе не просил об этой чести, напротив, это его слезно просил о том весь римский народ. Поэтому он ничем не обязан народу, наоборот, это народ ему кругом обязан. И в благодарность за свою милость он просит лишь одного — беспрекословно его слушаться, не обсуждать его действий, не давать ему советов и вообще не пытаться им командовать (*Plut. Paul.*, 10—11). После того он, окруженный зятями и сыновьями, отбыл в Македонию.

Здесь он повел действия так быстро и энергично, что вскоре вся война должна была решиться одной битвой. Сражение происходило в горах возле Пидны

(168 г. до н. э.). Здесь впервые римский военачальник увидел македонскую фалангу, которая полтора века тому назад принесла власть над миром Александру. Он признавался впоследствии, что не видел ничего страшнее фаланги: оцетинясь копьями, она летела прямо на него, раскидывая во все стороны римских воинов. Эмилий Павел стоял неподвижно, глядя на несущуюся на него смерть. Ни один мускул на его лице не дрогнул, мысль и внимание не слабели ни на минуту. Он понял, где слабое место врага, и ударил во фланг македонцев. В эту роковую минуту царь Персей не проявил твердости римлянина: он позорно бежал с поля боя. Правда, впоследствии он уверял, что отлучился, чтобы помолиться Гераклу. Но, как ядовито замечает Плутарх, «этот бог не принимает жалких жертв от жалких трусов» (*ibid.*, 19). Македонцы были наголову разбиты.

Вскоре сам царь сдался на милость победителей и как пленник должен был явиться в лагерь римлян. Перед его приходом Эмилий Павел объяснил сыновьям и друзьям, что нет ничего подлее, чем издеваться над поверженным врагом, и внушал, чтобы они оказали развенчанному монарху как можно более почтения. И вот, когда несчастный Персей приблизился, Эмилий поднялся со своего места, пошел ему навстречу — любезность, которую он ни за что не оказал бы царствующему царю, — и приветливо протянул пленнику руку... но тут Персей с жалобным воплем упал к ногам победителя. Эмилий с омерзением отвернулся от него и в сердцах воскликнул:

— Зачем ты делаешь это, несчастный! Зачем ты унижаешь мою победу и чернишь успех, открывая низкую душу недостойного римлян противника?! Доблесть потерпевшего неудачу доставляет ему истинное уважение даже у неприятеля, но нет ничего в глазах римлянина презреннее трусости, даже если ей сопутствует удача (*Plut. Paul.*, 26).

Впрочем, хотя и потеряв к нему уважение, победитель все же старался окружать побежденного всевозможными знаками уважения. При этом Персей вторично уронил себя в глазах своего гордого врага. Он

попросил римлянина избавить его от унижения триумфа. Эмилий отвечал, что это целиком во власти царя, и недвусмысленно намекнул, что даст возможность Персею покончить с собой. Он воображал, что оказывает бывшему царю великую милость, но у Персея не хватило духу принять столь любезное предложение. После этого Павел стал считать его самым жалким существом на свете.

Когда побежденный царь удалился, окружающие не могли скрыть ликования, но сам полководец сидел в глубокой задумчивости. Все смотрели на него с изумлением. Наконец он заговорил:

— Должно ли такому существу, как человек, в пору, когда ему улыбается счастье, гордиться и чваниться, покоривши народ или город, или царство, или же, напротив, поразмыслить над этой превратностью судьбы, которая, являя воителю пример всеобщего нашего бессилия, учит ничто не считать постоянным и надежным? Есть ли такой час, когда человек может чувствовать себя спокойно и уверенно, раз именно победа заставляет более всего страшиться за свою участь и одно воспоминание о судьбе, вечно куда-то спешащей и лишь на миг склоняющейся то к одному, то к другому, способно отравить всякую радость? Неужели, за какой-то миг бросив к своим ногам наследие Александра, который достиг высочайшей вершины могущества и обладал безмерной властью, неужели, видя, как цари, еще совсем недавно окруженные многочисленной пехотой и конницей, получают ежедневное пропитание из рук своих врагов, — неужели после всего этого вы станете утверждать, что наши удачи нерушимы перед лицом времени? Нет, молодые люди, оставьте это пустое тщеславие и похвальбу победой, но с неизменным смирением и робостью вглядывайтесь в будущее, ожидая беды, которою воздаст каждому из вас божество за нынешнее благополучие (*ibid.*, 27).

Победа Эмилия поразила воображение римлян. Это событие окружено ореолом легенд. Говорят, что весь народ сидел в Цирке и вдруг по всем рядам, словно гул, прокатилось: царь Персей разбит. Все ра-

зом заговорили, закричали, захлопали в ладоши. Только через несколько часов римляне сообразили, что нет ни письма, ни гонца, словом, ни малейшего известия, позволявшего ликовать. Народ смутился и замолчал. Прошло несколько дней. Римляне опять сидели в Цирке и с напряженным вниманием следили за консулом, который должен был дать знак к началу состязания колесниц. Вдруг произошла какая-то заминка. Консулу что-то передали. Неожиданно он сам поднялся на квадригу и медленно поехал по Цирку, высоко держа над головой послание Павла, увитое лавром. Народ совершенно забыл об играх. Все повскакали с мест и бросились на арену (*Plut. Paul., 24; Liv., XLV, 1*). Другие рассказывают, что некий римлянин возвращался ночью из деревни и увидел двух божественных юношей на белых конях. Они возвестили, что римляне победили и сам царь захвачен в плен. Сначала сенат вовсе этому не поверил, но вскоре получены были письма от Павла и выяснилось, что великая победа была одержана в тот самый день, когда явились Диоскуры (они-то и были, конечно, теми чудесными юношами) (*Cic. De nat. deor., II, 6*).

И вот после такого ликования и таких чудес случилось нечто невероятное: народ отказал победителю в трнумфе! Причиной этой страшной несправедливости были солдаты Эмилия. Повторилась все та же история — воины не любили своего вождя за его гордый, замкнутый нрав и суровость. Сенаторы вышли к народу и в резких выражениях напомнили квиристам о заслугах Павла. И тогда, наконец, триумф был разрешен.

«И вот как он был отпразднован. Народ в красивых белых одеждах заполнил помосты, сколоченные в театрах для конных ристаний (римляне зовут их цирками) и вокруг Форума, и занял все улицы и кварталы, откуда можно было увидеть шествие. Двери всех храмов распахнулись настежь, святилища наполнились венками и благовонными курениями; многочисленные ликторы и служители расчищали путь... Шествие было разделено на три дня, и первый из них едва вместил назначенное зрелище: с утра до-

темна в двухстах пятидесяти колесницах везли захваченные у врага статуи, картины и гигантские изваяния. На следующий день по городу проехало множество повозок с самым красивым и дорогим македонским оружием; оно сверкало только что начищенной медью и железом и, хотя было уложено искусно и весьма разумно, казалось нагроможденным без всякого порядка: шлемы брошены поверх щитов, панцири — поверх поножей... и груды эти оцетинились обнаженными мечами и насквозь проткнуты сариссами. Отдельные предметы... сталкиваясь в движении, издавали такой резкий и грозный лязг, что даже на поверженные доспехи нельзя было смотреть без страха. За повозками с оружием шли три тысячи человек и несли серебряную монету в семистах пятидесяти сосудах; каждый сосуд вмещал три таланта и требовал трех носильщиков. За ними шли люди, искусно выставляя напоказ серебряные чаши, кубки, рога и ковши... На третий день, едва рассвело, по улицам двинулись трубачи, играя не священный и не торжественный напев, а боевой, которым римляне подбадривают себя на поле битвы. За ними вели сто двадцать откормленных быков с вызолоченными рогами, ленты и венки украшали головы животных... Затем шли люди, высоко над головой поднимавшие священный ковш, отлитый по приказу Эмилия из чистого золота, весивший десять талантов и украшенный драгоценными камнями... и золотую утварь со стола Персея. Далее следовала колесница Персея с его оружием; поверх оружия лежала диадема. А там, чуть позади колесницы, вели уже и царских детей в окружении целой толпы воспитателей, учителей и наставников, которые плакали, простирая к зрителям руки, и учили детей тоже молить о сострадании. Но дети — двое мальчиков и девочка* — по нежному своему возрасту не могли еще постигнуть всей тяжести и глубины своих бедствий. Тем боль-

* Из троих детей Персея зрелости достиг один лишь сын. Он жил в Риме и прославился как искусный резчик по дереву и писец (*Plut. Paul., 37*).

шую жалость они вызывали простодушным неведением свершившихся перемен, так что на самого Персея почти никто уже и не смотрел — столь велико было сочувствие, приковавшее взоры римлян к малюткам. Многие не в силах были сдержать слезы, и у всех это зрелище вызывало смешанное чувство радости и скорби» (*Plut. Paul.*, 32—33). Затем шел и сам царь в темных одеждах. За ним несли 400 золотых венков, полученных Эмилием с поздравлениями от разных городов. «Шествие замыкал сам Павел на колеснице, величественный осанкой своей и сединами» (*Liv.*, XI, 40). Этот «муж... и без всяких знаков власти был достоин всеобщего внимания; он одет был в пурпурную, затканную золотом тогу, и держал в руке ветку лавра. Все войско, тоже с лавровыми ветвями в руках, по центуриям и манипулам, следовало за колесницей, распевая по старинному обычаю насмешливые песни, а также гимны в честь победы и подвигов Эмилия» (*Plut. Paul.*, 34).

Но мало радости доставил этот праздник Эмилию. В эти светлые дни у него один за другим умерли два сына, двенадцати и пятнадцати лет. Вскоре после триумфа Павел созвал римский народ. «Он сказал, что никогда не боялся ничего, зависящего от рук и помыслов человеческих, но из божеских даров неизменный страх вызывала у него удача... особенно во время последней войны, когда удача, словно свежий попутный ветер, способствовала всем его начинаниям... Отплыв из Брундизия, — продолжал он, — я за один день пересек Ионийское море и высадился в Керкире. На пятый день после этого я принес жертву богу в Дельфах, а еще через пять дней принял под свою команду войско в Македонии... Благополучное течение событий усугубило мое недоверие к судьбе, и, так как неприятель был совершенно обезврежен и не грозил уже никакими опасностями, более всего я боялся, как бы счастье не изменило мне в море... Но этого не случилось: я прибыл к вам целым и невредимым, весь город радовался, ликовал и приносил богам благодарственные жертвы, а я по-прежнему подозревал судьбу в коварных умыслах, зная, что

никогда не раздает она людям свои великие дары безвозмездно. Мучась в душе, стараясь предугадать будущее нашего государства, я избавился от этого страха не прежде, чем лютое горе постигло меня в моем собственном доме, и в эти великие дни я предал погребению моих замечательных сыновей и единственных наследников, обоих, одного за другим... Теперь главная опасность миновала, я спокоен и твердо надеюсь, что судьба пребудет неизменно к вам благосклонной: бедствиями моими и моих близких она досыта утолила зависть к нашим успехам в Македонии и явила в триумфаторе не менее убедительный пример человеческого бессилия, нежели в жертве трнумфа, — с той лишь разницей, что Персей, хотя и побежденный, остался отцом, а Эмилий, его победитель, осиротел» (*Plut., ibid., 36*).

Таков был Эмилий Павел. Через несколько лет после победы над Персеем с ним познакомился величайший греческий историк Полибий. Он признается, что для него разом померкли кумиры его юности, легендарные греческие герои Аристид и Эпаминонд, когда он узнал этого римлянина (*Polyb., XXXII, 8, 5—7*). Эмилий Павел был отцом нашего героя.

II

Публий Корнелий Сципион родился в 185 году до н. э. Детство его было очень счастливым, светлым, но несколько необычным.

Эмилий Павел был женат на знатной патрицианке Папирии, дочери знаменитого полководца Папирия Масона. Она родила ему двух сыновей, младшим из которых и был наш герой. Почти сразу же после его рождения* отец, которому было уже более 45 лет, неожиданно развелся с женой. Развод был тогда в Риме делом неслыханным, и поступок Павла наделал много шума. Его горько упрекали, но он не снизошел до

* В 167 году до н. э. старшему сыну Павла от второго брака было 15 лет, значит, родился он в 182 году до н. э., а в брак Эмилий, следовательно, вступил в 184—183 годах до н. э.

объяснений. Плутарх вспоминает по этому поводу следующую историю: «Некий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему: «Разве она не целомудренна? Или не хороша собой? Или бесплодна?» — выставил вперед ногу, обутую в башмак... и сказал: «Разве он не хорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?» (*ibid.*, 5). Вероятно, приблизительно так отвечал своим друзьям и Эмилий.

Оставив Папирию, Эмилий Павел почти тотчас же женился на другой, которая также родила ему двух сыновей* Тогда Павел, человек очень небогатый, стал думать о судьбе своих первенцев. Он счел за самое лучшее отдать их в усыновление в самые богатые и знатные дома — этот обычай был очень распространен среди римской знати. Старшего усыновили Фабии, потомки Кунктатора. Младший же вошел в еще более прославленный дом — дом Великого Сципиона Африканского, покорителя Карфагена. Усыновил его двоюродный брат, старший сын победителя Ганнибала и Эмилии, родной сестры Павла** По римскому обычаю он передал мальчику и свое имя. Отныне наш герой стал называться Публий Корнелий Сципион Эмилиан***

Если в Риме и осуждали Эмилия за то, что он оставил свою жену, никто не мог бы сказать, что он бросил и своих детей, спихнув все бремя забот о них на отцов-усыновителей. Нет. Напротив. Эмилий Павел обожал всех своих детей, воспитывал их сам, сам выбирал для них учителей, и Полибий даже говорит в одном месте, что Сципион вырос в доме родного отца. Он рос в большой многодетной семье****, и его с рождения окружали любовь и нежность. Отец, как я уже говорила, души не чаял в детях. Удалившись от дел, покинув Форум, почести и славу — все самое до-

* Это те мальчики, которые умерли после победы над Персесм.

** См. родословные таблицы.

*** Последнее имя указывает, что он происходит из рода Эмилиев. Старший брат его назывался Квинт Фабий Максим Эмилиан.

**** У него было трое братьев и три сестры.

рогое сердцу римлянина, — он не грустил и не тосковал, как другие в его положении, ибо всего себя посвятил семье. Потому что, — объясняет Плутарх, — «не было в Риме человека, который любил бы своих детей больше, чем Эмилий Павел» (*Plut. Paul.*, б). Он и воспитывал их по-особому, совсем не так, как воспитывался он сам и его сверстники. Сам он получил обычное староримское образование, всю жизнь проводил в боях и только издали любовался прекрасной Элладой. Но перед детьми он поспешил открыть весь блеск греческой культуры. Их окружали лучшие учителя и наставники, выписанные из Эллады. Учили их самым удивительным предметам: не только грамматике, красноречию, философии, но ваянию, живописи, верховой езде, искусству ухаживать за собаками, охоте. Отец «всегда сам наблюдал за их уроками и упражнениями» (*ibid.*). Легко себе представить, что в большой компании подростков и возня с собаками, и верховая езда, и даже рисование быстро превращались в увлекательную игру.

Обстановку в доме Павла прекрасно рисует очаровательный рассказ Цицерона: «Люций Павел, которому предстояло вести войну с царем Персеем, избранный вторично консулом, вернувшись в этот самый день к вечеру домой и целуя свою дочку Терцию, тогда еще совсем малышку, заметил, что она грустненькая. «Что с тобой, милая Терция? — спросил он. — Почему ты грустишь?» — «Ах, папа, — ответила она, — Перса умер!» Тогда он крепче обнял девочку... А умер щенок по имени Перса» (*Cic. Div.*, 103)¹.

Мы прямо видим этот дом, буквально полный детей и собак, с которыми детей связывает самая нежная дружба. Мы видим отца — государственного деятеля, только что избранного консулом для ведения труднейшей войны, чьи мысли, казалось бы, всецело должны быть заняты планом кампании, однако же, воротившись домой усталый поздно вечером, он находит время заняться своей малюткой дочерью и сразу замечает, что она «грустненькая». В такой атмосфере нежности росли эти дети, и мы теперь можем представить, какая любовь связывала всех членов семьи.

Павел горячо любил всех своих детей, но Сципиона просто обожал. К нему он, говорят, испытывал «не отцовскую любовь, но словно какую-то безумную влюбленность» (*Diod., XXX, 22*).

Вторым домом для нашего героя стал дом его приемного отца. То был в высшей степени незаурядный и необычный человек. Он получил самое утонченное воспитание. Наделен был яркими талантами. Хорошо писал и говорил и казался, по выражению Цицерона, звездой Республики. Особенно восхищался оратор его римской историей, написанной по-гречески с необыкновенным изяществом. И в то же время Сципион, потомок столь знаменитого рода, совершенно чуждался общественной жизни и всего себя посвятил литературе и религии. У него было хрупкое здоровье, и это придавало какой-то грустный оттенок всем его блестящим талантам. По-видимому, он умер, не достигнув старости (*Cic. Brut., 77—78; Senect., 35; De off., I, 121; Vell. Pat., I, 10; Liv., XL, 42*).

Мы совершенно не знаем, какое влияние на маленького Публия оказал его приемный отец. Во всяком случае, беседы с таким интересным и образованным человеком не могли не запасть в душу ребенка. Но, главное, влиял сам дом. Этот чудесный дом, дом Великого Сципиона, где каждый камень был овеян каким-нибудь романтическим воспоминанием. Полибий, вступивший в этот дом через 15 лет после смерти победителя Ганнибала, сразу подпал под его волшебное очарование. Сципион Старший встает совершенно как живой со страниц его истории. Видимо, все в этом доме дышало им. Все вещи, все предметы стояли так, словно он тут, рядом. Этому способствовали яркие рассказы всех близких — его вдовы Эмилии, самой блистательной женщины Рима, его дочери — красавицы Корнелии, которая больше всего любила рассказывать о своем отце, его родных и близких. И Публий знал, что он единственный наследник имени, славы и счастья этого удивительного человека. Мальчик мог вдоволь мечтать о волшебных подвигах и подолгу смотрел на изображение Сципиона.

Но был и третий родной Публию дом — дом его несчастной матери. Жила она строго и уединенно, в бедности — у нее даже не было выходного платья. Мальчик ее очень любил.

Если, наслушавшись чудесных историй, Сципион, как все дети его возраста, начинал мечтать о приключениях и негодовал, что он все еще в своем тихом и спокойном доме, а не в дикой степи среди нумидийцев, если, повторяю, такие мысли являлись ему в тихие вечера, то вскоре выяснилось, что он не может роптать на судьбу. Едва он успел надеть тогу взросло-го, как Эмилия послали воевать в Македонию. Отец взял с собой и старших сыновей. Публию в то время только-только исполнилось 17 лет. И сразу обрушились на мальчиков все тяготы войны, мучительные переходы через горы и, наконец, роковая битва при Пидне. Тут случилось со Сципионом первое приключение.

«Эту величайшую по значению битву римляне выиграли с удивительной быстротой: началась она в девятом часу, и не было десяти, как судьба ее уже решилась; остаток дня победители преследовали беглецов и потому вернулись лишь поздно вечером. Рабы с факелами выходили им навстречу и под радостные крики отводили в палатки, ярко освещенные и украшенные венками из плюща и лавра. Но сам полководец был в безутешном горе: из двух сыновей, служивших под его командой, бесследно исчез младший, которого он любил больше всех». Павел чуть не сошел с ума. В страшном волнении он обратился за помощью к воинам. И тут выяснилась странная вещь — солдаты, которые ненавидели гордого и сурового военачальника, оказывается, обожали этого мальчика, его сына. Замелькали факелы, все бросились в разные стороны на поиски. Долина звенела от крика:

— Сципион! Сципион!

Но только горное эхо отвечало на этот призыв. Эмилий Павел провел страшные часы. Вдруг поздно ночью, когда уже не оставалось почти никаких надежд, явился виновник переполоха, «весь в свежей крови врагов — словно породистый щенок, которого

упоеание битвой заводит иной раз слишком далеко» (*Plut. Paul.*, 22). «Консул, увидев сына целым и невредимым, почувствовал наконец, что он рад своей победе» (*Liv.*, XLIV, 44).

Теперь Эмилий Павел стал владыкой Македонии, перед ним лежали поистине сказочные богатства, но он отнесся к ним с обычным равнодушием, отверг все подношения и подарки и остался таким же бедным, как был до войны. Не устоял он лишь перед одним соблазном: он взял себе библиотеку македонских царей. Сам-то он не был человеком книжным, но его сыновья читали буквально запоем книгу за книгой, и он подарил библиотеку Сципиону и Фабию. Ему пришлось уступить и второй страсти Сципиона — мальчик обожал охоту и породистых собак. И вот Эмилий старшего сына отослал в Рим вестником победы, а младшего, пока сам распоряжался делами Македонии, отвез в заповедные рощи, где охотились македонские цари, отдал ему царских собак «и предоставил ему охотиться, где он только пожелает. Сципион воспользовался разрешением и, чувствуя себя здесь как бы царем, проводил в охоте почти все время, пока войско после сражения оставалось в Македонии» (*Polymb.*, XXXII, 15, 3—6).

Но Публию предстояло оставить леса для нового увлекательного приключения. Эмилий Павел задумал осмотреть всю Элладу. Для него это была поистине сказочная страна, о которой он столько слышал от своих ученых сыновей. И вот, взяв с собой только любимого сына и одного грека, видимо, в качестве гида, он отправился в свое паломничество. Стояла осень, жара спала, и путешествие вышло восхитительным. Они проехали всю Грецию с севера на юг. Были и в Дельфах, и в таинственной пещере Трофония, и в Авлиде, где Агамемнон принес в жертву родную дочь. Они подымались на Акрополь и осматривали Спарту. Сам Павел был совершенно очарован. Полибий говорит, что на все открывавшиеся ему святыни консул смотрел с неослабевающим изумлением. Но больше всего путешественнику понравилась Олимпия. Его поразил Зевс Фидия. То была исполин-

ская статуя из мрамора, золота и слоновой кости. «Черты лица Зевса отражали бесконечную кротость, о чем единогласно говорят древние свидетельства»*. «При виде этой статуи, — говорит Дион Хризостом, — самый несчастный человек забывает о своих горестях: так много вложено в нее художником света и милости». На Эмилия статуя произвела неизгладимое впечатление. «До глубины потряс его Зевс», — пишет Ливий (XIV, 28, 5). «Очарованный при виде статуи, он сказал, что, по его мнению, один Фидий верно воспроизвел гомеровского Зевса, ибо действительность превзошла даже высокое представление, которое он имел об этом изображении» (Polyb., XXX, 10, 3—6).

После путешествия Сципион вместе с отцом воротился домой. В блестящем триумфальном шествии он шел рядом с золотой колесницей Эмилия.

Публию исполнилось 18 лет. Что представлял тогда собой этот мальчик, мы лучше всего узнаем из мемуаров одного его великого современника. Я имею в виду Полибия из Мегалополя.

III

«История» Полибия подобна блистающему солнцу, которое освещает самые отдаленные уголки той эпохи. Только благодаря ему люди того времени предстают перед нами во плоти и крови, а не как некие безжизненные тени. Его не отличает ни риторичность, ни особый блеск выражений, ни изящество аттической речи — качества, которые его современники считали необходимыми для писателя. Но необычайный ум, смелый и оригинальный, удивительная наблюдательность и знание человеческого сердца ставят его в ряду лучших писателей Эллады. Даже современному читателю трудно избежать его

* Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Вып. VI. СПб., 1914. С. 40.

влияния — постепенно подпадаешь под обаяние его ума, его доводов, разительных, как удар шпаги. Можно себе представить, какое влияние он оказывал на собеседников. Он лично знал всех героев моей книги. А между тем познакомился он с ними весьма необычным образом.

Самой могущественной силой тогдашней Греции был Ахейский союз, федерация, охватывавшая почти весь Пелопоннес. Во главе союза стоял ежегодно переизбираемый стратег. Ахейцы были давними друзьями Рима. Но во время Македонской войны они, по мнению римлян, вели себя двусмысленно. Поэтому после победы квинриты потребовали, чтобы они отослали в Рим в качестве заложников тысячу виднейших граждан. Среди них был и Полибий из Мегалополя. В то время ему было около 30 лет (167 г. до н. э.)².

Полибий был сыном стратега и уже занимал второе место в союзе. Он проявил себя как военачальник и дипломат. Судьба, казалось, обещала ему самую блестящую карьеру. Возможно, он уже тешил себя мечтами, что со временем займет должность стратега и вознесет ахейское государство на прежнюю высоту. И вот все эти мечты разом рухнули. Ему суждены были бездеятельность, страшное одиночество и бессрочная ссылка, где лишь издали видна бурлящая, яркая жизнь. Трудно себе представить более печальную участь, да еще для такого деятельного человека.

И если бы еще место его заточения напоминало Афины, если бы то был образованный эллинский город с палестрой и театром, со статуями и картинами, а главное, с образованными и учеными людьми, с которыми часами можно было обсуждать отвлеченные проблемы! Увы, Рим был совсем не таков.

Первым поразившим Полибия в Риме зрелищем было следующее. Некий Люций Аниций устроил празднество в честь победы над иллирийцами. Приглашены были знаменитейшие флейтисты и актеры Греции. Все они разом начали игру. Но тут же выяснилось, что особого успеха они не имеют. Тогда Ани-

ций предложил им лучше подраться друг с другом. Сначала музыканты были в крайнем недоумении. Но вскоре они поняли, чего от них хотят, и к величайшему восторгу зрителей устроили на сцене нечто невообразимое. Они разделились на отряды и устроили какое-то подобие правильной битвы. Под дикую разноголосицу флейт они то сходились, то расходились, дико топая ногами, так что сцена тряслась и ходила ходуном. Они делали вид, что замахиваются друг на друга, словно боксеры. «Зрелище всех этих состязаний получилось неопишваемое, — вспоминает Полибий, — что же касается трагических актеров... то мои слова показались бы глумлением над читателем, если бы я вздумал что-нибудь передать о них» (XXX, 14).

Не лучше обстояло дело с отвлеченными спорами. Римляне называли их «пошлым многословием бездельников» (см., например: *Cic. De or., I, 105*). Они избегали подобных разговоров, а если их пытались вовлечь в такую беседу, они с обычной своей насмешливостью отвечали, что они — неотесанные варвары и ровно ничего не понимают в греческой учености.

Полибий так описывает свое состояние, когда он узнал, что его решено оставить в Риме. «Когда разнесся слух об этом... не только отозванные в Рим ахейцы пришли в уныние и совершенно пали духом, но и все эллины охвачены были как бы единой скорбью, ибо сознавали, что полученный ответ навсегда отнимает у несчастных надежду на освобождение... Народы были тяжко смущены, всеми овладело какое-то отчаяние» (*Polyb., XXXI, 8, 10—11*).

И вот в то время, когда Полибий уныло бродил по узким, грязным улочкам, считая свою жизнь конечной, а себя заживо похороненным в варварской стране, случай свел его с двумя мальчиками. Между ними завязалась оживленная беседа о какой-то только что прочитанной греческой книге. Оказалось, что новые знакомцы Полибия — сыновья знаменитого победителя Персея, самого Люция Эмилия Павла, и зовут их Квинт Фабий и Публий Сципион. Полибий настолько понравился обоим юношам, что они упро-

силы претора оставить его в Риме, а не отсылать в какой-нибудь провинциальный латинский город, как прочих заложников³. Дальше я предоставляю слово самому Полибию, ибо ни один пересказ не может передать прелести его повествования.

«Однажды несколько человек нас разом вышло из дома Фабия, причем Фабий направился к Форуму, а Полибий со Сципионом пошли в другую сторону. Дорогою Публий тихим, мягким голосом, с краской в лице спросил меня:

— Почему, Полибий, когда мы, братья, сидим за столом вместе, ты непрестанно разговариваешь только с братом, к нему обращаешься со всеми вопросами, ему даешь объяснения, а мною пренебрегаешь? Наверное, ты думаешь обо мне так же, как и мои сограждане, о которых мне приходилось слышать. Все считают меня человеком неподвижным и вялым — это их слова, — а так как я не занимаюсь ведением дел в судах, то и совсем лишенным свойств римлянина с деятельным характером. Не такие свойства, но прямо противоположные, говорят они, должны отличать представителя дома, к которому я принадлежу. Это огорчает меня больше всего.

Полибия поразили уже первые слова юноши, которому было в то время не больше восемнадцати лет, и он сказал:

— Именем богов, Сципион, прошу тебя, не говори так и не думай. Я делаю это вовсе не из-за пренебрежения или невнимания к тебе, совсем нет. Но твой брат старше, поэтому я с ним и начинаю наши беседы и в заключение к нему обращаюсь со своими суждениями и советами, будучи убежден, что и ты с ним согласишься. Теперь я с удовольствием слышу, как ты огорчаешься тем, что тебя считают менее деятельным, чем то приличествует человеку из такого дома: твои слова обличают высокую душу. Сам я был бы рад приложить мои силы и старания к тому, чтобы научить тебя говорить и действовать так, как этого требует достоинство твоих предков. Для преподавания наук, которыми, как я вижу, вы теперь занимаетесь, не будет недостатка в людях, готовых пособить

вам, ни у тебя, ни у твоего брата. Я вижу, что в наше время люди этого рода притекают сюда из Эллады в большом числе. Но в том деле, которое, как видно из твоих слов, теперь заботит тебя, ты не мог бы, я думаю, найти товарища и помощника более пригодного, чем я.

Полибий еще не закончил, как Публий схватил обеими руками его правую руку и, с чувством сжимая ее, сказал:

— Если бы дожить мне до того дня, когда ты оставишь в стороне все прочие дела, посвятишь свои силы мне и станешь жить со мной вместе. Тогда, наверно, я и сам скоро нашел бы себя достойным и нашего дома, и наших предков.

Полибий радовался при виде горячей любви юноши, но и смущался при мысли о высоком положении дома Сципионов и о могуществе его представителей. Во всяком случае, со времени этой беседы юноша более не покидал Полибия, и дружба с ним была для Сципиона дороже всего» (*Polyb., XXXII, 9, 4—10*).

Полибий был совершенно очарован своим юным другом. Но он еще не осознал, что этот разговор — поворотный момент всей его жизни. Отныне этот мальчик, сын чужих ему людей, человек из другого народа, станет ему дороже всего на свете. Дружба Сципиона заменит ему родину и семью, а его страна станет второй отчизной. И до конца своих дней историк не мог забыть этого разговора с прелестным застенчивым юношей, который так доверчиво сжимал его руку. С тех пор, по словам Полибия, они со Сципионом относились друг к другу так, «словно между ними существовали отношения отца к сыну» (*XXXII, 11, 1*). «Дружеские отношения между Полибием и Сципионом сделались настолько близкими и прочными, что молва о них не только обошла Италию и Элладу, но об их взаимных чувствах и постоянстве дружбы знали и весьма отдаленные народы», — с гордостью говорит Полибий (*XXXII, 9, 3—4*). Отныне он жил в доме Публия и сделался как бы его вторым отцом.

Но самое поразительное другое. В его отношении к

Риму произошла удивительная метаморфоза. Он, который некогда с таким ужасом думал о том, чтобы жить в этом варварском городе, сейчас говорил о нем с восторгом. Он был очарован, околдован, он был влюблен. Действительно, он пишет о Риме с неизменной гордостью и нежностью, как влюбленный о предмете своей пылкой страсти. Нас это может удивить. Что же мог образованный эллин находить в тогдашнем Риме? А между тем Полибий был не единственный, кто подпал под обаяние этих таинственных чар. Более того. В те времена это было повальным явлением.

Первым гостем Рима из эллинистических стран был юный македонский царевич Деметрий, сын заклятого врага римлян Филиппа. Он провел там несколько лет в качестве заложника и сделался восторженным поклонником римлян. Он был так увлечен, что после его возвращения македонцы говорили, что римляне вернули только тело юноши, душу же держат у себя. Если в Македонию приезжали римские послы, Деметрий буквально переселялся к ним. Его отец, царь Филипп, ненавидел римлян, лишивших его былого могущества. Поэтому угодливые придворные на пиру часто издевались над Римом, его убогим видом и варварским населением. Юный царевич, несмотря на то, что знал, какой опасности себя подвергает, со всем пылом страсти бросался защищать своих друзей. Целые дни он мечтал об одном — вернуться в Рим хотя бы ненадолго. Так же был очарован и сирийский царевич, столь знаменитый впоследствии Антиох Эпифан. Даже став царем, он тосковал о Риме и часто одевался в римскую тогу или разыгрывал римского магистрата (*Polyb.*, XXVI, 1, 5—7; XXXI, 3, 2; XXVII, 15, 3—5; *Liv.*, XL, 5).

Так что же все-таки нравилось в этом варварском городе людям утонченным, культурным, прибывшим на его узкие улочки из самого центра тогдашнего просвещения? Увы! Никто из них не оставил воспоминаний. Был только один греческий гость, который описал нам свои впечатления. Это Полибий. Читая его, мы начинаем понимать, что же так влекло иноземцев в Рим. Ему нравились сами римляне, его

восхищали они, эти люди, в среду которых забросила его судьба. Еще в детстве из книг он знал, что бывают такие люди — честные, благородные, мужественные. И вдруг сам очутился в кругу подобных людей (*Polyb.*, XXX, 8, 5—7). Он создает целую галерею портретов своих современников-римлян. Этого мало. С его страниц перед нами постепенно встает образ всего римского народа. По его словам, он наделен несокрушимой доблестью, далеко превосходящей доблесть всех известных эллинам народов (*ibid.*, VI, 58, 13; IX, 8—9). Римляне готовы пожертвовать всем ради своей родины (*ibid.*, VI, 54, 4—6). Они честны и порядочны. Они ведут войны благородно и открыто, хотя весь мир совершенно развратился в этом отношении (*ibid.*, fr. 29; XIII, 3, 7).

Полибий приводит один любопытный пример их честности. У эллинов, говорит он, если ты доверишь должностным лицам какую-нибудь денежную сумму, ты не получишь ее назад, «даже если им доверяют один талант и хотя бы при этом было десять поручителей, положено было столько же печатей и присутствовало вдвое больше свидетелей». А у римлян не нужно ни печатей, ни свидетелей. Ты можешь вручить наедине любую сумму римлянину — «обязательство достаточно обеспечивается верностью клятве» (*ibid.*, VI, 56, 13—15).

И еще одно. По словам историка, они очень отзывчивы. «Как люди, одаренные благородной душой и возвышенными чувствами, римляне соболезнуют всем несчастным», — пишет он (*ibid.*, XXIV, 12, 11). Это он мог узнать на собственном опыте, когда попал в Рим почти узником, лишенным всех прав, поддержки и покровителей.

IV

Но вернемся теперь к нашему юному герою. И прежде всего спросим себя, чем были недовольны его сограждане. Сципион был блестяще образован, смел до безумия, что доказал во время Македонской кампании; несмотря на достигнутое, продолжал на-

стойчиво и прилежно учиться. Чего же хотели от него римляне? Ведь ему только-только минуло 18 лет.

Дело в том, что Публий жил совсем не так, как его сверстники. Прежде всего молодой знатный римлянин, желавший заниматься общественной деятельностью — а все юноши круга Сципиона этого желали, — должен был ежедневно ходить на Форум. Там он узнавал все новости, высказывал свое мнение, слушал выступления ораторов. Но самым верным способом снискать любовь народа было для юноши возбудить судебное дело против какого-нибудь масититого гражданина⁴. Знаменитый Лукулл начал свою карьеру с того, что привлек к суду некоего Сервилия. Плутарх пишет по этому поводу: «Римлянам такой поступок показался прекрасным, и суд этот был у всех на устах, в нем видели проявление высокой доблести. Выступить с обвинениями даже без особого к тому предлога вообще считалось у римлян отнюдь не бесславленным, напротив, им очень нравилось, когда молодые люди травили нарушителей закона, словно породистые щенки диких зверей» (*Plut. Lucul., I*).

Цицерон, желая вызвать у слушателей уважение к своему молодому клиенту, говорит, что он, будучи совсем юным, привлек к суду консуляра (*Pro Cael., 47*). В 21 год выступил обвинителем Юлий Цезарь, в 22 — Поллион, чуть старше — Кальв (*Tac. Dial., 34*). Просто кажется, что юноши с нетерпением ждали дня, когда снимут детскую тогу, чтобы бежать на Форум и привлечь кого-нибудь к суду. И, уж конечно, это было возможно только потому, что молодые люди дневали и ночевали на Форуме. Эта безумная жизнь заставляла их забывать обо всем — отдыхе, учении, даже о беседе с друзьями. Знаменитый Красс Оратор* говорит о себе у Цицерона:

«Я, конечно, получил в детстве образование заботами своего отца, потом посвятил себя деятельности

* Люций Красс Оратор (140—91 гг. до н. э.) — лицо, очень часто упоминающееся в моей книге. Великий оратор, учитель Цицерона. Он был женат на внучке Гая Лелия, друга нашего героя. В диалоге «Об ораторе» Цицерон нарисовал очаровательный образ этого человека. См. родословные таблицы.

на Форуме... Я вступил на общественное поприще рано: мне был 21 год, когда я выступил обвинителем человека знатного и красноречивого; школой мне был Форум, учителем — опыт, законы и установления римского народа и обычаи предков. И хотя я всегда испытывал жажду к занятиям... отведать я их совсем немного» (*Cic. De or., III, 20, 74—75*).

Полибий пишет: «Молодежь проводила время на Форуме, занимаясь ведением дел в судах и заискивая перед народом... Юноши входили в славу тем только, что вредили кому-либо: так бывает обыкновенно при ведении судебных дел» (*XXXII, 15, 8—10*). А поэт Люцилий, впоследствии ставший близким другом нашего героя, дает такую картину римской жизни: «Теперь с утра и до ночи, в праздник и в будни, весь народ без различия и все сенаторы шатаются по Форуму, не уходят ни на минуту, и все отдаются одной страсти и одному искусству — половчее составить речь, сражаются хитростью, воюют лестью... как будто все стали врагами друг другу» (*Lucil. H., 41*):

Повторяю — так жил весь Рим. Но вот этот-то проторенный путь и отверг младший сын Эмилия Павла. Больше всего на свете Сципион любил три вещи — во-первых, долгие прогулки в лесу или по берегу моря или же охоту с захватывающими опасностями, когда напрягается каждый мускул. Он поражал даже такого страстного охотника, как Полибий, своей отчаянной храбростью и удивительным везением (*Polyb., XXXII, 15*). Очутившись в богатой, великолепной Македонии, таившей столько соблазнов для молодого человека, этот странный юноша, как новый Ипполит, бежал в леса и заповедные рощи.

Затем он любил беседу с друзьями и, наконец, чтение книг. Толчея и сутолока Форума вызывали у него отвращение, суды он ненавидел. В рассказе Полибия слышатся слова самого Публия: он не хочет приобрести славу деятельного человека тем, что навредит кому-нибудь (*ibid., XXXII, 15, 10—11*). Любопытно, что два очень близких друга Сципиона — Полибий и поэт Люцилий — почти в одних и тех же выражениях описывают обстановку на Форуме. Видимо, у обоих

писателей мы слышим отголоски тех бесед, которые вели между собой в тесном кружке друзья Сципиона, осуждавшие безделье на Форуме и сутяжничество.

Не знаю, пытались ли многочисленные родственники Сципиона — его мать, брат, сестры или кто-нибудь из рода Корнелиев — повлиять на этого странного мальчика; быть может, они журили его и, чтобы убедить юного упрянца, передавали насмешливые отзывы о нем его сограждан. Но все было тщетно. Им не удалось заставить Публия хотя бы на йоту изменить свое поведение. И даже когда он, следуя обычаю, появлялся на Форуме возле Ростр, где обменивались новостями, в то время как другие молодые люди наперебой рассказывали политические сплетни или подробности судебных процессов, Сципион говорил о своих встречах с медведями или кабанами (*Polyb., XXXII, 15, 9*). Все это не могло снискать ему популярности. Из слов Полибия мы знаем, как тяжело Публий переживал всеобщее к нему презрение. И вдруг к нему пришла слава, совершенно неожиданно для него самого.

Случилось так, что в короткий срок у него умерло несколько близких родственников и он сделался наследником огромных богатств. В 162 году умерла Эмилия, вдова Великого Сципиона. (Ее сын Публий, приемный отец нашего героя, к тому времени уже скончался.) Она считалась женщиной богатой, но состояние ее заключалось не в деньгах, а в драгоценностях. Особенно поражали ее выезды, когда она вместе с другими знатными дамами участвовала в религиозных процессиях. Судя по всему, такие процессии были для римлянок чем-то вроде выезда в свет. Они наряжались как на бал. Матроны не шли пешком, но ехали в великолепных колесницах, запряженных породистыми конями или мулами, которые были тогда в особенной моде. И каждая старалась превзойти других изысканностью и великолепием наряда, красотой коней и колесницы. Но всех затмевала Эмилия. Она, рассказывает Полибий, «выступала с блеском и роскошью в праздничных шествиях женщин... Не говоря уже о роскоши одеяния и колес-

ницы, за нею следовали в торжественных выходах корзины, кубки и прочая жертвенная утварь, все или серебряные или золотые предметы» (*Polyb., XXXII, 12, 3—5*).

Став наследником всех этих сокровищ, Сципион немедленно подарил их своей матери Папирии, «которая задолго до того разошлась с Люцием (то есть с Люцием Эмилием Павлом. — Т. Б.) и жизненные средства которой не отвечали знатности рода. Поэтому она раньше не участвовала в праздничных выходах». Вскоре был какой-то праздник, и все женщины Рима шли в торжественной процессии. Вдруг среди них появилась Папирия, во всем блеске и великолепии, «в роскошном убранстве Эмилии, и за ней следовали те же погонщики мулов, те же лошади и колесница, что были у Эмилии». При виде этого зрелища женщины сперва окаменели, а потом все воздели руки к небу и молились, чтобы боги осыпали такого сына всеми возможными милостями. А затем в течение многих дней непрерывно «восхищались благородством и великодушием Сципиона», ибо, ядовито прибавляет историк, женщины неистощимы в похвалах своим любимцам (*Polyb., XXXII, 12*).

Смерть Эмилии повлекла за собой еще одно событие. Дело было в следующем. Сципион Великий когда-то обещал за своими двумя дочерьми довольно большое приданое. Но он смог выплатить зятям только половину, другую половину они должны были получить по смерти Эмилии. Деньги полагалось выплачивать в рассрочку в течение трех лет. И вдруг Тиберий Гракх и Назика — зятья Сципиона — получили всю сумму разом. Полибий чудесно рисует эту сцену. Оба буквально остолбенели от изумления. Придя в себя, они немедленно бросились к банкиру и сказали ему, что им по ошибке перевели слишком много денег. Но банкир ответил, что ошибки тут нет — таков приказ Сципиона, который теперь занимается этим делом как старший в роде. Тогда Назика и Тиберий отправились к Публию и «с родственным участием» стали разяснять неопытному юноше его

заблуждение. Но Сципион прервал их и с улыбкой ответил, что знает все сам, но с друзьями и родственниками ему приятно рассчитывать быстро и по возможности щедро. Гракх и Назика «после такого ответа удалились молча, изумляясь великодушию Сципиона и стыдясь собственной мелочности, хотя они и принадлежали к знатнейшим из римлян» (*Polyb., XXXII, 13*).

Через два года умер Эмилий Павел. Сыновья, носившие его имя, уже скончались, и он разделил наследство поровну между Фабием и Сципионом. Тут «Сципион опять поступил благородно и замечательно». Зная, что состояние брата меньше, чем у него, «он совсем отказался от наследства, ибо при отказе состояние Фабия могло сравняться с его собственным». Но, когда Фабий, теперь единственный наследник, должен был устроить дорогостоящие поминальные игры и торжества, Публий взял на себя половину расходов (*Polyb., XXXII, 14, 1—6*). Вскоре умерла Папирия, и драгоценности Эмилии снова вернулись к Публию. Но он тут же, не задумываясь, подарил их сестрам (*ibid., XXXII, 14, 8—9*).

Так в самый короткий срок Сципион с удивительной легкостью и великодушием раздал три наследства. Все, кто испытал на себе его щедрость, восхищались не только его бескорыстием, но и удивительной деликатностью и тактом, с которыми он умел делать подарки (*Polyb., XXXII, 14, 11*).

Отныне римляне совершенно изменили свое мнение о Сципионе. Он приобрел «никем не оспариваемую славу благороднейшего человека» (*ibid., XXXII, 14, 11*). Ему простили все грехи, ему разрешили жить его странной жизнью, он стал предметом всеобщего восхищения. Даже занятие охотой, над которым прежде смеялись, служило теперь доказательством смелости молодого человека. Его слова повторяли, ему изумлялись.

Теперь, когда сограждане стали присматриваться к юноше доброжелательно, даже с восхищением, они нашли в нем множество ранее не замечаемых достоинств. Пора и нам повнимательнее присмот-

реться к нашему герою. Что представлял собой этот нежный, поэтический юноша, который с отвращением сторонился судов и мелких интриг, презирал золото и, бежав от шумной суеты города, целые дни бродил по лесам или слушал шум волн и любовался звездами; кто был этот мальчик, который своей робкой нежностью очаровал Полибия?

Когда умерла его тетка, Сципиону было 23 года. Он был невысок (*App. Hiber.*, 53) и на вид хрупок⁵, но это впечатление было обманчиво — Публий был силен, ловок и вынослив. Он отличался железным здоровьем, никогда ничем не болел за всю жизнь (*Polyb.*, XXXII, 14, 12). Великолепный наездник⁶, он был и прекрасный ходок. Ходил он легко и чрезвычайно быстро⁷. Было в нем нечто, позволившее Полибию и Плутарху сравнить его с очень породистым щенком. Он резко отличался от юношей его круга.

В то время Рим вступил в полосу ясной, ничем не омрачаемой радости. После страшных Пунических войн, которые требовали напряжения всех сил, народ наслаждался безопасностью и покоем. Да еще золото хлынуло в город рекой. Как всегда, после тяжелых эпох всем захотелось развлечений. Молодые люди рядились в золото и пурпур, покупали дорогие благовония, бешеные деньги платили за изысканные лакомства и завязывали громкие романы. Но Публий жил совершенно иначе. Этот чистый юноша гнушался всякой грязи. По словам Полибия, им владела одна страсть — «влечение и любовь к прекрасному». Он с презрением отвергал все низменные удовольствия и был удивительно воздержан. «В борьбе со всякими страстями он воспитал из себя человека последовательного, во всем себе верного, и оттого стал известен в народе своей благопристойностью и самообладанием... Воздержанием от многих разнообразных наслаждений он приобрел себе здоровье и телесную крепость; они сопутствовали ему всю жизнь и взамен низменных наслаждений, от которых он отказывался раньше, доставили

ему многочисленные земные радости» (*Polyb., XXXII, 11, 2—8; 14, 12*).

Одевался он всегда чрезвычайно просто. Презирал всякие украшения. Даже оружие любил самое простое, без затейливых рисунков (*Plut. Reg. et imp. aporphem. Sc. min., 18; Frontin., IV, 1, 3*). Мужчин, много внимания уделявших своей внешности, он презирал и от души смеялся над франтами, которые часами вертятся перед зеркалом (*Gell., VII, 12*).

В то же время Публий был всегда чрезвычайно аккуратен, в чем проявлялась свойственная его характеру четкость. Никто никогда не видел его иначе, чем в тунике, сверкающей ослепительной чистотой, гладко выбритым и аккуратно причесанным. Именно он ввел в Риме моду бриться ежедневно (*Plin. N. H., VII, 211*). Цицерон, прекрасно знавший его привычки, стремясь изобразить его как можно более похожим, подчеркивает любопытную деталь. Официальной одеждой римлянина были кальцеи, кожаные полусапожки, и тога. Появиться иначе одетым в общественном месте считалось неприличным*. Но в деревне римляне чувствовали себя свободнее и часто позволяли себе пренебрегать этими обременительными правилами. Так вот, Цицерон рассказывает, как живя в деревне, наш герой выходит из своего дома буквально на минуту, чтобы встретить друга. И все-таки он не забывает надеть кальцеи вместо сандалий и поверх туники накинуть тогу (*De re publ., I, 18*).

Он был очень закален. Зимой и летом носил короткие рукава; длинные рукава он считал признаком изнеженности в мужчине (*Gell., VII, 12*). Равным образом Публий презирал изысканные лакомства. Еду он любил самую простую и здоровую, более всего овощи (*Diod., XXXIII, 18; Hor. Sat., II, 1, 74; Cic. De fin., II, 8*).

Наследник Сципионов, Публий жил теперь в собственном доме отдельно от отца и завел свои порядки. Эмилий Павел был высокомерен и замкнут. Пуб-

* Читатели моей первой книги, быть может, помнят, как шокировал сенаторов Сципион Старший, когда стал носить сандалии и греческий плащ.

лий, напротив, был чрезвычайно общителен, и дом его всегда был полон народом. У него был какой-то особый дар сходиться с людьми. Мы видели, что уже в армии его узнали и полюбили солдаты. В Риме он не уходил с Форума, не заведя нового знакомства (*Plut. Reg. et imp. apophygm. Sc. min., 2*).

Среди его приятелей были самые разные люди: и греки, и римляне, и знать, и совсем простые граждане. Один из знакомцев его отца впоследствии с ужасом говорил, что Эмилий Павел, наверно, стонет во гробе, глядя, с какими людьми болтает его сын. Цицерон рассказывает забавную историю, которая хорошо рисует общительность Сципиона.

Публий был на вилле в Ланувии вместе с каким-то из своих бесчисленных друзей по имени Понтий. В то время одному из местных рыбаков, тоже его большому приятелю, посчастливилось поймать рыбу, которая встречалась в Италии редко и считалась очень дорогим деликатесом. Рыбак подарил ее Сципиону. Дело было утром. И вот, по обычаю, соседи и клиенты начали приходить, чтобы приветствовать Сципиона. А тот стал приглашать их всех на обед одного за другим, показывая только что полученный подарок. Понтий, который в душе мечтал полакомиться, со страхом за ним наблюдал. Наконец, убедившись, что Сципион собирается пригласить всю округу, он наклонился к нему и прошептал на ухо:

— Что ты делаешь? Ведь рыба всего одна! (*Macrob. Sat., III, 16, 3—4*).

К друзьям Публий относился, как герои Гомера. Они жили в его доме и ни в чем никогда не знали отказа. Но Сципион не только имел много друзей. Он нашел друга, который стал его alter ego. Римлян трудно было удивить примерами дружбы. Но и они были поражены и говорили, что дружбу между Сципионом и Лелием можно сравнить лишь с легендарной дружбой Ахиллеса и Патрокла или Диоскуров. Гай Лелий был единственным сыном соратника и лучшего друга Сципиона Великого. Он получил прекрасное греческое образование. Так как его отец был теснейшим образом связан с домом Сципионов,

они с Публием должны были познакомиться еще в детстве. Хотя между ними была большая разница — Лелий был лет на пять старше, — они подружились. Шли годы. Но ни время, ни разлука, ни новые знакомства и увлечения — ничто не могло отдалить их друг от друга.

«Нет такого сокровища, которое я мог бы сравнить с дружбой Сципиона, — говорит Лелий у Цицерона. — В ней я нашел согласие в делах государственных, в ней — советы насчет личных дел, в ней же — отдохновение, преисполненное радости. Ни разу я не обидел его, насколько я знаю, даже каким-нибудь пустяком, и сам никогда не услышал от него ничего неприятного. У нас был один дом, одна пища за одним и тем же столом. Не только походы, но и путешествия, и жизнь в деревне были у нас общими. Нужно ли говорить о наших неизменных стараниях всегда что-нибудь познавать и изучать, когда мы, вдалеке от взоров народа, тратили на это свои досуги?» (*De amic., 103—104*).

Все говорят, что Гай Лелий был совершенно очаровательным человеком. Красавец с ясным, ласковым лицом, всегда одинаково веселый и приветливый. Мягкий, милый, нежный, жизнерадостный, он, однако, умел быть твердым, когда дело касалось принципов. Вся жизнь он отличался незапятнанной честностью. Он был горячим поклонником всех наук, читал и занимался с не меньшим увлечением, чем сам Сципион, был прекрасным знатоком права, говорил и писал так изящно, тонко и остроумно, что Цицерон не мог читать его речей без восторга. За ученость его прозвали Мудрым. Гораций же применяет к нему выражение «ласковая мудрость», намекая на его чудесный характер (*Cic. De off., I, 90; Mur., 66; Heren., IV, 13; Hor. Sat., II, 1, 72—74; Suet. De poet. Ter., 1*).

Лелий был однолюбом: всю жизнь он был верен одному другу, всю жизнь он любил одну женщину. По словам Плутарха, на его долю выпало редкое счастье: «за всю свою долгую жизнь он не знал иной женщины, кроме той, которую взял в жены с самого начала»

(*Cat. min.*, 7). Как мы видим, и любовь, и дружба дарили ему одно счастье.

То был любимый герой Цицерона. Оратор не только постоянно обращался к нему мыслями, но признавался, что хотел бы быть Лелием; имя «Лелий» он хотел взять себе в качестве псевдонима.

Тот, кто переступал порог дома Сципиона, попадал в особый, удивительный мир. Здесь не было модной мебели и роскошных ковров, как у других знатных людей; гостям не подавали изысканных закусок. Все было по-спартански просто. Зато в этом доме собирались самые интересные люди и велись самые увлекательные разговоры. Ибо, как говорит Цицерон, римское государство «не породило никого... более высоко просвещенного, чем Публий Африканский и Гай Лелий... которые всегда открыто общались с образованнейшими людьми Греции» (*De or.*, II, 154). В доме царило молодое, бьющее через край веселье. Сципион обожал шумные и беззаботные игры. Перед обедом, ожидая, пока накроют на стол, гости бегали вокруг стола и бросали друг в друга салфетками. Поэт Люцилий, друг Сципиона и Лелия, описывает, как после такой шумной возни принесли щавель. Это вызвало бурный восторг Лелия, который любил это блюдо. И он издал радостный возглас. Люцилий тут же экспромтом сложил оду в честь щавеля, где говорилось: «О Щавель! Тебя не ценят, не подозревают, как ты велик, — ведь из-за тебя Лелий, знаменитый софос (мудрец) издает восторженные клики» (*Cic. De fin.*, II, 8).

Какими жалкими казались Люцилию после этих простых веселых обедов роскошные пиры богачей, которые бездну денег тратили на раков и осетров. «Бедняга, — говорит про одного из таких людей поэт, — он ни разу не пообедал хорошо». Ибо, несмотря на осетров, пиры его бывали томительно скучны, не то что веселые обеды Сципиона, «приправленные милой беседой» (*ibid.*), где каждое блюдо сопровождалось целым фейерверком блистательных шуток и острот. Если дни были праздничные, друзья с утра ехали к Сципиону на виллу и иногда проводи-

ли там все праздники. Когда же кто-нибудь из них уезжал и вынужден был надолго покинуть веселый кружок друзей, он писал им письма, где рассказывал о своих приключениях в забавных стихах (*Cic. Att., XIII, 6, 4*).

Почему-то этот кружок умных, веселых людей всегда привлекал к себе лучших римлян. Цицерон снова и снова оживлял перед собой их образы, выводил их на страницах своих произведений и в мечтах сам был одним из них. Гораций тоже с тоской и грустью думал о «ласковом мудром Лелии и доблестном Сципионе» и мечтал поменяться местами со своим учителем Люцилием. В своем воображении он видел, как Сципион и Лелий шутили и играли с ним без всякого оттенка обидного снисхождения и покровительства, к несчастью, столь частого по отношению к поэтам, и как никогда не обижались на его порой очень злые шутки (*Sat., II, 1*).

Теперь и мы можем лучше представить себе обстановку в доме Сципиона. Молодые приятели постоянно затевали веселые игры, постоянно добродушно подшучивали и поддразнивали друг друга; они сочиняли веселые стихотворные экспромты и целые пародийные оды, в их устах вечно мешалась греческая и латинская речь, ибо греческие слова срывались у них с языка так же часто, как у русских дворян французские. В этом кружке у каждого было греческое прозвище. Лелия называли σοφός, то есть «мудрец», почти наверняка с оттенком легкой насмешки, вроде русского «голова». Сципиона называли ειρων («иронический человек»). Это слово означает «притворщик» и «насмешник». Так называли философа Сократа. Дано было это имя Публию за то, что он великолепно умел морочить собеседника, сохраняя при этом совершенно серьезное, невозмутимое лицо, так что тот никак не мог понять, говорит Сципион серьезно или шутит (*Cic. De or., III, 270; Brut., 299*). Сейчас как раз расскажу одну историю, которую многие современники считали шуткой или мистификацией Публия Африканского.

В 166 году перед весенним праздником Великой Матери богов явился к эдилу очень красивый смуглый застенчивый юноша и со смущением сообщил, что сочинил комедию. В Риме пьесы ставили эдилы, то есть они несли все расходы. Эдил, у которого было мало времени и много рукописей, отправил молодого человека к известному поэту Цецилию Стацию. Юноша робко вошел. Цецилий в это время обедал. Он даже не предложил посетителю места за столом и велел ему читать. Тот, примостившись где-то в уголке, развернул рукопись и начал. Но не прочел он и нескольких страниц, как старый поэт вскочил, обнял его и усадил рядом с собою, осыпая самыми лестными похвалами и поздравлениями. Надо ли говорить, с каким жаром рекомендовал он новую пьесу эдилу. Он не ошибся. Комедия имела бешеный успех, и автор получил совершенно невиданные сборы. Так взошла на римском литературном небосклоне новая звезда — Публий Теренций Афр (*Suet. Ter.*, 2).

Все спрашивали друг друга, кто он, эта знаменитость, откуда взялся, какого рода, где получил столь блестящее образование? Но оказалось, что никто толком ничего не знал. Ему было 19 лет. Говорили, будто он раньше был рабом какого-то сенатора Теренция Лукана. Родился в Карфагене, отсюда и его имя Афр, то есть африканец. Далее будто бы господин, восхищенный его способностями, дал ему образование и отпустил на волю. Но где он сейчас, этот Лукан, и почему не покровительствует своему вольноотпущеннику, никто не знал. Не знали, и откуда взялся карфагенинин в доме Лукана, ведь он родился, когда Пуническая война уже 15 лет как окончилась, значит, он не мог быть военнопленным. Но и купить его было нельзя, так как у Рима не было торговых отношений с Карфагеном. Однако над этим вопросом никто ломать себе голову не стал.

Каждый год, непременно весной*, Теренций ста-

* Кроме «Формиона».

вил по пьесе⁸. И всегда имел успех⁹. Теренций вошел в моду. Его язык был чист и изящен, интрига тонка и остроумна, сам автор скромн, мягок и даже льстив в обращении. Молодой поэт уже заработал достаточно и мог жить безбедно. Он купил небольшой участок в двадцать югеров на Аппиевой дороге, завел хозяйство и обзавелся семьей (*Suet. Ter., 5*).

Только одно обстоятельство омрачало жизнь Теренция — его собраты по перу почему-то люто его ненавидели. Они делали все, чтобы отравить ему существование. Дошло до того, что однажды один поэт ворвался к эдилам, которые уже приняли очередную пьесу Теренция к постановке, и учинил дикий скандал (*Eun., 20—23*).

За что же его так ненавидели другие поэты? Что это было — зависть, соперничество, борьба литературных течений?¹⁰ Это окутано тайной. Но вокруг молодого поэта, как плотное черное облако, сгустились темные слухи. Сначала их повторяли только поэты и актеры. Но вскоре слухи эти вышли за пределы маленького театрального мирка и поползли по Риму. Их с усмешкой передавали друг другу завсегдатаи Форума, о них толковали в тавернах, в портиках, на перекрестках. Они превратились в очередной весьма соблазнительный скандал. И то были странные слухи, очень странные.

Говорили, что Теренция нет. Он — мистификация, подставное лицо. За ним, как за ширмой, скрывается кто-то другой, какие-то очень знатные люди, для которых совершенно немислимо ставить пьесы под собственным именем. И люди эти — Публий Сципион и Гай Лелий!

Гай Меммий, современник наших героев, в речи, произнесенной в свою защиту, говорил: «Публий Африканский, пользуясь личиной Теренция, ставил на сцене под его именем пьесы, которые писал дома для развлечения» (*Suet. Ter., 3*). Квинтиллиан, знаменитый учитель красноречия, пишет: «Произведения Теренция приписывают Сципиону Африканскому» (*Inst., X, 1, 99*). У Цицерона читаем о Теренции: «Комедии его за изящество языка приписывали Гаю Ле-

лию» (*Att.*, VII, 3, 10). Светоний говорит: «Известно мнение, что Теренцию помогали писать Лелий и Сципион» (*Suet. Ter.*, 3).

По Риму ходили забавные рассказы и истории. Непот, очень серьезный и солидный автор, ссылаясь на какой-то «достоверный источник», рассказывает, например, следующее. В 163 году друзья встречали Новый год — а тогда в Риме его справляли 1 марта — на ПUTEОЛАНСКОЙ вилле Лелия. Было время обедать, и жена сказала Гаю, чтобы он не запаздывал. Но Лелий просил пока его не беспокоить и садиться без него. Гости уже заняли места за столом, когда наконец вошел сам Лелий и улыбаясь сказал, что редко удавалось ему так хорошо писать. Все, конечно, попросили его прочесть, и он продекламировал стихотворный монолог. А через месяц все услышали его со сцены уже под именем Теренция (*Suet. Ter.*, 3).

Действительно, Теренций был близко знаком с обоими друзьями. Вчерашний раб, он был приветливо принят на Альбанской вилле Сципиона и сидел теперь за одним столом с знатнейшими из знатных. Сципион принимал молодого поэта с чарующей простотой, составлявшей его отличительную особенность. Он никогда не ставил себя выше своих приятелей, кто бы они ни были (*Cic. De amic.*, 63). Лелий называл его другом (*ibid.*, 89). Сам Теренций с восхищением говорит, что его знатные друзья обходятся с каждым без всякого высокомерия (*Adelph.*, 21). А один из его врагов-поэтов, Порций Лицин, с плохо скрытой завистью пишет:

«Он домогался смеха и неискренних похвал знатных людей. Жадным ухом ловил он божественный голос Публия Африканского. Он обедал с Филом и красавцем Лелием» (*Suet. Ter.*, 1). Этот Люций Фурий Фил был знатный молодой патриций, ровесник Сципиона и самый его близкий друг после Лелия. Эти трое прослыли в Риме неразлучными. Тем не менее почему-то никто не подозревал его в том, что он также участвует в сочинении пьес Теренция.

Итак, весь Рим заговорил о том, что поэт не сам пишет свои комедии. Дело приняло наконец такой

оборот, что Теренцию пришлось как-то отвечать на эти обвинения. В прологе к «Самоистязателю» — той самой комедии, которая, если верить молве, так удалась Лелию, — он говорит, что на него нападают собратья по перу и заявляют, что «он внезапно взялся за поэтическое искусство, полагаясь на таланты друзей, а не на собственные способности» (*Heut.*, 23). И вместо ответа предлагает о его способностях судить зрителям. Какое странное оправдание! Однако дальнейшая история была еще загадочнее.

В 160 году была поставлена пьеса Теренция «Братья». В прологе поэт пишет:

«Ненавистники говорят, что знатные люди помогают поэту и усердно пишут вместе с ним (Теренций никогда не называет себя ни в первом лице, ни по имени. — Т. Б.). Но то, что им представляется столь тяжким обвинением, для самого поэта величайшая похвала. Ведь, значит, он мил тем людям, которые милы вам всем и всему народу и к кому каждый из вас в свое время обратился за помощью на войне, или на досуге, или в трудах, а они помогли без всякого высокомерия» (*Adelph.*, 17—21).

Иначе как признанием это назвать трудно. Сразу же после этих таинственных слов Теренций совершенно неожиданно исчез из Рима. Почему молодой, талантливый, популярный поэт, получавший за каждую пьесу столько денег, вдруг бросает все и уезжает? Куда и зачем? Никто в Риме толком не знал. Одни говорили, что он в Греции, другие — что в Азии. Одни думали, что он утонул там в море, другие — что умер где-то на чужбине. Один поэт так сообщает об этом:

Поставив шесть комедий, Афр покинул Рим,
И с той поры, как он отчалил в Азию,
Его никто не видел, вот конец его.

(*Suet. Ter.*, 4—5)

Зачем он уехал, тоже не знали. Одни полагали, что для развлечения, другие считали, что он бежал от городских сплетен, упорно утверждавших, что он выдаст за свои произведения Сципиона и Лелия (*ibid.*, 4). Но тогда зачем он сделал признание в «Братьях»? Все

это очень загадочно. Наконец, Порций Лицин, автор той злобной эпиграммы, которую мы приводили, сообщает совсем уже странные вещи о Теренции и его знатных друзьях:

«Он воображал, что они его любят... Но потом упал с небес в бездну нищеты и бежал от взоров людей на край земли в Грецию... И ни Публий Сципион, ни Лелий, ни Фурий не помогли ему» (*ibid.*, 1).

Античный биограф Теренция говорит, что все это ложь. Поэт вовсе не жил в бедности: у него был дом, земля, состояние. Дочь его впоследствии вышла за римского всадника. Так что совершенно непонятно, что имел в виду автор эпиграммы (*ibid.*, 5). Все это верно. Но в то же время Порций с таким торжеством и злорадством говорит о размолвке поэта и его знатных друзей, что невольно начинаешь подозревать, что за этим что-то кроется. Но, если так, из-за чего же они рассорились? И потом, что означают слова «он бежал от взоров людей»? Чего ему было стыдиться?

Где же ключ к этой тайне? И что обо всем этом думать?

Начну с того, что у «ненавистников» поэта были некоторые основания для обвинений. Для роли «маски» Теренций необыкновенно подходил. Это был как бы двойник Сципиона. Они — ровесники. Теренций родился в 185 году, как и Публий. Мало того. Они почти тезки. Ведь Сципиона очень часто называли Публий Африканский, а Теренций был Публий Афр, то есть Африканец. Замечу, что многим было непонятно, почему он Афр, а еще непонятнее, почему Публий. Ни один из известных нам Теренциев имя Публий не носил, между тем вольноотпущенник получает имя своего хозяина.

Далее, Теренций не был оригинальным автором. Его пьесы не более чем хороший перевод, или, если хотите, пересказ Менандра. Сделать такой пересказ мог не обязательно гений, но просто талантливый образованный человек, очень хорошо владеющий латинским языком, — язык Теренция необыкновенно чист и изящен. Кто же в тогдашнем Риме писал и

говорил так чисто*? Оказывается, опять-таки только Сципион и Лелий. И особенно Сципион. Все нити снова приводят нас в тот же дом.

Затем, почему Теренций ни разу не решился опровергнуть городские слухи? Светоний полагает, что эта молва была приятна Сципиону и Лелию, поэтому поэт и не решался с ней бороться (*Suet. Ter.*, 3). Но с этим невозможно согласиться. Светоний судит об эпохе Сципиона по понятиям своего века. Конечно, во времена, когда сам Нерон писал стихи и играл на сцене, подобного рода слухи, ловко пущенные каким-нибудь льстивым поэтом, были бы очень приятны его знатному покровителю. Но иначе было в описываемое время. Недаром современники говорили, что Публий *скрывался* под маской Теренция. «У нас поздно стали признавать и принимать поэтов, — с грустью пишет Цицерон. — Этот род людей не был в почете» (*Tusc.*, I, 2). Катон жестоко высмеивал поэтов. Рисую доброе старое время, он говорит: «Поэтическое искусство было не в почете: если кто занимался этим делом... его называли бездельником» (*Carm. de mor.*, 20). Недаром все поэты того времени или бывшие рабы, или иноземцы. Вспомним, что как раз в этот период римляне осуждали образ жизни юного Сципиона, не хватало еще, чтобы они узнали, что он вместо того, чтобы бывать на Форуме, пишет комедии! Боюсь, сам Эмилий Павел при всем своем уважении к греческому образованию и при всей широте взглядов вспыхнул бы от стыда, узнав о таком поведении сына.

Но, будь даже для Публия литературная слава дороже всего на свете, стремись он к ней столь же страстно, как полководец к триумфу, он бы все-таки ни за что не стал поощрять подобных слухов. Вся жизнь его показывает, что он был горд, необыкновенно правдив, никогда не присваивал себе чужих лавров. И неужели теперь он мог оказаться столь ме-

* Цицерон говорит, что у Сципиона и Лелия язык был лучше, чем у всех современных им поэтов Рима, даже у трагика Пакувия, которому он отдает первое место (*Cic. De opt. gen. orat.*, I; *Brut.*, 258).

лочно тщеславным и бессовестным, что, когда по городу распространилась глупая молва, будто он пишет пьесы за бедного поэта, он не нашел в себе силы ее опровергнуть, не дал несчастному отстоять свое авторство и навлек на него позор и насмешки?! Нет, это было невозможно.

Между тем, если мы представим себе, что в рассказах современников была доля истины, и вообразим, что в первых рядах сидели те самые люди, которым еще недавно Лелий и Сципион читали свои поэтические произведения, нам станет понятным то смущение, с которым оправдывался несчастный Теренций.

Все это проливает свет и на размолвку, происшедшую между поэтом и его друзьями. Я думаю, что никакой ссоры не было. Никто, кроме Порция, о ней не упоминает. Но Сципиону было уже 25 лет и он должен был понять истину, прекрасно выраженную Аристофаном:

Комедийное дело не шутка, а труд.

До этого молодые авторы не слишком утруждали себя. Писали они обычно не больше одной комедии в год, а когда Публий бывал занят, вообще не писали. Но в конце концов надо было сделать выбор: или серьезно отдаться поэзии, или проститься с ней навсегда. Ибо, если это просто шутка, ей пора было кончиться. И вот друзья простились со своей ветреной музой.

А теперь представим себе положение Теренция. Что ему оставалось делать? Он живо воображал себе глумливое торжество собратьев по перу, которые всегда ненавидели его и завидовали его успеху у публики и у знати — отражение этих настроений мы видим, между прочим, в приведенной эпиграмме. Они бы просто заклевали теперь несчастного поэта. И вот он «бежал от взоров народа». Быть может, зная, что прощается с публикой, поэт позволил себе объясниться со зрителями. Сделал он это со всей возможной осторожностью, боясь бросить тень на своих знатных друзей.

Но если комедии действительно писали Сципион и Лелий — сколько это открывает перед нами блестящих возможностей! Как соблазнительно было бы видеть в стихах их поэтический дневник, их любовь, их радости и страдания. Пусть они и заимствовали сюжеты у Менандра, сам выбор их порой, вероятно, очень многозначителен. И потом, они могли вносить туда изменения, могли вставить какой-нибудь выразительный монолог. Что если мы узнаем в каком-нибудь юноше Сципиона, а в его друге Лелия? Вдруг мы найдем в пьесе Эмилия Павла или других современников молодых авторов? Итак, обратимся к пьесам Теренция.

VI

Сначала мы будем несколько разочарованы. Перед нами обычная новоаттическая комедия со стандартным набором сюжетов и персонажей, которые с горькой иронией перечисляет Плавт, — бесчестный сводник, злая куртизанка, хвастливый воин, любовь, интриги, подкинутые дети, мошенничества с деньгами, влюбленный юноша, тайно от отца выкупающий подружку (*Plaut. Capt.*, 54—58; 1033—1034). К тому же действие происходит в Афинах: ни одной римской черты, ни одной римской детали. Но мы не должны отчаиваться. Ведь и комедии Плавта перенесены в Афины, а что может быть более римского! Для нас важны сейчас не исторические реалии — они, вероятно, совершенно не интересовали юных авторов — важны чувства. И действительно. Мы скоро замечаем, что поэта более всего интересует один вопрос, одна тема — это проблема отцов и детей. О ней он пишет с таким жаром, с такой болью, словно у него самого были самые бессердечные родители и самое безотрадное детство.

Согласно Теренцию, отцы жестоки, черствы, бездушны. Самые же несчастные, угнетенные люди — это юноши. Их воспитывают в чрезмерной строгости, с детства их запугивают, давят на них, лишают

свободы, в результате они становятся лживыми и робкими. Отец способен совершенно безжалостно сломать жизнь сыну. Вот «Девушка с острова Андроса». Юный Памфил страстно полюбил бедную приезжую девушку. Она совершенно одинока, у нее нет никого, кроме сестры. Но и сестра умирает и на смертном одре завещает беречь ее Памфилу. Юноша дает слово на ней жениться. Теперь они вместе, Памфил уже робко начинает надеяться на счастье и вот встречает отца, который хладнокровно сообщает, что сегодня вечером его свадьба. Памфил в полном отчаянии уходит, не посмеяв возразить отцу, но у него вырываются горькие слова: «Так делать человечно ли? И в этом долг отца!» (*Andr.*, 235).

В «Формионе» сын женится на бедной девушке. Но вот приезжает отец и преспокойно велит им развестись, хотя они безумно любят друг друга и у них уже ребенок. В «Самоистязателе» отец своей жестокостью доводит сына до того, что он бежит из дома.

Детей отцы не понимают и не хотят понять. «Несправедливы к сыновьям всегда отцы, что правильным считают, чтобы смолоду родились стариками мы и не мешались ни во что, что молодость несет с собой. На свой лад направляют нас, по собственным стремлениям, какие есть у них сейчас, не тем, что были некогда» (*Heut.*, 210—220). В «Самоистязателе» сын влюблен. Узнав об этом, отец «не кротко обошелся с ним, как надо бы с душой больного юноши, а грубо — у отцов оно так водится» (*Heut.*, 98—100). Идеал отношений отца с сыном — дружба. Увы! В жизни этого никогда не бывает. Между ними полное непонимание. Когда один раз отец мягко разговаривает с пришедшим в отчаяние сыном, тот в изумлении восклицает: «Неужели это отец! Он отец, но обошелся со мной, как друг, как брат» (*Adelph.*, 707—708). Про одного юношу отцу говорят: «Он послушен, если только обращаться с ним умело, мягко, но ни ты не знал его, ни он тебя; так бывает постоянно там, где жизнь идет неправильно» (*Heut.*, 578).

«Неправильно». Да, согласно комедии, отношения в семье строятся неправильно. Один-единственный

раз автор показал, как они, по его мнению, должны строиться. Это сделал он в последней своей комедии «Братья». Пьеса — поистине вершина творчества поэта, его квинтэссенция, его венец и завершение. Все мысли автора выражены ясно, последовательно и доведены до конца. Кроме того, она настолько сценична, действие в ней разворачивается так стремительно, так живо, что даже читатель, не говоря уже о зрителе, не в силах от нее оторваться. Вот почему я остановлюсь на ней подробнее.

Сюжет ее таков. Живут два брата, Микион и Демей. Микион, весельчак, всегда окруженный людьми, остался холостяком. Демей женился. У него два сына: Эсхин и Ктесифон. Бездетный Микион усыновил Эсхина. И вот он начал воспитывать его совсем не так, как принято. Был всегда ласков, дружелюбен.

«Я наконец приучил сына, — говорит он, — не скрывать от меня того, что другие делают тайно от отцов — я имею в виду поступки, которые влечет за собою юность... Я уверен, что легче воздействовать на детей добротой, воспитывая в них чувство стыда, чем страхом. Но это возмущает моего брата и не нравится ему. Он часто приходит ко мне и кричит: «Что ты делаешь, Микион? Зачем портишь нам мальчика?»... По моему убеждению, жестоко заблуждается тот, кто уверен, что тверже и устойчивее та власть, которая держится на насилии, а не та, которая скреплена дружбой... Долг отцов — приучить сыновей поступать правильно по собственному почину, а не из страха перед другими. Этим и отличаются отец и деспот. И кто не может этого понять, должен сознаться, что не может управлять детьми» (*Adelph.*, 52—77).

Этот новый метод воспитания не нашел, однако, никакого сочувствия у друзей и знакомых Микиона. А родной отец Эсхина, тот прямо-таки возмущен. Оба брата — Эсхин и Ктесифон — выросли и мало походят друг на друга. Старший, Эсхин, — безрассудный повеса, младший, Ктесифон, — паинька и тихоня. Конечно, младший брат — любимец отца, в нем он совершенно уверен, старшего же постоянно осуждает и ставит ему в пример Ктесифона. Они

представляют собой что-то вроде Тома Сойера и Сида. Сцена открывается тем, что Микион сообщает, что его Эсхин вчера вечером ушел на пирушку, да так и не вернулся. Отца не пугает обычная мысль, что сын влюблен. Он уже привык к тому, что мальчик постоянно находится в этом состоянии. Его беспокоит, что сын простудился, сломал себе ногу и т. д. Пока он занят этими тревожными мыслями, появляется его брат. Даже не поздоровавшись, Демейя сообщает мрачно, но с внутренним торжеством ошеломляющую новость. Эсхин ворвался в чужой дом, выломал дверь, избил хозяина и силой увел приглянувшуюся девушку. Вот к чему ведет вредное баловство. Разве Ктесифон мог бы так поступить?

Микион делает вид, что относится легко к этой новости, на деле же он очень огорчен, просто не хочет дать Демее повод торжествовать. Только оба брата уходят, на сцену врывается шествие: впереди идет Эсхин, держа за руку девушку. За ним с воплями бежит сводник. Девушка плачет, Эсхин ее успокаивает: он не отдаст ее своднику. В конце концов скандал улегся. Эсхин платит деньги*, и сводник удаляется. И тут вбегает брат-паинька Ктесифон и что же выясняется? Оказывается, девушка — его любовница. Брат только из дружбы принял на себя всю вину, позор и вызволил для него его милую. Сейчас Ктесифон нежно благодарит брата — их связывает самая тесная дружба; он счастлив, но боится отца. Вдруг тот узнает правду? Эсхин его успокаивает — он все возьмет на себя.

Оказывается, Ктесифон такой же, как Эсхин, просто страх сделал из него лжеца и притворщика. Этого мало. Страх сделал его трусливым и робким. Действительно, всю комедию он сидит, запершись в кладовке, и дрожит. А все делает за него брат.

Итак, Ктесифон прячется, а между тем происходят следующие события. У Эсхина, оказывается, есть в городе возлюбленная, бедная приезжая девушка.

* Чего никогда не сделал бы ни один герой Плавта, ибо, во-первых, у него нет денег, а во-вторых, он не даст их никогда своднику.

Сейчас она ждет уже ребенка. Эсхин мечтает на ней жениться, но боится отца. Юноша решил, что, как только у него родится ребенок, он понесет его к отцу и вымолит себе разрешение на брак. А пока каждый день ходит к своей милой.

В тот роковой день, когда происходит действие пьесы, Памфиле — так зовут подругу Эсхина — пришло время рожать. В доме, кроме нее, только мать и старуха кормилица. Их единственный раб куда-то пропал. Обе женщины боятся уйти из дома за врачом, чтобы не оставить Памфилу одну. Они с нетерпением ждут Эсхина, чтобы послать его за бабкой. Но Эсхина именно сегодня как назло нет. Мы-то знаем, что он в этот момент взламывает дверь у сводника. И тут вдруг прибегает их раб Гета и сообщает ужасную новость: ждать нечего. Они брошены. Эсхин похитил у сводника красавицу Вакхиду и ввел ее в свой дом. Можно представить себе отчаяние несчастных женщин! Отчаяние придает им силы. Они решают требовать возмещения у родителей обманщика.

Об этом новом скандале тут же узнает Демей. Новое преступление Эсхина. У него еще, оказывается, незаконный ребенок. И он идет, чтобы открыть глаза брату. Но Микион успел уже все узнать. Он выяснил, чья же возлюбленная Вакхида. Более того, он решил позволить Эсхину брак с Памфилой. Услыхав, что брат хочет женить сына на бесприданнице, да еще держит у себя в доме Вакхиду, Демей решает, что Микион спятил.

Видимо, уже вечер. К дому Памфилы медленно подходит Эсхин. Он устал за этот день: ломал двери, сражался со сводником, истерзался сердцем за свою Памфилу, которая, может быть, в эту минуту рождает, и, наконец, встретил по дороге кормилицу с бабкой. Он, конечно, тут же кинулся к ней и в невыразимом волнении стал спрашивать: как Памфила? Что? Началось? А она шарахается от него, как от зачумленного. Эсхин тут же понял, в чем дело. Они узнали про Вакхиду. Положение безвыходное. Сказать правду — предать брата. Не сказать — проститься со счастьем. И Эсхин в совершенном отчаянии, измученный, са-

дится на ее порог, хватается за голову и поет арию — ох, душа болит*

В конце концов он решает постучаться. И всегда-то он дрожит, касаясь ее дверей. А сейчас и подавно. Вдруг перед ним появляется Микион. Охваченный страхом Эсхин уверяет, что и не думал стучать. Отец, которому все известно, решает его разыграть. Он говорит, что мать девушки обратилась к нему за советом. И он будто бы уже приискал для нее подходящего жениха. Тут Эсхин уже больше не может сдерживаться. Он открывает отцу сердце. Микион ласково успокаивает его, дает согласие на свадьбу и уходит.

Пьеса кончается счастливо. Эсхин женится. Демей узнает правду и увозит Ктесифона с подружкой в деревню, чтобы они там работали и хоть так приносили пользу.

Такова эта комедия. Она, несомненно, самая увлекательная, яркая и живая из всех пьес Теренция. Что до морали, то она так ясна и понятна, что не нуждается в комментариях. И все же читатель, дойдя до конца, не может отделаться от тяжелого недоумения, которое не проходит и после того, как он закрыл книгу. Дело в том, что комедия кончается не веселой свадьбой, как следовало бы ожидать. Нет. Ее завершает поистине удивительная сцена. Такая удивительная, что я позволю себе привести ее почти полностью.

Все уже близится к счастливому концу. На сцене мы видим обоих стариков — Демей и Микиона — и молодого героя Эсхина.

Демей:

— Начнем с того, что у его жены (*указывает на Эсхина*) есть мать.

Микион:

— Да. Что же дальше?

Демей:

— Честная и скромная женщина.

Микион:

— Да, так говорят.

* Древние комедии на $\frac{2}{3}$ состояли из песен — арий и речитативов.

Демя:

— Уже пожилая.

Микион:

— Да, я знаю.

Демя:

— Она уже не сможет рожать. И нет никого, кто о ней позаботился бы, — она совсем одна.

Микион (в сторону):

— Что он затевает?

Демя:

— Справедливость требует, чтобы ты женился на ней. (*Эсхину*.) А ты должен похлопотать об этом деле.

Микион:

— Жениться?! Мне?!

Демя:

— Да, тебе.

Микион:

— Мне?!

Демя:

— Тебе, конечно.

Микион:

— Бред!

Демя (Эсхину):

— Был бы ты мужчиной, он уступил бы.

Эсхин:

— Отец!..

Микион:

— Зачем ты-то еще, осел, его слушаешься?!

Демя:

— Ничего не поделаешь, иначе нельзя.

Микион:

— Ты спятил!

Эсхин:

— О позволь я упрошу тебя, отец!

Микион:

— Да ты с ума сошел! Отстань!

Демя:

— Послушай, уступи сыну!

Микион:

— Да ты в уме? Чтобы я в 65 лет стал женихом и же-

нился на дряхлой старухе? И вы мне это предлагаете?

Эсхин:

— Ну, пожалуйста, я уже им обещал.

Микион:

— Обещал?! Будь щедр в своем, молокосос!

Демей:

— Оставь! Неужели ты откажешь сыну? А если бы он попросил о чем-нибудь посерьезнее?

Микион:

— Да что может быть серьезнее!

Демей:

— Уступи!

Эсхин:

— Не упрямясь!

Демей:

— Послушай, соглашайся!

Микион:

— Отстань!

Эсхин:

— Нет, не отстанем, пока не упросим тебя.

Микион:

— Это просто насилие!

Демей:

— Ну смилостивись, Микион!

Микион:

— Это нелепо, глупо, абсурдно, это так не соответствует моему образу жизни, но, если уж вы так этого хотите, я согласен.

Эсхин:

— Спасибо! Недаром я тебя люблю!

Демей (в сторону):

— Я бью его его же оружием.

(Входит Сир.)*

Сир (Демее):

— Все, что ты приказал, исполнено.

Демей:

— Ты честный малый. *(Микиону.)* Ей-ей, мне кажется, нужно сегодня же освободить Сира.

Микион:

* Раб-бездельник, который пьянствовал всю пьесу.

— Его освободить? Да за что же?

Демя:

— За очень многое.

Сир:

— О Демя, клянусь, ты достойнейший муж! Ведь я этих вот обоих мальчиков пестовал с детства. Учил, делеял и как мог наставлял на добро.

Демя:

— Ясное дело. И потом заметьте: приводить шлюх, готовить вечеринку среди бела дня — это немаловажные достоинства у человека.

Сир:

— Чудесный муж!

Демя:

— ...Его надо наградить по справедливости. Тогда и другие рабы станут лучше. И, наконец, он (*указывает на Эсхина*) хочет этого.

Микион (Эсхину):

— Ты хочешь этого?

Эсхин:

— Жажду.

Микион:

— Ну раз вы этого хотите — Сир, подойди ко мне, ты свободен!

Сир:

— Очень благодарен. Спасибо вам обоим, особенно тебе, Демя.

Демя:

— Я рад за тебя.

Эсхин:

— И я.

Сир:

— Спасибо. Но, чтобы эта радость стала бесконечной, я бы хотел, чтобы и мою жену Фригию освободили со мной.

Демя:

— Замечательная женщина.

Сир:

— И потом, она сегодня первая дала грудь твоему внуку, его вот сыну (*кивает на Эсхина*).

Демя:

— Ну, клянусь Геркулесом, если уж она дала первая грудь, ее, разумеется, надо освободить.

Микион:

— Только из-за этого?

Демя:

— Из-за этого. А если дело в деньгах, возьми у меня, наконец.

Сир:

— Пусть боги исполнят все твои желания, Демя!

Микион:

— Ну, Сир, тебе сегодня здорово повезло!

Демя:

И потом, Микион, ты выполнишь свой долг и дашь Сиру немного денег на руки, он быстро отдаст.

Микион:

— Ни вот столечко не получит!

Демя:

— Он честный малый.

Сир:

— Я отдам, клянусь Геркулесом, только дай!

Эсхин:

— Ах, отец!

Микион:

— Я подумаю.

Демя:

— Он вернет.

Сир:

— О великий муж!

Эсхин:

— Мой дорогой, дорогой отец!

Микион:

— Что происходит? Что так внезапно изменило твой характер? Что за фантазия? Откуда такая щедрость?

Демя:

— Я объясню тебе: я хотел показать, что они почитают тебя милым и покладистым не потому, чтобы ты вел правильную жизнь или был разумно добрым, но потому только, что ты им потакаешь, поддакиваешь и даешь деньги, Микион.

Что означает вся эта сцена? Несомненно, перед нами тонкая, очень продуманная пародия на всю пьесу. Здесь дана карикатура, причем довольно ядовитая, на все приемы Микиона и поведение Эсхина. При этом выясняется, что мудрец Микион просто жалкий, безвольный человек, который идет на поводу у своего сына и бездумно потакает его прихотям. Сам же молодой герой, его многообещающий сын, — самый отъявленный эгоист, который ни во что не ставит счастье и спокойствие своего отца и немедленно предает его ради Деми, как только это становится более выгодным. Смысл этой сцены прекрасно выражен в заключительных словах Деми: «Я хотел показать, что они почитают тебя милым и покладистым не потому, чтобы ты вел правильную жизнь или был разумно добрым, но потому только, что ты им потакаешь, поддакиваешь и даешь деньги». Эти слова мог бы сказать про себя автор последней сцены: он хотел показать именно это.

Но зачем же она написана? Зачем было Менандру высмеивать свою заветную мысль и, по греческому выражению, расплести ткань, которую он плел всю жизнь? И тут мы узнаем поразительный факт. Оказывается, сцены этой нет в греческом оригинале, она целиком придумана латинским автором¹¹. Но зачем? Невольно напрашивается мысль, что авторов, или одного из них, стала невыносимо раздражать мораль пьесы и ее герои. И когда перевод был окончен, беснасмешки овладел им, он схватился за перо и несколькими твердыми, уверенными штрихами создал пародию. Кто же этот автор?

Это покрыто мраком. Но некоторые черты этого человека мы можем воссоздать. Он насмешлив. Насмешка его необычайно тонка. Например, его слова о Сире: «Его надо наградить по справедливости. Тогда и другие рабы станут лучше... заметьте: приводить шлюх, готовить вечеринку среди бела дня — это немаловажные достоинства у человека». Такого рода насмешки, когда под видом похвалы преподносят горчайшую пилюлю, Цицерон называет греческим словом «ирония». Это, говорит он, «утонченное при-

творство, когда говоришь не то, что думаешь», и «с полной серьезностью дурачишь всех своей речью, думая одно, а произнося другое» (*Cic. De or., II, 269*).

Далее. Выражается этот автор немножко резко — слова «осел»¹², «шлюхи» (в подлиннике сказано сильнее) довольно часто срываются с его языка. Между тем до того Микион был образцом любезности. Узнав о диком дебоше Эсхина, он говорит только: «Все-таки Эсхин этим причинил мне некоторую неприятность» (*Adelph., 147—148*). Объясняя свою мягкость, он замечает: «Я не могу ничего изменить, поэтому терплю все спокойно» (*ibid., 736—737*). Более того. Даже сам ворчливый Демей выражался не так резко.

Все это до деталей подходит к одному из молодых авторов, к Публию, которого друзья так и называли *εἰρων*. С резкостью же его языка читатель скоро познакомится. Не могу отделаться от впечатления, что, пока они все вместе переводили и сочиняли, Сципион то и дело отпускал колкие замечания, а в конце написал блистательную пародию. Хочу, кстати, отметить одну восхитительную деталь: Микиона в виде самого страшного наказания женят на «дряхлой старухе». Между тем невесте Эсхина лет 15—16, значит, матери ее 35—36 лет! Но юному автору она казалась ужасно старой. Однако почему все же Сципион написал последнюю сцену? Чем не понравилась ему комедия?

Начну с проблемы строгих отцов, которая так занимает Теренция. Откуда у авторов такой интерес к ней? На первый взгляд кажется, что ничего не может быть естественнее. Ведь они молоды, а молодым людям всегда кажется, что старики их угнетают и дают мало свободы. И все-таки, если вдуматься, в этом есть нечто странное. Дело в том, что Теренций был раб, а потому вообще не знал своих родителей. Сципион имел отца любящего и доброго. Кроме того, он перешел в другой род, приемный отец его рано умер, и он жил вполне самостоятельной жизнью. В то время, когда писались пьесы, он раздавал наследства, выплачивал приданое, словом, был главой семьи, а во-

все не жалким запуганным юношей. Что до Лелия, то уже в 163 году он был женат, то есть тоже жил самостоятельной жизнью. Причем женился по любви, а не по отцовской указке.

Но может быть, Сципион как раз принадлежал к типу свободных и смелых юношей, как Эсхин, и он думал и писал не о себе, а о своих многочисленных друзьях — несчастных Ктесифонах, стонущих под тяжким игом отцовской власти. Но тут выясняется весьма любопытный факт. Та свободная жизнь, о которой только и вздыхает Ктесифон и которой достиг счастливец Эсхин, очень напоминает жизнь римской золотой молодежи, от которой с отвращением отвернулся Сципион. В самом деле, как жил Эсхин, этот «правильно воспитанный юноша»? Он пьянствовал, устраивал бесконечные пирушки среди бела дня, душился дорогими благовониями и тратил уйму денег на наряды (*Adelph.*, 117, 63, 965). Он был в связи со всеми гетерами в округе (*ibid.*, 150). Ничем, кроме удовольствий, он не интересовался.

А как смотрит на это его «правильный» отец? Вот что он говорит Демее:

— Мне кажется, для юноши не позорно развратничать, пьянствовать и даже выламывать двери. И если ни я, ни ты не делали этого, то потому только, что нам мешала бедность (*ibid.*, 101—104).

Вот, оказывается, как. Значит, только отсутствие денег — причина нравственного поведения. А более ничего. А ведь Публий Сципион, у которого денег было больше, чем у Микиона и Демеи вместе взятых, и который мог в юности поступать, как ему вздумается, с презрением отвернулся от подобной жизни. Как посмотрели бы на этот феномен Эсхин и его отец? И как сам Сципион должен был относиться к подвигам Эсхина и поучениям Микиона? Ведь не бедность и не строгий отец стояли над ним, но он сам, по римскому выражению, был для себя цензором.

Полибий описывает увеселения римской молодежи следующим образом: «Молодые люди отдавались со страстью любовницам... другие увлекались... пьянством и расточительством... Распущенность как

бы прорвалась наружу в описываемое время... вследствие прилива из Македонии в Рим больших сумм денег... Но Сципион усвоил себе противоположные правила поведения» (*Polyb., XXXII, 11, 4—8*).

Кажется, что оба — и Полибий, и Теренций — описывают одно и то же, даже оба упоминают о деньгах, но для одного — это отвратительное и безобразное зло, для другого же «в нем нет позора». Мне совершенно ясно, что, если бы Сципион встретил в жизни такого Эсхина, который доблестно разбил двери публичного дома и подрался со сводником, он, конечно, назвал бы его никчемным шалопаем. Теперь нам понятно, что и Эсхин, и его отец должны были вызывать в этом чистом, гордом юноше гадливое презрение. И в ответ на все восторги автора по поводу героического поведения этого молодого человека он насмешливо замечает: «Конечно, приводить шлюх, готовить вечеринку среди бела дня — это немаловажные достоинства у человека».

Теперь мы понимаем, как он относился к героям Менандра и почему решил зло высмеять их в последней сцене. Но тут же встает следующий вопрос. Так зачем же он писал комедии на такие странные, чуждые ему сюжеты? Казалось бы, он скорее должен был изобразить среди всего этого мира пустых и падких до удовольствий юношей одного, который чуждается их жизни, который превосходит их нравственной силой и которому открыты иные, высшие наслаждения. Что же заставило Лелия и Сципиона писать о столь далеких им по духу юношах? Чем эти герои были им близки?

Дело в том, что тут кроется одна коренная ошибка современного человека. Мы рассуждаем обычно так: «Раз Теренций писал такие-то комедии и раз римляне с увлечением их смотрели, значит, в жизни происходили вещи весьма похожие на описываемые им события. Перемени греческие имена на римские — и мы получим картину жизни молодежи круга Сципиона». Между тем взгляд этот совершенно неверен. Мы воспитаны на реалистической литературе XIX века и воображаем, что всякий автор непременно пишет с

натуры. А ведь реализм далеко не всегда был в чести. Европа пришла к нему только в XIX веке.

В XVIII веке писали про пастухов и пастушек. И вот кавалеры и дамы, затянутые в корсеты, в огромных кринолинах, в ботинках на таких высоких каблуках, что в них можно было двигаться только по гладкому полу, с фальшивыми волосами, осыпанными пудрой, жившие в роскошных дворцах, окруженных садами, в которых естественности осталось не больше, чем в них самих, читали о невинных пастухах и пастушках, живших в полях на лоне природы.

Потом в моду вошли пираты. Жители душных пыльных городов писали о нестерпимо синем небе, о людях с кинжалами за поясом, мчавшихся по голубому морю под черным флагом. А в эпоху Возрождения увлекались рыцарскими романами — именно тогда, когда не осталось ни одного живого рыцаря. В наши же дни литература перенесла свои действия на Марс и Венеру. Нечто подобное было и в эпоху эллинизма. Рафинированные городские жители, обитатели огромной космополитической Александрии, искушенные в интригах роскошного двора Птолемеев, писали, однако, не о городе и не о дворе, а об идиллических пастухах и пастушках, пасших своих белых барашков в счастливой Аркадии. В I веке до н. э. все зачитывались романами, где были страшные пираты, восточные деспоты, человеческие жертвы — словом, все что угодно, кроме того, что окружало людей в жизни.

Так было и с театром. Римляне заимствовали сюжеты у современных им греческих пьес. В Элладе того времени ставили почти исключительно трагедии Еврипида и комедии Менандра и его единомышленников. Менандр жил в эпоху после Александра. В те дни греки ощущали бесконечную усталость от смут и войн, чувствовали глубокое отвращение к политике и их стало тянуть под утешительную сень садов Эпикура. И тогда Менандр стал писать новые комедии, отвечавшие новым вкусам. Он, разумеется, ни слова не говорит о надоевшей всем политике. Он целиком ушел в тихую семейную жизнь. Взаимоотношения отца и сына, жены и мужа, свекрови и невестки, лю-

бовника и любовницы — вот что его интересовало. Он описывал средний круг добропорядочных греческих обывателей. Он больше не требовал героических подвигов, он рисовал обыкновенных людей, обыкновенные характеры — пусть в юности молодые люди ходят к гетерам и сводникам, они остепенятся и станут хорошими, крепкими хозяевами, говорит он. Самое ужасное для его героев — военная служба. В армию можно пойти только с отчаяния, если отец запрещает видеться с куртизанкой. Каждая пьеса заключала в себе спасительную мораль, которая радовала добропорядочных зрителей.

Плутарх прямо пишет, что комедии Менандра очень подходят для людей семейных и солидных. «Совращение девушек благопристойно завершается свадьбой. Любовь к гетере, дерзкой и корыстолюбивой, пресекается вразумлением и раскаянием юноши, а гетера, благонравная и любящая, оказывается дочерью свободного» (*Plut. Conviv., VII, 8*). «Все это, — заключает он, — пожалуй, и не вызовет интереса у людей, чем-нибудь озабоченных, но за вином... изящество и стройность комедий содействуют хорошему настроению, воспитывают нравы в сторону благородства и гуманности» (*ibid.*).

Сюжет с различными вариациями сводился обычно к следующему. Сын влюбляется в рабыню сводника или просто бедную девицу, не афинянку по происхождению. Отец противится этой страсти, сыну помогает ловкий и хитрый раб, а в конце, ко всеобщему удовольствию, девица оказывается полноправной гражданкой, в детстве похищенной пиратами.

Вот эти-то пьесы и перешли на римскую сцену. Трудно представить себе что-нибудь печальнее этой картины. Еще с трагедиями дело обстояло не так плохо. Ведь Еврипид рассказывал о человеческих страстях, а тема эта вечная. Каждый поймет страдание Медеи, брошенной мужем, или Федры, безнадежно влюбленной в Ипполита. Поэтому трагедии в подновлениях не нуждаются, зато комедии устаревают, шутки в них стараются модернизировать. А тут по иронии судьбы случилось так, что молодому, воинст-

венному народу преподнесли создание уставшей, одряхлевшей музыки. Римляне смысл жизни видели в войне, они воевали непрерывно, и мысли их, естественно, вертелись вокруг сражений. А в комедиях надо было молчать про войну и делать вид, что боишься ее, как огня. Римляне переживали свою героическую эпоху, их характеры отличались силой и цельностью. Они готовы были отдать самое дорогое на свете, самую жизнь ради родины или славы (*Polyb., VI, 54, 3—55*). И вот таким людям надо было переживать за судьбу робких юношей Менандра и из комедии в комедию наблюдать, как они изнывают под дверями сводника!

Наконец, римляне были насквозь политизированы. Они дневали и ночевали на Форуме; речи ораторов, новые законы, борьба политиков, судебные дела — вот что занимало их воображение. Даже золотая молодежь, устраивавшая такие кутежи, которые и не снились бедняге Эсхину, буквально бредила политикой. Нечто подобное было в Афинах времен Аристофана. Но Аристофан и писал *политическую* комедию. Ведь и в его время юноши влюблялись, случилось, вероятно, и в неполноправных гражданок. Но он не писал об этом, а вместо того говорил о Клеоне, Сократе или Алкивиаде. В Риме, когда друг Сципиона Люцилий решил написать в насмешливых стихах о том, что действительно интересовало людей, он не стал говорить о сводниках и похищенных девицах, а вместо того заговорил о политике, о нравах, об ораторах и красноречии.

И вот римляне стали смотреть на театр как на милую забаву, в которой нет ничего серьезного. Сколько событий случилось после Ганнибаловой войны! Спорили эллинофилы и мизэллины, выступал со своими обличениями Катон, возвышались и падали политики, а в комедии одинаковые юноши все так же плакали у дверей сводника. Комедия превратилась для римлян в рассказ о какой-то условной театральной Греции — Греции «плаща», ведь действие непременно переносилось в Аттику и герои носили греческие имена. Это было что-то вроде театральной Испа-

нии, где вечно поют серенады и похищают девиц. Но зрители, насмотревшись всех этих чудес, вовсе не собираются идти с гитарой под окна соседки, похищать ее и драться на шпагах с ее ревнивым братом.

Вот как случилось, что Сципион и Лелий занялись переделкой пьес Менандра. Они были веселы, им хотелось комедий. А комедия существовала только одна — новоаттическая. Из всех авторов новой комедии Менандр был самым изящным, тонким и изысканным. Они и выбрали Менандра. Им нравилась увлекательная интрига, чистый красивый язык, философские размышления и тонкий юмор. А как сладостно, наверно, было двадцатилетним юношам увидеть свою пьесу на сцене, когда под звуки музыки ярко и забавно одетые актеры пели звонкие стихи, сочиненные ими! Кроме того, для Сципиона, вероятно, особую прелесть заключала в себе сама мысль мистифицировать друзей и знакомых.

К героям они не относились серьезно и не думали о них. Им, быть может, даже нравилось, что описывается какая-то другая жизнь, так непохожая на римскую — без Форума, без судов, клиентов, войн, магистратур — словом, без всего, чем жили их сверстники. В этом они находили какую-то своеобразную экзотику, какую-то фантастичность и нереальность. Сципион вообще увлекался фантастическими сказками о волшебных странах: он зачитывался «Киропедией», любил путешествие Пифея.

Но постепенно мир греческих мещан стал надоедать римским аристократам. Душа их жаждала чего-то другого, их идеалы были так далеки от скромных и скучных идеалов героев Менандра. Кроме того, Сципион начал подмечать в своих персонажах те черты, которые так ненавидел в современниках. Он осознал всю странность того, что он, образец воздержанности, или Лелий, любивший всю жизнь одну женщину, спокойно пишут об Эсхине, посещавшем всех окрестных куртизанок и ломавшем двери у сводника. Теперь пьесы уже не казались ему приятными сказками. После того как он написал заключительную сцену «Братьев», ему уже невозможно стало вернуться к ко-

медиям Менандра. И действительно, пьеса стала последней комедией Теренция. Эта страница его жизни была навеки закончена. Как ни странно, одновременно закончилась целая страница римской культуры. Теренций был последним великим римским комедиографом. Новоаттическая комедия надоела Риму точно так же, как надоела она Сципиону.

VII

«Братья» были поставлены на погребальных играх Люция Эмилия Павла.

Павел прожил восемь лет после своей великой победы. В конце жизни он был обласкан народной любовью. В 164 году он стал цензором. А вскоре захворал. Врачи прописали ему переменить климат. Старый полководец удалился из Рима и долго жил в поместье близ Элеи Итальянской на берегу моря, в тишине и покое. «Римляне тосковали по нему, и часто в театрах раздавались крики, свидетельствовавшие об их упорном желании снова его увидеть. Однажды предстояло жертвоприношение, настоятельно требовавшее его присутствия, и так как Эмилий чувствовал себя уже достаточно окрепшим, он вернулся в Рим. Вместе с другими жрецами он принес жертву, окруженный ликующей толпой, а назавтра снова совершил жертвоприношение, на этот раз один, в благодарность богам за свое исцеление; закончив обряд, он возвратился к себе, лег в постель и тут неожиданно, даже не осознав, не почувствовав совершившейся перемены, впал в беспамятство, лишился рассудка и на третий день скончался, достигнув в жизни всего, что, по общему убеждению, делает человека счастливым» (*Plut. Paul.*, 39).

Как уже говорилось, сыновья, носившие его имя, умерли, и единственными наследниками его были Фабий и Сципион. Они же взяли на себя все хлопоты по погребению. И вот тело Эмилия Павла было положено в атриуме на погребальном ложе, ногами к выходу, убрано ветвями печального кипариса, и весь Рим приходил, чтобы с ним проститься. Между тем

сыновья его казались погруженными не только в глубокую печаль, но и в тяжкие заботы. Причиной были денежные дела. Полибий проявляет такую поразительную осведомленность, настолько хорошо, до малейших деталей знает все дела наследников Эмилия Павла, что, очевидно, он был неперменным участником их маленького семейного совета. И неудивительно. Он был любопытным греком и никогда не упустил бы подобного зрелища — похорон знатного римлянина. А теперь у него были особые причины. Ведь это касалось его воспитанника — а все его дела были теперь кровными заботами самого Полибия.

Эмилий Павел оставил наследство в 60 талантов (*Polyb.*, XXXII, 14, 3). Это, как узнал Полибий, считалось в Риме не слишком большой суммой. Но дело было в другом. Надо было выдать приданое его вдове. А это составляло 25 талантов, то есть почти половину всего наследства. Между тем денег у Эмилия не оказалось. Все его имущество заключалось в родовых поместьях. Сципион был не таким человеком, чтобы откладывать хотя бы на день уплату долга, а потому молодые люди решили продать часть земли и кое-какую утварь (*Polyb.*, XVIII, 35, 6; XXXII, 8, 4). Полибия это поразило. Он не верил своим ушам. Как?! У полководца, завоевавшего Македонию, нет денег! «Люций Эмилий, — говорит он, — ...сделался распорядителем царства македонян и нашел там в одних только казнохранилищах, не говоря уже о разной утвари и других богатствах, больше шести тысяч талантов» (*Polyb.*, XVIII, 35, 4). И вот, оказывается, римский полководец не взял себе ничего, ни асса. Это совершенно не укладывалось в голове у Полибия. Снова и снова обходил он печальный дом, украшенный ветвями темного кипариса, и повсюду видел суровую скромность, почти бедность. Не только ни одной драгоценности, но даже ни одной безделушки не было здесь из Македонского дворца. Эмилий Павел, совершенно равнодушный к подобным вещам, даже не полюбопытствовал взглянуть на великолепные царские сокровища и приказал все их отдать в казну. Поли-

бий так часто рассказывает об этом, всякий раз с неслабевающим удивлением, так горячо уверяет греческих читателей — римские и так знают истину, — что все это вполне возможно по римским нравам, что постепенно понимаешь, что поведение Павла казалось грекам настоящим чудом.

Между тем у молодых друзей Полибия возникли новые трудности. Историк с изумлением узнал, что похороны и поминки знатного римлянина стоят безумно дорого. И неудивительно. Пригласить надо было весь Рим. Народу собиралось столько, что иной раз приходилось накрывать столы прямо на Форуме — ни один дом не мог вместить такую толпу. Надо ли говорить, что закуска и сервировка должны были быть достойны имени умершего. А на девятый день еще устраивались представления и игры, и, видимо, опять угощение. «Все издержки на празднество, если желали сделать его блестящим, превышали тридцать талантов», — рассказывает Полибий (*Polyb., XXXII, 14, б*). Иными словами, на него должна была уйти оставшаяся половина наследства. Вот почему Катон, разбогатевший на спекуляциях и незаконных махинациях настолько, что, по его собственным словам, сам Юпитер был не в состоянии причинить ущерб его собственности, когда у него умер сын, похоронил его самым дешевым образом, ибо, как он сам заявил, был слишком беден (*Plut. Cat. mai., 21; Liv. ep., 48*). А Эмилий Лепид, верховный понтифик и принцепс сената, перед смертью умолял сыновей не бросать уйму денег на погребение, положить тело на простые носилки и не застилать их драгоценными тканями и пурпуром (*Liv. ep., 48*).

Но в сыновьях Эмилия Павла пробудилась вдруг невероятная гордость — они и мысли не допускали, чтобы их отец был похоронен, как какой-нибудь жалкий бедняк. Фабий заявил, что хочет дать еще и великолепные игры. Но было совершенно неясно, можно ли раздобыть нужные средства, даже пустив с молотка все имущество Павла. Но тут Сципион, который уже отказался от своей доли наследства в пользу брата, поспешил сказать, что внесет нужные деньги из

собственных средств, хотя они были, замечает Полибий, далеко не блестящими. Итак, вопрос был решен.

Наконец настал день похорон. Полибий и не подозревал, какое странное и захватывающее зрелище ему предстоит. Явилась толпа родственников, одетых в черное. Они готовились уже поднять гроб, но тут произошло неожиданное и очень трогательное происшествие. «Все испанцы, лигуры и македоняне, сколько их ни было тогда в Риме (то есть представители всех народов, с которыми воевал Эмилий Т. Б.), собрались вокруг погребального оврага, молодые и сильные, подняли его на плечи и понесли, а люди постарше двинулись следом, называя Эмилия благодетелем и спасителем их родной земли. И верно, не только во время побед римского полководца узнали все его кротость и человеколюбие, нет, и впоследствии, до конца своей жизни, он продолжал заботиться о них и оказывать всевозможные услуги, словно родным и близким» (*Plut. Paul.*, 39).

Погребальная процессия медленно двигалась по улицам Рима, которому Павел посвятил всю свою жизнь. Впереди шли распорядители, музыканты, актеры и плакальщицы — все в черном, — нанятые в похоронной коллегии у храма Либитины. Они пели печальные песни, кружились в торжественной пляске под звуки флейт и труб, за ними шли родичи. На головы Фабия и Сципиона были наброшены черные покрывала. Напротив, их сестры шли с непокрытой головой и распущенными волосами (*Plut. Qu. R.*, 14). Двигались в торжественном молчании. Никто не вопил, не причитал, женщины не голосили, не царапали себе грудь и щеки — римский обычай это запрещал. А следом шел весь римский народ от мала до велика. Сенаторы, магистраты, консулы на этот день оставили все свои обязанности, чтобы проводить великого полководца в последний путь (*Diod.*, 21, 25).

Но не одни они следовали за гробом. Были гости другого рода, при виде которых Полибий должен был вздрогнуть. В доме каждого знатного римлянина хранились восковые маски всех умерших предков, *imagines*. «Изображение представляет собой маску,

точно воспроизводящую цвет кожи и черты покойного». И вот сейчас за гробом шли актеры, наиболее схожие с предками видом и ростом, надев их маски. «Люди эти, — рассказывает историк, — одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или претор, в пурпурные, если цензор, наконец, расшитые золотом, если умерший был триумфатор... Сами они едут на колесницах, а впереди несут фации и прочие знаки отличия, смотря по должности, какую умерший занимал в государстве при жизни. Пришедши к Рострам, все они садятся по порядку на креслах из слоновой кости».

Тело покойного поставили на ноги, чтобы он был виден всем. И «перед лицом всего народа, стоящего кругом», на Ростры взошел Фабий, старший сын и наследник Павла, и произнес речь о заслугах усопшего и о совершенных им при жизни подвигах, обращаясь к живым и мертвым. Затем он начал восхвалять предков, обращаясь к каждому из них по очереди. Полибий говорит, что вид этих оживших предков произвел на него самое глубокое и неизгладимое впечатление. Он смотрел на живых, в благоговейном молчании толпившихся вокруг Ростр, смотрел на мертвых, величественно сидевших вокруг, и, по его словам, понял, почему римляне покорили мир и откуда у них такая доблесть. Когда же он взглянул на бледное, сосредоточенное лицо своего воспитанника и увидел, как Сципион смотрит на предков, он почувствовал, что нет «зрелища более внушительного для юноши честолюбивого и благородного» (*Polyb., VI, 53—54, 1—3*). Он всегда считал Публия очень честолюбивым и не сомневался, что тот сейчас мечтает, что и о его подвигах точно так же будут говорить перед лицом всего римского народа, живого и мертвого.

Так погребали они тело Эмилия Павла.

VIII

Среди друзей Сципиона и Лелия были не только молодые люди, их ровесники. В то время в Риме принято было, чтобы юноши посещали старших, всеми

уважаемых граждан, беседовали с ними, сопровождали их всюду, порой даже переселялись к ним и незаметно учились у них главной, самой бесценной науке — искусству жить достойно. Поэтому наши юные герои часто бывали у Тиберия Гракха, Назики и других почтенных людей. Но среди них особенно выделялся один весьма странный человек — Гай Сульпиций Галл, старинный друг Эмилия Павла (*De re publ.*, I, 23; *De amic.*, 21; 101).

Это был во всех отношениях удивительный человек. Знатный патриций, храбрый воин и мудрый сенатор, он всего себя посвятил наукам. По словам Цицерона, он был восторженным поклонником греческой литературы, «отличался тонким вкусом и любовью к красоте» (*Cic. Brut.*, 78). Но больше всего он любил математику и астрономию. «Мы видели, как в своем рвении измерить чуть ли не все небо и землю тратил последние силы Гай Галл... сколько раз рассвет заставлял его за вычислениями, к которым он приступил ночью, сколько раз ночь заставляла его за занятиями, начатыми утром! Какая для него была радость заранее предсказать нам затмение солнца или луны», — говорит о нем Цицерон устами одного своего героя (*Cic. De senect.*, 49).

Одно из самых ярких воспоминаний ранней юности Сципиона было связано с Галлом.

В ночь перед битвой при Пидне произошло полное лунное затмение. В лагере началась паника. Римляне кричали, призывая луну вернуться, стучали в медные щиты и тазы, протягивали к небу пылающие факелы (*Plut. Paul.*, 17).

— Помню, я был совсем мальчишкой, — рассказывает у Цицерона Сципион. — Отец, тогда консул, стоял в Македонии, и мы все были в лагере. Наше войско охватил суеверный ужас, ибо вдруг ясной ночью полная сияющая луна исчезла. И вот Галл — тогда он был у нас легатом — ...не колеблясь, начал во всеуслышание объяснять, что совсем это не знамение: это явление произошло теперь оттого, что солнце заняло такое положение, что не может освещать своим светом луну, и подобное явление всегда будет проис-

ходить через определенные промежутки» (*De re publ.*, I, 23).

«Римским воинам мудрость Галла казалась почти божественной; македоняне же усмотрели во всем случившемся недоброе знамение, предвестие гибели... Стон и вопли стояли в македонском лагере, откуда луна, вынырнув из мрака, не засияла снова» (*Liv.*, XLIV, 37, 8—9).

Галл ввел своих молодых друзей в столь любимый им мир науки. Фил у Цицерона рассказывает, как он показывал им сферу Архимеда, небольшой планетарий, и объяснял с его помощью устройство звездного неба. «Вид этой сферы не слишком поразил меня, — говорит Фурий, — ...но когда Галл начал с необыкновенной ученостью излагать смысл этого изделия, я понял, что в этом сицилийце был гений больший, чем может вместить природа человеческая... Когда Галл приводил эту сферу в движение, происходило так, что на бронзовом изделии луна сменяла солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней она сменяла его на самом небе, поэтому на небе сферы происходило такое же затмение солнца» (*De re publ.*, I, 21—22).

Не все римляне одобряли ученые занятия Галла. Многим он казался странным чудаком. И особенно Сексту Элию Пету. Элий был знаменитейшим в то время юристом. Поэт Энний назвал его «хитроумнейшим из смертных» (*Cic. De or.*, I, 198—199). Никто не мог с ним сравниться в знании гражданского права (*Cic. Brut.*, 79). Современники в шутку сравнивали его с оракулом Аполлона, который вразумляет, наставляет смертных и объясняет им темные вещи (*Cic. De or.*, *ibid.*). Все судьи не выпускали из рук его записок (*Cic. De or.*, I, 240). Старик любил Галла, но он только качал головой и ворчал, глядя на его математическое рвение. Юрист бормотал известные стихи Энния:

— Наблюдают в небе астрологические созвездия, смотрят, когда взойдет Коза, Скорпион или какой-нибудь другой зверь. Но никто не замечает того, что у ног — все обшаривают небесные страны (*Cic. De re publ.*, I, 30).

Из этих двоих Лелию явно нравился больше Элий. К астрономии он оставался совершенно равнодушен, юриспруденцию же считал очень нужной и полезной наукой. Он охотно посещал старого юриста и учился у него. Сципион же отдавал предпочтение Галлу. Мир звезд неудержимо влек его. Вскоре он стал настоящим специалистом в астрономии и мог часами рассуждать о светилах. Тогда Лелий со смехом прерывал его и говорил:

— Спустись, пожалуйста, с неба (*Cic. De re publ., I, 34*)¹³.

Хотя Лелий в то время серьезно увлекся правом, это не мешало ему, как истому римлянину, вышучивать эту сухую науку и в дружеском кругу пародировать интердикты, дразня профессиональных юристов (*Cic. De re publ., I, 20*).

И в этом также проявилась странная непрактичность Публия. Знание права было необходимо каждому римскому гражданину, но какую пользу могла принести наука о звездах? Сципион же не обращал на подобные пустяки ни малейшего внимания и продолжал спокойно изучать сферу Архимеда.

IX

Наследство, дом, поместья родовые

Он променял на ветры и туманы,
На рокот южных волн и варварские страны.

Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда

Давно прошло то время, когда молодые люди начинают добиваться магистратур и вступают на первую ступень лестницы общественных почестей, вверху которой, как некая манящая цель, блистает консулат. Ровесники и школьные друзья Сципиона давно уже делали карьеру, а Публий продолжал жить своей странной, непонятной всему Риму жизнью, которую делил с ним верный Лелий¹⁴. Вместо того чтобы начать наконец появляться на Форуме, он неожиданно уехал с Полибием путешествовать по Италии¹⁵.

Они проехали по всей стране, осмотрели долину реки Пад и предгорье Альп, где некогда разворачивались грозные и волнующие события Ганнибаловой войны. Они чудесно провели время. Путешествие было удивительно увлекательным, а Полибий был таким интересным собеседником, что мог бы скрасить самую скучную и мучительную дорогу. Историк буквально влюбился в Италию. Больше всего его восхищало сказочное изобилие плодов земных, красота, статность и высокий рост жителей (*Polyb., II, 15, 7*). Он рассказывает, какие баснословно низкие цены в Италии на все продукты питания. Когда по дороге он заходил пообедать в трактир, то бывал поражен тем, что посетители даже не спрашивали о цене того или иного кушанья, а только интересовались, сколько приходится с человека. И вот хозяин, получив всего несколько грошей ($1/2$ асса), уставлял весь стол обильными и вкусными блюдами (*Polyb., II, 15, 1—7*).

Когда они достигли исполинских Альп, Полибий не только внимательно осмотрел окрестности, но решил даже перейти ледяные горы, чтобы найти путь карфагенского вождя. Но последовал ли за ним его воспитанник, неизвестно. По ту сторону Альп они дошли почти до самой Испании, осмотрели Нарбонскую провинцию и, наконец, остановились в прелестном греческом городе Массилии (совр. Марсель), в те дни казавшемся каким-то чудом. Действительно, среди диких и суровых поселений варваров вдруг открывался взору прекрасный эллинский город, окруженный оливами и виноградниками, с театром, гимназиями, город, считавшийся северными Афинами, где впоследствии учились многие римляне (*Strabo, C 179—181*).

Отправляясь в Массилию, Публий имел еще некую тайную цель. Дело в том, что он тогда прочел Пифея. Этот Пифей жил еще во времена Аристотеля, был астрономом, географом и математиком. Но, главное, он был путешественником. В маленьком кораблике он через Геракловы Столпы вышел в Атлантический океан, доплыл до Британии, обошел чуть не всю ее пешком, достиг ледяного океана и открыл какую-то

новую землю, которую назвал Фула. Таким образом, Пифей, по его собственным словам, своими глазами видел всю северную часть Европы до пределов мира (*Polyb., XXXIV, 5, 2, 9; Strabo, C 104*).

Его книги, по-видимому, представляли собой смесь точных географических изысканий (он, например, вычислил широту Массилии) и красочных описаний ледяного севера. Вот, скажем, как он описывает места близ Фулы: там, говорит он, «нет более ни земли в собственном смысле, ни моря, ни воздуха, а некое вещество, сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское легкое. В нем, говорит Пифей, висит земля, море и все элементы, и это вещество является как бы частью целого: по нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле» (*Strabo, C 104*).

Современные ученые во многом верят Пифею, считая его первым путешественником, дошедшим до северных земель. Но, то ли потому, что рассказы его казались невероятными южанам, то ли потому, что Пифей, как это свойственно путешественникам, любил уснащать свой рассказ небылицами, только древние отнеслись к нему скептически. Правда, не все: исключение составлял Эратосфен. Но уж Полибий во всяком случае ни на йоту не поверил Пифею. А вот на Публия книги Пифея произвели сильное впечатление, и он если и не принял всего безоговорочно, то очень заинтересовался. Можно себе представить, как скептический наставник пытался образумить своего слишком поэтического ученика. «Неправдоподобно и то уже, — говорил он, — чтобы частный человек, к тому же бедняк, прошел водой и сухим путем столь большие расстояния» (*Polyb., XXXIV, 5, 7*). То, чем он хвастается, «невероятно было бы для самого Гермеса» (*ibid., XXXIV, 5, 9*). Но Публий продолжал в глубине души питать несбыточные надежды. Вдруг ему удастся найти следы маршрута Пифея, а может быть, его повторить?

Пифей был родом из Массилии. И вот Сципион задумал узнать там о нем подробнее. Но напрасно он, по словам Полибия, расспрашивал буквально всех массилиотов о Британии: никто не мог удовлетво-

рить его любопытство. Сципион и тут не отчаялся. Он продолжал свои расспросы по всему Нарбону (*Polyb., XXXIV, 10, 6*). Увы! Как и предсказывал Полибий, все было тщетно, и юноше пришлось отказаться от своей мечты.

Вероятно, вскоре после возвращения из путешествия к Сципиону неожиданно явились послы из Македонии. Они просили, чтобы он немедленно поехал к ним и помог им уладить какие-то внутренние дела (*Polyb., XXXV, 4, 10—11*). Нас может удивить, что македонцы вручили судьбы своего государства молодому, никому не известному человеку. Между тем ничего нет естественнее. По римскому обычаю, который Ф. Ф. Зелинский называет рыцарственным, полководец, покоривший Риму какую-нибудь область, становился ее патроном. Отныне он обязан был заботиться о том, чтобы те, кого он сделал подданными римского народа, ни в чем не терпели нужду. Эмилий Павел выполнял свои обязанности с такой строгой щепетильностью и с такой искренней добротой, что македонцы давно привыкли смотреть на него как на своего спасителя и защитника. Теперь же они надеялись, что обязанности отца возьмет на себя его сын.

Впрочем, я думаю, что дело тут не только в Эмилии Павле, но и в самом Сципионе. Недаром послы обратились именно к нему, а не к его старшему брату Фабию. У нас есть два разительных факта — в 151 году до н. э. македонцы приглашают к себе Сципиона, а четыре года спустя, в 147 году, греки присылают на помощь римлянам целый боевой флот, как они официально заявили, из дружбы к Сципиону! Каковы же причины такого необыкновенного расположения? Надо думать, эллины и македонцы видели от Публия очень много добра. Действительно. Плутарх сообщает, что Сципион оказывал грекам тысячи услуг из любви к Полибию, а потом еще и к Панетию Родосскому (*Plut. Praecept. polit., p. 814 C*). Мы знаем, как добр он был к бесправному заложнику Полибию. Но в Риме были сотни людей, оказавшихся в таком же положении. Многие из них были личными друзьями Полибия. Легко себе представить, что названный отец

приводил к Публию всех этих греков и они находили неизменно ласковый прием в этом милом и гостеприимном доме. Он помогал, как мог, и ахейцам, и родосцам. А в 150 году добился наконец для ахейских заложников разрешения вернуться на родину. И, конечно, эллины, возвращаясь домой, рассказывали о великодушии и удивительной сердечности этого римлянина.

Поездка в Македонию показалась Публию чрезвычайно заманчивой. Она была и лестной, и почетной и, главное, очень интересной. Ведь можно было вновь посетить Грецию, где он был всего один раз совсем мальчишкой. Итак, он стал собираться. А между тем в Риме произошли неожиданные события.

Началась война в Испании. То есть, собственно говоря, она, то тлея, то вспыхивая, горела не переставая последние 50 лет. Сейчас же она грозила разрастись в настоящий пожар. На сей раз мятеж подняли три испанских племени, среди которых первое место занимали беспокойные и всегда враждебные Риму араваки. Консулу Марцеллу, командовавшему в Иберии, как будто удалось их успокоить, и он, утомленный суровой и мучительной войной, предложил Риму заключить мир. Но это намерение привело в ужас все союзные Риму испанские племена. Они клялись и божились, что поведение араваков не более чем лукавство, что стоит Риму вывести из страны армию, как их сметут с лица земли, вырежут поголовно, и умоляли римлян продолжать боевые действия.

Квириты были в мучительных колебаниях. Мнения разделились — одни настаивали на мире, другие были за войну. Наконец победили последние. Решено было послать в Иберию новое большое войско. Среди тех, кто голосовал за войну, был и Публий Сципион (151 г. до н. э.) (*Polyb.*, XXXV, 2—3, 4, 8).

Тем временем римляне были повергнуты сначала в смущение, затем в ужас. Дело в том, что Рим столкнулся с совершенно новым для себя видом войны — с партизанской борьбой в дикой горной стране. Полибий называет такую войну огненной. «Огненную войну начали римляне с кельтиберами, — говорит

он, — так необычны были ход этой войны и непрерывность самих сражений. Действительно, в Элладе или в Азии ведомые войны кончаются, можно сказать, одной, редко двумя битвами... В войне с кельтиберами все было наоборот. Обыкновенно только ночь полагала конец битве... Зима не прерывала войны. Вообще, — заключает историк, — если кто хочет представить себе огненную войну, пускай вспомнит только войну с кельтиберами» (*Polyb., XXXV, 1*).

И вот в Рим стали приходиться страшные известия об огромных потерях и трудностях войны (*ibid., XXXV, 4, 2*). Все знали, что даже консул Марцелл бледнеет, говоря о войне в Испании, и вдруг всеми овладел панический ужас. Дошло до того, что молодежь стала уклоняться от набора. Чтобы оценить значение этого явления, надо вспомнить, что римляне были самым воинственным народом на свете, что мир казался им скучен, что храм Януса, который запирался, когда кончались войны, был закрыт только один раз за всю их историю — а именно при добром царе Нуме, наследовавшем Ромулу, что, когда объявлялся набор, на каждую должность приходила целая толпа людей, и вообще, они нуждались не в хлысте и шпорах, а в узде. И вот теперь эти самые римляне уклонялись от набора!

Ни доводы, ни угрозы не помогали. И вот, когда отцы буквально сторали от мучительного стыда, в сенат неожиданно явился Публий Корнелий Сципион. Он спокойно и твердо заявил, что пришел записаться в набор и готов поехать в Испанию в любой должности.

— Правда, — сказал он, — для меня лично было бы безопаснее и выгоднее ехать в Македонию, однако нужды отечества значат больше, и всякого, жаждущего славы, они призывают в Иберию.

Сенат был поражен, услышав такое предложение, да еще из уст человека, которого все считали далеким от общественной жизни. Разумеется, он тут же был зачислен офицером в испанскую армию.

И самое удивительное — Сципион совершенно изменил настроение в Риме. «Велико было восхищение

Сципионом... с каждым днем оно становилось все больше... Молодые люди, робевшие раньше, теперь из боязни невыгодного сопоставления одни спешили предложить свои услуги военачальникам в звании легатов, другие целыми толпами и товариществами записывались в военную службу» (*Polyb., XXXV, 4*).

Итак, книги, рисунки, стихи, астрономические сферы были брошены. Публий ехал на войну в дикий край. Верные Полибий и Лелий, которые считали, что их судьба неразрывно связана с судьбой Сципиона, последовали за ним в Испанию¹⁶.

РИМСКИЙ ВОИН

*Римлянин на войне. Почетные венки.
Дипломатия и переговоры. Дисциплина.
Осада и штурм.*

Ut superbas invidiae Carthaginiis
Romanus arces ureret.

*(Hor. Epod., VII)**

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога.

А. С. Пушкин

I

Испания мало изменилась со времени Великого Сципиона. По-прежнему то была суровая страна с диким населением, придерживавшимся жестоких обрядов, вплоть до человеческих жертвоприношений. По-прежнему в этой мрачной пустыне, словно оазисы, поднимались приветливые греческие города побережья и римская колония Италика, основанная Публием Африканским Старшим. Наш герой и его друзья быстро убедились, что в зловещих слухах, которые ходили об этой сумрачной стране, не было ни капли преувеличения. Варвары уходили в горы, унося с собой продовольствие и угоняя скот (*App. Hiber., 52 — 53*). Римляне шли по печальной пустыне. От непрерывных трудов, дурной пищи и напряжения они

* «Чтобы римлянин сжег надменные башни завистливого Карфагена». Гораций. Эподы.

выглядели усталыми и осунувшимися. Уже много ночей они не смыкали глаз (*ibid.*, 54). Вот в какой утрюмый и неприветливый край судьба забросила того, кто еще так недавно казался всецело погруженным в служение музам и далеким от нужд обыденной жизни!

Но не это тяжелым камнем лежало на сердце Сципиона. Он, которого когда-то называли ленивым, вялым и лишенным римской энергии, мог выносить холод, палящий зной, ветер, дожди, голод, бдения и всевозможные лишения с таким спокойным, неколебимым мужеством, что поражал даже видавших виды солдат, а его отвага вызывала изумление и у врагов, и у друзей. Нет, он мог бы вынести во сто крат большие беды. Дело было в другом.

Консул Лукулл, под началом которого он служил, был никчемнейшим человеком — бездарным, наглым, алчным и лживым¹⁷. В Испанию он приехал, привлеченный слухами о ее сказочных богатствах. Он мечтал разбогатеть и надеялся, что в дикой стране, далекой от цивилизованного мира, ему все сойдет с рук. Рассказывают, что он без всяких причин начал войну с испанским племенем ваккеев. И ужаснее всего — с помощью самого бесчестного обмана он захватил неприятельский город и перебил множество жителей. «Лукулл, — пишет Аппиан, — покрыл имя римлян позором и поношением» (*Hiber.*, 51—52). Отныне никто из иберов им не верил. На мирные предложения они отвечали язвительным хохотом и спрашивали, неужели римляне полагают, что кто-нибудь еще не знает, как поступили они с ваккеями. Вот что нестерпимым стыдом жгло сердце Сципиона.

В мрачном настроении римляне приблизились к сильному и укрепленному городу Интеркатия. Некоторое время оба войска стояли друг против друга. Вдруг из рядов иберов выехал исполинского роста воин, настоящий великан, в блестящем вооружении и вызвал любого смельчака из римлян на единоборство. Римляне никогда не испытывали расположения к такого рода картинным поединкам в духе гомеровских героев или средневековых рыцарей. Во всех известных нам случаях инициатива исходила не от них, и

Ливий не скрывает, что вызов они всегда принимали с большой неохотой. Этим можно объяснить удивительный факт, что у этого храбрейшего в мире народа известно было только три случая знаменитых единоборств, причем два из них относятся к легендарной древности¹⁸. Римляне считали, что такого рода дуэли больше пристали мальчишкам, чем людям серьезным. Когда вождь италиков вызвал на единоборство Мария, человека безумной отваги, тот отказался. «Если ты великий полководец, ты сразишься со мной!» — воскликнул тот. «Если ты великий полководец, — отвечал Марий, — ты заставишь меня сразиться!»

Вот почему и сейчас никто не отозвался на вызов. Варвар громко расхохотался и назвал римлян трусами. В ту же минуту ряды римлян дрогнули и на середину между армиями выехал всадник. Это был Публий Сципион. Оба войска невольно ахнули: он казался хрупким мальчиком, которого великан кельтибер мог свалить одной рукой. Полибий смотрел не отрываясь, и сердце его замирало от ужаса. Некоторое время римлянин и ибер кружили друг около друга. Наконец варвар нанес сильную рану коню Сципиона. Конь зашатался. Но Публий мгновенно соскочил, не потеряв равновесия. Бой возобновился с новой силой. Несколько раз казалось, что жизнь Публия висит на волоске. Но вот великан рухнул на землю, и Сципион, под восторженные крики товарищей, вернулся к своим (*App. Hiber.*, 224—226; *Vell.*, I, 12; *Val. Max.*, III, 2, 6; *Liv.*, *ep.*, XLVIII; *Polyb.*, XXXV, 5)¹⁹. Это событие подняло дух римлян.

Осада города продолжалась. Наконец начался приступ. Небольшой отряд римлян прорвался в город, но был выбит оттуда. Большинство погибло. Отступая в полном беспорядке по незнакомой местности, они попали в болото, где многие утонули. Все это время Сципион совершал настоящие чудеса храбрости. Он первым влез на стену неприятельского города и, очутившись почти один среди врагов, уцелел только чудом (*Liv.*, *ep.* XLVIII; *Val. Max.*, III, 2, 6). Увидав, что один из римлян упал под ударами и окружен варварами, он бросился на выручку, прикрыл упавшего своим щитом и пронзил наступавшего вра-

га (*Cic. Tusc., IV, 48*). Словом, он продолжал вести себя, как бесстрашный породистый пес с львиным сердцем, который не задумываясь бросается на врага, во много раз превосходящего его силой. За личную храбрость он получил золотой венки* — красивую корону из золота, украшенную изображением стальных зубцов. Таким венком награждали воина, который первым поднимался на стену неприятельского города. В то же время, по словам Цицерона, он во время боя не терял головы и не впадал в боевое неистовство (*ibid.*).

Итак, римляне потеряли город. «С обеих сторон несли достаточно страданий» (*App. Hiber., 54*). Все были измучены до предела, положение казалось безвыходным. Римлян уже шатало от переутомления. А мира заключить было нельзя. Ведь консулу никто из иберов не верил. Тут Сципион заявил, что заключит мир сам. Он ушел на переговоры. Все с волнением ждали его возвращения. Наконец он явился и объявил, что мир заключен под его честное слово. Очевидно, иберы уже успели узнать, что этот человек заслуживает абсолютного доверия, а характер у него столь властный, что консул не осмелится и помыслить теперь нарушить заключенный договор. Сципион привез от испанцев не только мир. Он доставил 10 000 теплых плащей и стадо мелкого скота, ведь было холодно и голодно. Римляне были в восторге. Все, кроме Лукулла. Консул с досадой глядел на плащи. Как? Неужели он перенес все муки ради этих тряпок?! Ему нужно было золото и серебро! Но ни золота, ни серебра он не получил. «Это был конец войны с ваккеями, которую Лукулл вел без приказанья римского народа», — заключает Аппиан (*App. Hiber., 55*).

По окончании этой позорной войны римляне удалились на зимние квартиры, где могли хоть немного отдохнуть от трудов и лишений. Но Сципиону судьба готовила не отдых, а новое увлекательнейшее приключение. Лукулл вообразил, что им нужна вспомогательная армия, и решил попросить ее у ливийского царя Масиниссы. Но к Масиниссе удобнее всего бы-

* *Corona muralis*.

до послать Сципиона, ибо его семья была связана самой тесной дружбой с Масиниссой. Вот почему он предложил молодому офицеру отправиться в Африку. Сципион с детства слышал волшебные рассказы о Масиниссе, особенно от Гая Лелия, отца своего друга, который столько лет бок о бок сражался с ним в Африке. Все в этих рассказах должно было пленять воображение мальчика — и чудесные подвиги нумидийца, и его отчаянная отвага, и полная бурных приключений жизнь, и романтическая преданность Старшему Сципиону, и, наконец, безумная страсть к Софонисбе. Вот почему этот царь представлялся ему в волшебном ореоле легенд. «Ничего мне так не хотелось, как встретиться с Масиниссой», — признается он у Цицерона (*Cic. De re publ., VI, 9*).

Можно себе представить после этого, с каким восторгом принял он предложение Лукулла. Он немедленно отправился в Африку. Переплыв море, он подъехал к границам Ливии и увидел удивительную картину. Среди большой равнины сходились два войска — карфагенян и нумидийцев. Впереди нумидийцев ехал сам девяностолетний царь Масинисса. Естественно, было вовсе не время излагать ему свою просьбу. Сципион потом рассказывал друзьям, что он взобрался на соседний холм и «смотрел на битву с холма, как в театре. Он часто говорил впоследствии, что участвовал во всевозможных сражениях, но никогда не получал такого удовольствия. Ведь он один был совершенно беззаботным, в то время как сражались одиннадцать тысяч человек. Он прибавлял... что только двое до него любовались подобным зрелищем: Зевс с горы Иды и Посейдон с Самофракии, глядя на Троянскую войну» (*App. Lib., 322—327*).

Битва окончилась только поздним вечером. Карфагеняне были разгромлены. Сципион слез с холма, подошел к Масиниссе и назвал себя. Услышав его имя, старик замер, словно громом пораженный. Очнувшись, он «обнял меня и заплакал. Затем, взглянув на небо, воскликнул:

* Главное божество ливийцев.

— Благодарю тебя, Великое Солнце*, и всех вас, небожители, за то, что мне довелось прежде, чем я уйду из этой жизни, увидеть в моем царстве... Публия Корнелия Сципиона, от одного имени которого я вновь молодею. Никогда я не забуду этого самого лучшего и совершенно непобедимого человека!

Я был принят с царской роскошью, и мы проговорили большую часть ночи, причем старик не мог говорить ни о чем, кроме Сципиона Африканского: он помнил буквально все, не только его поступки, но и слова». Так сам Сципион у Цицерона повествует об этой встрече²⁰. Он говорит далее, что эти удивительные рассказы, восточное убранство дома и сознание, что совсем рядом с ним находится великий Карфаген, привели его в возбуждение. «Когда мы отправились в спальню, — продолжает он, — ...во сне мне приснился Публий Африканский таким, каким я хорошо представлял его себе по восковой маске». Дух ласково заговорил с ним и поднял над окутанной ночью спящей землей. «С какого-то высокого, полного звезд места, сияющего и блистающего, он указал мне на Карфаген и сказал:

— Видишь ли ты этот город, который я заставил подчиниться римскому народу и который вновь начал войны и не может быть в мире?.. Ты сокрушишь его и заслужишь сам то имя, которое досталось тебе в наследство от меня*» (*Cic. De re publ., VI, 9—11*).

Такое странное пророчество будто бы получил в ту ночь под кровом Масиниссы Сципион Младший²¹.

Карфагеняне тоже каким-то образом провели, что у царя нумидийцев гостит человек по имени Сципион. Они страшно взволновались и стали просить, чтобы Публий примирил их с Масиниссой (*App. Lib., 329; Val. Max., II, 10, 4*). Но из этого ровно ничего не вышло. Слишком велика была вражда с обеих сторон и слишком непомерны требования царя. Сципион взял отряд, сердечно попрощался с Масиниссой и уехал.

* То есть имя «Африканский», которое наш герой унаследовал от своего приемного отца.

Когда в 150 году до н. э. Публий возвратился в Рим, он прежде всего приложил все усилия к тому, чтобы вернуть Полибия и прочих заложников на родину. Он попросил за ахейцев Катона, самого влиятельного из сенаторов. Ходатайство его имело успех: ахейцам разрешили наконец вернуться домой. Итак, после 17 лет Полибий уезжал в Элладу. Друзья простились. Быть может, они с грустью думали, что им предстоит долгая разлука. Они и не подозревали, как скоро суждено им увидеться и при каких роковых обстоятельствах.

Но для того чтобы понять дальнейшие события, нам надо обратить свои взоры на Карфаген, великую твердыню Запада.

II

«Карфагену пришлось взять на себя руководство в вековой борьбе семитического элемента с арийским. История его есть история этой борьбы, распадающейся на два периода: греческий (до III в. до н. э.), из которого Карфаген вышел победителем, и римский, окончившийся его гибелью» — так писал великий русский востоковед Б. А. Тураев*.

Карфаген покорил Ливию, Сардинию, Корсику и сделался владыкой Запада. В течение 150 лет завоевывал он Сицилию и был уже почти у цели. Но тут он столкнулся с Римом. Двадцать четыре года без перерыва вели римляне с карфагенянами войну за Сицилию. Кончилась эта война полной победой квиристов, но прошло немногим более двух десятилетий, и пунийцы, покорив богатую Испанию, под предводительством Ганнибала вторглись в саму Италию. 17 лет продолжалась война. Италия была разорена. Ганнибал уничтожил 400 цветущих городов и в одних только битвах перебил 300 тысяч человек. Не раз угрожал он самому Риму. Но вот Публий Корнелий Сципион Африканский Старший отвоевал у пуний-

* Тураев в Б. А. Карфаген // Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон. СПб., 1895. Т. XIVа. С. 652.

цев Испанию, высадился в самой Африке и разбил там карфагенян. Он отнял у них все владения, разбил в битве Ганнибала и, по выражению Аппиана, поставил Карфаген на колени. Теперь Рим держал в руках судьбу своего вековечного врага. Как же с ним поступить? В сенате шли бурные споры. Многие считали, что нужно стереть с лица земли ненавистный город. Но тут неожиданно за пунийцев вступился их великий победитель Сципион. Он говорил, что справедливость и гуманность требуют пощадить побежденного противника. Один из влиятельнейших сенаторов возражал ему:

«Во время войны, отцы сенаторы, надо думать только о том, что выгодно, — говорил он. — И, раз город этот еще могуществен, нужно тем более остерегаться его вероломства... И, раз мы не можем заставить его отказаться от вероломства, надо отнять у них их могущество. Сейчас самый подходящий момент, чтобы уничтожить страх перед карфагенянами... и нечего ждать, пока они вновь окрепнут. Что же до справедливости, то, мне кажется, она не касается города карфагенян, которые в счастье со всеми несправедливы и надменны, а в несчастье умоляют, а когда добьются своего, вновь преступают договоры. И вот их-то, говорит он (Сципион. — *Т. Б.*), надо спасти, боясь возмездия богов и ненависти людей! Я же полагаю, что сами боги довели карфагенян до такого положения, чтобы они наконец получили возмездие за нечестия, которые они совершили в Сицилии, Испании и в самой Африке против нас и против других, ибо они постоянно заключали договоры, скрепляли их клятвами, а потом творили злые и ужасные дела. Я напомню вам о том, как поступали они не с нами, а с другими народами, чтобы вы увидали, что все обрадуются, если карфагеняне будут наказаны.

Они перебили всех поголовно жителей знаменитого испанского города Сагунта, бывшего с ними в договоре, хотя те их ничем не обидели. Заключив договор с союзной нам Нуцерией и поклявшись отпустить жителей с двумя одеждами, они заперли сенат в баню и подожгли ее, так что те задохнулись, а

уходящий народ закололи копьями. А заключив договор с ахерранами, они бросили их сенат в колодец, а колодец засыпали... Долго было бы рассказывать, как поступал Ганнибал с нашими городами и лагерями... Скажу только, что он обезлюдил 400 наших городов. Они мостили реки и рвы, бросая туда наших пленных, других кидали под ноги слонам, третьим приказывали сражаться друг с другом, ставя братьев против братьев и отцов против сыновей... Вот до чего они доходят в своей безрассудной жестокости.

Какая же может быть жалость, какое сострадание к людям, которые сами никогда не проявляли к другим ни доброты, ни умеренности? К тем, кто, как сказал Сципион, не оставили бы даже имени римлян, будь мы в их руках? И на их договоры и клятвы мы будто бы можем положиться? Неужели? Да есть ли договор, есть ли клятва, которую они не попрали бы! Так не будем подражать им, говорит он. Но какой договор мы нарушаем?.. Так не будем, говорит он, подражать их жестокости. Значит, он предлагает стать друзьями и союзниками этих свирепых людей? Ни того, ни другого они не достойны».

Сципион Старший* возражал на это следующее:

«Не о спасении карфагенян мы теперь заботимся, отцы сенаторы, но о том, чтобы римляне были верны по отношению к богам и имели добрую славу среди людей, дабы не поступить нам более жестоко, чем сами карфагеняне... Не следует в таком деле забывать о гуманности, о которой мы так заботились в менее серьезных делах... Пока с тобой сражаются, надо бороться, но, когда противник падет, его надо пощадить. Ведь среди атлетов никто не бьет упавшего, даже многие звери щадят упавшего противника. Ведь прекрасно, если счастливые победители страшатся гнева богов и ненависти людей. Вспомните все, что они нам причинили, и вы увидите, какое это страшное деяние судьбы, что об одной жизни молят ныне

* Точнее, его посол и представитель в сенате (сам он в то время был в Африке), возможно, Лелий Старший.

те, кто так прекрасно состязался с нами из-за Сицилии и Испании... благородно и благочестиво не истреблять племена людей, но увещевать их... Что такое претерпели мы от карфагенян, что заставило бы нас изменить свой характер?.. Я вам советую пожалеть их... Нет ничего страшнее безжалостности на войне, ибо божеству она ненавистна» (*App. Lib.*, 248—257).

Сципион был в то время так велик и могуществен, что римляне уступили его мнению. Карфаген сохранил свои законы, свою свободу и автономию. Он не платил римлянам дани и не принимал в свои стены римских войск. Но он лишился всех своих иноземных владений, оружия и боевого флота, он не должен был воевать ни с кем без разрешения римлян. Освобожденная из-под его власти Ливия приобретала свободу под властью местного царя Масиниссы, друга римского народа.

Римляне не могли не гордиться великодушием своего вождя. Один из ораторов того времени писал: «Римский народ победил пунийцев справедливостью, победил оружием, победил милосердием» (*Her.*, IV, 19).

Прошло 50 лет, и Карфаген, оставленный некогда Сципионом жалким и униженным, вновь расцвел. Он опять разбогател благодаря морской торговле. Роскошью и богатством он, пожалуй, превосходил своего великого победителя. Кроме того, карфагеняне презирали глупую гордость и свободолюбие римлян, а потому чувствовали себя отлично, несмотря на былые унижения. Все было бы хорошо, если бы не Масинисса.

Этот бывший разбойник с помощью Сципиона стал одним из величайших царей мира. Он властвовал над огромной страной, жителей приучил к оседлой жизни, а сам превратился в настоящего эллинистического монарха. Но у нумидийца был волчий аппетит, и ему всего было мало. Видя, что Карфаген слаб и унижен, он стал отнимать у беззащитного соседа область за областью (182—150 гг. до н. э.).

Пунийцы лишены были возможности оборонять-

ся. Их единственными защитниками были римляне. И вот теперь из Африки шли посольства за посольствами и умоляли сенаторов избавить их от этого демона Масиниссы. Римляне посылали в Африку уполномоченных, но они оказались не в силах примирить пунийцев с ливийским царем. Говоря откровенно, они действовали вяло, вели себя двусмысленно и явно мирволили Масиниссе. Причины слишком ясны. Даже самые справедливые и мудрые люди — а я далеко не уверена, что все римские послы были такого рода людьми, — так вот, даже самые справедливые и мудрые люди не могут быть вполне объективны, если спорят их смертельный враг и лучший друг. Между тем карфагеняне были злейшими врагами Рима, Масинисса же, как считали сами римляне, спас их своей верностью.

Масинисса прекрасно понимал свое положение и отлично им пользовался. Он был лукав, изворотлив и способен всегда выйти сухим из воды. Он умел дать понять квиристам, что Карфаген может в любую минуту взяться за старое и напоминал, что он, Масинисса, неусыпно стоит на страже. Мог ли Рим после этого оттолкнуть от себя нумидийца? Да и политический расчет требовал быть любезнее с Масиниссой: ведь оттолкнуть его от себя значило бросить в объятия Карфагену. Масинисса понял свою безнаказанность и наглел не по дням, а по часам. И он продолжал свои разбойничьи нападения. Но при этом царь Ливии преследовал тайную цель. Масинисса был человек масштабный. Его прельщала вовсе не перспектива немного пограбить или несколько расширить свои владения. Нет, он мечтал присоединить к себе сам Карфаген и стать хозяином огромной империи, объединяющей всю Северную Африку. Но римляне не могли допустить создания финикийско-ливийской державы. Они знали, что Масинисса уже стар, его дети получили пунийское воспитание и вскоре окажется, что не Карфаген завоеван ливийцами, а пунийцы вновь присоединили к себе потерянную и теперь объединенную Ливию. А тогда — римляне убеждены были в этом твердо — Риму конец. Надо

было что-то срочно предпринимать. В Риме сложилось две партии.

Во главе одной был старик Катон. В юности он сражался против Ганнибала и видел своими глазами разорение Италии. Он смертельно ненавидел Карфаген и меньше всего склонен был прощать своих врагов и «увещевать их». Нет, он скорее готов был уничтожить их с корнем. Пока был жив Сципион, пока Рим был занят другими войнами, он еще мирился с существованием Карфагена. Кроме того, он воображал, что это жалкий, морально и физически сломленный город. Но вот ему пришлось побывать в пунийской столице (153 г. до н. э.). «Найдя город не в плачевном положении и не в бедственных обстоятельствах... но... сказочно богатым, переполненным всевозможным оружием и военным снаряжением и потому твердо полагающимся на свою силу, Катон решил, что теперь не время заниматься делами нумидийцев и Масиниссы и улаживать их, но что, если римляне не захватят город, истари враждебный им, а теперь озлобленный и невероятно усилившийся, они снова окажутся перед лицом такой же точно опасности, как и прежде... Вернувшись, он стал внушать сенату, что прошлые поражения и беды, по-видимому, не столько убавили карфагенянам силы, сколько безрассудства, сделали их не беспомощнее, а опытнее в военном деле, что... они начинают борьбу против римлян и, выжидая только удобного случая, под видом исправного выполнения мирного договора готовятся к войне» (*Plut. Cat. mai.*, 26).

Теперь Катон со свойственной ему энергией, настойчивостью и упорством добивался только одного — разрушения Карфагена. То он напоминал все те ужасы, которые совершил Ганнибал в Италии, то рисовал современное могущество Карфагена. «Ганнибал рвал на куски и терзал италийскую землю», — писал он (*Cato, fr. 187*). Комментируя это место, Геллий пишет: «Катон говорит, что Италия была истерзана Ганнибалом, ибо невозможно придумать такого бедствия, такого свирепого или бесчеловечного поступка, который она в то время не вытерпела бы» (*Gell., II*,

6, 7). Они зарывали людей по пояс в землю, раскладывали вокруг огонь и так их умерщвляли», — говорит Катон в другой речи (*Cato, fr. 193*). Возможно, ему же или одному из его сторонников принадлежит другой весьма выразительный отрывок: «Кто так часто нарушал клятвы? Карфагеняне. Кто вел войну с такой ужасной жестокостью? Карфагеняне. Кто искалечил Италию? Карфагеняне. Кто требует себе безнаказанности? Карфагеняне» (*Her., IV, 20*).

Катон знал, что римляне не могут остаться глухи: три поколения выросли в страхе перед пунийцами. Пусть теперь Карфаген выглядит смиренным: точно таким он казался перед самой Ганнибаловой войной. С тех пор Катон заканчивал все свои выступления знаменитыми словами: «Я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен».

Когда он произносил это в сенате, со своей скамьи немедленно вскакивал Сципион Назика*, глава второй партии, и говорил: «А я полагаю, что Карфаген должен существовать!» Назика был племянником Великого Сципиона и его зятем. Его отличали ум и мягкость: его прозвали *Corsulum*, что значит «Сердечко, Умница». Он считал себя наследником политики Сципиона и потому неизменно защищал Карфаген. Карфаген был злейшим врагом Рима, Карфаген был для греков и латинян воплощением всех человеческих пороков, Карфаген стоил римлянам тысячи хлопот и тревог, Карфаген не мог любить ни один италиец, не мог любить его и Назика. Почему же он так упорно и так страстно его защищал и боролся за него с Катоном до последнего?

Дело в том, что Карфаген был не просто городом, а символом — символом римской гуманности. Сколько бы раз потом ни возникал вопрос о том, что делать с тем или иным городом или племенем, согрешившим против римлян, всегда можно было сказать: посмотрите на Карфаген. Есть ли во всей вселенной город, который совершил против нас больше преступлений, который был бы злейшим врагом нашего

* Тот самый, которому наш герой в 162 году выдавал приданое.

государства? И все-таки он стоит, мы даже не лишили его самоуправления, не обложили данью, и он живет и благоденствует. А вы за незначительный проступок хотите наказать несчастных галлов или иберов! Он боялся, что гибель Карфагена может стать началом крутого поворота в римской политике и отказа от принципа гуманности, провозглашенного Сципионом Старшим²².

А между тем обстановка все более накалялась: из Карфагена доходили все новые тревожные слухи — карфагеняне собрали огромные запасы дерева для постройки боевого флота, карфагеняне собрали огромное количество оружия, наконец, карфагеняне собрали огромное войско — и все это вопреки договору. Катон вопиял, спрашивая, чего же еще ждать. «Карфагеняне уже наши враги! — кричал он. — Ведь тот, кто приготовил все против меня, чтобы начать войну в любое удобное для него время, уже мне враг, хотя бы еще и не поднял оружия» (*Cato, fr. 195*). Но Назика продолжал с ним упорно спорить (*Liv., ep., XLVII—XLVIII*). Масло в огонь непрерывно подливал Масинисса. Он и его сын Гулусса все время доносили, что Карфаген собирает силы, чтобы напасть неожиданно на римлян (*Liv., ep., XLVIII*).

Но несмотря ни на что, в сенате снова победил Назика. Он каким-то образом убедил квиритов, что они, так гордящиеся своей справедливостью, сами являются перед всем миром вопиющий пример пристрастия, фактически решая все споры в Африке в пользу Масиниссы. И вот по его настоянию в Карфаген было отправлено посольство, очевидно, состоявшее из его сторонников, чтобы загладить эту несправедливость. Заодно они должны были узнать, что делается в городе и верны ли грозные слухи (151 г.).

Но, видимо, само божество решило погубить Карфаген. По иронии судьбы случилось так, что как раз в тот момент, когда в Риме победила партия Назики, у пунийцев к власти пришли демократы во главе с некими Газдрубалом и Гисконом. Они считали, что необходима победоносная война с Масиниссой и Римом. Тем временем римское посольство, ничего не

подозревая, прибыло в город; их провели в выложенный золотыми плитками огромный храм Эшмуна, где обычно собирался Совет. Послы сперва слегка пожурили карфагенян за то, что те вопреки договору держат войско и оружие, а затем объявили, что намереваются решить спор Масиниссы с пунийцами в пользу последних. И тогда, видя, что Совет может уступить, вскопчил Гискон. Он открыто призвал к войне и наговорил такого, что члены Совета ринулись на римлян и едва не разорвали их в клочья. Но послы успели бежать.

Посольство вернулось в Рим, и почти одновременно прибыл Гулусса и предупредил, что все слухи подтвердились: Карфаген набирает огромную армию и спешно строит флот. Можно себе представить, в какой ужас пришли римляне, когда услышали все это. Значит, у пунийцев огромные силы, они уверены в себе и к власти пришла партия, жаждущая войны. Катон кричал, что надо сейчас же, не медля ни минуты, объявлять войну. Но даже в этот роковой момент Назика заявил, что не видит законного повода к войне. Каким-то чудом ему опять удалось убедить отцов сенаторов. Решено было послать посольство и потребовать, чтобы карфагеняне распустили армию и сожгли флот, а в случае отказа объявить войну.

Тем временем Газдрубал действовал. Он собрал армию и двинулся против Масиниссы, то есть открыто разорвал мирный договор с Римом и сжег мосты. Это была та самая война, исход которой видел, сидя на холме, наш герой. Римляне попытались было удержать пунийцев, но Газдрубал их и слушать не стал. И послы удалились. Это был конец. В эпитоме Ливия читаем: «Карфагеняне вопреки договору начинают войну с Масиниссою... Этим они навлекают на себя римскую войну» (*Liv, ep., XLVIII*).

Как только война была объявлена, буквально хлынул поток добровольцев. «Всякий из граждан и союзников стремился на эту войну», — пишет Аппиан (*Lib., 75*), и это показывало истинные настроения италийцев, которые буквально рвались выступить против Карфагена и сдерживаемы были сенатом.

III

Нет никакого сомнения, что карфагенские демократы взяли курс на войну с Римом. Они не могли быть настолько наивны, чтобы не понимать, что делают. Вопреки договору они собрали армию и оружие, они отвергли римское посредничество. Они нанесли страшное оскорбление послам, чего Рим никому и никогда не прощал. Наконец, они перешли от слов к делу и объявили войну Масиниссе.

На что они надеялись? Очевидно они полагались на свое богатство и на огромные запасы оружия, которые им удалось скопить. Сам этот факт показывает, что пунийцы втайне мечтали о реванше. Необыкновенные успехи последней войны вселяли в них бодрость. Не сомневаюсь, что на площади перед разъяренной и взбудораженной толпой демократы напоминали о великих победах Ганнибала и кричали о разрушении Рима. Это было какое-то безумное ослепление. Бесконечные посольства, которые слали к ним теперь квириты, только укрепляли их уверенность в себе. Им казалось, что Рим их боится. Рокковое заблуждение. Неужели карфагеняне за столько лет знакомства с римлянами их не узнали?! Ведь квириты обычно всегда колебались, тянули и медлили перед началом войны, но, раз начав, действовали с непреклонной решимостью.

Начиная войну, демократы хотели прежде всего разделаться с Масиниссой, справедливо считая его самым надежным союзником Рима. Но все случилось совсем не так, как они предполагали. Престарелый царь наголову их разбил, и Газдрубал потерял всю свою армию. Только теперь карфагеняне осознали весь ужас своего положения. Они разбиты. У них нет армии. А они уже объявили войну Риму!.. И на них напал панический ужас. Всю вину немедленно свалили на демократов. Разъяренная толпа разорвала бы их в клочья, но Газдрубал с товарищами успел бежать. Их заочно приговорили к смерти. Газдрубал собрал вокруг себя людей, сделался разбойником и стал грабить поля Карфагена.

Подумав, пунийцы решили, что у них есть одно средство к спасению — пасть к ногам римлян и, рыдая и бия себя в грудь, униженно умолять о милости. Они очень хорошо помнили, что это средство всегда действовало на Сципиона Старшего и, что бы они ни сделали, им все сходило с рук. И вот они послали посольство в сенат. Увы! Они глубоко заблуждались. Как только Газдрубал объявил войну римлянам, в их сердце проснулся страх — знаменитый пунийский страх*, о котором столько говорят современники. Проснулась и старинная ненависть, которая всегда тлела в их душе, как засыпанный пеплом костер. Они видели перед собой своих смертельных исконных врагов. Правда, те плакали и ползали у их ног. Но римляне придавали очень мало значения этим слезам. За сто лет знакомства они успели хорошо изучить карфагенян. Они прекрасно знали, что те «в несчастье умоляют, а когда добиваются своего, вновь преступают договоры» (*App. Lib.*, 62). Сенаторы были убеждены, что сейчас карфагеняне просто хотят выиграть время. И когда пунийцы объявили, что приговорили к смерти виновника войны Газдрубала, сенаторы сухо спросили, почему же он приговорен не прежде, а после поражения, и выслали послов вон.

И тут Утика, финикийский город, соседствующий с Карфагеном, его надежнейший оплот, который прикрывал пунийцев при Сципионе, отправил послов в Рим и сдался на милость римлян. Эта измена окончательно сразила пунийцев. Они снова послали в Рим послов и спросили, что они должны сделать, чтобы загладить свою вину перед квиритами, и получили краткий и загадочный ответ: «Удовлетворить римлян».

Некоторое время карфагеняне ломали себе голову над тем, как же удовлетворить римский народ, и наконец отправили новое посольство, чтобы спросить, что же сенаторы имели в виду. Римляне отвечали, что карфагеняне сами это хорошо знают (*App. Lib.*, 74;

* *Metus punicus.*

Diod., 32, 3). Долго думали карфагеняне. И наконец они решились «отдать себя на милость римлян». Это выражение означает, что народ передает себя в полное рабство римлян, так что те имеют право продать немедля их всех. Единственное, что римляне должны им сохранить, это жизнь. Итак, карфагеняне выбрали рабство, но жизнь. Впрочем, они знали, что квириты всегда милостивы к тем, кто передал себя им в руки, и надеялись на их снисходительность. Послам были даны неограниченные полномочия, чтобы они по возможности постарались избежать рокового шага, но если уж другого средства не будет, отдали бы город в рабство. «Послы карфагенян прибыли в Рим, когда консулы с войсками вышли из города, а потому за недостатком времени послы не рассуждали более и предоставили свое отечество римлянам на усмотрение» (*Polyb.*, XXXVI, 3, 7—8). И тогда у римлян появился план, как сделать Карфаген абсолютно безопасным, в то же время не проливать римской крови и сохранить принцип гуманности. Увы! Ничему из этого не суждено было случиться.

Сенаторы выслушали карфагенян, похвалили их мудрое решение и объявили, что оставят карфагенянам свободу, самоуправление, все их имущество и всю территорию, но прежде они должны выполнить ряд требований консулов, которые уже отплыли в Африку. Карфагеняне были обрадованы ответом римлян, но в то же время их терзала мучительная тревога, ибо они заметили, что сенаторы, говоря о милостях пунийцам, не произнесли одного слова «город» (*Polyb.*, XXXVI, 4, 4—9). Но отступать было уже поздно.

Консулы Маний Манилий и Марций Цензорин высадились в Утике в 149 году. Прежде всего они потребовали у Карфагена 300 знатных заложников. Карфагеняне проводили их с воплями, они голосили и били себя в грудь (*App. Lib.*, 77). Затем консулы приказали пунийцам выдать все оружие, флот и катапульты. Карфагеняне смутились и поспешно возразили, что никак не могут этого сделать: дело в том, что вождь демократов и патриотов Газдрубал собрал большую

шайку и грабит окрестности. Консулы отвечали, что бы они не волновались — это уже забота римлян.

И вот в римский лагерь повезли оружие. «Это было замечательное и странное зрелище, когда на огромной веренице повозок враги сами везли своим врагам оружие», — говорит Аппиан. Тогда обнаружилось, как велики были силы города: римлянам карфагеняне выдали больше двухсот тысяч вооружений и две тысячи катапульта» (*Polyb., XXXVI, 6, 7; ср.: App. Lib., 78—80*)*. Римляне внутренне содрогнулись, как содрогнулся бы человек, бросивший камень в кусты и обнаруживший там убитую исполинскую ядовитую кобру. Ведь все это оружие готовилось против них!

И тогда послы карфагенян явились к консулам, чтобы выслушать их последнее требование. Они прошли весь римский лагерь. Они двигались через бесконечные ряды неподвижных легионеров, которые стояли по обеим сторонам в блестящем вооружении, с высоко поднятыми значками. Наконец они приблизились к возвышению, на котором сидели оба консула. Оно огорожено было протянутой веревкой. К изумлению и ужасу послов консулы молчали. Они взглянули на них и похолодели — лица их были грустны и мрачны, как на похоронах. Наконец консулы переглянулись и один из них, Цензорин, который считался красноречивее, «встал и печально произнес следующее:

— Выслушайте теперь мужественно последнее требование сената, карфагеняне. Удалитесь ради нас из Карфагена, вы можете поселиться в любом другом месте ваших владений в восьмидесяти стадиях** от моря: а ваш город решено разрушить».

Больше он уже ничего не смог сказать. Послы завывали, они, как безумные, вопили, катались по земле, бились об нее головой, разрывали одежду и терзали тело ногтями. Они проклинали римлян страшными

* Римлянам почему-то не пришло в голову проверить, все ли оружие сдали пунийцы. Между тем Зонара утверждает, что часть они утаили, и это очень похоже на правду. Этим объясняется чудесная быстрота, с которой карфагеняне потом изготовили оружие.

**Около 14,8 км.

проклятиями и обрушили на их головы поток площадной брани, столь неистовой и грубой, что те решили даже, что карфагеняне специально их оскорбляют, чтобы они в гневе убили послов и совершили тем самым страшное нечестие.

Потом они вдруг оцепенели и лежали на земле, как мертвые. «Римляне были поражены, и консулы решили все терпеливо переносить». Но тогда карфагеняне приподнялись и с воплями стали оплакивать себя, жен и детей, а жрецы, бывшие тут же, раскачиваясь, причитали. Они так жалобно плакали, что римляне заплакали вместе с ними.

Увидев слезы на их глазах, карфагеняне вскочили и, протягивая руки к консулам, принялись умолять их сжалиться. Они просили не проявлять нечестия к их алтарям и храмам, не осквернять могилы их предков. Но лица консулов были по-прежнему угрюмы и печальны. Цензорин заговорил снова:

— Нужно ли много говорить о том, что предписал сенат? Он предписал, и это должно быть исполнено. И мы не имеем права отсрочить того, что нам приказано выполнить... Это делается ради общей пользы, карфагеняне, для нашей, но еще даже больше для вашей... Море всегда напоминает вам о вашем былом могуществе и тем ввергает в беду. Из-за него вы старались захватить Сицилию и потеряли Сицилию. Переправились в Иберию и потеряли Иберию. И после заключения мира вы грабили купцов, особенно наших, и, чтобы скрыть это, топили их, а когда вас уличили, вы откупились от нас Сардинией.

...Ибо, карфагеняне, самая спокойная жизнь это жизнь на суше, в тиши, среди сельских трудов. Правда, выгоды там, может быть, и меньше, но зато доход от земледелия надежнее и безопаснее, чем от морской торговли. Вообще город на море мне представляется скорее каким-то кораблем, чем частью земли: он испытывает словно бы непрерывную качку в делах и перемены, а город в глубине страны наслаждается безопасностью, ибо он на земле... И не притворяйтесь, что вы молитесь за святилища, алтари, площади и могилы. Могилы останутся на месте. Вы

сможете, если угодно, являться сюда и приносить умиловительные жертвы теням и совершать обряды в святилищах. Мы уничтожим другое. Ведь вы приносите жертвы не верфям, не стенам несете умиловительные дары. И потом, переселившись, вы постройте новые очаги, святилища и площади, и скоро они станут для вас родными, ведь вы так же покинули святыни Тира и создали в Ливии новые святыни и теперь считаете их родными. Коротко говоря, поймите, что постановили это не из ненависти, но для общего согласия и безопасности. Помните, что мы переселили некогда в Рим Альбу, вовсе не из вражды — она была нашей метрополией, и не из ненависти — мы, напротив, ее высоко чтили, но ради общей пользы, и это принесло благо обеим сторонам.

При этом мы позаботились о том, чтобы вам было удобно сообщаться с морем и вы легко могли бы ввозить и вывозить продукты; ведь мы велим вам отойти от моря не на большое расстояние, а только на восемьдесят стадиев. А сами мы, говорящие вам это, находимся на расстоянии сотни стадиев от моря. Мы даем вам выбрать место, какое вы хотите, и, переселившись, вы сможете там жить по своим законам. Об этом как раз мы и говорили раньше, обещая, что Карфаген останется автономным, если он будет нам повиноваться, ибо Карфагеном мы считаем вас, а не землю (*App. Lib.*, 78—89; *Diod.*, XXXII, 6).

Тогда послы поднялись и поплелись домой. Часть, правда, разбежалась по дороге, предвидя дальнейшие события. Карфагеняне ждали их возвращения в диком нетерпении. Одни носились по городу и рвали на себе волосы, другие забрались на стены, высматривая послов. Наконец те появились. Пунийцы ринулись на них всей толпой и едва не раздавили их и не разорвали. Но послы молчали. Они направились в Совет, только время от времени били себя кулаками по голове и издавали вопли (*Diod.*, XXXII, 6, 4). Взволнованный народ, еще ничего не зная, вопил вместе с ними. Послы вошли в Совет. Толпа понеслась за ними, окружила здание плотным кольцом и затих-

ла, ловя каждый звук. И вдруг изнутри раздался душераздирающий вопль. Толпа кинулась вперед, вышибла двери и ворвалась в храм. Здесь им открылась страшная правда. «И тут начались несказанные и безумные стенания». Одни кинулись разрывать на части послов, которые принесли дурные вести, другие — терзать и мучить старейшин, посовествовавших выдать оружие, третьи носились по городу, хватали тех италийцев, которые случайно находились в Карфагене, и предавали их самым изощренным мучениям, крича, что они заплатят им за грехи римлян. Женщины, как фурии, носились по улицам, заывая и бросаясь на каждого (*App. Lib.*, 91—93; *Polyb.*, XXXVI, 7).

Но через несколько дней город преобразился. Вместо повального безумия их охватила лихорадочная решимость. Карфагеняне готовы были стерпеть все, даже рабство — сдались же они на милость римлян. Одного только они не могли стерпеть — потерю денег. А приказ римлян означал для них конец морской торговли, а значит, и богатств. Думать, что эти старые пираты и торгошники займутся земледелием, было просто смешно. Ради денег они завоевывали Сицилию, ради денег они сражались с римлянами, ради денег они выдали им Ганнибала и теперь скорее готовы были все умереть, чем уступить свои деньги. Они освободили рабов, вызвали назад Газдрубала с его шайкой и назначили главнокомандующим. Все мужчины и женщины день и ночь работали на оружейных фабриках, изготавливая новое оружие. Всех женщин остригли наголо и из их волос вили веревки для катапульт.

А консулы спокойно стояли близ Утики и ждали, когда бедные карфагеняне успокоятся и насытятся плачем. Когда же они наконец двинулись вперед, перед ними был вооруженный до зубов город, полный отчаянной решимости защищаться до конца.

Как было сказано, чуть ли не весь Рим мобилизован был на войну. Военным трибуном IV легиона был

Публий Корнелий Сципион. Полибий едва успел возвратиться на родину и вникнуть в дела Ахейского союза, которые показались ему ужасными, как неожиданно получил письмо от консула Мания Манилия. Маний очень вежливо писал, что просит ахейцев оказать ему дружескую услугу и, если возможно, прислать Полибия. Я, рассказывает Полибий, конечно, немедленно отложил все дела, и отправился в лагерь римлян. Но по дороге он узнал, что карфагеняне уже выдали оружие и война закончена. Историк возвратился обратно. Но только он успел вернуться, как получил новое письмо, теперь уже, видимо, от своего воспитанника, который сообщал, что война не кончилась, а только началась. И Полибий, забыв обо всем на свете, помчался в Африку к Сципиону (*Polyb., XXXVII, 3*).

IV

Карфаген расположен был на полуострове: с севера его омывал морской залив, с юга — озеро, которое летом, по-видимому, превращалось в настоящее болото. Озеро отделено было от моря узкой, как лента, косой, не более 0,5 стадия шириной (ок. 92 м). С материком город соединял перешеек, шириной 25 стадиев (ок. 4,6 км). Этот перешеек изрезан был оврагами, порос непроходимым кустарником и изобиловал крутыми холмами. Словом, город надежно укреплен был самой природой. Карфаген опоясывали мощные стены. Со стороны моря была только одна стена, так как здесь город обрывался отвесными скалами. От материка же Карфаген отделяли три исполинские стены. «Из этих стен каждая была высотой 30 локтей (ок. 15 м), не считая зубцов и башен, которые отстояли друг от друга на расстоянии двух плетров (ок. 60 м)». Ширина стен была до 8,5 метра. Кроме того, город опоясывал громадный ров. Внутри Карфаген разделен был на три части: кремль Бирса, расположенный на высоком, крутом холме; площадь, лежавшая между этим холмом и гаванью; и пригород Мегара. Каждая часть

была окружена внутренней стеной (*Polyb., I, 73, 4—5; App. Lib., 95*)*

В полной растерянности стояли консулы перед исполинской крепостью. В конце концов, собравшись с духом, они пошли на штурм. Манилий двинулся со стороны материка, Цензорин — с болот и моря, омывавшего город с востока. Но они были отброшены. Они приступили снова и снова были отброшены. Наконец им удалось пробить брешь в стене. Римляне ринулись внутрь. Лишь один офицер не последовал за другими и удержал свой отряд. Вскоре римляне в полном смятении повалили из отверстия, а за ними неслись пунийцы. И тогда этот офицер, державший свой отряд в боевой готовности, ударил на врагов и прикрыл отступление римлян. Офицер этот был Публий Корнелий Сципион. Тогда он впервые спас римское войско (*App. Lib., 97—98*).

Этот случай отбил у консулов охоту штурмовать город. Они решили перейти к правильной осаде. Они отступили и расположились в двух укрепленных лагерях: Манилий — на перешейке, Цензорин — у озера. Настало лето. Взмошел знойный Сириус. Безжалостное африканское солнце сжигало все вокруг. От болота потянуло зловонием, а огромные стены Карфагена загораживали доступ свежего морского воздуха. В лагере открылись болезни. Цензорин в конце концов вынужден был бросить это место и перейти ближе к заливу. А вскоре он вообще уехал в Рим. Командовать остался Маний Манилий. Консул был человек мягкий, добрый, честный, образованный, прекрасный юрист, но завоевание Карфагена оказалось задачей не по нему. В неожиданных ситуациях он неизменно терялся и не знал, что предпринять. В довершение всех бед он был абсолютно неспособен поддерживать дисциплину в армии. Молодые офицеры были с ним непростительно дерзки. К тому же война тянулась уже много месяцев и приобрела позиционный характер. Каждый офицер стал как бы независимым начальником. Они сами начи-

* Циркин Ю. Б. Карфаген и его культура. М., 1986. С. 116.

нали боевые действия, заключали временные перемирия, а на консула смотрели с презрением (*App. Lib., 102; 101; Diod., XXXII, 7*).

Вот тут-то на римское войско обрушилась новая пагуба, а именно Гамилькар Фамея. То был, по словам Полибия, пуниец цветущего возраста, сильного, крепкого сложения, великолепный наездник и отчаянный смельчак (*Polyb., XXXVI, 8*). Он был начальником карфагенской конницы, но вел себя совершенно независимо и фактически стоял во главе партизанского отряда. Этот-то Фамея был для римлян хуже чумы. Он прятался в зарослях, лощинах, оврагах. Но стоило какому-нибудь легиону выйти на фуражировку — трибуны делали это по очереди, — как Фамея «вдруг налетал на них из своих тайных убежищ, как орел», причиняя страшный урон, и исчезал (Аппиан). Римляне стали бояться Фамеи как огня. Они шли на фуражировку, как на смерть, зная, скольким не суждено будет вернуться. Был только один отряд, который выходил из лагеря совершенно спокойно. То был отряд Сципиона. Ни разу страшный Фамея не решился на него напасть. Он даже близко не показывался, если на фуражировку шел Публий, хотя и не робкого был десятка, замечает Полибий (*App. Lib., 101; Polyb., XXXVI, 8, 1—2*).

Сципион был самым популярным человеком в римском лагере. Римлянам он внушал восторженную любовь, врагам — глубокое уважение. Отряд Сципиона резко отличался от остального войска, где послушание и дисциплина пошатнулись. Воины его всегда двигались в строгом порядке. Во время фуражировки он оцеплял поляну конниками и сам непрерывно объезжал ряды. Если кто-нибудь из пехотинцев хоть немного выходил из очерченного Сципионом круга, его строго наказывали (*App. Lib., 100*). Солдаты повиновались малейшему знаку своего трибуна. Быстрые, собранные, стремительные, они готовы были в любую минуту броситься на помощь тому, кто в ней сейчас нуждался.

И карфагеняне знали Сципиона. И никто из них не рисковал встретиться с ним в битве. Но он стал из-

вестен пунийцам не только этим. Как я уже говорила, в те дни часто случалось, что отдельные отряды заключали временное перемирие. И вот другие офицеры зачастую нарушали слово и нападали на отступающих врагов. Публий же не только свято блюл клятву, но, дав слово врагам, сам провожал их до лагеря, чтобы никто не мог на них напасть. В конце концов пунийцы стали заключать договоры только в присутствии Сципиона (*App. Lib., 101; Diod., XXXII, 7*). С пленными он обращался неизменно ласково и мягко. «Вследствие этого по всей Африке распространилась справедливая молва о нем» (*Diod., XXXII, 7*). Надо быть откровенными — славу ему прибавляло его имя. И в Риме оно звучало прекрасно, но только в Африке он осознал его почти магическую силу: оно, как некое «Сезам, откройся!», растворяло перед ним все двери.

Между тем консул решительно ничего не предпринимал. Газдрубал, видя его неуверенность, смелел не по дням, а по часам. Он задумал повторить подвиг Сципиона Великого, который ночью ворвался в лагерь карфагенян, сжег его и уничтожил все войско. И вот однажды ночью Газдрубал напал на римский лагерь. Все были в полном смятении, войско охватила паника, как всегда бывает при ночных нападениях. Консул совершенно потерял голову. Между тем Сципион вскочил, поднял свой отряд и они стремительно проскакали через весь лагерь, выехали в ворота, противоположные тем, возле которых находился Газдрубал, обогнули лагерь и ударили пунийцам в тыл. Не ожидавший такого отпора, Газдрубал в свою очередь смешался и отступил (*App. Lib., 99*). Так Сципион во второй раз спас римское войско.

Через несколько дней последовала новая ночная тревога. В темноте карфагеняне появились возле кораблей с явным намерением уничтожить римский флот. Врагов было много, римляне не готовы были к отпору. Манилий, как всегда, растерялся и приказал никому не выходить из лагеря. Но ничто в мире не могло удержать Сципиона. Никто не успел опомниться, а он уже вскочил на коня и только со своим маленьким отрядом выехал из лагеря и поскакал во весь опор

прямо к гавани. У него было всего 640 всадников. По дороге он дал воинам строжайший приказ не вступать в бой — их всего несколько сотен против огромной армии — и повиноваться каждому его слову. По приказу Сципиона, римляне взяли зажженные факелы и, разделившись на маленькие отряды, стали быстро проезжать мимо гавани. Описав круг, каждый отряд возвращался и вновь проезжал мимо Газдрубала. Пуниец решил, что против него вышло огромное войско, и поспешно ретировался. Так Сципион в третий раз спас римлян. «Имя его было у всех на устах» (*App. Lib., 101*).

Чудесное спасение лагеря и флота, видимо, ободрило Манилия. Он задумал наконец сам нанести удар карфагенянам. Он решил взять Неферис. То был мощный город, расположенный в горных теснинах и окруженный бурной рекой, — оплот и защита Карфагена. Взять Карфаген, не захватив Нефериса, было невозможно. Поэтому сама по себе мысль пойти на Неферис была весьма здоровой. Вопрос заключался лишь в том, мог ли это сделать Манилий.

Войско шло вперед. Местность была вся изрезана оврагами, покрыта густыми зарослями, то здесь, то там вздымались крутые холмы. Сципион осмотрелся и решительно заявил, что из предприятия не выйдет ничего хорошего. Но все-таки римляне пошли дальше. Они достигли быстрой реки. На другом берегу поднимались ущелья; среди скал и расселин на высотах были воины Газдрубала. Сципион остановился, внимательно оглядел противоположный берег и сказал, что надо немедленно поворачивать назад.

— Против Газдрубала нужны другое время и другие силы, — заметил он.

Но тогда три трибуна, которых раздражала его все возрастающая популярность, закричали, что это уже явная трусость, это несмыслимый позор для римлян, увидя врага, бежать назад. Тогда Публий посоветовал построить у реки укрепленный лагерь, куда можно будет укрыться, если их разобьют в сражении. Но трибуны подняли шум, а один даже воскликнул, что бросит меч, если командовать будет не консул, а Сципион. И Манилий перешел реку.

Все случилось, как и предсказывал Сципион. Римляне были разбиты и обращены в бегство. Их прижали к бурной реке, Газдрубал заседал на них. И тут Сципион стремительно повел на врагов 300 всадников. Они должны были, чередуясь, бросать в пунийцев дротики и отскакивать назад. Наконец он достиг своей цели — войско Газдрубала оставило римлян и обратилось против него одного. Таким образом, он дал римлянам возможность перейти реку. И только тогда, когда все легионы благополучно перебравшись на другой берег, Сципион и его воины сами бросились в реку, хотя их никто не прикрывал. Римляне с мучительным волнением смотрели, как их спаситель борется с течением и одновременно отбивается от пунийцев. Со всех сторон в него летели копья и дротики. Жизнь его висела на волоске. Но вот, наконец, он достиг берега. Он был цел и невредим, среди своих, хотя и измучен тяжелой переправой.

Войско уже собиралось повернуть к лагерю, но вдруг обнаружилось исчезновение трех²³ когорт. Оказалось, что они были отрезаны карфагенянами и остались на том берегу, в ущелье. Стали думать, что делать. Все были очень расстроены, что приходится бросать товарищей, но нечего было и думать возвращаться назад. Нельзя же, говорили трибуны, губить всех из-за нескольких человек. Но Сципион сказал, что считает совсем по-другому.

— Пока силы не тронуты... следует думать не столько о нанесении урона врагам, сколько о том, чтобы урона не испытать самим. Но, когда столько граждан и значков попадают в беду, необходимо действовать с безумной отвагой... Я приведу назад осажденных или с радостью погибну вместе с ними.

Все оцепенели от ужаса. Консул и войско стали умолять Публия не идти на верную смерть. Но все было тщетно. И вот, взяв три когорты и запасов на два дня, молодой офицер повернул и снова вошел в реку, из которой с таким трудом выбрался, и опять вступил в ущелье, чтобы сражаться со всем войском Газдрубала.

Римляне поплелись домой, грустные и унылые.

Они были разбиты, опозорены и, главное, они потеряли Сципиона. Никто даже и не надеялся, что он вернется. И вдруг он появился среди них живой, ведя с собой спасенных римлян. Войско издало такой дружный ликующий крик, словно мучительная война была окончена. Счастливым и пристыженный консул под дружные восторженные клики увенчал Сципиона венком за то, что он в четвертый раз спас войско*²⁴ (*App. Lib., 102—104; Polyb., XXXVI, 8, 3—5; Liv., ep., 49; Plin. N.H. XXII, 13; Vell. Pat., I, 12; Vir. illustr. Scipio Minor*).

В злосчастной битве при Неферисе погибло много римлян. Среди них и те три трибуна, которые так спорили со Сципионом и настаивали на переправе. Все в лагере считали величайшим позором, что тела их — тела римских офицеров — брошены в пустынном месте без погребения, в добычу зверям и птицам. Тогда Сципион попросил у консула разрешения лично написать Газдрубалу. «Я попрошу у него похоронить их», — говорил он. Маний, разумеется, разрешил. И вот, ко всеобщему изумлению, на другой день в римский лагерь принесли три урны с прахом трибунов. Газдрубал узнал их по золотым кольцам на пальце. Такие кольца носили римские офицеры, а центурионы и другие младшие чины — железные кольца. «Слава Сципиона возросла, так как он достиг великого почета у врагов» (Диодор) (*App. Lib., 104; Diod., XXXII, 7*).

В это время сенат отправил в Африку послов, которые должны были выяснить, что там происходит и почему римляне терпят поражение за поражением. Послы расспрашивали всех — консула, офицеров, воинов. Но они ничего не услышали вразумительного о Манилии, зато все, перебивая друг друга и буквально захлебываясь от восторга, рассказывали им о Сципионе, с наслаждением вспоминая все новые и новые его подвиги. Послы

* То был особый венок. Геллий объясняет, это «венки, которые освобожденные от осады дают вождю, их освободившему... По обычаю, его плели из зелени, которая росла в том месте, где были заперты освобожденные от осады» (*V, 6, 8—9*). Таким образом, Сципион имел уже два венка за личную храбрость, то есть что-то вроде кавалера двух Георгиев в России.

были поражены необыкновенными талантами и мужеством этого человека и удивительной любовью к нему всего войска. Голоса завистников к тому времени умолкли. Вернувшись в Рим, послы рассказали о Сципионе не только сенату, но всем друзьям и знакомым. Впрочем, квинтиты и так знали о подвигах Сципиона во всех подробностях. Ведь чуть ли не половина римлян находилась в то время под стенами Карфагена. Поэтому каждая семья постоянно получала письма от милых ее сердцу людей. И в письмах этих события в Африке вставали, как живые²⁵. Ни одно имя, кажется, не встречалось в них так часто, как имя Сципиона (*App. Lib., 105, 109*). «Все поражены были... его героическими действиями» (*Plut. Praec. gerend. rei publ., 805A*). Подвиги Сципиона были столь поразительны и блестящи, что старые воины начали поговаривать, уж не помогает ли ему Даймон, который всюду сопутствовал его знаменитому деду (*App. Lib., 491*). Однако слухи эти как-то очень быстро замолкли — уж очень не соответствовали они характеру Сципиона, в котором не было ничего потустороннего, ничего мистического.

Кроме того, всех поразили слова старика Катона. На вопрос, что он думает об этом молодом человеке, Цензор прочел строфу из «Одиссеи»:

— Он лишь с умом, все другие безумными реют теньями.

Поразительным в этих словах было то, что Порций за всю свою долгую, почти вековую жизнь, никогда никогда не похвалил. И вот теперь, когда он произнес свою знаменательную фразу, римляне восприняли ее прямо как некое знамение. Тем более что вскоре Катон умер, так что слова его звучали, как пророчество умирающего. Была какая-то злая насмешка судьбы в том, что он, всю жизнь призывавший погубить Карфаген, так и не дождал до его гибели и последнее, что он слышал в жизни, были известия о непрерывных поражениях в Африке. Сам он не мог бы осуществить свой замысел даже в лучшие свои годы, несмотря на славу прекрасного полковод-

ца, славу, созданную скорее его языком, чем мечом. И вот, на краю могилы, он вынужден был в греческих стихах прославлять внука своего смертельного врага (*Polyb.*, XXXVI, 8, 6; *Diod.*, XXXII, 15; *Liv. Ep.*, 49).

Римские послы не застали в лагере самого Сципиона. Дело в том, что Масинисса вдруг занемог. Почувствовав, что умирает, он спешно отправил гонца в римский лагерь с приказом отыскать там человека, которого зовут Публий Корнелий Сципион. Публий немедленно вскочил на коня и понесся во весь опор в Цирту, но он уже не застал старого царя в живых. Масинисса умер на руках своих многочисленных детей. Перед смертью он сказал, что завещает своих сыновей Сципиону, пусть он позаботится о них и разделит между ними наследство. Он просил детей во всем слушать молодого римлянина. «Я был другом его деду», — бормотал умирающий. Публий прибыл в столицу Ливии и был несколько смущен обилием отпрысков Масиниссы. У царя было трое законных и огромное количество незаконных детей, младшему из которых было 4 года! Но все-таки Сципион сумел их всех удовлетворить, раздав им деньги и богатые подарки. Через несколько дней он возвратился в лагерь (*App. Lib.*, 105—106; *Polyb.*, XXXVII, 10).

Но приехал он не один. Ко всеобщему изумлению, он привез в римский лагерь Гулуссу с войском, то есть достиг того, чего год не могла добиться римская дипломатия. Сципион сразу понял, какие неоценимые услуги может оказать сын Масиниссы римлянам. Прекрасно знавший местность, привыкший к полудикому способу ведения войны, нумидиец рыскал теперь вокруг лагеря и выслеживал Фамею. Пунийцу все труднее стало нападать на римлян.

Настала зима. Подул пронзительный ветер с моря. Римляне стояли под Карфагеном уже почти год. Между тем консул снова задумал осаждать Неферис. Что заставило его опять идти к этой неприступной крепости, где он потерпел такое жестокое поражение, да еще теперь, в самое неподходящее время года? Довольно ясно. Новые консулы вступали в свои права 1 января. Конечно, нечего было и думать, чтобы Манилию продлили полномочия. За год пребыва-

ния в Африке они с Цензорином совершили следующие подвиги: дали карфагенянам вооружиться и укрепиться, потерпели массу жестоких поражений, а потом без конца попадали в беду и любезно представляли Сципиону возможность спасти их. А ведь не будь Сципиона, вся римская армия была бы давно уничтожена! Поэтому Манилий со дня на день ожидал прибытия преемника. Но ему нестерпимо стыдно было теперь возвращаться в Рим и показываться на глаза согражданам. Можно представить себе тот град ядовитых насмешек, которые они обрушат на голову незадачливого юриста. Поэтому он лихорадочно спешил сделать напоследок хоть что-то замечательное, что отчасти заставило бы забыть его прежние промахи.

Итак, римляне снова подошли к роковой реке. На сей раз консул сделал все, как говорил Сципион. Остановился там, где тот в прошлый раз остановился, и разбил укрепленный лагерь. Но там он и сидел, охваченный мучительной неуверенностью и тревогой, страшась двинуться вперед и стыдясь идти назад. Фамея скрывался где-то возле лагеря.

Однажды в бурный зимний день Сципион ехал со своим маленьким отрядом. Местность, как мы помним, была пересеченная, и Публий двигался медленно, постоянно осматриваясь. Впереди был глубокий, непроходимый овраг. На противоположном берегу Сципион заметил людей. Ему показалось, что он узнает отряд Фамеи. Неожиданно атаман отделился от остальных и подъехал к самому краю оврага. Он поманил к себе римлянина. Не долго думая Сципион сделал знак остальным оставаться на месте и тоже один подъехал к краю оврага. Теперь он мог разглядеть своего врага ясно. Да, он не ошибся: то был сам грозный Гамилькар.

Враги несколько минут молчали. Первым заговорил Сципион:

— Ну, Фамея, ты видишь, куда зашли дела карфагенян. Почему же ты не позаботишься о собственном спасении, раз ничего не можешь сделать для общего?

— А какое может быть мне спасение, — угромо от-

вечал пуниец, — когда у карфагенян так обстоят дела, а римляне претерпели от меня столько зла?

— Даю тебе честное слово, если только ты считаешь меня человеком надежным и достойным доверия, тебе будет и спасение, и прощение, и благодарность от римлян, — сказал Сципион.

Фамея в ответ воскликнул, что нет человека, которому он верил бы больше, чем Сципиону.

— Я подумаю и, когда сочту возможным, дам тебе знать, — сказав это, Фамея исчез.

Через несколько дней один нумидиец принес Сципиону подметное письмо. Публий взял его и, не распечатывая, отдал консулу. Тот с удивлением поглядел на Сципиона, потом на письмо и наконец сломал печать и прочел: «В такой-то день я займу такой-то холм. Приходи с кем хочешь и передовой страже скажи, чтобы они приняли того, кто придет ночью». Ни адреса, ни подписи, ни какого-нибудь опознавательного знака. Консул вертел в руках странное послание и ничего не мог понять. Наконец он с недоумением уставился на Сципиона. Публий сказал, что уверен — это письмо ему от Фамеи. Консула, однако, это ничуть не обрадовало. По его мнению, это была явная ловушка. Коварный пуниец хочет заманить лучшего римского офицера в западню, и он стал умолять Сципиона — приказывать ему он уже давно разучился — не рисковать собой понапрасну. Разумеется, его просьбы, как всегда, не возымели на Сципиона ни малейшего действия. Кончилось тем, что он ночью отправился на свидание. Вернулся он с Фамеей и двумя тысячами его всадников. Гамилькар даже не потребовал никаких гарантий своей безопасности и не спросил, какая ждет его награда. Он сказал, что вверяет свою жизнь Сципиону и уверен в своей судьбе (*App. Lib., 107—108*).

Когда Сципион вернулся в римский лагерь возле Нефериса с Фамеей, все войско вышло ему навстречу и устроило некое подобие триумфа. Пели песни и славили Публия как триумфатора. Консул был очень доволен. Он считал, что теперь может смело отступить от Нефериса, ибо уже совершил славный подвиг — переманил самого опасного врага Рима. И войско уже без

приключений вернулось на прежнюю стоянку. В лагере Манилий узнал, что на смену ему присылают Кальпурния Пизона. Консулу надо было уезжать, но вперед себя он решил послать в Рим Сципиона с Фамеей. Конечно, он надеялся, что их блестящее появление хоть немного сгладит впечатление от его непрерывных позорных промахов и настроит квиритов в его пользу.

Итак, консул уезжал. Но его отъезд оставил римлян совершенно равнодушными. Горько было другое — уезжал Сципион. Все войско провожало Публия до самого корабля, а когда он уже поднялся на палубу, все дружно закричали:

— Возвращайся к нам консулом!

Они воздели руки к небу и стали горячо молить всех богов совершить это чудо. Они как заклинание повторяли это в каждом письме домой, ибо были убеждены, что только Сципион сможет покорить Карфаген (*App. Lib., 109*).

Увы! Это было совершенно невозможно. Закон требовал, чтобы человек был сначала эдилом, потом претором и только тогда он мог добиваться консулата. А Сципион еще не занимал ни одной магистратуры. С грустным чувством вернулись воины в лагерь, казавшийся опустевшим без Сципиона.

V

В Риме Сципион ввел Фамею в сенат. Отцы осыпали молодого офицера похвалами и словами самой горячей благодарности. Фамея же получил гораздо более ощутимую награду: ему подарили пурпурную одежду с золотой застежкой, коня с золотой сбруей, полное вооружение, мешок денег, палатку и пообещали дать еще столько же, если он будет теперь помогать римлянам против карфагенян. Фамея, как истый пуниец, рассудив, что родину ему уже не спасти, а деньги — вещь нужная, тут же согласился и, окрыленный надеждами, немедленно отбыл в Африку. Дальнейшая судьба этого замечательного человека нам не известна (*App. Lib., 109*). А Сципион вернулся к своим друзьям и книгам, в свой дом после года не-

прерывных опасностей, ночных тревог и суровой лагерной жизни.

Между тем события в Африке развивались следующим образом. На одном заседании Совета глава демократической партии Газдрубал и его сторонники набросились на оппонента и убили его скамейками. С этого дня Газдрубал стал фактически диктатором Карфагена (*App. Lib., 111*). Положение же римлян можно было назвать отчаянным. Уж не знаю, оттого ли, что Пизон был еще неспособнее Манилия, оттого ли, что в римском лагере больше не было Сципиона, только все пошло много хуже, чем в прошлом году. Пизон явно боялся Газдрубала, избегал столкновений с ним, вместо этого он безрезультатно осаждал мелкие окрестные города. Но ничего он не достиг, а карфагеняне сожгли все его машины. Видя это, пунийцы совсем осмелели. Они открыто издевались над бессилием Пизона. Сыновья Масиниссы перестали помогать римлянам и отделялись пустыми обещаниями. Из отряда Гулуссы к Газдрубалу перебежал нумидиец Бития с 800 всадниками. Газдрубал, по выражению Аппиана, уже не думал о чем-нибудь незначительном. Теперь он всерьез мечтал сокрушить Рим. Всю Ливию силой и угрозами он вновь объединил под властью карфагенян. «Он отправил послов... к независимым маврусиям, призывая их на помощь... Других послов он отправил в Македонию к тому, кто считался сыном Персея* и вел с римлянами войну, обещая, что у него не будет недостатка ни в кораблях, ни в деньгах из Карфагена» (*App. Lib., 111*). Словом, он создавал антиримскую коалицию.

Римлянами овладел гнетущий страх. Призрак Канн тяжелым кошмаром стоял перед ними. Вот каково было настроение квиритов, когда осенью они приступили к очередным выборам. На сей раз в них решил принять участие Сципион. Он выставил свою кандидатуру в эдилы. Но, едва он пришел на Марсово поле, народ немедленно выбрал его консулом. Консул этого года и сенаторы вышли к народу и стали

* Речь идет о Лжефилиппе, самозванце, который поднял в то время восстание в Македонии.

объяснять, что так делать нельзя, что такое избрание невозможно: оно противоречит Виллиеву закону 180 года. Но народ кричал, что еще по закону Ромула они могут выбирать кого хотят. Наконец сенаторы смирились и сказали:

— Пусть сегодня спят законы.

Новые консулы собирались было, как всегда, определить жребием, кому следует ехать в Карфаген. Но народ опять вышел из себя и шумел до тех пор, пока Сципиону без жребия не назначили Африку. Так Сципион, не занимавший прежде никакой куральной магистратуры, в 37 лет был выбран в консулы. Назначив своими легатами Гая Лелия и Серрана, Публий отплыл в Утику. За ним из личной дружбы последовали греческие корабли из Памфилии, жители которой были чрезвычайно искусны в морском деле (*App. Lib.*, 112; 123; *Diod.*, XXXII, 9a; *Liv.*, *ep.*, I; *Vell.*, I, 12, 3; *Val. Max.*, III, 15, 4).

В Африке Сципиона ожидали удивительные известия. Пока консул Пизон находился внутри страны, его легат и командующий флотом Люций Гостилий Манцин заметил, как ему показалось, слабое место Карфагена. Это была стена у моря, выходящая на крутые утесы. Пунийцы оставили ее без присмотра. Он незаметно подплыл туда, и небольшой отряд влез на стену. Карфагеняне их обнаружили и, увидав, как их мало, открыли ворота и ударили на них. Но римляне проявили отчаянное мужество. Они разбили врагов, обратили в бегство и вслед за ними ворвались в город. Поднялся крик, как при победе. «Манцин, вне себя от радости, будучи и в остальном быстрым и легкомысленным, а с ним и все остальные, оставив корабли, с криками устремились к стене». При этом, видимо, вместе с воинами на приступ бросилась и команда, совершенно безоружная. Но это было чистейшее безумие. Крошечный, почти безоружный отряд остался один на один со всей карфагенской армией, вооруженной до зубов. Тем временем спустилась ночь. Манцин был в отчаянии. Он «был уже готов к тому, что с зарей будет выбит карфагенянами и сброшен на острые скалы». Он слал гонца за гонцом Пизону и в дружественную Утику, но ответа не было.

Сципион прибыл в Утику около полуночи и узнал обо всем. Он «тотчас же велел трубить поход». Освободив находившихся в городе пленных, он велел передать карфагенянам и Газдрубалу:

— Приехал Сципион.

Эти слова имели оттенок двусмысленности: в Африке имя Сципион было равносильно слову победитель.

Была последняя стража ночи*. На Манцина напали со всех сторон. «Он вместе с пятьюстами воинами, которых одних имел вооруженными, окружил невооруженных, которых было три тысячи». Израненные, потерявшие всякую надежду, они стояли над бездной, отбиваясь из последних сил. И «вдруг появились корабли Сципиона, в стремительном беге подымая волны, полные стоявших на палубе легионеров... Для карфагенян, узнавших об этом от пленных, их прибытие не было неожиданностью, для римлян же... Сципион принёс нежданное спасение». Публий без труда отгеснил карфагенян, снял римлян со скалы, Манцина посадил на корабль и велел немедленно отправляться в Рим, потому что здесь он ему не нужен. Вслед за ним он отправил и Пизона (*App. Lib., 113—114*).

Мечта воинов сбылась. То, о чем они так страстно молились много месяцев, исполнилось. Сципион снова вошел в их лагерь, но уже в палудаментуме, пурпурном плаще полководца. Можно себе представить, каким взрывом восторга его встретили. Однако первые его слова были совсем не ласковы, даже суровы. Дело в том, что у Сципиона как полководца были очень определенные и очень оригинальные принципы ведения военных действий. И первым его принципом была дисциплина, притом дисциплина строжайшая. Даже среди римлян, народа необыкновенно приверженного к дисциплине, он прославился совершенно особой преданностью этой идее. На войне он был суров и «неприступен, он не склонен был оказывать милости, особенно противозаконные. Он часто говорил:

— Суровые и справедливые полководцы полезны для своих, а уступчивые и милостивые — для врагов.

* Между тремя и шестью часами.

У одних войско радуется жизни и их презирает, у других оно сурово, послушно и готово на все» (*App. Hiber.*, 85).

При этом Публий не только требовал от солдат полного, абсолютного послушания, суровой верности долгу и воинской присяге. Нет. Он еще безжалостно боролся со всяким пороком, развратом, алчностью и роскошью. Дорогая одежда, роскошная пища, даже слишком изысканная посуда были запрещены в его лагере. Он был столь последователен и так неутомимо шел к своей цели, что у меня не остается никаких сомнений, что он поступал так не только ради нужд войны. Спору нет, управлять послушным войском много легче, чем непослушным. Но, с другой стороны, так ли уж необходимо для победы, чтобы солдаты пользовались самой дешевой посудой? Мы знаем, например, что Цезарь, тоже опытный полководец, разумеется, требовавший от солдат послушания, в то же время весьма снисходительно смотрел на их мелкие грешки. Их часто обвиняли в разврате и роскоши. В ответ Цезарь только смеялся. Он говорил: «Пусть душатся, лишь бы сражались». Но наш Сципион не мог бы произнести таких слов. Они казались бы ему почти кощунственными. О нем можно сказать то, что говорит Плутарх о его отце. На войне Эмилий Павел, по его словам, был «суровым стражем отеческих обычаев... Точно жрец каких-то страшных таинств, он ...грозно карал ослушников и нарушителей порядка... считая победу над врагами лишь побочной целью рядом с главной — воспитанием сограждан» (курсив мой. — Т. Б.; *Plut. Paul.*, 3).

Сейчас у Публия были особые и очень веские причины для недовольства. Дело в том, что солдаты, которые и при Манилии чувствовали себя довольно свободно, при Пизоне и вовсе распустились. Новый консул созвал их и, взойдя на высокий трибунал, в краткой и энергичной речи напомнил им о воинской дисциплине. Он сказал, что краснеет, видя, во что они превратились. Они больше похожи на торговцев на базаре, чем на воинов. Они разбойничают, а не воюют. Они хотят жить в роскоши, забывая, что

они римские солдаты. «Если бы я думал, что виноваты вы, я бы немедленно вас наказал. Но я считаю, что виноват в этом другой, и поэтому прощаю вам то, что вы делали доселе». После этих слов он немедленно выгнал из лагеря всех лишних людей, запретил воинам готовить дорогие кушанья, велел есть простые солдатские, и напомнил, что будет считать дезертиром всякого, кто отойдет от лагеря дальше, чем слышен звук трубы (*App. Lib.*, 115—117). Сам император* во всем подавал воинам пример: спал на голых досках, отказывал себе во всем и терпел все тяготы лагерной жизни. Он даже редко садился, чтобы пообедать: обычно он брал кусок хлеба и ел на ходу (*Frontin.*, IV, 3, 9).

У Сципиона был какой-то особый дар восстанавливать дисциплину. Уж кто-кто, а он умел заставить себя слушаться и, по выражению Аппиана, приучить войско «к уважению и страху перед собой» (*App. Hiber.*, 85). Буйные и мятежные солдаты, надменные и наглые офицеры через несколько дней становились тихими и послушными, как овечки. Уж ему никто не посмел бы и заикнуться, что бросит меч, если он делает так, а не иначе, как говорили несчастному Манилию.

И еще одна черта. Мы видели, что своей строгостью он напоминал своего отца, Эмилия Павла. Но того воины буквально ненавидели. Сципиона же, несмотря на всю его суровость, не просто любили — его обожали. Войско обожало его, когда он был простым воином в Македонии. Оно обожало его, когда он служил офицером в Испании и Африке. Оно обожало его и теперь, когда он стал консулом. Стоило ему улыбнуться или сказать ласковое слово, воины уже были на седьмом небе от счастья.

Второй принцип стратегии Публия был еще интереснее и оригинальнее. Он уподоблял полководца врачу. Как врач делает операцию только в крайнем случае и операция эта должна быть одна, так и пол-

* Император — победоносный римский полководец. Кроме того, полководец и военачальник вообще.

ководец должен идти на битву в крайнем случае и стараться, чтобы битв было как можно меньше (*App. Hiber.*, 87; *Gell.*, XIII, 3, 6; *Val. Max.*, VII, 2, 2). «Того же, кто вступит в сражение, когда в этом нет необходимости, он считал полководцем никуда не годным» (*App. Hiber.*, 87). Далее. Главное для него, как римского военачальника, — это не уничтожить побольше врагов, а сохранить своих.

— Я предпочитаю спасти одного гражданина, чем убить тысячу врагов, — говорил он (*Hist. August. Ant. Pius*, 9, 10).

И так как полководец ответственен за жизнь сотен людей, он должен обдумать все до последней детали. Малейшая его ошибка — это преступление, которое не простится ему ни божескими, ни человеческими законами. «Сципион Африканский утверждал, что в военном деле позорно говорить: «Я об этом не подумал», — ибо он считал, что можно действовать мечом только после того, как план тщательно, с величайшим расчетом продуман: ведь непоправима ошибка там, где в дело вступает жестокий Марс (*Val. Max.*, VII, 2, 2).

Стало быть, полководец должен навязать врагам такую тактику, при которой римляне по возможности несли бы меньше жертв. И он придумал такую тактику. Он два раза был консулом и оба раза использовал один и тот же совершенно необычный прием. И впервые применил он его под Карфагеном.

VI

В короткий срок он навел страх на Газдрубала, выбил его из укрепленного лагеря возле Карфагена, загнал в город, а лагерь сжег. После этого-то консул приступил к исполнению своего плана. Воины вооружились лопатами, кирками и ломami и приступили к строительным работам. Они трудились 20 суток, не прекращая работы ни днем, ни ночью, причем на них непрерывно нападали карфагеняне, так что они должны были и работать, и сражаться одновременно. Но они разделены были на отряды и по очереди строили, воевали или отдыхали. Через три

недели работа была закончена. Как помнит читатель, Карфаген находился на полуострове и от материка его отделял перешеек около 4,6 километра шириной. И вот римляне прокопали весь этот перешеек и воздвигли могучую крепость, которая пересекала весь полуостров и тянулась от моря до моря. Высота стены достигала 4 метров, не считая зубцов и башен, толщина — 2 метра. Ее защищали, кроме того, частокол и ров. В середине стены Сципион соорудил мощную каменную башню, а над ней — еще четырехэтажную деревянную, откуда можно было наблюдать за всем, что происходило в Карфагене. Кончив работать, полководец ввел свое войско в этот импровизированный замок²⁶.

Теперь римляне жили в настоящей крепости. Набеги карфагенян их больше не страшили. «Наш лагерь был так укреплен, что можно было бы увести часть войска», — рассказывал впоследствии Сципион народу (*ORF², Scipio Minor, 12*). А главное, Сципион локализовал войну в одном городе и блокировал его, совершенно отрезав от суши. Ни воины, ни оружие, ни продовольствие не могли проникнуть через укрепление Сципиона. Но оставалось еще море. Оно связывало Карфаген с внешним миром, и, хотя корабли римлян стояли в гавани, мимо них постоянно проскакивали неприятельские суда. Сципион решил положить этому конец. Он начал возводить каменную дамбу, которая должна была закрыть вход в порт. Это было исполинское сооружение, у основания достигавшее 30 метров. Карфагеняне сначала только издевались над римлянами, которые трудились над этой циклопической постройкой. Но римляне, с тех пор как приехал Сципион, словно испытывали прилив новых сил. Вместо постоянного стыда и тоски, которые они ощущали при предыдущих консулах, их охватило какое-то восторженное возбуждение. Все их действия казались исполненными глубокого смысла, теперь они не сомневались в победе. И вот днем и ночью, не останавливаясь, они носили камни. Напрасно пунийцы бросали в них копья и дротики — страшная дамба поднималась все выше.

Видя, что ничто не может остановить римлян, пунийцы ухватились за новый план. Целые дни римляне слышали непрерывный стук, несущийся из гавани. Они ломали себе голову над тем, что это может значить. А карфагеняне пробили новое устье в сторону открытого моря и с торжеством вывели свой флот. Римляне были убеждены, что у неприятеля нет кораблей, и теперь просто глазам своим не верили. Если бы пунийцы тут же устремились на врагов, то застали бы их врасплох: у римлян ничего еще не было готово для морского боя. Но боги, по словам Аппиана, уже твердо решили погубить Карфаген. Поэтому пунийцы только гордо проехали мимо римлян и вернулись в гавань. И они потеряли время. Сципион явился на место действия и успел, как всегда, очень быстро подготовиться. Два дня длилась морская битва. Римлянам было нелегко: они не привыкли сражаться на море, а имели дело с искуснейшими флотоводцами мира. Но все-таки они победили, главным образом благодаря грекам, друзьям Сципиона. Греки предложили свою тактику боя. Римляне быстро ее переняли, и карфагеняне были разбиты (*App. Lib., 120—124*). Гавань была заперта.

VII

Газдрубал, всемогущий диктатор Карфагена, два года наводил страх на римскую армию. Но вот приехал Сципион, и римляне с карфагенянами поменялись местами. Первое жестокое поражение, нанесенное ему Публием, ясно показало Газдрубалу, что время побед окончилось. Когда же он понял, что заперт в Карфагене, его охватила неистовая ярость. Проявил он ее следующим образом:

«Газдрубал вывел римских пленных на стену, откуда римлянам должно было быть видно то, что произойдет, и стал кривыми железными инструментами у одних вырывать глаза, языки, тянуть жилы и отрезать половые органы, у других подсекал подошвы, отрубал пальцы или сдирал кожу со всего тела и всех, еще живых, сбрасывал со стены или со скал» (*App. Lib., 118*).

Можно себе представить гнев и отчаяние римлян, которые прекрасно видели, как истязают их друзей, но бессильны были помочь. Однако в отчаяние пришли не только римляне, но многие члены карфагенского совета. И не потому, что они были очень чувствительными людьми. Они прекрасно поняли, что теперь мосты сожжены. Еще вчера они могли надеяться смягчить и разжалобить римлян и их полководца, который слыл у них очень добрым человеком. Сегодня это было уже невозможно.

Но сам Газдрубал, по-видимому, был другого мнения. Вскоре после своего подвига он дал знать Гулуссе, который снова был в римском лагере, что желал бы с ним говорить. Их свидание Полибий описывает столь ярко, столь красочно и живо, что я совершенно уверена, что он собственными глазами видел все с четырехугольной башни Сципиона.

«Газдрубал явился для переговоров к нумидийскому царю Гулуссе во всеоружии*, в пурпурном плаще, застегнутом на груди, в сопровождении десяти оруженосцев; потом вышел вперед... и кивком головы подозвал к себе царя, хотя подходить-то следовало ему. Во всяком случае, Гулусса подошел к нему один, в простой одежде по обычаю нумидийцев и... спросил, кого он так боится, что пришел сюда в полном вооружении. Когда тот ответил, что боится римлян, Гулусса продолжал:

— Оно и видно, иначе бы ты без всякой нужды не дал запереть себя в городе. Что же тебе угодно и о чем твоя просьба?

— Я прошу тебя, — отвечал Газдрубал, — принять на себя посольство к римскому военачальнику и от нашего имени дать обещание выполнить всякое его требование. Только пощадите наш злосчастный город.

— Друг любезнейший, — был ответ Гулуссы, — просьба твоя была бы прилична ребенку. Каким образом ты желаешь получить милость, которой вы че-

* Это было вопиющим нарушением всех международных обычаев, требовавших, чтобы на переговоры являлись безоружными.

рез послов не могли добиться еще до начала военных действий...

Газдрубал возразил, что Гулусса сильно заблуждается, что он возлагает большие надежды на иноземных союзников... что сами карфагеняне не теряют веры в собственные силы, а главное, рассчитывают на богов и их содействие».

Газдрубал добавил, что карфагеняне скорее переубедят друг друга, чем пожертвуют своим городом. На этом они расстались, и Гулусса не очень охотно отправился к римскому военачальнику. Трудно было найти менее удачный момент для переговоров. В глазах Сципиона до сих пор стояли виденные недавно пытки. Его пробирала дрожь отвращения при одном имени Газдрубала. И все же он заставил себя терпеливо выслушать нумидийца, пока тот не дошел до богов. Тут «Публий, засмеявшись, сказал:

— Ты, верно, заготовлял эту просьбу, когда совершил такое ужасное нечестие над нашими пленными, и теперь неужели ты возлагаешь надежды на богов, когда преступил законы божеские и человеческие?»

Гулусса, однако, стал настойчиво убеждать Публия быть уступчивее: ведь приближаются консульские выборы, Сципиону могут прислать преемника, который, не обнажая меча, воспользуется его трудами, а кроме того, ведь следует помнить о непостоянстве судьбы. Публий задумался. Его вряд ли могла испугать угроза приезда нового консула — хотя бы потому, что теперь, после всего, что он сделал, ни народ, ни трибуны не допустили бы этого. Больше подействовало на него, несомненно, упоминание о судьбе: эта тема всегда его волновала. Но главным образом, вероятно, он боялся своей резкостью обидеть сына Масиниссы. Отвергнуть посредничество нумидийского царя казалось ему некрасивым.

Но о принятии предложения Газдрубала не могло быть и речи. Сципион прекрасно знал, что сенат — да и весь римский народ — считали теперь, что необходимо стереть ненавистный город с лица земли, ибо Рим и Карфаген не могут вместе жить под солнцем. Поэтому он велел передать Газдрубалу, что выпустит

из города его самого, его семью и еще десять семей по его выбору и позволит взять 10 талантов денег. Такой ответ и понес Гулусса Газдрубалу. «Тот опять подходил к нему медленной поступью, в пышной багрянице и в полном вооружении, так что был гораздо торжественнее театральных тиранов. От природы человек плотного сложения, Газдрубал имел теперь огромный живот; цвет лица его был неестественно красный, так что, судя по виду, он вел жизнь не правителя государства, к тому же удрученного неописуемыми бедами, но откормленного быка, помещенного где-нибудь на рынке. Как бы то ни было, Газдрубал подошел к царю и, выслушав предложения римского военачальника, несколько раз ударил себя по бедру, потом, призвавши богов и судьбу в свидетели, объявил, что никогда не наступит тот день, когда бы Газдрубал смотрел на солнечный свет и вместе на пламя, пожирающее родной город, что для людей благомыслящих родной город в пламени — почетная могила.

Доверяя речам, можно было удивляться мужеству Газдрубала и его душевной доблести; но при виде поступков нельзя было не поражаться его подлостью и трусостью. Так, во-первых, когда прочие граждане умирали от голода, он устраивал для себя пиры с дорогостоящими лакомствами, и своею тучностью давал чувствовать сильнее общее бедствие... Потом издевательствами над одними, истязаниями и казнями других он держал народ в страхе и этими средствами властвовал над злосчастной родиной, как едва ли позволил бы себе тиран в государстве благоденствующем» (*Polyb., XXXVIII, 1—2*).

Прибавлю еще одно. Нам описывают Карфаген как сказочно богатый город. В стенах находились огромные склады с продовольствием для слонов, коней и, конечно, людей. Судя по всему, город мог выдержать много месяцев осады. И, если он так рано стал испытывать муки голода, виной тому Газдрубал, который захватил все склады с продовольствием и с удивительным бесстыдством распределял его только между своими близкими, не обращая внимания на трупы, которые уже валялись на улицах города (*App. Lib., 120*).

Чтобы взять Карфаген, оставалось сделать последнее — сокрушить Неферис, который тщетно осаждал Манилий. Была зима. На это время у римлян принято было прекращать военные действия. Но Сципион считал, что нельзя терять ни минуты. Он послал под Неферис Лелия и Гулуссу. Но он не мог покинуть их в столь опасном месте, поэтому непрерывно курсировал между Карфагеном и Неферисом. Вскоре, однако, полководец убедился, что Лелий, несмотря на все старания, не может овладеть крепостью. Тогда Публий взялся за дело сам. Всего с четырьмя тысячами воинов он ворвался в город. Неферис пал. Вместе с ним пала и последняя надежда пунийцев (*App. Lib., 126*).

С наступлением весны Сципион повел войско на приступ Карфагена. По-видимому, он разделил армию на две части — половину отдал Лелию, половину взял сам. С двух сторон они двинулись к стенам. Полибий был в личном отряде главнокомандующего. Штурм начался со стороны открытого моря, там, где находилась гавань Котон. Ночью Газдрубал поджег часть гавани. Но, пока Сципион отвлекал врага на себя, Лелий спокойно перелез стену с другой стороны. Воины громко закричали, давая знать товарищам, что они уже внутри стен. Теперь «римляне, не обращая уже ни на что внимания, рвались со всех сторон на стены, набрасывая на промежутки (между машинами римлян и стеной карфагенян. — Т. Б.) балки, куски машин и доски» (Аппиан).

Сципион появился в городе почти одновременно со своим другом, но совсем необычным способом. Аммиан Марцеллин рассказывает: «Сципион Эмилиан с историком Полибием и тридцатью воинами с помощью подкопа овладел воротами Карфагена... Эмилиан подошел к воротам под прикрытием каменной «черепahi». Пока враги оттащивали каменные глыбы от ворот, Эмилиан, никем не замеченный и в безопасности, проник в покинутый город» (*Amm. Marc., XIV, 2, 14—*

17)* От неприятеля их отделял рукав залива. Полибий был человеком неколебимого мужества, но и он почувствовал невольный трепет, оказавшись в центре вражеского города с тремя десятками воинов. Он посоветовал Публию немедленно побросать в неглубокую воду, отделяющую их от карфагенян, доски с гвоздями, чтобы враги не смогли их атаковать. Но главнокомандующий с улыбкой отвечал:

— Смешно было бы, завладевши стенами и находясь внутри города, избегать всеми мерами сражения с неприятелем (*Plut. Reg. et imp. apoph. Scipio Min., 5*).

Страх Полибия был напрасен. Оба римских отряда соединились, и карфагеняне отступили, оставив эту часть города в руках врагов²⁷. Римляне очутились на небольшой круглой площади, лежавшей между гаванью и подошвой цитадели Бирса. На этой площади некогда бушевали народные собрания, там народ носился, держа на копьях головы растерзанных вельмож, там распинали неудобных полководцев, там еще так недавно Газдрубал развешивал казненных (*Diod., XX, 44, 3; Justin., XXII, 7, 8; Liv., XXX, 24, 10*). Тем временем спустился вечер. Сципион и его воины провели ночь на площади, не выпуская из рук оружия.

С первыми лучами солнца они ринулись к Бирсе. Они оказались в лабиринте узких кривых улочек. Как утесы, высились тесно прижатые друг к другу огромные шестиэтажные небоскребы. Из окон и с крыш на римлян дождем сыпались камни, копья, дротики. Римляне стали залезать на крыши. Они перебрасывали доски между домами и сражались высоко на этих мостах. Тем временем бой кипел и внизу. То и дело с головокружительной высоты с воплем падали люди. Наконец вспыхнул пожар²⁸. Все крутом превратилось в горящий ад. Улицы звенели от криков, дома с грохотом падали. Шум, грохот, звон, огонь, страшное на-

*Аммиан Марцеллин говорит, что император Юлиан Отступник, сам хороший полководец, хотел повторить этот прием Сципиона, но у него ничего не вышло, и он отступил «с краской в лице».

пряжение и ужасные зрелища пожара делали людей безумными и равнодушными.

«В таких трудах прошло у них шесть дней и шесть ночей, причем отряды постоянно сменялись, чтобы не устать от бессонницы, трудов... и ужасных зрелищ. Один Сципион без сна непрерывно находился там, был повсюду, даже ел мимоходом, между делом, и лишь иногда, устав и выбрав удобный момент, садился на возвышении, наблюдая происходящее» (Аппиан).

На седьмой день карфагеняне сложили оружие. Только 900 перебежчиков, которым нечего было ожидать милости от Сципиона, и семья Газдрубала продолжали сопротивление. Они заперлись в огромном храме Эшмуна, находившемся в Бирсе, и дали друг другу страшную клятву сгореть, но не сдаваться римлянам. Легионы окружили храм. Вдруг оттуда показался Газдрубал и, несмотря на свое грузное сложение, легкой рысью подбежал к Сципиону и пал к его ногам. Это поразило римского военачальника. Он вспомнил слова вождя карфагенян, что для него пожар родного города — лучшая могила, и с изумлением глядел на него.

После явления Газдрубала перед римлянами мелькнуло несколько видений. На крыше храма появилась толпа перебежчиков. Они стали умолять римлянина на несколько минут прекратить бой. Тот решил, что они хотят сообщить ему что-то важное, и дал своим знак остановиться. Но они, подбежав к самому краю крыши, стали поносить последними словами Газдрубала. Они кричали, что он трус, мерзавец, клятвопреступник, а затем, продолжает Полибий, обрушили на него такой поток площадной брани, что его и повторить немислимо. Излив душу, они скрылись. И тут же храм вспыхнул: они подожгли его изнутри.

И тогда на крыше среди языков пламени показалось второе видение. То была величественная женщина в пышной одежде. Она держала за руки двух мальчиков в коротких туниках, которые испуганно жались к матери. Это была жена Газдрубала. Она громко назвала мужа по имени. Но он только еще ниже склонился к земле, не покидая спасительного по-

ложения у ног Сципиона. Тогда она обернулась к Публию и сказала:

— Тебе, о римлянин, нет мщения от богов, ибо ты сражался против враждебной страны.

И она поблагодарила его за то, что он хотел спасти жизнь ей и ее детям. Затем она повернулась к мужу. Она напомнила ему, как он клялся, что никогда не будет глядеть живой на пламя родного города. Она осыпала его страшными проклятиями и язвительными упреками, призывая на его голову мщение всех богов Карфагена, и заклинала Сципиона воздать ему сторицей. После этого она зарезала детей, бросила их в пламя и кинулась туда сама. Здание с грохотом рухнуло, погребая под собой последних защитников. Газдрубал продолжал сидеть у ног Сципиона (*App. Lib.*, 127—131; *Polyb.*, XXXIX, 4).

Город превратился в море огня. Гигантские уродливые здания, узенькие улочки, сверкающие золотом храмы и огромные медные идолы, в которых столько лет сжигали заживо детей*, чтобы отвратить неминуемую гибель от Карфагена, — все это потонуло в пламени. Полибий и Сципион стояли на холме и смотрели на пожар. Полибий был упоен победой. Он обернулся к другу, чтобы поделиться с ним своими

* Среди карфагенской добычи было одно очень любопытное изделие, что-то вроде статуи. То был медный бык, полый внутри. В него кидали живых людей, а потом разводили под ним огонь. Полибий, внимательно осмотревший быка, подробно описал эту адскую машину: «В раскаленной меди человек поджаривался со всех сторон и, кругом обгоревши, умирал. Если от нестерпимой боли несчастный кричал, то из меди исходили звуки, напоминавшие мычание быка... Уцелела дверь, помещавшаяся между лопатками быка, через которую кидали... людей» (*Polyb.*, XII, 25, 1—3).

Бык этот, имевший облик Баала, очевидно, служил для человеческих жертвоприношений. И сицилийский историк Тимей, прекрасно знавший карфагенян, уверяет, что это чисто пунийское изделие (*ibid.*, 4). Но Полибий, интересовавшийся всем на свете, кроме религии, стал с жаром доказывать, что бык изготовлен сицилийским тираном Фаларидом и увезен пунийцами. Разумеется, Публий склонился перед авторитетом своего ученого наставника. С отвращением взглянув на адский снаряд, он передал быка сицилийцам (*Cic.*, *Verr.*, IV, 33, 75).

чувствами, и вдруг увидел, что Сципион плачет. Полибий был в первую минуту совершенно поражен и не мог понять, что с ним. «Сципион при виде окончательной гибели города заплакал и громко выразил жалость к неприятелю. Долго стоял он в раздумье о том, что города, народы, целые царства, подобно отдельным людям, неизбежно испытывают превратности судьбы, что жертвой ее пали Илион, славный некогда город, царства ассирийское, мидийское и еще более могущественное персидское, наконец, так недавно ярко блиставшее македонское царство» (Аппиан). И слезы текли по его лицу. И он произнес строки из Гомера:

Будет некогда день и погибнет священная Троя.
С нею погибнет Приам и народ копыеносца Приама.

Затем, «обернувшись ко мне и сжав мою руку, он сказал:

— Это великий час, Полибий. Но я терзаюсь страхом при мысли, что некогда другой кто-нибудь принесет такую же весть о моем отечестве» (Полибий)²⁹.

Вся эта сцена произвела на Полибия неизгладимое впечатление. «Трудно сказать что-нибудь более... мудрое. На вершине собственных удач и бедствий врага памятовать о своей доле со всеми ее превратностями и вообще ясно представлять себе непостоянство Судьбы — на это способен только человек великий и совершенный, словом, достойный памяти истории» (*Polyb., XXXIX, 5; App. Lib., 132—135*).

Шестнадцать дней горел Карфаген. На семнадцатый день Публий Сципион провел плутом по еще тлеющим развалинам и произнес страшное древнее заклятие, обрекающее это место подземным богам и демонам. Никто из людей не должен был здесь селиться. А на территории бывшей карфагенской державы была организована римская провинция Африка. Римский военачальник не исполнил заветов жены Газдрубала. Бывший диктатор Карфагена, винов-

ник войны «был обласкан Сципионом» (Полибий). Ему предложили на выбор жить в Африке или Италии. Пуниец выбрал Италию. Там он, изменник нумидиец Битий и заложники мирно дожили свой век (*Polyb., XXXIX, 4, 11—12; Zon., IX, 30*).

Прошло около ста лет, и римляне сами восстановили Карфаген, только уже на новом месте — это ведь отдано было злым духам. Карфаген вновь разбогател, а так как населен он был пунийцами, то они вернулись к исконным обычаям. Они даже тайком продолжали сжигать детей Баалу, несмотря на самые строгие запреты римлян. Но Карфагену не суждены были жизнь и благоденствие. В VII веке он окончательно был разрушен арабами.

По злой иронии судьбы единственным человеком, который плакал о судьбе Карфагена, был его великий победитель. Греки отнеслись к гибели города равнодушно. Сицилийцы откровенно обрадовались. Очень символично, что лучший эллин того времени, Полибий, брал Карфаген бок о бок с римлянами. Его изумление при виде слез Сципиона ясно показывает, как сам он далек был от жалости к пунийцам. Противник Сципиона Старшего оказался прав, говоря, что «все обрадуются, если карфагеняне будут наказаны». Что же касается римлян, то они узнали о случившемся поздним вечером. Вдали, в море, они увидели корабль, украшенный пунийской добычей, и поняли, что Карфаген перестал существовать.

В эту ночь никто не спал. «Всю ночь провели они вместе, радуясь и обнимаясь, как будто только теперь стали они свободными от страха, только теперь почувствовали, что могут безопасно властвовать над другими, только теперь уверились в твердости своего государства и одержали такую победу, какую раньше никогда не одерживали. Они, конечно, сознавали, что много совершили блестящих дел, много совершено было и их отцами в войнах против македонян, иберов и недавно еще Антиоха Великого... но они не знали ни одной другой войны столь близкой, у самых своих ворот, и такой страшной... Они напоминали друг другу, что перенесли от карфагенян в Си-

цилии, Иберии и самой Италии в течение шестнадцати лет, когда Ганнибал сжег у них четыреста городов, в одних битвах погубил триста тысяч человек и часто подступал к самому Риму... Думая об этом, они так поражены были победой, что не верили в нее и вновь спрашивали друг друга, действительно ли разрушен Карфаген. Всю ночь они разговаривали о том, как у карфагенян было отнято оружие и как они тотчас же неожиданно сделали другое; как были отняты корабли и они вновь выстроили флот из старого дерева; как у них было закрыто устье гавани и как они через несколько дней вырыли новое устье. У всех на устах были рассказы о высоте стен, величине камней и о том огне, который враги не раз бросали на машины. Словом, они передавали друг другу события этой войны, как будто только что видели их своими глазами, помогая себе жестами. И им казалось, что они видят Сципиона, быстро появляющегося повсюду — на лестницах, у кораблей, у ворот, в битвах. Так провели римляне эту ночь» (*App. Lib., 134*).

РИМСКИЙ ПОЛИТИК

Что нужно было для того, чтобы занять первое место в государстве. Римское красноречие и его роль.

Римский оратор. Обучение красноречию.

Процедура соискания общественных должностей.

Номенклатур. Одежда соискателя и его поведение.

Предвыборная борьба. Цензура. Примеры цензорской строгости. Школа танцев. Смотр всадников на Форуме.

Судебные процессы. Римский турист на Востоке.

Роскошный двор Птолемеев. Чудеса Египта: пирамиды, бык Апис, ручные крокодилы.

Царь или больше —
римлянин был он?

Байрон.

Паломничество Чайльд Гарольда

I

Когда в 151 году до н. э. Сципион уезжал в Испанию, это был уважаемый, но скромный человек, о котором давно было известно, что он выбрал для себя тихую частную жизнь. Прошло всего 5 лет, и он вернулся в блеске невиданной, ослепительной славы — национальный герой, спаситель Рима, разрушитель Карфагена. Им восхищались, восторгались, его буквально носили на руках. Волна любви народной разом вознесла его на самую вершину общественной лестницы. Отныне до самого конца жизни он оставался первым в Римской республике. Полибий, лучше всех знавший своего питомца, говорит, что этот застенчивый мальчик с детства страстно мечтал занять первое место в государстве (*Polyb., XXIX, 18*). Ему исполнилось 39 лет, и мечта его сбылась.

Его влияние было совершенно необычно. «Авторитет его был так же велик, как и авторитет самой державы римского народа». «Его мнение считалось законом для римлян и иностранных племен», — говорит Цицерон (*Mur.*, 58; *Cluent.*, 134). И оратор называет его первым гражданином Республики (*De re publ.*, I, 34)*.

Однако очень ошибется тот, кто решит, что своим исключительным положением Сципион был обязан победе над Карфагеном. Мы знаем, что благодарность великим полководцам бывает обыкновенно пылкой, но очень недолговечной. Знаменитые полководцы древности, Кориолан и Камилл, удалились в изгнание после своих блистательных побед. Даже сам Великий Сципион, спаситель Рима, испытал неблагодарность сограждан и умер в добровольном изгнании. Далее. Мы с удивлением замечаем, что в Риме вообще никто и никогда не занимал такого места, как Публий. В поколении отцов первыми гражданами считались Сципион, великий победитель Ганнибала, и его враг Катон. Сципиона, конечно, обожал простой народ, им восхищались, но его никогда не понимали, он был далек от политики, и темная струя зависти отравляла все вокруг него. Что до Катона, то он защищал свое первенство так же, как охранял свой пост жрец Неми, который днем и ночью без сна ходил с мечом вокруг священного дерева Дианы, не давая соперникам приблизиться** Так, без отдыха и сна стоял на страже и Катон. «Он, с которым враждовали чуть ли не все могущественные люди Рима, словно атлет, боролся до глубокой старости» (*Plut. Cat. mai.*, 29). Он был под судом более 50 раз. Последний раз он защищался в возрасте 86 лет, а обвинял в 90.

А наш герой завоевал сердца квиритов. Все любили его. Все в нем — направление его ума, характер,

* *Princeps rei publicae.*

** Жрец Неми должен был охранять священное дерево. Человек, сорвавший с него ветвь, мог убить его и занять его место. Вот почему старый жрец днем и ночью, в зной и дождь ходил взад и вперед возле священного дерева. Объяснению этого странного обычая посвящена «Золотая ветвь» Фрезера.

манеры, кажется, даже звук его голоса — очаровывало римлян. Сравнивая его с Катоном, Плиний замечает, что, во-первых, таланты Сципиона сияли ярче, во-вторых, он не был окружен той ненавистью, которую заслужил старый Цензор (*Plin. N. H., VII, 100*). До нас дошло одно очень красноречивое свидетельство этой любви: Сципион — единственный из людей Античности, а может быть, и всей человеческой истории, о котором не сохранилось ни одной низкой сплетни, ни одного грязного слуха³⁰. И он стоит перед нами в незапятнанной чистоте. В глазах современников и потомков он был живым идеалом римлянина, «совершенством», как назвал его Полибий (*Polyb., XXXIX, 5*). Историк пишет, что он подобен прекрасной статуе, произведению великого мастера, где важна и продумана каждая деталь (*fr. 162*). Для Цицерона он был воплощением понятия *humanitas*, то есть квинт-эссенции лучших человеческих качеств. «В жизни он ничего не подумал, ничего не сделал и ничего не сказал, что не было бы достойно восхищения», — говорит римский историк Веллей Патеркул (*Vell. I, 12*).

По словам Плиния, Публий «занимал первенство в трех важнейших сферах человеческой жизни — он был лучший оратор, лучший император и лучший сенатор (то есть, лучший полководец и лучший государственный деятель. — Т. Б.)» (*Plin. N.H., VII, 100*). Каким был Сципион как полководец, мы уже знаем. Поэтому мы остановимся на двух других его талантах и постараемся выяснить, каким он был в политике и красноречии.

До 151 года до н. э. Сципион жил совершенно собой, вольной жизнью. Он мог от зари до зари запоем читать греческие комедии, мог сочинять целый день стихи, мог часами слушать лекции философа или изучать трактат по астрономии. Римляне поэтому называли его жизнь праздною. Сейчас с этой «праздною» жизнью было навеки покончено. Сципион считал, что отныне все его время и все его силы принадлежат Республике.

— От родителей и предков мне досталось в наследство это одно дело — заботиться о Республике и управлять ею, — говорит он о себе у Цицерона (*De re publ., I, 35*).

Это особенно хорошо видно из сравнения его с племянником Тубероном. То был фанатичный и страстный поклонник греческой философии, который «у всех на глазах занимался денно и нощно с философом». У Публия же, по общему мнению, не было ни одной свободной минуты, чтобы изучать науки. Но вот что замечательно. Когда племянник беседовал с ним о том, что успел узнать, он с изумлением обнаруживал, что Публию Африканскому все это прекрасно известно. Это поражало Туберона и всех окружающих более всего (*Cic. De or., III, 87*).

Цицерон рассказывает, как тот же Туберон в дни праздника приехал к Сципиону ни свет ни заря. Сципион, увидев его в такую рань, ласково спросил:

— Что же ты так рано, Туберон? Ведь эти праздники дают тебе прекрасную возможность заняться литературой.

На это племянник ответил ему:

— Для моих книг у меня всегда есть свободное время — ведь они никогда не бывают заняты. А вот застать свободным тебя ужасно трудно (*De re publ., I, 14*).

Итак, Сципион вел теперь новую жизнь, и все его время, все его помыслы занимала Республика. При этом Цицерон называет его не обыкновенным политиком, но искуснейшим художником своего дела (*De re publ., I, 35—36*). И действительно. Современники были уверены, что все великие политические идеи вплоть до реформы Гракхов принадлежат Сципиону. Ему же Цицерон приписывает удивительную концепцию, развитую Полибием. Согласно этой теории Рим не является ни демократией, ни аристократией, ни монархией, но равномерным смешением этих трех элементов: монархического, представленного властью консулов, аристократического, выраженного в сенате, и демократиче-

ского, воплощенного в народном собрании*. Вот почему и Цицерон, намереваясь раскрыть всю душу Римской республики, выбирает именно Сципиона и вкладывает свои мысли в уста этого человека, ибо его «никто не превзошел умом» и он «намного выше любого опытом в важнейших государственных делах» (*De re publ., I, 37*). Это его превосходство ощущали все. И все и вся подчинялись его властному уму и обаянию. Трибуны проводили его законы и снимали по его слову свое вето, консулы спрашивали его совета (*Cic. Brut., 97—99; De re publ., III, 28*).

Сципион всегда держался в стороне от политических партий с их узостью и нетерпимостью, «находя их все слишком крайними, и относился с одинаковой враждебностью к претензиям аристократов, к которым, впрочем, принадлежал по рождению и по преданиям, и к предприимчивому и мятежному духу демократии»**. Он не был оптиматом, он не был популяром***, он был Сципионом. И тут дело не только в том, что ему претил дух партийной борьбы. Он считал, что Республика держится на равновесии всех сил. Ему равно противна была мысль, что Рим превратится в замкнутую кастовую олигархию и что он станет буйной, разнузданной демократией. Все партии страстно стремились заполучить его к себе. Но он оставался по-прежнему строг и беспристрастен. Народ, по выражению Аппиана, «его ревниво любил и много боролся за него с оптиматами» (*App. B. C., I, 19*). И Сципион мог во всех обстоятельствах «полагаться на любовь и поддержку народа». И, надо сказать, в тот период он и сам поддерживал народ и, по выражению Плутарха, «безмерно его возвеличивал» (*Plut. Paul., 38*). Это он фактически провел закон 137 года о тайном голосовании в народном собрании. Внес законопроект трибун Люций Кассий, человек

* Подробнее об этой идее я расскажу в следующей главе.

** Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонина. М., б.г. С. 55.

*** Оптимат — сторонник правления аристократии, для Рима — сената; популяр — сторонник демократического правления, выступающий за передачу власти народному собранию.

очень знатный, суровый и вовсе не походивший на демагога. Но весь Рим знал, что придуман закон Сципионом и Кассий только выполняет его план. Проект возмутил многих сенаторов и самого консула, а народный трибун Антий Бризон наложил на него вето. Но после беседы со Сципионом он свое вето снял, и закон был принят (*Cic. De leg., III, 35; 38; Brut., 97*).

Судя по этому, Публия можно было бы счесть за популяря. И некоторые знатные люди даже сетовали на его измену своему сословию (*Plut. Paul., 38*). Но они жестоко заблуждались. Позже, когда настала для Республики жестокая пора, когда сенат совсем склонился под ударами демократии и никто не имел мужества ему помочь, — вот тогда-то Сципион один, с риском для жизни, вступился за закон и сенат³¹. Но случилось это много позднее, и рассказ об этих днях впереди. В описываемое же время, повторяю, многие нобили хотели видеть его в сенатской партии и негодовали. Их шокировали и законы, которые проводил Публий, и та простота, с которой он держал себя с простонародьем. Одним из главных его противников в сенате был Квинт Цецилий Метелл Македонский. Это был человек во всех отношениях выдающийся.

Метелл происходил из знатной, старинной семьи. Дед его — понтифик, дважды консул, диктатор и начальник конницы — прославился блестящими победами над карфагенянами в 1-ю Пуническую войну и в своем триумфе провел слонов. В похвальном слове над гробом отца его сын сказал, что покойный был человеком исключительного счастья, ибо он имел все те блага, о которых более всего мечтают люди. Он был мужественным воином, лучшим из ораторов, прекрасным полководцем, был окружен величайшим почетом, обладал замечательным умом и почитался великим сенатором, имел состояние, добытое честным путем, и оставил великое множество детей (*ORF², 6, fr. 1*). Сын, произнесший эту прекрасную речь, ничем не уступал отцу. Он-то и был отцом нашего Метелла.

Метелл Македонский был римским аристократом в полном смысле этого слова, со всеми достоинствами и недостатками своей касты. В самом деле. Он был очень умен и блестяще образован. Утонченный поклонник эллинского искусства, он более всего восхищался мужественными творениями Лисиппа, статуями которого украсил Рим (*Vell., I, 11*). Он был прекрасным полководцем и «считался одним из самых красноречивых людей своего времени» (*Cic. Brut., 81*). Кроме того, это был человек самой благородной души. В то же время он был горд, надменен, необычайно суров, сумрачен и глубоко презирал толпу.

Естественно, народ платил ему той же монетой, и Метелл сделался «ненавистен плебсу за чрезмерную суровость» (*Vir. illustr., 61*). Будучи претором, он окончательно покорил Македонию*, одержал блестящие победы, отпраздновал великолепный триумф и был награжден почетным именем «Македонский». А после этого он дважды проваливался на консульских выборах (*ibid.*). «Несколько печальных друзей провожали его домой. Он был сражен своим провалом... полон грусти и стыда. А ведь его некогда сопровождал на Капитолий весь сенат, когда он, веселый и радостный, справлял триумф» (*Val. Max., VII, 5, 4*). И кто же победил его на выборах? Тот самый Гостилий Манцин, которого Сципион снял со скалы под Карфагеном! Этот человек был так любезен, говорит Плиний, что выставил на Форуме план Карфагена и разъяснял всем проходящим расположение улиц, скромно замечая при этом, что он первый побывал в городе. Говорят, эта удивительная наглость возмутила Сципиона (*Plin. N.H., XXXV, 23*). Лишь в третий раз народ выбрал Метелла консулом, да и то «нехотя» (*Vir. illustr., 61*).

Но, несмотря на эти неудачи, Метелл всегда счи-

* После походов Эмилия Павла Македония формально не потеряла своей независимости. Позже, в 147 году, там вспыхнуло восстание Лжефилиппа, выдававшего себя за сына Персея. В этот раз Македония не только была разбита, но и превращена в римскую провинцию.

тал себя счастливейшим человеком (*Vell., I, 11*). И более всего он радовался не блестящим триумфам, не почестям, а своим детям. Все его четыре сына стали консулами. Отец всегда относился к ним строго и требовательно (*Frontin., IV, 1, 11*). Но ни окружающих, ни самих детей эта строгость не обманывала, и они знали, что в глубине души этот суровый отец бесконечно любит их и гордится их успехами куда больше, чем своими собственными. И, когда он умер, гроб с его телом вынесли на плечах его четыре сына, достигшие уже вершины общественного почета. Если дух Метелла мог, улетая, видеть землю, то для него не могло быть зрелища отраднее.

Этот Метелл, как я говорила, был противником Сципиона. Их разделяла не какая-нибудь мелкая обида, зависть или соперничество — это были слишком масштабные и благородные люди. Но они придерживались разных взглядов на будущее Рима. Часто они вели на Форуме и в сенате «суровые и чистые споры о Республике» (*Vell., I, 11*). Враги всегда относились друг к другу совершенно по-джентльменски, с чрезвычайным уважением (*Cic. De off., I, 87; De amic., 77*). Одно их столкновение на Форуме возбудило особенно много толков. То было судебное дело, взволновавшее Рим, в котором участвовали они оба — один в качестве защитника, другой — обвинителя. Но, прежде чем говорить об этом, необходимо рассказать о третьем великом даре Сципиона — даре красноречия.

II

Современный читатель не может даже представить себе, что значило для римлянина это искусство — умение красиво говорить. Не может представить себе, как пламенно, как страстно стремились они овладеть им, словно средневековые алхимики — философским камнем. Нигде не видим мы это яснее и ярче, чем в очаровательной картине, с таким неподражаемым блеском нарисованной Цицероном*.

* Я имею в виду его диалог «Об ораторе».

Он представляет нам своего учителя Люция Красса, лучшего оратора того времени. Уставший от напряженной политической жизни, Красс решил отдохнуть несколько дней в деревне. Его, как всегда, сопровождают верные друзья. Но, кроме них, за Крассом неотступно следует кружок молодежи, его горячих поклонников и почитателей. Они не спускают с оратора восторженных глаз, ловят каждое его слово, будто это некое откровение оракула. Мало того. Они пристают к его секретарю, ходят за ним хвостом, даже подсматривают за ним, чтобы понять, как готовит свои речи Красс (*Cic. De or., I, 136*).

Красс, несмотря на свою утонченную, чарующую учтивость, невольно держится как человек, который привык ко всеобщему восторженному поклонению и которому оно уже начало надоедать. Но наконец под влиянием горячих просьб тестя он начинает говорить о своем искусстве. Боже мой! Что делается тогда с молодыми людьми! Как описать их буйный восторг! Как они слушают его, затаив дыхание! Но это еще не все. Слух о том, что Красс начал говорить и, может быть, впустит непосвященных в чудесную лабораторию своего творчества, мгновенно облетает всю округу. На другой же день к оратору начинает стекаться молодежь из соседних вилл.

Вот какова была страсть к красноречию в Риме! Что же заставляло всех этих знатных юношей, этих политиков, этих блестящих аристократов так пламенно стремиться к этому искусству? Что заставляло их настолько отдаваться ему, что они даже, по словам Цицерона, забывали об удовольствиях веселой юности, о любовных играх, шутках, пирах, даже о беседе с друзьями (*Pro Cael., 46—47*)? Дело в том, что красноречие в Риме и впрямь было тем философским камнем, который, превращая все вокруг в блестящее золото, делает своего счастливого обладателя властелином мира. Оратор был царем, владыкой, полубогом. В Риме, как во всяком свободном государстве, все основано было на умении убеждать. Чтобы быть выбранным на должность, надо было убедить избирателей; чтобы провести закон, надо было убедить

народное собрание; чтобы влиять на политику, надо было убедить сенат. Даже полководец начинал битву с того, что произносил речь перед воинами. Красноречие решало все. И чем напряженнее становилась политическая борьба, чем яростнее споры, тем ярче и ярче расцветал пламенеющий цветок римского красноречия.

Если же мы представим себе, какие страсти бушевали на Форуме, как ораторы часами спорили на глазах всего римского народа, как знатные люди обвиняли своих врагов, а те яростно защищались, и их словесные шпаги со звоном скрещивались, и из-под них, как снопы искр, вылетал фейерверк остроумия, мы начинаем понимать, что значило для римлянина красноречие. Тацит с тайной грустью описывает эту увлекательную, мятежную жизнь, которую ему — увы! — не суждено было увидеть. «Непрерывные предложения новых законов и домогательства народного расположения... народные собрания и выступления на них магистратов, проводивших едва ли не всю ночь на трибунах... обвинения и предания суду именитых граждан» (*Tac. Dial.*, 36).

Среди всего этого неистовства Форума, который, по словам современников, шумел и бушевал, как разъяренное море, оратор чувствовал себя волшебником, чародеем. Он подобен был египетскому магу, по мановению жезла которого рев стихий утихал. Так утихала и ярость толпы, когда он поднимался на Ростры, и бурные ее волны замирали у его ног. Древние ораторы часто рисуют нам эту величественную и захватывающую картину. И какой гордостью, каким упоением дышат слова Цицерона — настоящий гимн красноречию:

«Я не знаю ничего прекраснее, чем умение силой слова приковать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь. Именно это искусство у всех свободных народов... пользовалось во все времена почетом и силой... Что производит такое могущественное, возвышенное впечатление, как когда страсти народа, сомнения судей, непреклон-

ность сената покоряются речи одного человека? Далее, что так царственно, благородно, великодушно, как подавать помощь прибегающим, спасти от гибели, избавлять от опасности, удерживать людей в среде их сограждан? С другой стороны, что так необходимо, как иметь всегда в руках оружие, благодаря которому можно то охранять себя, то угрожать бесчестным, то мстить за нанесенную обиду» (*Cic. De or., I, 30—32*). Иными словами, красноречие было для римлянина тем же, что шпага для дворянина.

Все взапуски ухаживали за этим чародеем. «Ораторов осаждали просившие о защите... не только соотечественники, но и чужеземцы, их боялись отправляющиеся в провинцию магистраты и обхаживали возвратившиеся оттуда... они направляли сенат и народ своим влиянием» (*Tac. Dial., 36*). Да, оратор царил здесь, в «этом средоточии владычества и славы», как назвал Форум Цицерон (*Cic. De or., I, 105*). И велика была гордость этих всесильных магов. «Я бы предпочел одну речь Люция Красса... двум триумфам», — говорит Цицерон (*Brut., 256*).

Вот почему вся молодежь мечтала о подобной головокружительной славе. Но достичь ее было, казалось, не легче, чем отыскать волшебное кольцо, дающее власть над духами. В Греции это было проще, а потому прозаичнее. Молодой человек, желавший научиться хорошо говорить, поступал в школу раторов, где изо дня в день писал сочинения о споре между Одиссеем и Аяксом или об Агамемноне, отдающем на заклятие родную дочь. Но в Риме было совершенно по-другому. Здесь не было риторических школ. Римляне испытывали к ним глубокое, почти гадливое презрение. Прежде всего их невыносимо раздражали риторические темы. «На такую надуманную, оторванную от жизни тему... сочиняются декламации, — с возмущением пишет Тацит. — ...В школах ежедневно произносятся речи о наградах тираноубийцам... или о кровосмесительных связях матерей с сыновьями, или о чем-нибудь в этом роде» (*Tac. Dial., 35*). Римлянам было душно в подобных школах, а когда кто-то открыл их, сам Красс Оратор, бывший

тогда цензором, их закрыл, назвав «школой бесстыдства» (*Cic. De or., III, 94*).

Надо сознаться, что римляне презирали и самих риторов. Чтобы это стало понятнее, я напомним сцену из совсем другой эпохи. Пушкин в «Египетских ночах» рисует нам поэта Чарского. Это дворянин, русский барин, который даже стыдится своего имени «сочинитель». Вдруг приходит к нему какой-то оборванного вида иностранец, которого можно было принять «за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком». И вот этот-то оборванец заявляет, что он тоже поэт, коллега Чарского, и просит его «помочь своему собрату» и ввести его в дома своих покровителей.

Чарский оскорблен до глубины души.

«— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа... У нас поэты не ходят пешком из дома в дом, выпрашивая себе вспоможение. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава Богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, - расставленные на готических этажерках, поразили его. Он понял, что между надменным dandy, стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего».

Примерно так же выглядели греческие профессиональные риторы рядом с римскими ораторами. Эти греки напоминали дешевых торговцев знаниями. Как видно из одного места Цицерона, они устраивали себе крикливую рекламу и зазывали клиентов, расхваливая товар, как купец на пороге своей лавочки (*Cic. De or., II, 28*). Они были льстивы и раболепны и искали влиятельных покровителей, как итальянец-импровизатор. Римские ораторы не были профес-

сионалами. То были римские аристократы, изящные и надменные. Их дома так же, как дом Чарского, были полны изысканных безделушек, статуй и бронзы. Они, как и русские поэты, не имели покровителей. Они сами покровительствовали царям и народам. Они поражали иноземцев гордым изяществом своих манер. Рассказывают, что, когда один грек впервые увидел сенаторов, он воскликнул: «Это собрание царей!»

Естественно, их передегивало от сравнения с греческими собратьями. Цицерон говорит, что, когда молодые поклонники особенно пристают к Крассу, ему на минуту начинает казаться, что они ставят его на одну доску с риторам. Кровь бросается ему в лицо.

— Что это значит?! Вы хотите, чтобы я, как какой-нибудь грек, может быть, развитой, но досужий и болтливый, разглагольствовал перед вами на любую заданную тему, которую вы мне подкинете? Да разве я когда-нибудь, по-вашему, заботился или хотя бы думал о подобных пустяках? (*Cic. De or., I, 102*).

Вообще стоит прочесть Цицерона, и ты видишь, насколько презирают его герои своих греческих братьев.

Итак, римская молодежь училась не у раторов, но «в самой гуще борьбы, среди пыли, среди крика, в лагере, на поле битвы» (*Cic. De or., I, 157*). Иными словами, школой им был Форум. И учились они сражаться «мечом, а не учебной палкой» (*Tac. Dial., 34*). Они сразу знакомились с реальными делами и не думали о тираноубийцах и кровосмесителях. И, по выражению Цицерона, вместо комнатной подготовки перед ними сразу открывалось широкое поприще реальной жизни (*Cic. De or., I, 157*).

Учителем своим юноша выбирал самого знаменитого оратора. Иногда он даже поселялся в его доме, как Целий у Цицерона. Он неотступно следовал за своим кумиром, присутствовал при всех его выступлениях в суде, в народном собрании, жадно ловил каждое его слово (*Tac. Dial., 34*). При такой системе обучения естественно, что молодежь дневала и ночевала

вала на Форуме. Цицерон вспоминает, как в ранней юности проводил там целые дни. И надо сознаться, что зрелище это было не менее захватывающим, чем настоящая битва, с которой так любит его сравнивать оратор. Первый тур окончился изгнанием одного из лучших друзей Цицерона. «Это было первым горем для такого жадного слушателя, как я» (*Cic. Brut.*, 305).

С каждым годом римское красноречие расцветало все пышнее. Все больше и больше блистательных талантов требовалось от оратора. По словам Цицерона, оратор «должен обладать остроумием диалектика, мыслями философа, словами поэта, памятью законоведа, голосом трагика, игрой такой, как у лучших актеров» (*Cic. De or.*, I, 128). К этому прибавлялось еще одно. Не знаю, из-за особенностей ли обучения римлян или из-за их огненного темперамента, только красноречие их вовсе не походило на спокойные и рассудительные речи афинских ораторов, которые передает нам Фукидид. Это была не цепь логических рассуждений, то был ряд блестящих картин. Даже говоря о завещании, оратор воскрешал из мертвых его автора, чтобы тот со слезами на глазах молил судей. Эти речи заставляли слушателей рыдать и дрожать, как в лихорадке.

Оратор был настоящим актером. Он обдумывал все — свои движения, жесты, переливы своего голоса. Одно лицо у Цицерона замечает, что невозможно разжалобить судью, «если ты не явишь ему свою скорбь словами, мыслями, голосом, выражением лица, наконец, рыданиями» (*Cic. De or.*, II, 190). Рассказчик говорит, что в глазах Красса Оратора светилась такая скорбь, что никто не мог против него устоять (*Cic. De or.*, II, 188). И вот римляне читали философские трактаты, чтобы придать своей речи логичность; они отделявали и упражняли свой голос, чтобы сделать его певучим; они обдумывали свои движения, чтобы те поражали красотой и выразительностью.

Квириты, естественно, тоже становились все требовательнее и капризнее. Одного оратора осуждали

только за то, что он некрасиво открывает рот, «словно сельские жнецы», другого — за то, что он неясно выговаривает букву «и», третьего — за то, что он слегка раскачивается при произнесении речи (*Cic. De or., III, 45—46; Brut., 216—217*). Оратора не желали слушать, если у него немзыкальный, неблагозвучный или глухой голос (*Cic. De or., III, 41*). Малейшее неправильное движение давало насмешливым римлянам тысячи поводов для шуток. Так, был некий Титий, по словам Цицерона, человек умный и красноречивый, движения которого, однако, отличались каким-то жеманством. Его не только осмеивали на Форуме, но появился еще пародийный танец «Титий», который исполняли на вечеринках (*Cic. Brut., 225*). Точно так же «слишком стертые» слова римляне считали недостойными своего внимания (*Cic. De or., III, 33*). Гортензий уже стал обдумывать не только каждый свой жест, но и каждую складку тоги. Цицерон ввел в свои речи внутренний ритм, а слушать его приходили лучшие актеры Рима, чтобы поучиться его игре.

Пламенеющий цветок римского красноречия вырос на почве смут и мятежей. И по мере того как нарастал гнев партий и Форум делался все мятежнее, римское красноречие становилось все утонченнее, все пламеннее, по выражению Цицерона, «заставляя плакать и рыдать все камни» (*Cic. De or., I, 245*). И вот, достигнув своего апогея в речах Цицерона, оно неожиданно смолкло, словно вдруг порвалась слишком сильно натянутая струна. Наступил просвещенный век Августа — повсюду царил благодетельный мир, науки и искусства процветали. Но блестящее красноречие Республики умерло навсегда. Мощный оркестр, по выражению Тацита, сменился какими-то «бубенчиками» (*Tac. Dial., 26*). И Тацит произносит ему такое надгробное слово: «Великое и яркое красноречие — дитя своеволия...; оно... вольнолюбиво... Не знаем мы... красноречия македонян и персов и любого другого народа, который удерживался в повиновении твердой рукой... Форума древних ораторов больше не существует... Нужно ли, чтобы каждый

сенатор пространно излагал свое мнение по тому или иному вопросу, если благонамеренные сразу приходят к согласию? К чему многочисленные народные собрания, когда общественные дела решаются не невеждами и толпой, а одним мудрейшим?» (*Tac. Dial.*, 40—41).

Я дала сейчас краткий очерк римского красноречия. В описываемое время этот цветок только-только начинал распускаться. Но уже можно было угадать все великолепие его расцвета. Красноречие, как и все римские искусства, родилось в предшествующую эпоху — в блестящий век Ганнибаловой войны. И первым настоящим оратором был Катон. Однако, видимо, в то время красноречию не придавали еще большого значения. Ни Сципион Старший, ни Эмилий Павел, отец нашего героя, и не думали записывать и издавать свои речи, хотя говорить они умели и красноречие их производило сильное впечатление на слушателей. В описываемую эпоху мы видим, что все политические деятели без исключения — выдающиеся ораторы, и все отделяют и издают свои речи. И Метелл, и Гракх, и Помпей, и Красс Муциан* Но ораторское искусство развивалось столь бурно и вместе с ним столь стремительно менялся сам латинский язык, что речи устаревали и блекли на глазах, как осенние листья. И новое поколение уже ничего не находило в обветшалых и старомодных творениях прежних кумиров. Однако три оратора того времени избежали общей участи. Темная ночь забвения их не объяла. Все кругом них тускнело и старело, но их имена сияли, словно звезды. Это имена Сципиона, Лелия и Гая Гракха. По крайней мере двоих из них.

Время было над ними бессильно. Напротив. Речи их, как старинные вина, с годами становились все драгоценнее. Слишком утонченное и развращенное

* Об этих двух последних политических деятелях разговор впереди.

поколение Цицерона с презрением называло речи своих предков грубыми и неотделанными. Неудивительно. XVIII век, век Просвещения, называл грубым самого Шекспира и противопоставлял ему светского и гладкого Расина, а Еврипид, если верить Аристофану, называл неотесанным Эсхила. Однако вскоре римляне устали от блестящих и изысканных риторических фигур и пресытились ими. Они стали понимать, что под великолепной оболочкой подчас скрывается полная пустота. И их потянуло к благородной простоте, силе и глубине древних ораторов. Авл Геллий рассказывает, что его современники предпочитали страстные речи Гая Гракха творениям самого Цицерона (*Gell., X, 3, 1*). Тогда-то речи Сципиона снова вошли в моду.

Цицерон говорит, что лучшими ораторами своего времени считались Сципион и Лелий. «Однако, — прибавляет он, — ораторская слава ярче была у Лелия» (*Brut., 82—83*). Это кажется вполне естественным. Лелий был фактически профессионал — он постоянно выступал в судах в качестве защитника (*Cic. De re publ., III, 42*). Сципион же так и не преодолел своего отвращения к судам, поэтому писал почти исключительно одни политические речи. Вот почему Цицерон приступил к изучению их произведений с уже предвзятым мнением: он заранее знал, что речи Сципиона — не более, как опусы дилетанта, в лице же Лелия он столкнется с настоящим мастером. Каково же было его изумление, когда он мало-помалу убедился, что речи Сципиона ничуть не хуже речей его друга. Более того — они лучше.

Самой прекрасной речью Лелия была, несомненно, речь о коллегиях, произнесенная им в 145 году до н. э. Дело было в следующем. Некий Гай Красс*, принадлежавший к разряду дерзких и мятежных трибунов-популяр, предложил законопроект, по которому все члены жреческих коллегий отныне должны

* Хотя он и происходил из той же фамилии, что и Красс Оратор, о котором недавно шла речь, но не имел к этому последнему никакого отношения.

были выбираться на народном собрании. Предлагая свой закон, трибун демонстративно повернулся спиной к сенату, лицом к простому народу — жест, двадцать два года спустя повторенный вождем демократии Гаем Гракхом (*Cic. De amic.*, 96).

Лелия, конечно, обидело такое нарочитое презрение к отцам сенаторам. Но дело было не в этом. Он прекрасно понял, что закон должен был унижить религию и поставить ее на службу политикам. Вот это-то и возмутило его до глубины души. Лелий был авгуrom. Жрецы, входившие в эту почтенную, освященную веками коллегия, умели на основании каких-то тайных, идущих еще от этрусков знаний, определять по небесным знамениям и полету птиц, угодно или нет божеству задуманное предприятие. Подобно многим иереям, он любил свое служение, причем любил именно то, что подчас высокомерно презирают чересчур просвещенные верующие — он любил ритуал. Ему нравились пурпур торжественных одеяний, изогнутые жезлы гадателей, величественные слова молитв и маленькие чашечки для священнодействий, которые он описал так искренне и трогательно. И всю свою любовь он вложил в речь, произнесенную им перед народом*. Она превратилась в величественный гимн римской религии. Народ не устоял против его красноречия, и популярный закон популярного политика был отвергнут.

Цицерон обожал речь о коллегиях. «Ничего не может быть сладостнее этой речи, — говорит он, — и о религии невозможно сказать ничего возвышеннее» (*Brut.*, 83). Он даже писал, что именно Лелий сделал его религиозным, и он никогда не мог без слез читать эту «прелестную, поистине золотую» речь (*De nat. deor.*, III, 5; 43; *De re publ.*, VI, 2).

И все-таки тот же Цицерон сознается, что даже эта «золотая речь» «не лучше *любой* из многочисленных речей Сципиона» (*Brut.*, 83, курсив мой. — Т. Б.). Уди-

* Речь эта не сохранилась, за исключением крошечных фрагментов. Мы знаем о ней в основном по восторженным отзывам и пересказу Цицерона.

вительное высказывание! Значит, *любая* речь Сципиона с легкостью выдержит сравнение с *лучшей* речью его друга. А раз так, несомненно, Сципиона следует признать гораздо более одаренным оратором. Но в таком случае откуда же возникла та странная молва, которая ввела в заблуждение Цицерона? Сам оратор пришел к любопытнейшему выводу. Оказывается, источником этих слухов был кружок Сципиона. Здесь сложилось мнение, что подобно тому как «никто не сравнится с Публием Африканским в военной славе (хотя мы знаем, что и Лелий отличился в войне с Вириатом), так по таланту, красноречию, даже уму» первое место принадлежит Лелию. Хотя, продолжает Цицерон, «и тот, и другой достойны были первого места» (*Brut.*, 84).

Однако совершенно ясно, что как бы ни отличился Лелий в войне с Вириатом, сравнивать его со Сципионом было просто смешно. Так что у Лелия были все основания благоговеть перед полководческим гением друга (*Cic. De re publ.*, I, 18). А вот что касается образования, ума и талантов, тут все не так просто. Мы знаем, что Сципион и Лелий получили одинаковое образование и всю жизнь все постигали и изучали вместе. Об уме Сципиона скажу одно — он дружил с Полибием и философом Панетием, и эти умнейшие греки гордились знакомством с ним, дорожили его беседой, записывали его слова, а к Лелию были, кажется, сугубо равнодушны и смотрели на него только как на друга Сципиона. Что до талантов, то Цицерон убедился, что даже в области красноречия они были более ярки у Публия.

Можно заметить, что чем дальше от времени Сципиона, чем больше слабеет власть его внушения, тем более и более забывается Лелий, а слава самого Публия сияет все ярче. Геллий не упоминает даже имени Лелия, а Сципиона называет лучшим оратором своего времени. Видимо, ко II веку н. э. Лелия вовсе забыли. Очевидно, именно Сципион и создал ему такую необыкновенную репутацию. Он очень боялся, что блеск его собственной славы совершенно затмит друга. И вот он начал внушать всем мысль, что Лелий

много выше и талантливее его во всех мирных искусствах. И в этом нужно видеть ту особую деликатность, за которую все так любили Публия.

Лелий и Сципион были друзьями. У них были общие мысли, они читали одни и те же книги, они все обсуждали вместе. Вот почему в их речах невольно сквозит что-то общее. Но было и резкое различие. Речь Лелия была изящна и необычайно приятна. В каждом слове сквозил ясный ум, и во всем разлита была необычайная, ему одному свойственная нежность, которую Цицерон считает главной отличительной особенностью его стиля (*Cic. De or., III, 28; De re publ., III, 42; Brut., 89*). Но у него не было одного — силы. Прекрасно характеризует его следующая история. У Сципиона и Лелия был юный друг Рутилий, с которым читатель впоследствии ближе познакомится. Вот этот-то Рутилий уже стариком рассказывал Цицерону следующее.

«Сенат поручил консулам... расследовать очень серьезное и неприятное дело... Произошло убийство в Сильском лесу, жертвой которого оказались известные люди. Обвинение было предъявлено рабам, а отчасти и свободным того сообщества, которое арендовало дегтярню у цензоров... На суде арендаторов защищал Лелий, по своему обыкновению, очень тщательно и изящно. Однако, выслушав дело, консулы распорядились продолжать следствие. Через несколько дней Лелий выступил вновь, говорил еще лучше, еще старательнее, но вновь консулы таким же образом отложили дело. Когда после этого подопечные Лелия провожали его домой, выражая ему благодарность и умоляя не отказываться от усилий в их защиту, Лелий сказал им следующее: то, что он сделал, он сделал из уважения к ним со всем усердием и старанием; но, по его мнению, Сервий Гальба мог бы защитить их дело с большей силой и убедительностью, так как он умеет говорить живее и горячее. И тогда арендаторы, по совету Лелия, передали дело Гальбе. Тот, поскольку должен был наследовать такому человеку, как Лелий, принял дело с опаской и не без колебаний... У него оставался только один день, который

он целиком посвятил изучению дела и составлению речи. А когда настал день суда и Рутилий по просьбе подзащитных пришел утром к Гальбе домой, чтобы напомнить ему о деле и проводить в суд к назначенному времени, он увидел, что Гальба, удалив всех, уединился в отдаленной комнате вместе со своими писцами... и работал над речью до тех пор, пока ему не сообщили, что консулы уже в суде и пора идти. Тогда он вышел в зал с таким пылающим лицом и сверкающими глазами, что казалось, будто он только что вел дело, а не готовился к нему. Рутилий добавлял также, что не случайно, по его мнению, вышедшие вслед за Гальбой писцы имели вконец измученный вид: отсюда легко было представить, насколько Гальба был горяч и страстен не только тогда, когда выступал с речью, но и когда обдумывал ее. Что тут еще сказать? В обстановке напряженного ожидания, перед многочисленными слушателями, в присутствии самого Лелия Гальба произнес свою речь с такой силой и внушительностью, что каждый раздел заканчивался под шум рукоплесканий. Таким образом, после многократных и трогательных призывов к милосердию, арендаторы в тот же день были оправданы при всеобщем одобрении» (*Cic. Brut.*, 85—88).

Цицерон делает из своего рассказа следующий вывод: «Гораздо важнее бывает воодушевить судью, чем убедить его. Изящество доводов было у Лелия, сила страсти — у Гальбы». Он добавляет, что теперь, когда голос Гальбы давно замолк, читателю его речи кажутся совершенно увядшими, зато речи Лелия до сих пор прелестны. «Ум Лелия еще живет в его произведениях, а пыл Гальбы умер вместе с ним» (*ibid.*, 89—94).

В этом замечательном рассказе оба они — и Лелий, и Гальба — перед нами как живые. Мы видим Лелия, такого добросовестного, который привык тщательно готовиться к любому пустяку, и Гальбу, который всего за один день просмотрел дело и судорожно готовился до последней минуты. Лелий приводил факты и остроумно их сопоставлял. Гальба обрушивал на своих слушателей поток красноречия и вместо доводов взывал к милосердию. Вдобавок мы зна-

ем, что Гальба на ораторской трибуне кричал, Лелий никогда не повышал голоса (*Cic. De or., I, 255*). Но у Лелия не было страсти. И из-за этого он подчас проигрывал, несмотря на весь свой ум.

Иное дело Сципион. Уж его-то никак нельзя было обвинить в слабости. Та особая внутренняя сила, которая присуща была этому человеку, дышала и в его речах. Одним словом мог он переломить настроение народа и заставить разбушевавшуюся толпу замолчать. Он достигал всего не громовым голосом, не страстным пафосом. Напротив. Держался он всегда спокойно и просто. Добивался всего, по словам Цицерона, «речью не слишком напряженной» и никогда не кричал и «не насиловал легких», как Гальба (*Cic. De or., I, 255*). Сципион терпеть не мог риторики, не употреблял словесных украшений. Он говорил ясно, сжато, изящно, насмешливо³². У него нельзя было найти ни капли патетики, пафоса или сентиментальности — их он не переносил. Воспитанный на классической греческой литературе, он с детства особенно любил Ксенофонта. Как известно, у этого писателя пленительный язык — простой и прозрачный, как русский язык Пушкина. И Сципион взял его за образец. Квинтилиан прямо называет его римским аттиком (*XII, 10, 39*). Его язык был настолько правильным и чистым, что рядом с ним даже речи Лелия казались неотделанными и старомодными (*Cic. Brut., 83*).-Друзья даже иногда добродушно подсмеивались над его пуризмом и рафинированной чистотой языка. Его речи производили на современников сильное впечатление. Напомню слова Порция Лицина о Теренции — молодой поэт «жадным ухом» ловил «божественный голос Публия Африканского».

Главной особенностью красноречия Сципиона Цицерон считает суровость, достоинство и резкость³³ (*Cic. De or., III, 28*). Резкость поистине удивительная. Сципион говорил прямо в лицо собеседнику все, что о нем думал, ничуть не смягчая выражений. «Резкость его была одинакова велика и в Курии (то есть в сенате. — Т. Б.), и на народной сходке... Когда в сенате консулы Сервий Сульпиций Гальба и Ав-

релий Котта* спорили, кому поехать в Испанию против Вириата, между отцами сенаторами возникли сильные разногласия, и все с нетерпением ждали, что скажет Сципион, он заметил:

— Мне кажется, не стоит посылать ни того, ни другого: у одного нет ничего, а другому всего мало».

Иными словами, он без всяких обвиняемых назвал обоих консулов ворами: один ворует от бедности, другой — от ненасытной жадности.

«Этимися словами он добился того, что ни тот ни другой не получили провинции» (144 г. до н. э.) (*Val. Max.*, VI, 4, 2).

Но главным оружием его было безжалостное, разящее без промаха остроумие. Комический поэт Люцилий специально ходил на Форум его послушать. Слова его летели, как копья, рассказывает он (*H.*, 82). Люцилий буквально умирал от смеха, наблюдая, как Сципион одного за другим сбивал с ног своих противников. В такого рода схватках, где требовалась стремительная быстрота, он бывал неподражаем. Он разил мгновенно, насмерть, одним ударом. Не было человека находчивее, насмешливее, ядовитее. Вскоре читатель познакомится с образцами его безжалостной иронии.

Я уже говорила, что, несмотря на все свое красноречие, Сципион не хотел появляться в суде, тем более в качестве обвинителя. Но один-единственный раз он все-таки нарушил свое неколебимое правило. В 138 году до н. э. он выступил обвинителем против того самого Котты, которого публично в лицо назвал вором. Несомненно, у него были на то весьма веские причины. Такой же случай был и с Цицероном. Он, гордившийся именем *защитника* и вообще не терпевший обвинителей, один раз выступил в этой, столь непривычной ему роли. Он обрушился на Верреса, преступного наместника Сицилии. Оратор, однако, говорит, что и тут чувствовал себя защитником — он защищал униженных и ограбленных сицилийцев. Так же поступил и Сципион, обвинявший

* С Гальбой читатель уже знаком. О Котте речь впереди.

Котту в вымогательстве, то есть защищавший обиженных им жителей провинции. Видимо, поэтому в своей речи Цицерон так часто упоминает Сципиона и возводит к нему свою духовную родословную. «Я по мере сил стараюсь подражать ему в том, в чем он был велик — в справедливости, любви к труду, умеренности, в стремлении защищать несчастных и в ненависти к негодяям» (*Verr., IV, 81*)³⁴. Обвиняя Верреса, Цицерон имел перед глазами образ своего любимого героя³⁵.

Хотя Котта сам часто выступал в суде и был, по словам Цицерона, не «последним из ораторов-крючкотворов», тут он испугался и обратился за помощью к Метеллу Македонскому (*Cic. Brut., 81—82*). Что заставило Метелла вступить за этого человека: дружба, клиентская связь или соперничество со Сципионом — неизвестно, но он взялся защищать Котту. Дело окончилось очень странно. «Публий Сципион Эмилиан обвинял перед народом Котту, который совершил тягчайшие преступления, — рассказывает Валерий Максим. — Дело откладывалось семь раз, и... наконец, был вынесен оправдательный приговор, ибо люди боялись, как бы не подумали, что обвинение явилось данью исключительному величию обвинителя» (*Val. Max., VIII, 1, abs. 11*). Цицерон также говорит, что судьи не хотели, чтобы подумали, что на них подействовал, как он выражается, «замечательный блеск личности обвинителя» (*Cic. Mur., 58*).

III

В 143 году до н. э. Сципион стал добиваться цензуры на следующий год. Цензура, говорит Плутарх, «это вершина всех почетных должностей, в своем роде высшая точка, какой можно достигнуть на государственном поприще» (*Plut. Cat. Mai., 16*). Цензоров двое. Цицерон юридически точно определяет круг их полномочий. Цензоры проводят перепись населения по возрастам, составляют списки граждан и их имущества. Они ведают городскими дорогами, водопроводами, поступлением дани; они распределяют

народ по трибам для голосования, делят население по имуществу, возрастам и сословиям. И есть у них еще одно, самое главное и грозное право — они карают и изгоняют из сената людей недостойных³⁶ (*Cic. De leg., III, 7*).

«Цензору принадлежит надзор за частной жизнью и нравами граждан. Римляне полагают, что ничей бы то ни было брак, ни рождение детей, ни порядки в любом частном доме, ни устройство пиров не должны оставаться без внимания и обсуждения... Они избирают двух стражей, одного из патрициев, другого из плебеев, вразумителей и карателей, дабы никто, поддавшись искушению, не свернул с правильного пути... Они властны отнять у всадника коня или изгнать из сената того, кто живет невоздержанно и беспорядочно» (*Plut. Cat. Mai., 16*).

Иными словами, цензоры карают за проступки там, где закон бессилен: они наказывают трусость, порок, лживость, предательство. Наказание это не уголовное: человека лишь устраняют от власти, ибо римляне не желали, чтобы ими управляли порочные люди. Поэтому удары цензора падают более всего на сенат и знать, а не на народ. Римляне были убеждены, что благополучие их зиждется на добрых нравах, на чести, благородстве и верности заветам предков. Рухни все это — рухнет и государство. Вот почему цензор, как строгий отец, должен был не распускать своих детей, не потакать их дурным наклонностям, но вразумлять и исправлять. В соответствии с этим считалось, что для цензора важнее всего высокие нравственные качества. С другой стороны, квинтиты справедливо полагали, что страж нравов должен обладать умом и опытом, поэтому человек обычно становился цензором после того, как пройдет всю лестницу общественных должностей.

Цензура — это первая магистратура, которой Сципион добивался. Ведь он не занимал никаких должностей, и народ сделал его сразу консулом без всяких просьб с его стороны. Между тем соперниками его были люди, искушенные в политической борьбе. И главным из них был Аппий Клавдий. То был человек

знатный, почтенный, которого и происхождение, и заслуги вознесли очень высоко. Клавдии — род очень древний. Тот, кто бывал в старинных портретных галереях, вероятно, замечал, как одно и то же лицо, с одним и тем же выражением повторяется из поколения в поколение. Так было с Клавдиями. Со страниц римских анналов встает перед нами один и тот же образ Клавдия — жестокий, надменный патриций, бесконечно презирающий народ, страстный, безумно честолюбивый, необузданный раб своих страстей. Он повторяется из века в век, не старея, и кажется, что все меняется вокруг — и люди, и события — и он один живет неизменный, как некий дух рода. «Все Клавдии были всегда... поборниками достоинства и могущества патрициев... В отношении же к народу все были так непримиримы и надменны, что... некоторые... наносили побои даже народным трибунам» (*Suet. Tib., 2, 4*). Однако страстная погоня за почестями иногда побуждала этих высокомерных людей заискивать перед чернью.

Чуть ли не первым знаменитым представителем этого рода был Аппий Клавдий, глава комиссии децемвиров (середина V в. до н. э.). Ей вручены были полномочия плебеями для того, чтобы составить первые римские законы. И надо думать, что сам Аппий, добиваясь назначения, не гнушался льстить народу. Но комиссия захватила диктаторские полномочия, и децемвиры превратились в тиранов. Много темных дел совершили децемвиры. Погубили же их, как гласит предание, необузданные страсти Аппия. Он безумно влюбился в плебейскую девушку и силой хотел увести ее к себе*. Тогда отец, чтобы спасти дочь от бесчестья, заколол ее ножом, который вырвал у одного из мясников в соседней лавке, — эти события развертывались на глазах всего римского народа. Тогда возмущенный плебс не пожелал более повиноваться децемвирам, ушел на Священную гору и не

* Аппий попытался похитить девушку, а когда это не удалось, объявил, что она рабыня его клиента, которому он и собирался передать несчастную.

приходил до тех пор, пока преступная власть не была свергнута. Аппий покончил с собой.

И все потомки во многом напоминали децемвира. Аппий Клавдий, консул 249 года до н. э. командовал флотом в 1-ю Пуническую войну. Его современник, поэт Невий, пишет о нем: «Он высокомерно и презрительно топчет легионы» (*fr.* 39). Перед битвой он спросил у гадателя, едят ли священные куры. Если эти куры ели, это значило, что все будет хорошо, если же нет — это предвещало неудачу и ничего нельзя было предпринимать. Гадатель отвечал, что куры не клюют корм, а значит, бой давать нельзя. Клавдий в ярости воскликнул:

— Пусть же они пьют, если не хотят есть!

И бросил клетку с птицами в море (*Cic. De nat. deor.*, II, 7—8; *Suet. Tib.*, 2, 2). Он дал сражение, проиграл и погубил много народу. Несколько лет спустя его сестра, «с трудом пробираясь в повозке через густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр воскрес и снова погубил флот и этим поубавил бы в Риме народу» (*Suet. Tib.*, 2, 3).

Наш Аппий был таким же, как все его родичи. Отец его был склонен к судорожным вспышкам гнева. Сам он был высокомерен, вспыльчив и горяч сверх меры (*Cic. Brut.*, 108). Он был болезненно самолюбив, и честолюбие его не знало предела. Всего несколько месяцев назад Аппий закончил войну и, хотя не совершил ровно ничего достойного славы, стал бурно домогаться триумфа. Наконец всеми правдами и неправдами он добился разрешения на эту почесть. Но тут один суровый трибун, возмущенный подобным бесстыдством, пообещал, что, если Аппий вздумает исполнить свое намерение, он своими руками стащит его с триумфальной колесницы. Трибун — лицо священное и неприкосновенное, поэтому его угроза очень страшна. Аппий призадумался: если он решится на триумф и его стащат с колесницы, это будет несмываемый позор, но, с другой стороны, отказаться от триумфа он уже не имел сил. И он придумал. В назначенный день он появился во главе триумфального шествия. Трибун в гневе при-

близился, чтобы осуществить свое жестокое намерение. И тут он увидел, что Клавдий взял на колесницу свою дочь-весталку, которая крепко обнимала отца. Трибун не мог оскорбить деву, ему оставалось только отступить (*Cic. Pro Cael., 34*).

Теперь нетрудно представить, что вспыльчивый Аппий в ходе предвыборной борьбы то и дело выходил из себя, кричал и сильно проигрывал рядом со сдержанным, насмешливым Сципионом, который великолепно умел владеть собой. Однажды, увидав своего противника, окруженного простым народом, Аппий возопил:

— Ах, Эмилий Павел, как не застонать тебе в подземном царстве, видя, что твоего сына ведут к цензорству глашатай Эмилий и Лициний Филоник! (*Plut. Paul., 38*).

Зато в другой раз он предъявил Публию прямо противоположное обвинение. Чтобы его понять, необходимо сказать несколько слов о том, как проходила в Риме предвыборная кампания. Все помнят, как страдает у Шекспира надменный Кориолан, которому, чтобы получить консулат, приходится выпрашивать голоса у презираемых им плебеев и показывать свои раны. Шекспир совершенно верно отразил и римскую практику, и римские чувства.

«В Риме было принято, чтобы лица, домогающиеся какой-либо должности, сами останавливали граждан, приветствовали их и просили содействия, выходя на Форум в одной тоге, без туники, то ли для того, чтобы придать себе более смиренный вид, подобающий просителю, то ли — если у соискателя были рубцы и шрамы, — чтобы выставить напоказ эти неоспоримые приметы храбрости» (*Plut. Marc., 14*). Процедура эта была на редкость неприятна и унижительна. Веселый и немножко легкомысленный Красс Оратор рассказывал, что, когда он обходил избирателей и пожимал им руки, он умолял своего тестя Сцеволу, которого почитал больше всех, не глядеть на него:

— Я говорил ему, что хочу валять дурака, то есть льстиво просить, причем, если не делать этого глупо,

успеха не достигнешь, а из всех людей я именно при нем меньше всего хочу валять дурака (*Cic. De or., I, 112*).

При этом римляне совсем не были склонны облегчить соискателю его неловкое положение, напротив, он представлял столь удобную мишень для насмешек, что они всю потешались над беднягой (*Cic. De or., II, 247*).

Квинт Цицерон, брат знаменитого оратора, составил целое руководство по соисканию консулата. Он советует подольщаться к соседям, клиентам и даже к собственным рабам, ибо все дурные слухи о тебе исходят из твоего же дома (*Comm. pet., V, 17*)*. И далее Квинт отмечает одну любопытную вещь: «С соисканием при прочих неприятностях сопряжено следующее удобство: ты можешь без ущерба для своей чести, чего ты не смог бы сделать при других обстоятельствах, завязывать дружбу с кем только хочешь. Если бы ты в другое время стал вести разговоры с подобными людьми, предлагая им свои услуги, это показалось бы бессмысленным поступком; если же ты во время соискания не будешь вести этих разговоров, ты покажешься ничтожным соискателем» (*ibid., VII, 25*).

И вот соискатель с толпой друзей, родичей и клиентов бродил по Форуму, останавливал каждого встречного, пожимал всем руки и давал обещания. Но для этого необходимо было еще одно: нужно было знать всех избирателей по имени. Как можно завязывать дружбу с людьми, если ты не знаешь, как их зовут, справедливо спрашивает Квинт (*ibid., VII, 28*). Но как этого достичь? Можно было знать всех граждан при Ромуле или Камиле, но как запомнить 300—400 тысяч человек? Для этого существовал номенклатор. Это раб, в обязанности которого входило знать имена граждан сначала всего Рима, а потом какого-нибудь его района. Так что у одного человека могло быть несколько номенклаторов. И вот гордый аристократ шел по улице в сопровождении номенклато-

* У Плавта об одном человеке сказано, что он был популярен, любим рабами и свободными (*Pers., 648—649*).

ра, останавливался перед каждым бедняком, пожимал ему руку и заботливо расспрашивал о здоровье всех родных и свояков, в то время как раб тихо шептал ему на ухо их имена. И избиратель чувствовал, что будущий консул или цензор человек простой и входит в нужды народа.

Цицерон в одной речи жестоко осмеивает Катона Младшего, фанатичного философа-стоика. «Ты вот говоришь, что при соискании государственной должности нельзя привлекать к себе людей ничем иным, кроме своих высоких достоинств, но ведь ты сам, человек столь выдающийся своими личными достоинствами, этого правила не соблюдаешь. На самом деле, почему ты обращаешься к людям с просьбой, чтобы они порадели тебе, оказали тебе поддержку? Ты просишь меня, чтобы тебе быть моим начальником, чтобы я поручил тебе мою судьбу; к чему это? Не тебе меня, а мне тебя следовало бы просить о том, чтобы ты принял на себя трудную и опасную заботу о моем благополучии. А на что тебе номенклатор? Это ведь прямо орудие хитрости и обмана: если называть сограждан по имени — честь, то как тебе не совестно, что они более известны твоему рабу, чем тебе? ... Как тебе не совестно заговаривать с ними, как с твоими личными знакомыми, тогда как ты только что узнал их имя у твоего раба? ... Если оценивать все это в соответствии с нашими гражданскими обычаями, то это правильно; но, если ты захочешь взвесить это применительно к требованиям твоей философии, это окажется весьма дурным» (*Cic. Mur.*, 76—77).

Итак, даже у несгибаемого Катона Утического был номенклатор. Цицерону просто смешна мысль, что может быть человек, не прибегающий к его услугам. Но такой человек был. Оказывается, у Сципиона не было номенклатора и он не «валял дурака» — не обходил избирателей и не пожимал им руки! Да, этот гордый человек — единственный, кто нарушил все обычаи Рима и повел себя именно так, как должен был вести себя добродетельный гражданин в шуточном примере Цицерона.

Аппий не преминул отметить эту черту, которая,

как он полагал, дает ему возможность восторжествовать над соперником. «Когда Аппий Клавдий... сказал, что в то время, как он сам любезно приветствует всех римлян по имени, Сципион почти никого не знает, тот ответил:

— Ты прав, я заботился не о том, чтобы знать всех, но о том, чтобы меня все знали» (*Plut. Reg. et imp. aporphegm. Scip. Min., 9*).

Это были жестокие по своему презрению слова. Ему, надменному Клавдию, пришлось выпрашивать голоса плебса, а гордый Корнелий обошелся без этого. Да еще ему, тщеславнейшему человеку, говорят прямо в лицо, что его никто не знает, несмотря на его жалкий триумф, а Сципиона знает весь Рим. Еще немного, и народ будет сам просить Публия быть цензором! Между ними произошло несколько таких столкновений, и с тех пор Аппий буквально не мог спокойно говорить о Сципионе и сделался его смертельным врагом (*Cic. De re publ., I, 31*). Кончилось тем, что Аппий провалился и цензором стал Корнелий (142 г. до н. э.).

Еще тогда, когда Сципион только добивался цензорства, ни у народа, ни у знати не было ни малейших сомнений в том, что он будет цензором строгим, требовательным и неумолимым, словом, таким, каким показал себя военачальником. Но действительность превзошла все их ожидания. Никогда еще не было в Риме такого сурового цензора, как этот «изысканный поклонник всех свободных искусств», как назвал его Веллей. Он немедленно приступил к исполнению своего плана. Действовал он как всегда энергично, четко и продуманно. Прежде всего он произнес перед народом программную речь с выразительным названием «О нравах предков». Разумеется, он превозносил чистые, как хрусталь, нравы древних римлян и убеждал своих современников подражать им сколько возможно. Что до себя, он, видимо, обещал без всякого сожаления выдернуть те сорные травы, которые разрослись за последнее время и заглушили хорошие ростки. Народ с восторгом слушал речь своего кумира, но многие сенаторы, и особенно

знатные юноши, трепетали, встречаясь с ясным и спокойным взглядом Публия Африканского.

Не было, кажется, ни одной сферы общественной жизни, которую он не затронул бы. Он простер свою строгость до того, что даже закрыл школу танцев, увидав, что детей учат развязным движениям. Вот как он сам рассказывал об этом народу: «Их учат каким-то подлым дурачествам. С арфой и самбукой* в руках они идут вместе с шутами в актерскую школу. Они учатся петь, а предки наши считали это позором для свободного человека. Да-да, они идут, повторяю, в школу плясунов, свободные девочки и мальчики об руку с шутами. Когда мне рассказали об этом, я не мог поверить, чтобы знатные люди обучали такому своих детей. Но, когда меня привели в эту школу, я увидел там, клянусь Богом Верности, более пятидесяти мальчиков и девочек, и среди них был один — мне больно за нашу Республику! — мальчик еще в булле**, сын кандидата на общественные почести, ребенок не старше двенадцати лет, который отплясывал с кастаньетами такой танец, что и самый бесстыдный раб не мог бы сплясать достойнее»³⁷ (*Macrob. Sat., III, 14, 7*).

Но напряжение достигло своей кульминации во время смотра всадников. Это была очень картинная и торжественная церемония, напоминающая военный парад, но цель она преследовала все ту же — очищение нравов. Еще и доньше туристы, глядящие с Капитолия на Форум, могут видеть три стройные белые колонны, высоко поднимающиеся среди окружающих руин и развалин. Это остатки некогда великолепного храма Кастора, сооруженного на том самом месте, где люди когда-то увидели Диоскуров, которые поили своих усталых запыленных коней в маленьком озерке, — дело в том, что в тот день в сражении при Регильском озере божественные юноши

* Самбука — струнный инструмент вроде арфы или гусель.

** Булла — полый шарик — у знатных людей он был золотой, — который носили на груди дети полноправных римских граждан. Они снимали ее вместе с детской одеждой в 16 лет.

бились бок о бок с римлянами. Храм был велик сам по себе, да еще стоял на огромном подиуме, около 7 метров высотой. Широкая, украшенная статуями беломраморная лестница вела в храм, а рядом была трибуна. Там-то и стояли во время смотра цензоры в своей пурпурной тоге. Глашатай называл имя всадника, и тогда тот отделялся от толпы и проводил своего коня под уздцы. Цензоры же говорили одну из двух роковых фраз: «Ты сохраняешь коня» или «Продай коня». И последнее означало жестокое бесчестье и позор.

И вот в назначенный день весь Форум заполнился народом. Все, затаив дыхание, ждали, что будет. Квириты предвкушали интересное зрелище, а многие всадники не могли скрыть дрожи. На трибуне у храма стоял Публий Африканский. Все взоры прикованы были к нему. Опасения всадников оказались напрасными. Публий останавливал их одного за другим и своим ясным голосом громко, чтобы слышал весь Форум, перечислял их вины. Его насмешки были для этих надменных юношей хуже пытки. Отняв коня у одного знатного молодого человека, Галла, он сказал:

— Взгляните на этого напомаженного мальчика, который постоянно прихорашивается перед зеркалом, прогуливается с подбритыми бровями, выщипанной бородой и общипанными бедрами, лежит на пирах в тунике с длинными рукавами рядом с поклонником, ибо он любит не только вино, но и мужчин*, и неужели после всего этого кто-нибудь усомнится, что он занимается тем, чем обычно занимаются распутные мальчишки? (*ORF², Scipio minor, fr. 17*)³⁸

Вслед за тем он отнял коня у какого-то порочного юноши. Этот человек, между прочим, еще во время Пунической войны устроил пирушку, которую сопровождал следующей выходкой. Принесли огромный пирог, имеющий вид города Карфагена, и хозяин предложил гостям «взять» его. Шутка эта не могла не показаться Публию пошлой. Но, разумеется, этот случай он не считал достойным цензорского замеча-

* В подлиннике игра слов: «non modo vinosus, sed virosus».

ния. Однако, когда юнец стал бурно добиваться, за что у него отняли коня, Сципион, как он умел это делать, без улыбки, с непроницаемым лицом, сохраняя вид полной серьезности, отвечал, что причина — зависть.

— Ведь ты взял Карфаген раньше меня (*Plut. Reg. et imp. apophegm. Scipio Minor, 11*)³⁹.

Но особенно забавной показалась всем история с Тиберием Азеллом. Это был пустой, развратный и лживый молодой человек, который обладал огромным запасом наглости и апломба. Вот этого-то Тиберия Сципион остановил и приказал продать коня. Взбешенный всадник закричал, что это возмутительно, — он, Азелл, воевал во всех провинциях. Публий отвечал всего двумя поговорками:

— Если у меня нет быка, я выгоню на поле осленка. Я выгоню на поле осленка, но умнее он не станет (то есть на безрыбье и рак рыба) (*Cic. De or., II, 258*).

Весь яд этих слов заключался в том, что Азелл полатыни означает «осленок».

В то же время Публий всегда придерживался самой суровой справедливости. Речь идет не о том, что он не пользовался своей властью, чтобы свести личные счеты, как Катон, который отнял коня у Люция Азиатского, чтобы отомстить его брату, своему врагу Сципиону Старшему. Никому в Риме и в голову не могло прийти, что Эмилиан может совершить подобный поступок. Но всех поражала строгая щепетильность, с которой он относился к своим обязанностям. Лучше всего это видно из случая с Гаем Лицинием Сацердотом. Этот молодой человек имел все основания опасаться цензоров, а потому собирался было прошмыгнуть незаметно мимо. Но Сципион заметил это. Он громко окликнул его и заявил, что ему известен факт формального клятвопреступления со стороны Сацердота и что он готов дать свидетельские показания, если кто-то захочет его обвинить. Но никто не вызвался, и тогда Сципион сказал:

— Ты сохраняешь коня, ибо я не хочу быть для тебя и обвинителем, и свидетелем, и судьей.

«Таким образом, — говорит Цицерон, — тот, мне»

ние которого считалось законом и для римского народа, и для иностранных племен, сам не счел своего личного убеждения достаточным для того, чтобы лишить чести своего ближнего» (*Cic. Cluent.*, 134; *Val. Max.*, IV, 1, 10). Этот случай ясно показывает, насколько вопиющими и общеизвестными были вины остальных.

Даже к простому народу этот цензор был суров. Известно, например, что он перевел в другую трибу, то есть ограничил в избирательных правах некоего центуриона, который 26 лет назад не принимал участия в битве при Пидне. Тот оправдывался тем, что остался охранять лагерь, и спрашивал, за что Публий Африканский его унизил. На это Сципион насмешливо отвечал:

— Я не люблю чересчур благоразумных (*Cic. De or.*, II, 272).

Мы не можем понять всего сарказма его шутки, так как не знаем этого центуриона. А между тем этот человек должен был буквально поразить Публия своим «благоразумием», раз он запомнил его на всю жизнь.

И вот тут-то Сципион натолкнулся на неожиданное препятствие.

Его коллегой был Люций Муммий. Это был «новый человек», но он не только достиг высших магистратур, но и покрыл свое имя славой. В то самое время, как Сципион воевал в Африке, Муммий сражался в Греции, Сципион разрушил Карфаген, Муммий — Коринф, Сципион получил имя Африканский, Муммий — Ахейский. Правда, злые языки говорили, что заслуги Муммия перед Республикой довольно бледны, что все победы одержал Метелл Македонский, воевавший до того в стране, а Муммий только воспользовался плодами его трудов и украсил себя чужими лаврами, как это часто бывало в Риме (*Val. Max.*, VII, 5, 4; *Vir. illustr.*, LX).

Муммий был человеком на редкость незлобивым и добродушным. Когда Полибий, находившийся в Африке со Сципионом, узнал, что произошло в Элладe, он сломя голову помчался спасать свое несчаст-

ное отечество. Со свойственной ему ловкостью он проник в самую ставку Муммия и был приятно удивлен, увидев полководца. «Он показал себя человеком воздержанным и бескорыстным; управление его отличалось мягкостью, хотя среди эллинов он имел огромную власть, и случаи соблазна представлялись ему часто» (*Polyb., XXXIX, 14, 2—3*).

Его щедрость и бескорыстие действительно поразительны. Из Греции он вывез горы сокровищ, наполнил до краев казну, обогатил тысячи случайных людей, а себе не взял ни асса и был настолько беден, что сенат выдал из государственных средств приданое его нищей дочери (*Frontin., IV, 3, 15; Cic. De off., II, 76; Liv., ep., 52; Vir. illustr., LX*). Впрочем, замечает Цицерон, «слава бескорыстия принадлежит не человеку только, но эпохе. Павел захватил и вывез все огромные сокровища Македонии и внес в казну столько, что добыча одного императора положила конец налогам. А в свой дом он не принес ничего, кроме вечной памяти о себе... Публий Африканский ничуть не стал богаче, разрушив Карфаген. А тот, кто был его коллегой по цензуре, Люций Муммий, разве стал богаче, разрушив до основания богатейший город? Он предпочел украсить Италию, а не свой дом» (*Cic. De off., II, 76*).

В то же время при всех своих неоспоримых добрых качествах Муммий был человек слабохарактерный, вялый и ленивый (*Val. Max., VI, 4, 2*). У него никогда не хватало сил обуздать чужую злую волю. Тот же Полибий отмечает, что, хотя в Греции Люций никогда не грешил сам, при нем случился ряд жестоких поступков, совершенных друзьями полководца, который абсолютно не способен был держать их в подчинении (*Polyb., XXXIX, 14, 4*). Он был благодушен и бесконечно снисходителен. В армии он смотрел на подчиненных сквозь пальцы.

Кроме того, он был человеком удивительно некультурным и темным и по своей природной лени не удосужился прочесть ни одной греческой книги. И это тем более странно, что его родной брат Спурий был образованнейшим человеком своего времени.

Веллей пишет об обоих цензорах: «Различен был характер у обоих полководцев, различно и образование. Сципион был ...изысканным поклонником всех свободных искусств и наук, и писателем... Муммий же настолько неотесан, что, когда, взяв Коринф, он перевозил картины и статуи, сделанные величайшими художниками, он велел предупредить перевозчиков, что если они их потеряют, то сами будут делать новые» (*Vell., I, 13*). Захватив в качестве трофея греческие статуи, Муммий их вовсе не ценил и легко уступал каждому, кто попросит (*Strab., C 381*).

Как уже говорилось, оба они — Сципион и Муммий — справили триумф почти одновременно и оба получили почетные имена по покоренным странам. И квиристы, очевидно, находили особую прелесть в том, чтобы одновременно вознести их на высшую ступень общественной лестницы и тем отблагодарить за великие заслуги. Но Сципион не находил в этом никакой прелести. Дело в том, что он терпеть не мог Муммия. Все его качества, и важные и незначительные, вызывали у Сципиона величайшее раздражение. Сципион был сама сила и энергия, а Муммий вял и слаб. Сципион — воплощенная деятельность и трудолюбие, Муммий — безучастен и ленив. Сципион был бесконечно требователен к себе и другим, Муммий снисходителен ко всем. Наконец, Сципиону, образованнейшему человеку, коллега казался просто каким-то неотесанным дикарем. Но что хуже всего — у них были совершенно разные взгляды на цензуру. Для Сципиона она была средством осуществить цель своей жизни — защищать несчастных и карать подлецов. Муммий же никого не собирался защищать и тем более карать. Он хотел одного — купаться в лучах славы, которая так внезапно осенила его своим крылом.

И еще одно. Муммий, как уже говорилось, разрушил и разграбил Коринф. Он вывез оттуда груды бесценных статуй, картин и чудесных изделий из бронзы, которыми так славился этот несчастный город. Он наполнил этими сокровищами все храмы Рима, затем Италии. У него их выпрашивали, он дарил их направо и налево, улицы и дома блестели удивитель-

ными созданиями греческого искусства. Все это невыносимо раздражало Сципиона. Об этом свидетельствует один интересный факт.

У его друга Полибия есть любопытнейшее место. Он говорит, что римлянам не следует перевозить в свой город статуи и картины из Греции. Они не поступали так во дни своих великих побед. «Внешние украшения могущества подобало бы оставить... там, где они были первоначально». Победители не нуждаются в том, чтобы усваивать нравы побежденных. Римляне, говорит он, во-первых, губят свою исконную простоту и приучаются к роскоши, а главное, Рим «собирает у себя богатства прочих народов и как бы приглашает на это зрелище всех ограбленных».

Это место приводит читателя в недоумение. И мысль, и сам способ ее выражения очень необычны для эллина. Греки настолько гордились тем, что «покоренная силой оружия Греция покорила дикого победителя» своей культурой, что почти приветствовали подобные ограбления. Плутарх готов простить Марцеллу все его бесчинства в Сиракузах за то, что он привез в Рим сицилийские статуи. «До той поры Рим не имел и не знал ничего красивого... Вот почему в народе пользовался особой славой Марцелл, украсивший город прекрасными произведениями греческого искусства, доставлявшими наслаждение каждому, кто бы на них ни глядел... Марцелл... похвалялся... что научил невежественных римлян ценить замечательные красоты Эллады и восхищаться ими» (*Plut. Marcel., 21*). Поэтому нужно сознаться, что, если бы мы случайно не знали, что приведенные выше слова взяты из Полибия, мы бы не усомнились приписать их какому-нибудь римлянину. И какой негреческой суровостью от них веет! Каким спокойным и властным величием и уверенностью в себе! И кто, кроме римлянина, мог бы с такой гордостью вспоминать римские победы? В чем же дело? Я не сомневаюсь, что весь этот пассаж — дословное повторение слов Сципиона, ибо греческий историк все более и более подпадал под влияние своего римского ученика.

Сорвались же эти слова с уст Сципиона, именно когда он глядел на действия коллеги. Видя, как Муммий прощает подлость и пороки, которые цензор призван наказывать, и вместо того вызолачивает Рим украденным золотом, Сципион говорил, что «лучше украсить родной город не картинами и статуями, а строгостью нравов и мужеством» и зря Муммий думает, что «ограблением городов и чужими страданиями умножает славу отечества» (*Polyb.*, IX, 9, 3—14).

Сам Сципион недавно взял богатый город Карфаген. В руки его попало великое множество золота и драгоценностей, которые он, разумеется, с полным равнодушием отдал в казну. Но он сделался обладателем сокровищ и другого рода. В Карфагене оказалось не меньше чудесных греческих статуй, чем в самом Коринфе. Пунийцы, в течение многих веков грабившие Сицилию, вывезли их из этой страны. Они были доставлены в Карфаген давно — 200—250 лет назад. Порой никто толком не мог даже сказать, откуда они. И по праву войны они принадлежали теперь римскому народу, и Сципион имел полную возможность украсить ими Рим, как Муммий. Но он поступил иначе. Цицерон рассказывает: «Войдя победителем в город, он, — обратите внимание на благородную заботливость этого мужа — ...зная, что Сицилия долго и часто страдала от карфагенян, созывает представителей всех сицилийских общин и приказывает разыскать все находящиеся в Карфагене драгоценности*, объявляя, что приложит все старания, чтобы каждому городу была возвращена его собственность» (*Verr.*, II, 4, 73).

Но некоторых городов уже не существовало и некому было востребовать свое имущество. Гимера, например, была стерта с лица земли за 260 лет до разрушения Карфагена! Но даже статуи из Гимеры не попали в Рим. Сципион выяснил, что остатки жителей Гимеры переселились в городок Термы, и отдал им

* Под драгоценностями Цицерон разумеет драгоценные произведения греческого искусства.

драгоценные статуи (*Verr., II, 2, 86*). Таков был, говорит Цицерон, памятник победы римского народа, который пожелал поставить великий полководец по взятии неприятельского города (*Verr., II, 4, 75*). Путешествуя по Сицилии, оратор в каждом городе видел изумительные статуи, на пьедесталах которых жители с глубокой благодарностью выбили имя Публия Африканского, имя, которое и много веков спустя они произносили с неизменным благоговением. Вот что сделал Сципион, чтобы не превращать Рим в «выставку награбленного».

Но только когда оба цензора вступили в должность, стало ясно, какая бездна непонимания легла между ними. Образ действия Сципиона казался Муммию безжалостным. Своим блеском коллега затмевал все его позолоченные крыши и статуи. Но это еще полбеды. Главное другое. Все обиженные Сципионом всадники бежали теперь к Муммию и жаловались ему. И мягкосердечный цензор вновь возвращал им коня (*Dio fr. 76, 1; Fest., 360 L*)*. Это казалось Сципиону чудовищной глупостью.

Теперь несчастный Муммий стал мишенью для безжалостных насмешек Сципиона. Римляне успели привыкнуть к резкости его языка, но на этот раз он все-таки их поразил. С Ростр он во всеуслышание заявил, что сделает все в соответствии с величием Республики, если ему дадут коллегу или совсем не дадут, намекая на то, что Муммий — пустое место (*Val. Max., VI, 4, 2; De vir. illustr. Scip. Min., 9*). Он стал третировать Муммий с полнейшим пренебрежением, даже перестал называть его по имени. Он так явно игнорировал коллегу, что люди почтенные даже немного осуждали его за чрезмерную гордость. Особенно когда Сципион позвал на праздничное пиршество по случаю освящения храма Геркулеса весь Рим, кроме злополучного Муммий. «Пусть они и не были друзьями, — говорили, качая головами, некоторые сенаторы, — но ввиду своей совместной службы могли бы

* Нам точно неизвестно, кто конкретно был восстановлен в правах Муммием. Единственное известное имя — это имя Азелла.

вести себя более дружелюбно» (*Plut. Praecept. polit.*, 816 С).

Бедняга Муммий совсем потерялся. Он не знал, как защищаться от Сципиона. Человек невежественный, он почти не умел говорить (*Cic. Brut.*, 94). Что мог он сделать против самого изящного и остроумного оратора Рима? Поэтому он угрюмо молчал.

Ценз завершался люстром, великим обрядом религиозного очищения всего города, уже очищенного морально, и торжественной молитвой о благополучии Рима. Но Сципион сумел внести даже в этот традиционный обряд нечто оригинальное. Жертву приносил в тот день Муммий, а молитву читал Сципион. Писец раскрыл книгу и торжественно прочел слова молитвы, которые Публий должен был повторить:

— Пусть бессмертные боги сделают державу римского народа еще лучше и обширнее.

Сципион внимательно выслушал его и сказал:

— Она уже достаточно хороша и велика, поэтому я молюсь, чтобы боги вечно хранили ее невредимой.

И он тут же велел соответствующим образом исправить молитву. С тех пор все цензоры молились словами Сципиона (*Val. Max.*, IV, 1, 10).

Эти слова Публия поистине замечательны. Из них ясно, что ему была глубоко противна идея расширения ради расширения. Он не хотел, чтобы римляне, как другие завоеватели, бессмысленно шли все дальше и дальше, к «последнему морю», не в силах остановиться, пока их не придавят обломки собственной призрачной империи. Как впоследствии Август, он был не за вечный рост, а за созидание.

Цензура Сципиона имела неожиданные последствия, но не для державы римского народа, за которую он молился, а для самого Публия: его привлекли к суду. Читатель помнит Азелла, у которого Публий Корнелий отнял коня, назвав Осленком. Этот молодой человек, как мы уже говорили, отличался большой наглостью и настойчивостью. Поняв, что на Сципио-

на наглость не действует, он кинулся к его коллеге. Снисходительный Муммий пожалел несчастного юношу и вернул ему всадническое достоинство. Казалось бы, Азеллу больше и желать было нечего. Но, оказывается, душа у него была мстительная, злобная и он не мог забыть, как Публий опозорил его перед всем римским народом. Через два года, в 140 году до н. э., он стал народным трибуном и привлек Сципиона к суду. В чем он обвинял его, неизвестно. Дошедшие до нас источники считают ненужным это сообщать, ибо обвинения были заведомо ложными.

Все были поражены: никому ни до, ни после не приходило в голову привлечь к суду Публия Африканского, это солнце Республики, как называет его Цицерон (*De nat. deor.*, II, 14). И вдруг его обвиняет, и кто же!.. Поэт Люцилий не знал, плакать ему или смеяться. «Негодяй Азелл обвинял великого Сципиона», — говорит он (*Gell.*, IV, 17, 1).

Как бы то ни было, это событие взволновало всех. В назначенный день Форум был полон. На этом самом месте когда-то был на суде оклеветан и опозорен Люций Эмилий, дед Публия, консуляр и триумфатор, геройски погибший при Каннах. Но еще более был знаменит другой суд — громкий процесс, которым закончилась политическая карьера второго деда нашего героя, Великого Сципиона. Его обвинял ничтожный демагог, народный трибун, подученный Катонем. В тот день весь Рим высыпал на Форум. И всех мучило любопытство — как будет оправдываться этот гордый человек? Ибо обычай требовал, чтобы обвиняемый являлся на суд в трауре, с отросшими волосами и бородой, со слезами на глазах и с толпой грустных родичей. Неужели и гордый Сципион появится сегодня в таком виде, невольно думал каждый. Наконец появился обвиняемый. Он был не в трауре и лохмотьях, а в праздничной одежде, с венком на голове. И он гордо отказался отвечать на обвинения. Это запомнили все. Его образ в светлой одежде врезался в сердца квиритов.

И вот теперь на суд должен был явиться разрушитель Карфагена. И, когда он появился, всем показав-

лось, что время повернуло вспять. Он вышел в точно таком же виде, как и его знаменитый предок! Как всегда, великолепно выбритый, аккуратно подстриженный, в светлой одежде (*Gell., III, 4, 1*)⁴⁰.

Это был первый удар по самолюбию трибуна. Но что бесило Азелла больше всего, это то, что Публий Африканский ни на минуту не оставлял своего насмешливого тона. Казалось, он видел в трибуне не грозного и опасного обвинителя, а все того же маленького и жалкого осленка, который тщетно хочет казаться быком. Это было невыносимо. Теперь Сципион сидел на скамье подсудимых, а не стоял высоко на ступенях храма Кастора, но Азелл чувствовал себя еще более опозоренным и униженным.

Потеряв терпение, он стал осыпать Публия упреками и угрозами. В досаде он даже попрекнул его тем, что цензорский люстр завершился при недобрых знамениях*

— Неудивительно, — спокойно парировал Сципион, — ведь совершил люстр и принес в жертву быка тот, кто вытащил тебя из эрариев** (*Cic. De or., II, 268*).

Но порой речь Сципиона звучала грозно и беспощадно. Вот дошедший до нас отрывок:

— Все низкие, позорные и подлые поступки, совершаемые людьми, сводятся к двум порокам — к лживости и разврату. Хочешь ли ты защищаться от обвинения в лживости, или в разврате, или от того и другого разом? Ты хочешь оправдать свой разврат — пожалуйста. Но ты на одних шлюх потратил больше, чем стоят все орудия Сабинского имения, которые ты показал во время ценза... Ты больше трети отцовского наследства спустил и промотал на всякие гнусности... Ты не хочешь оправдываться в разврате? Оправдывай же свою лживость. Но ты же дал ложную клятву...» (*ORF², Scipio minor, fr. 19*)

* Под 142 годом до н. э. упоминаются дурные знамения и эпидемии в этрусском городе Луна. По этому случаю были устроены молебствия. Быть может, бедствия продолжались и в следующем году, и это и имел в виду Азелл (*Obsequ., 81 (21)*).

** Э р а р и и — в республиканском Риме граждане, урезанные в избирательных правах.

Разумеется, Сципион был оправдан. Но этого мало. Азелл начал судебное дело, движимый жадной мести, и имел одну цель — унижить и обрызгать грязью ненавистного Публия Африканского. План этот не удался вовсе — вся грязь осталась на Азелле. Зато он достиг неожиданных и поразительных результатов — обессмертил свое имя. Даже сейчас этого ничтожного человека знает узкий круг специалистов, в то время как имена его коллег, быть может, гораздо более честных и достойных граждан, забыты. Что же говорить о Риме? Процесс, начатый Азеллом, доставил квиристам массу веселых минут. Все хохотали, вспоминая незадачливого обвинителя. Не сомневаюсь, что злоязычные римляне долго изощрялись в остроумии и сочиняли анекдоты о несчастном трибуне. Поэт Люцилий посвятил целую сатиру этому веселому процессу. Цицерон в детстве часто слышал имя Азелла в кругу тех умных, образованных людей, среди которых рос. Они с улыбкой вспоминали то ту, то другую шутку Сципиона. А вскоре о трибуне, вероятно, стали говорить:

— Азелл? Постойте... какой это Азелл? А! Тот, о котором Публий Африканский остроумно сказал... и т. д.

В год цензуры Сципиона случилось еще одно не совсем приятное событие. Но, прежде чем говорить о нем, мы должны обратиться к судьбе лучшего друга нашего героя, его alter ego, Лелия.

IV

Хотя Гай Лелий был очень умен, хотя Сципион всегда относился к нему с глубоким уважением как к старшему другу, все же всю жизнь Лелий находился под сильнейшим влиянием Публия. До 35 лет Сципион не бывал на Форуме и, казалось, не собирался добиваться должностей. И Лелий, который был лет на пять его старше, вел себя точно так же, хотя ему давно пора было начать подниматься по ступеням общественной лестницы. Потом Сципион поехал под

Карфаген. Гай поехал за ним. Сципион резко изменил свою жизнь и вступил в бурный круг римской политики. И тут Лелий последовал за ним и изменил свою жизнь точно так же.

В 145 году он стал претором. Удивляться тут нечему, ведь баллотировался он в 146 году, то есть сразу после триумфа Сципиона. Мог ли народ отказать своему любимцу в такой безделице — сделать претором его лучшего друга? Да к тому же Лелий сам участвовал во взятии Карфагена. Став претором, Гай выступил в несколько неожиданной для него роли — его послали в Испанию, где в то время пылало восстание Вириата. Как мы знаем, он блестяще сражался против иберов (*Cic. Brut.*, 84). Сам Лелий рассказывал о событиях этой войны в одной речи. От нее дошли лишь жалкие фрагменты, но даже по ним видно, какие волнующие приключения он пережил (*ORF², Laelius, fr. 18*).

Вероятно, Лелий удовлетворился бы претурой. Ведь для очень многих римлян она была вершиной общественных почестей. Но, как говорит сам Лелий у Цицерона, «Сципион хотел, чтобы его близкие благодаря ему могли занимать более высокое положение» (*Amic.*, 69). И вот решено было, что Гай должен стать консулом. Баллотироваться он собирался как раз в год цензорства Сципиона.

Беда, однако, в том, что Лелий плохо умел привлекать к себе внимание. Он был мягок и скромн и скорее спешил затушевать свои достоинства, чем выставлять их напоказ. Он не умел подчас постоять за себя и готов был отдать другим заслуженные лавры и почести. Мы уже упоминали, как он из-за своей щепетильной честности сам уступил венок Гальбе. Но замечательнее всего то, что произошло это как раз в 142 году до н. э., то есть именно тогда, когда он добивался консулата. В таких обстоятельствах римлянин пошел бы на что угодно, только бы не уступить славы другому. Короче, Лелий не умел домогаться почестей. И вот тут-то один человек неожиданно взялся ему помогать.

В то время у Сципиона появился новый знакомый,

некий Квинт Помпей. Он происходил из самых низов, чуть ли не был сыном какого-то музыканта, но проложил себе дорогу к высшим магистратурам. Успехами своими он был обязан двум качествам — определенным ораторским способностям и изумительной изворотливости. Он имел редкий талант подольститься ко всякому. Умел заискивать перед народом, напоминая, что он сам из народа. И стлался перед знатными людьми. Несколько раз его уличали в весьма неблагоприятных поступках, но он каждый раз выходил сухим из воды. Однажды, когда его привлекли к суду несколько знатных людей, в том числе Метелл Македонский, и уже, казалось, совсем прижали к стене, он сумел разжалобить судей, напомнив, что он «новый человек», а обвиняют его консуляры и триумфаторы и он буквально раздавлен могуществом врагов (*Val. Max., VIII, 4, 1; Cic. Font., 23*).

В то время Помпей только начинал свою карьеру. Он делал все, чтобы приблизиться к Публию Африканскому. Характера его Сципион еще не знал. Он видел в нем талантливого человека из народа, которого презирает и ненавидит аристократия, а потому счел своим долгом ему покровительствовать (*Cic. Verr., II, 5, 181*). Помпей, вероятно, прекрасно умел ему угодить, разыгрывая глубокий интерес к греческой литературе и наукам.

Сципион имел некоторые основания думать, что его новый протеже мечтает о консулате. И вот сейчас он прямо спросил Помпея, не собирается ли и тот выдвинуть свою кандидатуру в консулы на 141 год до н. э. Помпей отвечал, что ничего подобного, напротив, он будет всеми силами помогать Лелию «обходить избирателей и пожимать им руки». Дело в том, что кроме всех прочих своих способностей Помпей, по словам Рутилия*, обладал замечательным талантом «виртуозно приветствовать встречаемых» и выклянчивать голоса (*HRR, Rutilius, fr. 7*)⁴¹. Он пообещал утром зайти за Гаем. Все друзья Лелия собрались у не-

* Это тот самый молодой друг Сципиона, который рассказывал Цицерону историю о Лелии и Гальбе.

го, но Помпея не было. Вдруг им сказали, что Помпей уже на Форуме в ослепительно белой тоге соискателя* и выпрашивает он голоса, но не для Лелия, а для себя самого. Все негодовали, Сципион же расхохотался и сказал:

— Какая глупость! Мы давно уже теряем время и, словно бога, ждем этого флейтиста! (*Plut. Reg. et imp. apoph. Sc. min.*, 8)

По слухам, отец Помпея был флейтистом** Помпей действительно был выбран консулом, а Лелий в тот год провалился. Однако он добился консулата в следующем, 140 году. Сципион, по словам Цицерона, был строже и честлюбивее друга (*De off.*, II, 108) и относился к его успеху ревнивей, чем сам Лелий. И между ним и Помпеем все навеки было кончено. «Он ради меня порвал дружбу с Квинтом Помпеем... он действовал резко, решительно и без всякого горького чувства», — говорит Лелий у Цицерона (*Amic.*, 77).

С той поры Помпей сам стал знатным человеком. Но большинство в сенате его ненавидело. Метелл просто не переносил его. Цицерон говорит, что Помпей продвигался вперед «ценой величайших опасностей, которыми ему угрожали его многочисленные ненавистники, и величайших трудов» (*Verr.*, V, 181). Но пожалел ли он хоть раз, что потерял такого друга, как Сципион, мы не знаем.

V

Почти тотчас же после цензуры⁴² Сципиона ожидало самое приятное и интересное приключение, какое только можно себе представить. Дело было вот в чем. Сенат решил отправить посольство, которое

* Соискатель на общественные должности появлялся в ослепительно белой тоге, по-латыни *toga candida*, одетый в нее — *candidatus*. Отсюда слово кандидат.

** Астин дает иное толкование шутке Сципиона. Он был сын Авла, по-гречески *Aulides*, флейтист на том же языке — *Auletes* (*Op. cit.*, p. 312). К сожалению, эта гипотеза не может быть подкреплена никакими доказательствами. Однако очень вероятно, что Сципион дал ему такое прозвище, намекая не на происхождение, а на характер. Вроде русского — скоморох, шут, плясун.

объехало бы все великие державы тогдашнего мира и доложило бы о том, что там происходит. Это посольство должно было преследовать двойную цель — во-первых, все осмотреть и ввести сенат в курс дел, а во-вторых, расположить сердца народов и их правителей к Риму. Задача была нелегкой. Человек, взявший на себя исполнение этой миссии, должен был обладать поистине незаурядными способностями. От него требовались ум, наблюдательность, такт и особое обаяние.

После некоторого размышления отцы решили, что нет никого, кто подходил бы лучше Сципиона. Он проницателен, наделен умом точным и наблюдательным и от него не укроется ни одна мелочь. Он сумеет изложить все четко и ясно. И, наконец, у него есть все, чтобы пленить сердца греков. Это римлянин до мозга костей, и он не может не вызвать к себе уважение. С другой стороны, он не хуже эллина сумеет поговорить об истории, астрономии, математике и философии. Сципион просто создан для этого поручения. И вот «он был послан сенатом, чтобы, говоря словами Клитобаха, *«посмотреть на беззаконные и справедливые дела человеческие, чтобы поглядеть на города, народы и на царей»* (Plut. Reg. et imp. apoph. Sc. min., 13).

При той страсти, которую питал Сципион к путешествиям, и при его ненасытной любознательности трудно было сделать ему более соблазнительное и заманчивое предложение. Разумеется, он с восторгом согласился. Ему, по-видимому, разрешили самому выбрать себе спутников. Нас могут удивить их имена. Он пригласил с собой в путешествие Спурия Муммия и Метелла Кальва, то есть родных братьев Муммия Ахейского и Метелла Македонского, своих политических противников! О Метелле Кальве мы знаем мало. Зато Спурий Муммий известен нам довольно хорошо. Это был очень необычный и очень интересный человек. Умный, блестяще образованный, честный и глубоко порядочный. Однако, на взгляд римлян, была у него одна большая странность. Он так страстно, так самозабвенно увлекался гречес-

кой литературой и науками, что сделался вполне равнодушен к политике. И — вещь неслыханная! — имея такого брата, как Муммий Ахейский, и такого друга, как Сципион Африканский, он не сделал карьеры и не занимал ни одной должности. Он был всецело погружен в свои ученые занятия, словом, жил такой жизнью, какую вел наш герой до отъезда в Испанию. Это было невыразимо привлекательно для Сципиона. Его всегда тянуло к подобного рода людям. Недаром он так любил в юности Сульпиция Галла. В то же время Спурий честно выполнял требования долга: служил в армии и был легатом брата.

Спурий был стоиком. Но в нем не было ничего угрюмого или надутого, что современники всегда связывали с образом стоического мудреца. Напротив. Он был прост, весел и обладал тонким чувством юмора. Именно он, служа под началом брата в Греции, описывал в письмах к друзьям свои приключения в остроумных и забавных стихах. Спурий мог часами рассуждать на самые отвлеченные темы, мог шутить, импровизировать и заставлял всех хохотать до упаду. Словом, он был человеком именно такого склада, который так нравился Публию. Вот почему Спурий был одним из любимейших его друзей (*Cic. De re publ., I, 18*). Как ни странно, их многолетнюю дружбу ничуть не омрачали политические разногласия между Сципионом и Муммием Ахейским. То же можно сказать и о втором его спутнике, Метелле Кальве. Тем более что Публий и Метелл Македонский всегда глубоко уважали друг друга.

Третий спутник Сципиона был уже совсем неожиданный человек. Это был Панетий Родосский, один из самых знаменитых греческих философов того времени. Панетий часто бывал в Риме и любил Сципиона как брата. Он некогда обучал философии и его, и Спурия. «Сципион... всегда имел при себе дома и на войне Полибия и Панетия, самых выдающихся своими талантами людей», — пишет Веллей Патеркул (*I, 13*). Впрочем, и на сей раз дело не обошлось без Полибия. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что если он и не проделал весь путь со

своим воспитанником, то, во всяком случае, Египет они объехали вместе. Возможно, они встретились в Александрии⁴³. Итак, Сципион стал собираться в путь. Ему суждено было поразить весь Восток своей необыкновенной, из ряда вон выходящей скромностью и простотой. Не говоря уже о его редкой неприятельности в еде и одежде и о полном равнодушии к комфорту, которое особенно было заметно в путешествии: он взял с собой всего пять слуг. Об этом постоянно, с неослабевающим изумлением рассказывают нам античные авторы. Видимо, это был предел скромности для тогдашнего аристократа. Замечательно, что меньшим количеством не мог обойтись сам Сципион Африканский. Когда один из его слуг по дороге умер, он написал в Рим письмо с просьбой прислать на его место другого (*Polyb., fr. 166; Plut. Reg. et imp. apoph. Sc. min., 14*).

Первой страной, которую должен был посетить Сципион, был Египет, древний край чудес. Эта колыбель цивилизации представляла теперь самое причудливое и удивительное зрелище. Как и все страны классического Востока, Египет был завоеван Александром, и управляла им династия Птолемеев, потомков одного из царских военачальников. Их резиденцией была уже не древняя столица фараонов, а великолепнейшая, роскошная Александрия, построенная по единому плану, с прямыми, широкими улицами, чудесными дворцами и парками, с Фаросским маяком, считавшимся одним из чудес света, и Мусейоном, центром всей тогдашней науки, где были лучшая в мире библиотека, музей и обсерватория. Таким образом, рядом с древними пирамидами поднимались чудесные греческие храмы и гость мог то любоваться Мемфисом, то слушать лекции лучших современных ученых. Но управлялась эта прекрасная страна самым диким и безобразным образом.

По словам Страбона, только первые три царя обладали государственным умом. А потом каждый следующий был хуже предыдущего (*Strab., XVII, 1, 8*). И действительно. Постоянно приходится слышать, что

они темны и невежественны настолько, что, по словам Плутарха, даже не смогли выучить египетский, хотя успели забыть македонский* (*Plut. Anton.*, 27). Они проводили время в попойках и упражнялись во всевозможных видах разврата, полностью забросив дела государственные. Управление же страной они поручали временщикам, людям совершенно случайным. Тут были и ловкие проходимцы, и удачливые офицеры, и евнухи. Зачастую то были люди из самых низов, с темным прошлым. Министрами порой становились слуги и лакеи (*Polyb.*, XV, 25, 21). Управляли они Египтом самым странным образом. Об одном временщике, Агафокле, который возвысился только потому, что сестра его, женщина, открыто торговаясь собой, стала любовницей очередного Птолемея, Полибий пишет: «Он большую часть дня проводил в пьянстве и сопутствующем ему разврате, причем не щадил ни одной красивой женщины, ни невесты, ни девушки, и все это делал с отвратительным бесстыдством» (*Polyb.*, XV, 25, 22). О его преемнике Полибий говорит: «Завладевши государственной казной, Тлеподем чуть не целые дни проводил в игре в мяч... а после игр тотчас же устраивал попойки, в этом проходила большая часть его жизни. Если иногда какой-нибудь час в день он уделял приемам, то раздавал, или, говоря точнее, расшвыривал государственные деньги являвшимся из Эллады послан и актерам» (*Polyb.*, XVI, 21, 6—8). Подобное управление иногда кончалось ужасными народными восстаниями, ибо «вообще египтяне в ярости страшно свирепы» (*Polyb.*, XV, 33, 10).

Жители Александрии, по словам Полибия, делились на три класса: «один из них составляют туземцы египтяне, деятельные и общительные; другой состоял из наемников, народа тупого, многолюдного и грубого: в Египте издавна был обычай содержать иноземных солдат, которые благодаря ничтожеству царей научились больше командовать, чем повино-

* Исключением была знаменитая Клеопатра, блестяще образованная женщина (I в. до н. э.).

ваться. Третий класс составляли александрийцы (то есть собственно греческое население. — *Т. Б.*), которые точно так же и по тем же самым причинам не отличались большой любовью к гражданскому порядку, но все-таки были лучше наемных солдат. Александрийцы искони были эллины и, хотя смешались с другими народностями, памятовали, однако, общеэллинские правила поведения» (*Polyb., XXXIV, 14, 1—4*).

Я уже говорила, что, по словам Страбона, каждый следующий Птолемей был хуже предыдущего. Но хуже всех, говорит он, были четвертый, седьмой и самый последний (*Strab., XVII, 1, 8*). В то время над Египтом царствовал как раз Птолемей VII Эвергет, то есть Благодетель. Впрочем, подданные называли его просто Фискон — Пузан. Он совершил столь чудовищные преступления, что даже поразил воображение современников, хотя те уже привыкли к эксцессам того или иного Птолемея и слушали о них с полнейшим равнодушием.

Этот замечательный монарх начал свое царствование с того, что во время торжественной церемонии в честь коронации, а также свадьбы — ибо по обычаю владык Египта он женился на своей сестре, — так вот, среди пира и ликования он убил сына своей жены, имевшего законные права на престол. Маленький мальчик напрасно пытался спастись в объятиях матери. Благодетель зарезал его у нее на руках, и кровь его текла прямо на стол, уставленный роскошными яствами. «И так он взошел на ложе сестры, обогрел кровью» (*Justin., XXXVIII, 8*). Однако «с самой сестрой он вскоре развелся и женился на ее дочери, девушке, которую сначала изнасиловал» (*ibid.*). А так как александрийцы часто волновались, он «отдал народ в жертву солдатам и истреблял его» (*Полибий*). «Иноземным наемникам была дана свобода убивать, повсюду ежедневно струились потоки крови» (*Юстин*). Множество народу бежало и пряталось в окрестности, так что Полибию казалось, что почти все эллины уже истреблены (*Justin., XXXVIII, 8; Polyb., XXXIV, 14, 6*). Дело кончилось, как часто бывало в Египте, грандиозным народным восстанием

(оно вспыхнуло уже после визита Сципиона). Народ поджег дворец Пузана. Царь бежал на Кипр и там узнал, что царицей стала его злополучная жена. Тогда он убил рожденного от нее сына, разрезал его тело на мелкие части, положил в ящик и послал матери, велел сказать, что это ей подарок на день рождения и открыть его нужно в самый разгар пира (*Justin., XXXVIII, 8, 12—13; Liv., ep., 59*).

Вот в такой-то край и к таким людям плыл сейчас Сципион.

Только тут, в древнем краю фараонов, он по-настоящему понял, как велика его слава. Их корабль вошел в Александрийский порт днем, в самую жару. Римляне, стоявшие на палубе, с удивлением увидели огромную толпу, которая теснилась на берегу. Они недоумевали, что это может означать. Заметив их корабль, люди подняли невообразимый шум. Они кричали, проталкивались вперед и спрашивали друг у друга:

— Который из них знаменитый Сципион?

Тогда римляне поняли, зачем собралась эта толпа в гавани. Вместе с друзьями Публий сошел на берег и своим обычным легким, быстрым шагом пошел вперед, накинув на голову край плаща, видимо, от сильной жары* Александрийцы неслись за ним следом, громко вопя:

— Сципион! Сципион! Открой лицо!

Наконец Публий откинул плащ. Толпа разразилась восторженными воплями и зааплодировала (*Plut. Reg. et imp. apoph. Sc. min., 13*).

Тут на пристани появился сам царь. Римляне, которые уже были наслышаны о его подвигах, с любопытством смотрели на него как на некое чудо природы. «Насколько кровожадным казался он согражданам, настолько смешным римлянам. Лицом он был безобразен, низок ростом, ожиревший живот делал его похожим не на человека, а на животное. Гнус-

* Ни в холод, ни в зной римляне, во всяком случае в городе, не носили головного убора, но иногда подобным образом закрывали голову краем плаща или тоги.

ность вида увеличивала чрезмерно тонкая и прозрачная ткань его одежды, как будто он задался целью искусно выставлять на показ то, что скромный человек стремится обычно тщательно прикрыть» (*Justin., XXXVIII, 8—10*).

Птолемей приблизился к римлянам с самым льстивым и угодливым видом и принялся что-то говорить. Но Сципион продолжал идти вперед все тем же быстрым шагом, а толстый царь, пыхтя и задыхаясь, бежал за ним на глазах всей александрийской толпы, которая с восторженными криками неслась следом. Сципион наклонился тогда к Панетию и шепнул ему:

— Александрийцы все-таки получили некоторую пользу от нашего визита: благодаря нам, они увидали, как их царь прогуливается (*Plut. Ibid., 13*).

После столь необычной «прогулки», как выразился Сципион, царь поспешил пригласить римлян во дворец (*Diod., XXXIII, 18*). При этом он заискивал перед Сципионом с раболопной угодливостью и буквально пресмыкался перед своим знаменитым гостем. Но чем льстивее и униженнее он держался, тем более возрастало гадливое презрение, с которым относился к нему гордый римский гражданин. Между тем римлян ожидало волшебное зрелище.

Дворцы Александрии поражали путешественников. Каждый Птолемей воздвигал себе новый дворец, стремясь затмить предшественников своим великолепием. При этом все эти дворцы соединялись между собой, образуя как бы единое колоссальное здание, которое занимало «четверть или даже треть всей территории города» (*Strab., XVII, 1, 8*). А то, что открывалось внутри, поистине ослепляло. Сципион увидел такую пышность, такое великолепие, каких не мог даже вообразить себе, хотя был во дворце македонских царей и видел у своих ног сокровища Карфагена. Но двор Птолемеев роскошью и блеском превосходил все, доселе им виденное. Плутарх рассказывает о приемах египетской царицы Клеопатры: «Пышность убранства, которую он увидел, не поддается описанию, но более всего его поразило обилие ог-

ней. Они сверкали и лили свой блеск отовсюду и так затейливо соединялись и сплетались в прямоугольники и круги, что трудно было оторвать взгляд или представить себе зрелище прекраснее» (*Plut. Anton.*, 26). Все, служащее наслаждению, превращалось здесь в утонченное искусство. Разумеется, обеды готовили самые лучшие повара мира. Но этого мало. Тот же Плутарх пишет: «Врач Филот, родом из Амфиссы, рассказывал моему деду Ламприю, что... он изучал медицину в Александрии и познакомился с одним из поваров царицы, который уговорил его поглядеть, с какой роскошью готовится у них обед. Его привели на кухню, и среди прочего изобилия он увидел восемь кабанов, которых жарили разом, и удивился многолюдности предстоящего пира. Его знакомец засмеялся и ответил: «Гостей будет немного, человек двенадцать, но каждое блюдо надо подавать как раз в тот миг, когда оно вкуснее всего, а пропустить этот миг проще простого... Выходит, — закончил повар, — готовится не один, а много обедов» (*Plut. Anton.*, 28).

На сей раз предприняты были поистине грандиозные приготовления, ибо Эвергет задумал ослепить знаменитого гостя невиданным великолепием (*Diod.*, XXXIII, 18). Но ни сверкающие драгоценности, ни курившиеся повсюду ароматы, ни чудеса кулинарного искусства не произвели на Сципиона ни малейшего впечатления. Дело в том, что, как пишет один греческий историк, то, что царю казалось самым важным, Публию представлялось вовсе не значительным (*ibid.*). И он чисто по-римски, со всей присущей ему выразительностью, дал почувствовать это Пузану. Это он великолепно умел делать. Когда, например, они садились за стол, который буквально ломился от всяких деликатесов, Сципион и его друзья, которые во всем ему подражали, клали себе на тарелку лишь немного овощей, говоря, что привыкли к самой простой пище. А когда Птолемей показывал им свои сокровища, можно себе представить, как Публий то выражением скупающего равнодушия, то коротким убийственным замечанием показывал

свое полное презрение к хозяину и к его золоту (*ibid.*).

Вскоре Сципиону сделалось невыносимо скучно у Фискона, который все время «водил их по дворцу и показывал царские сокровища» (*ibid.*). Он отправился смотреть то, что, по его мнению, «действительно было достойно внимания». Долго бродил Сципион по Александрии. Он смотрел на все с жадным любопытством, смешанным с тем изысканным наслаждением, которое только рафинированно образованный человек может испытывать в местах, овеянных дыханием истории. Где бы он ни был — гулял ли по набережной, осматривал ли Мусейон, шел ли по бесконечному молу к Фаросу, — всюду за ним следовала огромная толпа, которая самым бесцеремонным образом его разглядывала, словно какую-то новую удивительную достопримечательность, и громко обменивалась замечаниями на его счет (*Iustin., XXXVIII, 8, 11*). Александрийцы были народом очень насмешливым и злоречивым. Они выдумывали забавные прозвища всем царям и рассказывали о них анекдоты на улицах, хотя за это легко можно было лишиться языка, а то и головы. Поэтому и сейчас они не стесняясь отпускали остроты по адресу Сципиона. Надо полагать, он не оставался в долгу и несколько раз ответил так, что шутник прикусил язык, а вся эта пестрая, шумная восточная толпа разразилась оглушительным хохотом и восторженными криками. Но вскоре выяснилось, что этот суровый и гордый римлянин, этот знаменитый полководец с насмешливым блеском в глазах им чрезвычайно нравится. Они решили про себя, что это очень хороший человек.

Осмотрев Александрию, они поплыли в Мемфис (*Diod., XXXIII, 18*).

Едва путешественник покидал роскошную столицу Птолемеев, он словно попадал в другой мир. Он оказывался в древнем краю фараонов, который, казалось, ничуть не изменился со времен Тутмосов и Рамсесов. И сердцем, средоточием этой волшебной старины был Мемфис. Оттуда видны были пирамиды, там было святилище Аписа, бога-быка, рожден-

ного от солнечного луча. Страбон, также путешествовавший по Египту, так рассказывает об этом храме: «В Мемфисе есть храмы, и прежде всего храм Аписа... Здесь бык содержится в некоем святилище и почитается богом... Перед святилищем находится другое святилище, матери быка. В этот двор в известный час выпускают быка, в особенности на показ чужеземцам, хотя его можно видеть через окно в святилище, но они хотят видеть его снаружи. После того как бык немного порезвится во дворе, его загоняют назад в собственное стойло» (*Strab., XVII, 1, 31*). Евдокс Книдский, знаменитый философ и математик, ученик Платона, пробыл в Египте, говорят, год и четыре месяца, постигая мудрость жрецов. В святилище «бык Апис облизал ему плащ, и тогда жрецы сказали, что он будет знаменит, но недолговечен» (*Diog. L., VIII, 8*).

Невдалеке была другая достопримечательность — город Арсиноя, или Крокодилополь, где обожествляли крокодилов. Тот же Страбон говорит, что, прибыв в город, они пошли поклониться священному крокодилу, жившему в озере. Взяли они с собой лепешку, жареное мясо и кувшин вина, смешанного с медом, ибо, по слухам, крокодил все это любил. «Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, потом мясо, а потом влил медовую смесь». В это время подошел другой чужеземец; увидав его, крокодил прыгнул в воду и переплыл на другой берег. Жрецы обошли озеро кругом, изловили крокодила, вновь открыли ему пасть и всунули туда новые подношения (*Strab., XVII, 1, 38*).

Римляне смотрели на все с любопытством и изумлением. Сципион был, говорят, поражен всем, что увидел — «плодородием полей, великим Нилом, многочисленностью городов, неисчислимыми мириадами жителей» и полной безалаберностью, с которой управлялся этот благодатный край. Он заметил, что Египет может стать величайшей страной, если им управлять как следует (*Diod., XXXIII, 18*). Полибия же египетские дела привели в настоящий ужас. С тех пор он не мог говорить о них без отвращения и пре-

зрения. Ему даже тяжело было находиться в этой стране. Он с улыбкой вспоминал по этому поводу эпизод из «Одиссеи», когда враждебные ветры удерживают в Африке Менелая, а тот всей душой рвется на родину, в Элладу. И вдруг он узнает, что боги повелевают ему снова вернуться в Египет!

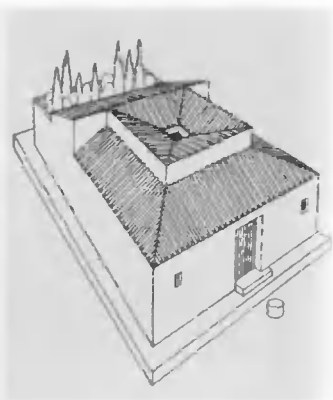
Разбилось тогда мое милое сердце:
Он мне приказывал снова по мгlisto-туманному морю
Ехать обратно в Египет тяжелой и длинной дорогой!

(*Strab., XVII, 1, 12*)

«Осмотрев Египет, послы отправились на Кипр, а оттуда в Сирию» (*Diod. Ibid.*). Они побывали на Родосе и в Пергаме. Они перешли Тавр и впервые изучили жизнь племен, живущих по ту сторону хребта (*Strab., XIV, 5, 2*). Они наконец приплыли в Грецию и посетили философские школы Афин. «Вообще, обойдя большую часть ойкумены, они решили, что у всех разумная и удивительная жизнь, и вернулись с доброй славой, которую единогласно подтверждали все, и везде вызывали величайшее восхищение. Ибо тех, у кого были разногласия, они мирили друг с другом и убеждали поступать справедливо... а бессовестных умели поставить на место... Беседуя с царями и народами, они возобновляли существовавшую ранее дружбу и своей доброжелательностью увеличивали авторитет Рима». И когда Сципион вернулся, множество городов и общин «отправили в Рим послов, которые хвалили Сципиона и его спутников и благодарили сенат, что он послал к ним таких мужей» (*Diod. Ibid.*).



Голова римского юноши. I в. н. э.



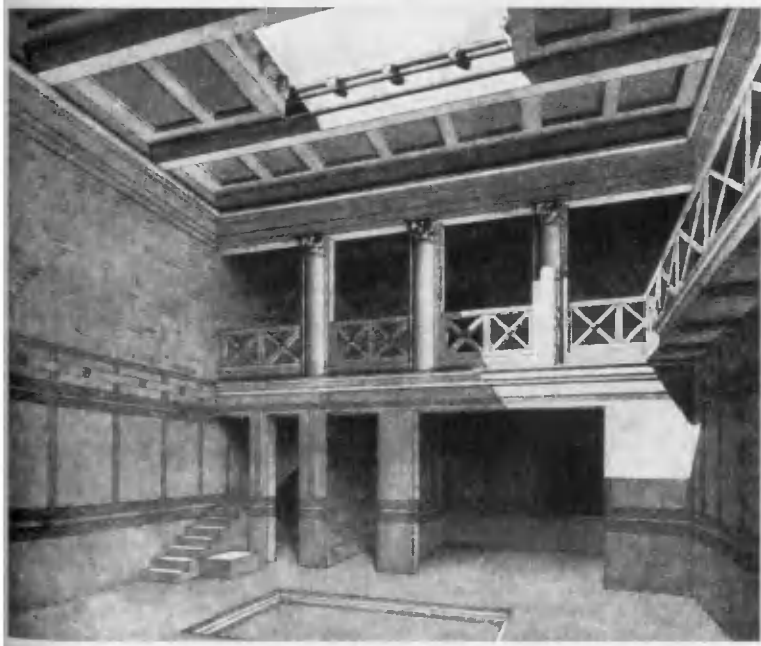
Римский дом.
Реконструкция.

Знатная дама.
Рубеж нашей эры.

Римлянка. I в. до н. э.



Атриум — центральная
комната дома.
В середине — бассейн,
где скапливалась
дождевая вода.
Реконструкция.





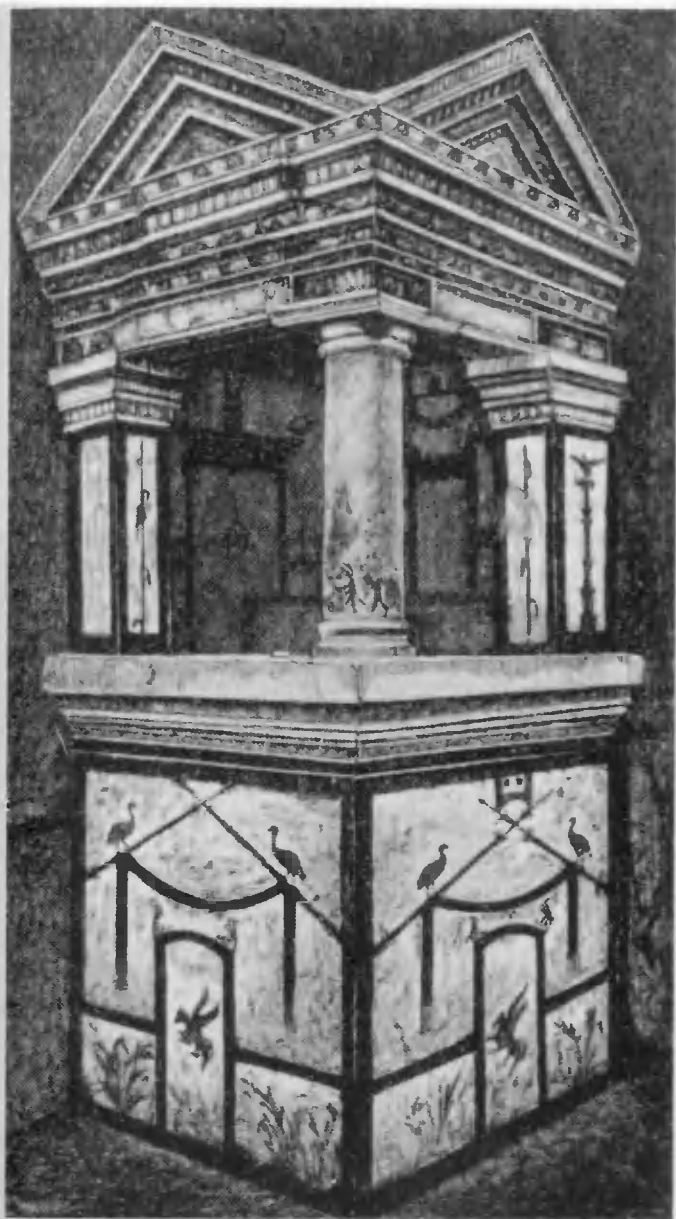
Гермес Паксителя.
IV в. до н. э. Молодой бог держит на руках младенца Диониса, и его лицо пронизывают те же кротость, свет и милость, которые поражали древних в Фидиевом Зевсе.

Золотой браслет из Помпей.

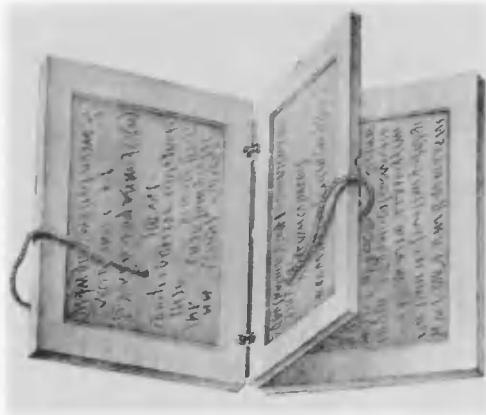


Собака. Судя по всему, породистый охотничий пес. *Мозаика из Помпей.*





Маленький домашний храм Ларов. Во время праздников такие храмы украшали цветами.



Таблички для письма.
Помпеи. Римляне
писали стилем —
палочкой с острым
концом —
на деревянных
дощечках, покрытых
воском.

Художница. Фреска из Помпей.



Актер, играющий
царя. Фреска
из Геркуланума.



Сцена из комедии.



Театральная маска.



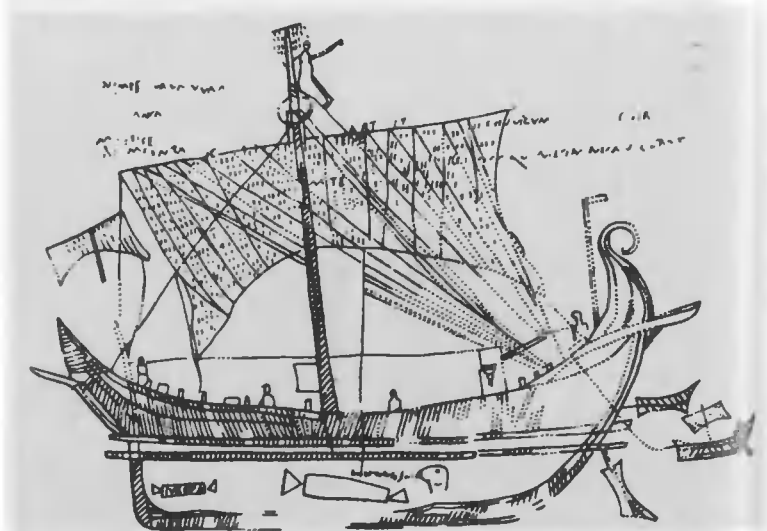


Денарий 101 г.
до н. э. Вверху:
юноша с победным
венком на копье.
Внизу:
триумфатор
в образе Юпитера,
правлящего
квадригой.



Этруская статуя,
изображающая
Марса. Божество
одето в доспехи,
напоминающие
классическое
облачение
римского воина.

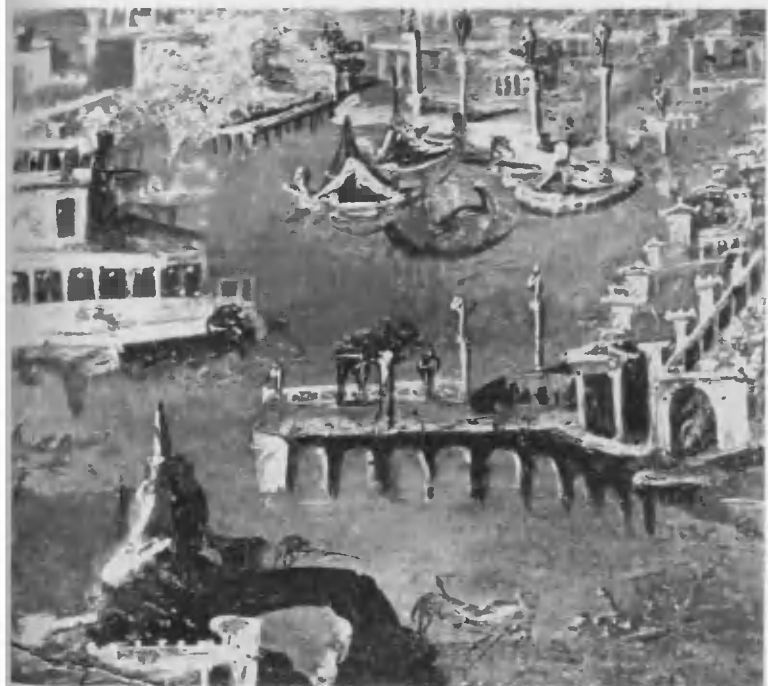
Римский корабль «Европа». *Граффити из Помпей.*





Надгробие близ Помпей. Подобные надгробия тянулись по обеим сторонам дорог, ведущих в Рим.

Римская гавань. Фреска из Стабий.





Пунийский порт.
Сицилия. Мотия.



Статуэтка Беса,
очень популярного
в Карфагене божества.
Сардиния. IV—III вв.
до н. э.



Единоборство римлянина
с варваром. Изображение
на колонне Траяна.
1—II вв. н. э.

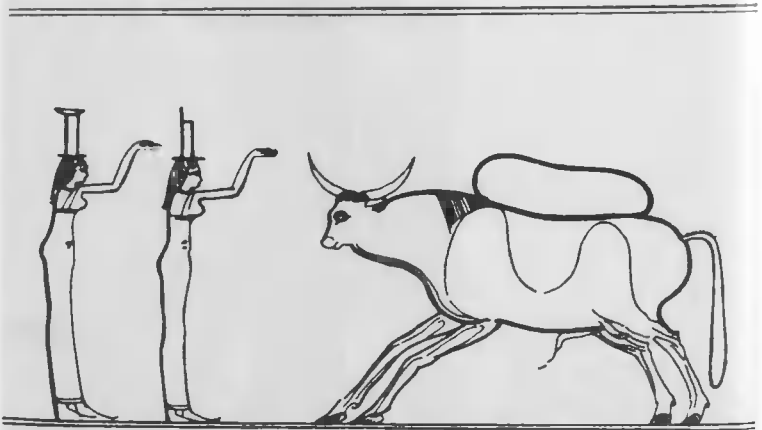


Финикийское божество.
Библ. XVIII в. до н. э.

Птолемей VII Фискон.



Бог Апис. Рядом — богини
Изида и Нефтида.
Египетский рисунок.



Этрусский гаруспик,
погруженный
в исследование печени
жертвенного животного.
Ни же — макет печени
с указаниями
для гадателя.



Жертвоприношение.
Рельеф из Помпей.





Статуи Аменхотепа III. У греков и римлян они получили название Колоссов Мемнона, сына Зари. При первых лучах солнца каменные изваяния издавали странные звуки, напоминающие пение.

Поклонение крокодилу. *Египетский рисунок на папирусе.*





Аппиева дорога. *Современный вид.*

Сельский пейзаж. *Фреска из Помпей.*





Статуя Августа. Здесь он изображен как обычный римский полководец, произносящий речь перед воинами.

ОБРАЗОВАННЫЙ РИМЛЯНИН

*Как проводили образованные римляне свой досуг.
Ученый II века до н. э. Энциклопедия античной
жизни. Римская республика и ее структура.
Греческие философы в Риме. Насмешки над ними.
Ученые чудаки. Поэт-сатирик.
Разврат и нравы нуворишей.*

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

I

Все, кто занимался историей Древнего Рима, когда-нибудь с восхищением и глубоким интересом останавливали свое внимание на так называемом *кружке Сципиона*, то есть кружке образованных и умных людей, сложившемся вокруг разрушителя Карфагена. Кружок Сципиона представляет какую-то заманчивую и пленительную тайну. Чем больше мы узнаем о нем, тем больше он нас влечет. Мы узнаем, что все, что было тогда талантливое, блестящее, умного, — все было частью этого кружка. Историки, поэты, философы, юристы — все они туда входили. В Риме в те времена было три знаменитых поэта — комик Теренций, трагик Пакувий и сатирик Люцилий — и все они были членами кружка Сципиона. Все, что вышло из этого кружка, — поразительно: всемирная история Полибия, II Стоя Пане-

тия, новое литературное направление — *сатира*, изобретенная Люцилием. Кажется, все блестящие идеи, все открытия того времени берут свое начало из кружка Сципиона. К тому же лучшие, ученейшие римляне, Гораций и Цицерон, беспрестанно твердят нам об этом кружке и дают понять, как они мечтали бы жить в то время, чтобы быть его членами.

После всего этого мы ожидаем чудес. Любопытство наше достигает последнего предела. Мы, кажется, отдали бы десять лет жизни, чтобы хоть час провести в обществе этих необыкновенных людей. И мы сломя голову кидаемся, чтобы узнать все, что можно, об этом удивительном кружке. Увы! Вот тут-то нас и подстерегает самое горькое разочарование. Все почти члены кружка Сципиона писали: одни — мемуары, другие — речи, третьи — трактаты, четвертые — стихи. Но от всего этого великолепия не дошло ничего — ничего, кроме жалких фрагментов, словно чудесную книгу разорвали на тысячу кусков, большинство из которых погибло, а остальные раскидали, и мы должны шаг за шагом, кусок за куском складывать их, чтобы получить подобие некой картины. И все-таки мы ничего не достигли бы, если бы нас не опередил один человек. Он ни разу не видел Сципиона, родился через четверть века после его смерти, но называл себя его наследником, подражателем, учеником. Человек этот Марк Туллий Цицерон.

Цицерон приехал в Рим совсем мальчиком, и отец отдал его на попечение старому юристу Квинту Сцеволе Авгуру. Юный Цицерон учился у него праву, ибо Сцевола, «хотя и не давал никому уроков, однако никому из желающих не отказывал в советах» (*Cic. Brut.*, 306). Этот старик произвел на юношу неизгладимое впечатление. «Я всегда держу в памяти образ Квинта Сцеволы Авгура», — признавался он уже перед смертью (*Phil.*, VIII, 10). Сцевола, по его словам, «представлял собой удивительное соединение душевной силы с немощью тела» (*Rab. mai.*, 21). Он «был отягощен старостью, измучен болезнью, искалечен и расслаблен во всех членах» (*ibid.*). Но он заставлял себя ежедневно вставать до света и садился в кабинет, чтобы

бесплатно давать советы каждому желающему. Он первым приходил в Курию, и никто в трудное для Республики время не видел его в постели (*Phil., VIII, 10*). Когда же Сатурнин с оружием в руках восстал против законов и консул призвал всех защитить Республику, первым пришел на его зов слабый, больной Сцевола, опираясь на копьё (*Rab. mai., 21*).

Знал он феноменально много. В философии разбирался так, что греческие философы с ним консультировались (*Cic. De or., I, 75*), а уж в юриспруденции он не имел себе равных. Его глубокие суждения, короткие меткие высказывания поражали мальчика (*Cic. Amic., 1*). И при этом в нем не было ни тени важности, надутости. Он всегда был так мягок, так вежлив (*Cic. De or., I, 35*). Вот как мило, например, он подшучивает над собственными немощами:

«Сцевола, прошед два или три конца, сказал:

— Отчего, Красс, мы не берем пример с Сократа в Платоновом «Федре»? Меня надоумил твой платан: укрывая это место от лучей, он раскинулся своими развесистыми ветвями не хуже, чем тот, тень которого привлекла Сократа, хоть мне и кажется, что тот платан вырос не столько благодаря ручейку, который там описывается, сколько благодаря самой речи Платона. Сократ разлегся под тем платаном на траве и в таком положении вел свои речи, которые философы приписывают божественному откровению; а то, что он сделал на своих закаленных ногах, во всяком случае еще справедливее представить моим» (*Cic. De or., I, 28*).

Цицерон необыкновенно привязался к своему учителю. «Пока я мог, я уже никогда ни на шаг не уходил от этого старика» (*Amic., 1*). И вот ежедневно он приходил в полукруглую комнату, *экседру*, где Сцевола любил принимать своих друзей. Часто, очень часто рассказывал он о прошлом, и Цицерон жадно его слушал. Перед ним оживали целые картины минувшего. Более всего старик любил вспоминать своего незабвенного тестя, Гая Лелия, которого любил как отца, и его друга, знаменитого Публия Африканского, в доме которого он так часто бывал. Эти

великие имена Цицерон слышал не в торжественных речах, не в официальной истории, а в простой беседе и полюбил эти рассказы так, как мы любим рассказы о наших бабушках и дедушках. Юноша постепенно проникался убеждением, что не было никого лучше, благороднее Сципиона (*De amic.*, 6). Ввергнутый в пучину кровавых смут, гражданских войн, он вспоминал этого чистого, великодушного человека, его образ стал для него путеводной звездой среди моря бедствий, он сделался для него мериллом нравственного совершенства, живым идеалом, по которому Цицерон всегда равнял свои поступки. «Я по мере сил своих стараюсь подражать ему», — признается он (*Verr.*, IV, 81).

Цицерон стал собирать все, что известно было о его герое. Его интересовала каждая мелочь: как он держался на ораторском возвышении, с какой интонацией говорил, повышал ли голос, как любил шутить и забавляться, впадал ли в боевое неистовство во время сражения или, напротив, был спокоен и не терял головы (*De or.*, I, 255; II, 22; *Tusc.*, IV, 48). Короче, он хотел, чтобы Публий Африканский встал перед ним как живой. Он изучал историю Полибия, названного отца Сципиона; сочинения философа Панетия, друга Публия, стали его настольными книгами. Он внимательно читал историю Фанния, другого зятя Лелия, и чуть ли не наизусть знал речи самого Лелия. Но этого мало. Он узнал, что в живых остался еще один член кружка Сципиона, Рутилий. И Цицерон не задумываясь отправился в Малую Азию, где тот в это время жил, чтобы побеседовать с ним и записать его воспоминания (например, *Brut.*, 85—88).

Постепенно он все более укреплялся в мысли, что не по крови, но по духу является наследником и потомком Сципиона. «Пусть у других будет изображение Публия Сципиона Африканского, пусть другие украшают себя добродетелями и славной памятью усопшего, — пишет он, — ...я имею право участвовать в воздаваемых его памяти почестях...: общность стремлений и действий соединяет почти так же тес-

но, как родство» (*Verr.*, IV, 81). Недруги даже издевались над ним, говоря, что этот безродный арпинец возомнил себя «последним оставшимся в живых потомком... Сципиона Африканского» (*Sall. Invect.*, I, 1, 1). А друзья в беседах с ним шутливо называли Эмилиана «твой Сципион» (*Cic. Leg.*, III, 37).

Когда Цицерон сам взялся за перо и начал писать философские трактаты, он придал им форму диалогов, и героями их стали не друзья самого оратора, как у Платона, но Сципион, Лелий и члены их кружка. Мы видим их в самой непринужденной обстановке, слышим их голоса и невольно начинаем представлять их себе так, как нарисовал оратор. Но тут перед нами встает вопрос: насколько можно верить писаниям Цицерона? Не впадаем ли мы в роковую ошибку, относясь серьезно к его литературным портретам? Ведь, скажут мне, это всего лишь беллетристика: оратор просто вкладывает в уста Сципиону и Лелию свои мысли. Но это не совсем так. Во-первых, ведь и Платон вкладывал в уста Сократа свои мысли, он даже приписал ему свою утопию, между тем диалоги Платона безусловно создают образ Сократа. Для нас важно, что Цицерон знал о Сципионе и его кружке необыкновенно много, неизмеримо больше того, что знаем мы теперь; что он считал себя наследником Сципиона, как бы возрождал его кружок и полагал, что развивает идеи Публия Африканского и его друзей. Не будь Цицерона, имена Сцеволы, Рутилия и даже Лелия были бы для нас пустыми звуками, благодаря же Цицерону мы видим живых людей из плоти и крови.

Далее, если мы присмотримся к диалогам Цицерона, то заметим, что это интереснейшие и продуманнейшие произведения. Действие в них происходит не где-то вне времени и пространства. Они всегда приурочены к определенному году, даже месяцу. Диалог «О государстве» происходит зимой 129 года, после бурных столкновений Публия с триумвирами, на вилле самого Сципиона, куда он удалился на несколько дней, чтобы немного передохнуть перед решительной битвой. Действие диалога «О дружбе»

развертывается несколько месяцев спустя, уже после трагической гибели Сципиона. Герой диалога Лелий вспоминает события и разговоры, описанные в «Государстве», так, словно перед нами вторая глава той же книги, хотя Цицерон написал «Дружбу» почти через десять лет после «Государства». Замечательно, что в своих диалогах Цицерон строго придерживался некой исторической фикции. Содержание беседы, описанной в «Государстве», ему, как он пишет в предисловии, сообщил ее участник Рутилий. А известно, что Цицерон действительно был у Рутилия и записал множество его рассказов о Сципионе и Лелии. То же и в «Дружбе». Цицерон начинает с того, что рассказывает о своем обучении у старого Сцеволы, об их беседах, а потом вспоминает, как в то время весь Рим был поражен тем, что некий Сульпиций порвал с ближайшим другом. Естественно, Цицерон сразу заговорил об этом со своим старым учителем. А тот, как с ним частенько бывало, перенесся мыслями во дни своей юности и стал рассказывать, как он, Сцевола, тогда еще молодой человек, пришел к своему незабвенному тестю Гаю Лелию после смерти Сципиона и что сказал ему Лелий о дружбе. Сам Лелий умер через несколько месяцев, и в той беседе он словно подводил итог всей своей жизни. Сейчас, спустя много-много лет Цицерон, сам уже старик, вспомнил рассказ Сцеволы и решил изложить его в форме диалога. Все это Цицерон говорит так просто, так убедительно, так достоверно, что я никогда не могла побороть внутреннего убеждения, что оба разговора происходили на деле.

Ткань своего повествования Цицерон плетет с изумительным искусством. Он, безусловно, развивает собственные мысли и в то же время не пишет ничего такого, с чем не согласился бы сам Сципион или Лелий. В самом деле. Диалог «Государство» начинается с того, что Публий уехал на виллу, чтобы немного отдохнуть. Но ранним утром к нему приходит Туберон и немедленно заводит ученый разговор. Туберон спрашивает Публия, как он объясняет факт, что на небе видны два солнца. Сципион в ответ

вспоминает уроки астрономии, которые давали ему Панетий и Сульпиций Галл. В то же время он приводит слова Ксенофонта, согласно которому Сократ относился равнодушно к астрономии и все свое внимание устремлял на исследование души человеческой. Туберон возражает, что у Платона Сократ часто рассуждает о небесных телах. Сципион отвечает:

— Все это так. Но, я думаю, ты слышал, Туберон, что после смерти Сократа Платон для обучения поехал сперва в Египет, потом в Италию и в Сицилию, чтобы изучить открытия Пифагора, и там он беседовал много и с Архитом из Тарента, и с Тимеем Локрийцем и нашел записки Филолая, так как в то время в этих местах гремело имя Пифагора, и он общался с пифагорейцами и проникался этим учением. И так как он испытывал совершенно исключительное обожание к Сократу и хотел приписать ему решительно все, он соединил сократическую прелесть и изящество речи с таинственным учением Пифагора и его великими проникновениями в большинство наук (*De re publ.*, I, 14—16).

Замечательно, что все это в точности согласуется и с характером действующих лиц, и с обстоятельствами. Зимой 129 года на небе действительно видны были два солнца. Туберон был фанатичным поклонником Панетия, а потому буквально бредил астрономией. Приход в самую рань и немного неуместные вопросы — совершенно в его духе. Сам Сципион всю жизнь очень любил Ксенофонта. В высшей степени естественно, что он ссылается на его мнение о Сократе. Поэтому я намеренно привела столь большую цитату — она позволяет нам услышать как бы голос самого Публия.

Далее, в «Государстве» Платона, с которым полемизировал и которому подражал Цицерон, речь идет о справедливости. И наши герои заговаривают о справедливости. Но как это сделано! Друзья вспоминают, как много лет назад, во дни их юности, в Рим приехал Карнеад, знаменитейший философ-скептик, который все отрицал и все опровергал отточенными

доводами диалектики. Своим красноречием он покори́л римлян: молодежь толпой ходила за этим волшебником. И вот, чтобы показать силу своей философии, он один день со старанием доказывал, что существует справедливость, а на другой день с блеском опроверг ее существование. Это истощило терпение римлян старого поколения, и слишком красноречивый философ был изгнан из города.

Так вот, мы знаем, что Сципион и Лелий как раз были в числе тех самых молодых людей, которые ходили за Карнеадом (*Cic. De or., II, 154—155*). Его удаление было для них тяжким разочарованием. В то же время они прекрасно понимали, что изгнание Карнеада — вовсе не ответ на его искусные доводы. И вот у Цицерона они решают вновь оживить в памяти все его построения и постараться их опровергнуть. Они уговаривают Фурия Фила на время взять на себя роль Карнеада: повторить его мысли с еще большим числом примеров и отстаивать его мнение. И все это тоже так естественно, живо, так в духе Сципиона и его друзей, что можно поверить, что такой разговор и правда велся.

И, наконец, подобно Платону, Цицерон заканчивает свой диалог грандиозным видением, которое объясняет, кто такой человек и каково его место во вселенной. Но опять-таки, что это за видение! Это знаменитый «Сон Сципиона». И время, и место этого сна выбраны с удивительным искусством. И встреча с Масиниссой, и его рассказы, и само видение — все это настолько достоверно, что трудно отрешиться от мысли, что Публий и правда видел такой сон.

В диалоге «О дружбе» мы можем наблюдать не менее любопытное явление. Трактат представляет собой как бы длинный монолог Лелия. Причем рассуждения самого Цицерона искусно переплетены с подлинными словами Лелия и Сципиона. И что важнее всего, настроение, которым пронизан диалог, — то самое, которое сквозит во фрагментах речи Лелия на могиле друга, написанной как раз в то время, когда происходит диалог.

Иными словами, если перед нами и «историчес-

кий роман», то роман, написанный лучшим специалистом по той эпохе, человеком, всю жизнь прилежно изучавшим характер своих героев, а такой роман может стать надежным историческим источником. Цицерон помогает нам поближе присмотреться к нашим героям.

II

Двадцать пять лет отделяло нежного застенчивого юношу, который когда-то, краснея и смущаясь, заговорил с Полибием, от насмешливого и сурового цензора, заставлявшего трепетать римских всадников. На первый взгляд могло показаться, что у этих двух людей нет ничего общего, что тот нежный юноша умер навеки. Но это было заблуждением. Тот мальчик был жив, и его милые черты часто проглядывали в суровом лице цензора.

Он был все тем же щедрым, приветливым и дружелюбным человеком, что и прежде. И теперь это поражало всех еще больше, чем раньше. Некогда он был просто знатным юношей. Теперь это был знаменитейший человек в мире, за которым, задыхаясь, бежал владыка Египта и толпами ходили александрийцы, и вот этот-то человек был прост и мил со всяким, совершенно лишен заносчивости и высокомерия и никогда не ставил себя выше ни одного из гостей, как бы молод, безвестен и незнатен он ни был.

По-прежнему он поэтически любил природу, тосковал, когда долго не был на воле. «Я не раз слышал от своего тестя (то есть от Сцеволы Авгура, о котором только что шла речь. — *Т. Б.*)*, — рассказывает Красс Оратор у Цицерона, — что его тесть Лелий всегда почти уезжал в деревню вместе со Сципионом и что они невероятно ребячились, вырываясь из Рима, точно из тюрьмы. Я бы не осмелился говорить такие вещи про столь великих людей, но сам Сцевола любит рассказывать, как они под Кайетой и Лаврентом развлекались, собирая раковины и камушки, не стес-

* См. родословные таблицы.

нялись вволю отдыхать и забавляться» (*Cic. De Or., II, 22*). Для Сципиона не было большего наслаждения, чем бродить по лесам или по берегу моря, или ясным зимним днем посидеть с друзьями на освещенном солнцем лугу (*De re publ., II, 18*). Собаки, лошади и охота по-прежнему были предметом его самого горячего увлечения. Иногда с его уст срывались забавнейшие фразы, свидетельствующие об этой страсти. Так, в своей программной цензорской речи он говорит, что нечто — вероятно, добрые нравы — послужит Риму надежнейшим оплотом, как... Какое сравнение он выберет? Как броня, стена, крепость, щит? Ничего подобного. Как *строгий ошейник*, то есть ошейник с шипами, который собаки носят для защиты от волков (*ORF², Scipio minor, fr. 15*). Немало надо повозиться с собаками и ошейниками, чтобы применить столь неожиданный образ! В другой раз, говоря со своим другом, философом Панетием, о важности учения и философии, он сказал буквально следующее:

— Как обычно отдают объездчикам коней, которые неистово бушуют после частых боевых трудов, так и людей, необузданных и самоуверенных из-за счастливых обстоятельств, следует как бы ввести в круг разума и науки (*Cic. De off., I, 90*).

Целая картина из жизни лошадей!

И, как прежде, какая-то особенная пленительная черта Сципиона состояла в том, что он странным образом соединял любовь к самым умным, ученым занятиям и совершенно детским играм. Они с Лелием по-прежнему бегали вокруг стола и бросали друг в друга салфетки или играли в такие ребяческие игры, что Цицерон, как мы видели, рассказывает об этом с некоторым смущением. Зато Сципион ненавидел пышные парадные обеды, на которых ему было невыразимо скучно.

Когда я думаю о том, как Сципион проводил свой досуг в каком-нибудь прелестном уголке Кампании на берегу Неаполитанского залива, я вспоминаю, что он учился живописи и ваянию, причем учился у лучших наставников Греции. И я невольно представляю

себе, что ясным утром он сидел иногда над морем и рисовал волны и скалы. Кто знает? А может быть, он рисовал портреты приятелей и делал дружеские шаржи, так что он и его веселый кружок умирали от смеха.

Все считали его какой-то ходячей энциклопедией и задавали, не стесняясь, самые разные вопросы.

— Публий Африканский, почему на небе видно два солнца? — спрашивал Туберон, дни и ночи занимавшийся астрономией.

— Публий Африканский, правда ли, что царь Нума был учеником Пифагора? — спрашивал ученый юрист Манилий*

— Публий Африканский, расскажи о государственных системах, — просили другие**

И Сципион обстоятельно и терпеливо отвечал на все вопросы.

Но больше всего поражает в Сципионе даже не его феноменальная эрудиция, а удивительная способность сходитья со всяким. Как он смог завоевать сердца столь разных людей? Философы и воины, старики и юноши, греки и римляне, ученые люди и невежественные солдаты — все одинаково страстно тянулись к Сципиону. Это никак нельзя объяснить тем только, что он был благородным человеком. К сожалению, подчас бывает, что подобного рода люди отнюдь не вызывают у окружающих стремления приблизиться: в лучшем случае ими восторгаются издали, а иногда их высокие совершенства буквально подавляют знакомых. Во всяком случае так было со знаменитым Катонем Младшим, настоящим рыцарем без страха и упрека, чья мрачная суровость и высокая добродетель наводили некоторый ужас на римлян. Но со Сципионом все было иначе. Этот столь строгий человек притягивал людей как магнит. Именно *как магнит*. Это прекрасно показали после-

* Этот Манилий, неизменный теперь член кружка Сципиона, — тот самый незадачливый консул, которого наш герой столько раз спасал в Африке.

** Все примеры взяты из «Государства» Цицерона.

дующие события. В самом деле. Кружок состоял из очень умных, ученых людей. В течение многих лет эти люди привыкли собираться и обмениваться мыслями. Эти встречи стали для них насущной потребностью, вошли в плоть и кровь. Они очень любили друг друга. Но вот умер Сципион, и кружок распался. Это значит, что все эти люди тянулись к нему лично, именно он возбуждал у них стремление мыслить и рассуждать. Если мы приблизим к магниту кусочек железа, вскоре мы заметим, что он приобретет свойства магнита и, в свою очередь, начнет притягивать другие железные вещи. Мы можем составить целую цепь из железных предметов, которая будет свешиваться с магнита, причем каждое звено в этой цепи на время само становится магнитом. Но стоит нам убрать настоящий магнит, как цепь распадется и каждый кусок превратится в обычную железку. Так было и с кружком. Пока Сципион был жив, он заряжал всех членов кружка, и они влеклись друг к другу и привлекали новых членов. Но как только его не стало, все они превратились в ничем не связанных друг с другом людей. И все вспоминали о его характере с восхищением. Он был, «как я слышал от старших, в высшей степени кротким», — вспоминает Цицерон (*Mur.*, 66). «Что мне сказать о его чудесном характере, — говорит у Цицерона Лелий, — ...о его доброте к друзьям?» (*De amic.*, 3).

Круг друзей его все разрастался⁴⁴, возле него всегда было много молодежи. Люди могли быть любого происхождения — это было неважно, — важно было одно: они должны были любить науку и любить мыслить, иначе им нечего было делать в кружке. Там по-прежнему были неизменные Лелий и Фил. Лелий теперь был уже не беспечный, смешливый юноша, а отец семейства. Он приходил уже не один, а окруженный семьей. У него не было сына, но к тому времени он стал отцом двух прелестных дочерей. Цицерон, интересовавшийся всем, что было связано со Сципионом и Лелием, разумеется, не преминул узнать о них все, что возможно. Ему удалось познакомиться со старшей, женой Сцеволы. У нее в то время

уже были взрослые внуки, но она совершенно очаровала юного оратора, особенно когда она начинала говорить — он буквально ее заслушивался (*De or.*, III, 45; *Brut.*, 211). Обе Лелии получили самое изысканное образование и держались с исключительным светским тактом.

И вот Лелий часто приходил с дочерьми и двумя зятьями, уже известным нам Сцеволой и Гаем Фаннием. По римским понятиям тесть — это второй отец. Поэтому и Лелий любил зятьев как сыновей, и они всюду его сопровождали. Оба они пошли по его стопам и стали правоведами. Оба учились у философа Панетия, оба были очень образованными людьми. Но характером они были весьма несхожи: со Сцеволой мы уже знакомы. Его мягкость, по словам Цицерона, не уступала его учености (*Cic. Brut.*, 212). Что же касается Фанния, это был очень смелый воин, всегда имевший первые отличия за храбрость. Но человек он был молчаливый и угрюмый. Мягкому и веселому Лелию мрачная суровость зятя доставляла искренние муки. Он уговорил его стать учеником Панетия, надеясь, что науки смягчат его ум. Но после лекций Панетия он стал еще суровее и непреклоннее. Разумеется, Лелий был ровен и ласков с ними обоими, но все же Фанний не мог не заметить, что тестю больше по сердцу Сцевола. Этого Фанний никогда не мог простить Лелию (*Brut.*, 101—102). Фанний был, однако, отнюдь не лишен способностей: они «видны из его истории, написанной вовсе не бездарно: она не лишена изящества, хотя и далека от совершенства» (*Brut.*, 101)⁴⁵. Фанний глубоко восхищался Публием Африканским и, когда приходил к нему в гости, молча пожирал его глазами, стараясь не проронить ни единого слова. И все это он описал впоследствии в своей истории — увы! — до нас не дошедшей.

Но как ни скудны, как ни отрывочны наши сведения о кружке Сципиона, все же есть один писатель, причем писатель, наиболее близкий к самому Сци-

пиону, и труды его сохранились, хотя и не полностью, но в столь больших фрагментах, что мы можем представить и его самого, и самую эпоху. Писатель этот — знаменитый Полибий из Мегалополя, учитель и названный отец Публия Сципиона. Он постоянно появлялся на страницах этой книги — ведь он был спутником нашего героя и на войне, и во дни мира. О нем-то и пойдет сейчас наш рассказ.

III

Античная история пестрит темными пятнами. Иногда это происходит потому, что для нас безвозвратно потеряна литература того времени, иногда же — потому, что творившие тогда историки не могли дать сколько-нибудь ясной картины происходящего. Вот почему многие века погружены для нас если не во мрак, то в глубокий туман, из которого смутно вырисовываются отдельные фигуры. Мы можем еще разобрать, что они делают, но тщетно было бы пытаться разглядеть их лица. Зато одна эпоха освещена нестерпимо ярким светом: словно при вспышке ослепительной молнии мы видим все: людей, громадные площади, блестящие доспехи, выражение лиц, буквально каждый волосок. Этот свет внес в историю Полибий из Мегалополя. «Темнота до и после него представляет резкий контраст с периодом, когда его солнце прорезает тучи», — пишет современный исследователь эллинизма Тарн*.

Как же достигается такой изумительный эффект? Я бы объяснила это несколькими причинами.

Во-первых, Полибий сумел выделить и отобразить главные факты, отсеяв множество мельчайших деталей, ничтожных войн, анекдотов, в которых, как в болоте, тонут важные исторические события в трудах его современников. Во-вторых, факты эти он проверил, проверил с такой тщательностью, что, по сути дела, избавил последующих историков от кропотливой и мучительной работы. И наконец, он с логичес-

* Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 258.

кой ясностью обосновал причины и следствия событий.

Но как же удалось ему собрать такой колоссальный материал, как удалось описать жизнь народов от Испании до Египта, от Карфагена до Месопотамии, от Галлии до Малой Азии?

Сам он говорит, что тут есть два пути и, соответственно, два сорта историков. Первые поступают обычно так: они поселяются в городе с хорошей библиотекой, после чего им «остается только присесть и отыскивать, что нужно» (*ibid.*, XII, 27, 4—6). Такие историки поступают обычно как Тимей, который 50 лет безвыездно жил в Афинах и как будто нарочно, по выражению Полибия, не выезжал никуда из города, даже не удосужился осмотреть места тех битв, которые описывал, хотя порой они происходили тут же, в Аттике (XII, 28, 6). Это кабинетные ученые. Их Полибий сравнивает с врачами, которые начитались ученых книг, но ни разу даже в глаза не видели больных и тем не менее имеют наглость браться за их лечение (XII, 25, 2—7). Или еще красочнее: они похожи на художников, которые все свои картины срисовывают с набитых чучел (XII, 25, 23).

И Полибий вспоминает один эпизод из сочинения Тимея. Этот кабинетный исследователь, книжный червь и сухарь, вызывавший в Полибии величайшее, почти гадливое презрение, спрашивает, между прочим, для чего требуется больше таланта и трудов: для составления истории или хвалебной речи? Разумеется, Тимей защищает свою собственную науку и говорит, что сравнивать историю и хвалебную речь все равно что равнять настоящее здание с театральной декорацией. И тут Тимей распространяется, каких огромных трудов потребовал у него один сбор материалов о нравах лигуров, кельтов и иберов. Ничего подобного не испытывает составитель хвалебных речей. «Однако здесь можно было бы с превеликим удовольствием спросить историка, — иронически замечает Полибий, — что, по его мнению, дороже и хлопотливее: или сидя в городе... изучать... нравы лигуров и кельтов, или посетить очень многие

народы и наблюдать их на месте? Трудней ли собирать сведения о решительных сражениях и осадах... а также о морских битвах от участников или же самому в действительности испытать ужасы войны и сопутствующие ей беды?» И Полибий заключает, что разница между настоящим зданием и декорацией, между историей и хвалебной речью не так велика, как между историей, опирающейся на собственный опыт и написанной с чужих слов (*XII, 28a, 1—7*).

Уже по ироническому тону Полибия нам совершенно ясно, к какому сорту историков принадлежал он сам. Пусть читатель не поймет меня превратно — он вовсе не пренебрегал книжной мудростью. Широкое образование для историка он считал совершенно необходимым. Он почти наизусть знал сочинения предшественников, проверяя при этом с карандашом в руках каждое их слово (например, *XII, 25f, 5*). Мало того. Он утверждал, что историку нужно хорошо знать и астрономию, и геометрию, и многие другие науки. Он не просто читал, но внимательно изучал поэтов, особенно трагедии. Он знал музыку и науку о военном деле. Но он горячо настаивал, что одного книжного знания для историка мало — его писания становятся тогда скучными и холодными. Он должен все испытать сам. «Если историк пишет о государственных делах, читатель должен чувствовать, что автор сам знал в них толк, если о сражениях, он должен в них участвовать, если о частных отношениях, должен сам воспитывать детей и жить с женщиной» (*XII, 25b, 5*). Из этого следует, что историей должны заниматься государственные люди, но не мимоходом, не между делом, а отдав ей всю жизнь до последнего вздоха (*XII, 28, 1—4*).

Итак, его идеал не кабинетный ученый. А кто же? Ответ совершенно неожиданный. Героя своего Полибий нашел на страницах Гомера. Он обожал Гомера, видя в нем не только гениального поэта, но великого мыслителя и даже ученого. Но, может быть, более всего любил он Гомера за то, что тот вывел человека, перед которым Полибий преклонялся — Одиссея. Он не просто восхищался царем Итаки. Он был прямо-таки

влюблен в него. Одиссей — это его кумир, его воплощенный идеал. По словам Полибия, Одиссей — это настоящий ученый, сведущий и в астрономии, и в географии. Это образец государственного деятеля. И каждый историк должен стремиться быть похожим на Одиссея (*Polyb., IX, 16, 1; XII, 27, 9 — 28, 1*).

Ясно, что сам Полибий, бывший и историком, и государственным деятелем, старался подражать герою Гомера. Слабость его к царю Итаки, очевидно, была общеизвестна среди его многочисленных друзей и знакомых. И они в шутку, наверное, называли его Одиссеем. Об этом, между прочим, говорит один забавный эпизод. Сципион, как помнит читатель, попросил Катона за ахейских заложников, среди которых был и Полибий. После долгих споров сенат решил вернуть ахейцев на родину. Заседание уже окончилось, но Полибий, окрыленный успехом, подошел к Катону с новой просьбой. На это Катон с усмешкой отвечал, что Полибий, конечно, похож на Одиссея, но тот при всей своей дерзости все же не возвращался в пещеру циклопа за забытой шляпой и поясом. Хотя это означало в данном случае вежливый отказ, Полибий был так польщен сравнением, что не преминул рассказать об этом во всех подробностях в своем повествовании (*Polyb., XXXV, 6, 4*).

Но в чем же сходство между Полибием и Одиссеем? Начнем с того, что Гомер выводит нам своего героя *хитроумным*. Это именно хитроумие, а не коварство, поэтому хитрость его не вызывает отвращения, напротив, восхищает. Такая хитрость — это высшее проявление человеческого разума. Недаром Одиссей — любимец Афины, богини мудрости. Хитроумие Одиссея прежде всего заключается в том, что он все умеет: он своими руками строит плот и ведет его по бурному морю, определяя путь по звездам; он может пахать от зари до зари; он сам построил свой дворец; даже связывал вещи этот необыкновенный царь лучше всех. Он способен был найти выход из любого положения: запертый в пещере циклопа или нищим безоружным стариком против целого войска женихов, он побеждал благодаря одному только ра-

зуму. И второе. Одиссей умел подойти ко всякому. Он легко завоевывает симпатию и юной девушки Навсикаи, и царя и царицы феаков, и свинопаса Евмея, и не узнающей его царицы Пенелопы, и волшебницы Цирцеи, вообще всех, с кем встречается в своих долгих странствованиях.

Вот удивительно! Как почитают повсюду и любят
Этого мужа, в какой бы он край или город ни прибыл...

(*Одиссея*, X, 39—40)

Полибию также коварство было всегда отвратительно. Он вспоминает один эпизод из своего детства. Сын стратега, он часто совсем ребенком присутствовал при разговорах взрослых политиков. Они не обращали на него внимания и совершенно не стеснялись при нём. Однажды речь зашла о каком-то коварном поступке. Мальчик с изумлением услышал, что они говорят о нём с восхищением. Это его поразило. Оказывается, все эти честные и благородные люди, его наставники, искренне считали, что в политике коварство необходимо. Это так расстроило мальчика, что он запомнил этот случай на всю жизнь. Он всем сердцем, всей душой был против. «Не одобрял я это и после, когда сделался старше годами. По-моему, большая разница в поведении хитрого человека и коварного, ибо различаются коварство и ловкость. Тогда как одно из этих свойств представляет, можно сказать, величайшее достоинство, другое есть порок» (*Polyb.*, XXII, 14, 3—4). И он грустно замечает, что в его время люди верят, что коварство необходимо в государственной деятельности. Полибий, напротив, считает, что обман недопустим не только по отношению к союзнику, но даже к врагу (*Polyb.*, XIII, 3, 1—7). Но если коварство противно Полибию, ловкость и хитрость, напротив, неизменно восхищают его. А уж его самого действительно можно назвать хитроумным Одиссеем.

И прежде всего, подобно своему герою, он мог найти подход ко всякому, завоевать любое сердце. Его ярко характеризует совет, данный им Сципиону: не уходить с Форума домой, не заведя нового знаком-

ства. Я уже говорила, как удачно завязал он дружбу с сыновьями Эмилия Павла. Этого мало. Вскоре он перезнакомился чуть ли не со всеми римлянами и стал им просто необходим. Напомню один небольшой факт. Как только началась 3-я Пуническая война, консул Манилий срочно отправил в Пелопоннес к ахейцам письмо с просьбой отправить к нему Полибия, присутствия которого требуют государственные дела (*Polyb., XXXVII, 3, 1*). Позже, когда римляне заняли Грецию и судьба ее оказалась в руках десяти уполномоченных, Полибий совершенно неизвестными путями прорвался на заседание десяти, и вскоре уже мы видим его там влиятельнейшим лицом.

На родине Полибия любили все. После того как виднейших граждан забрали в Рим заложниками, из Эллады пришло посольство умолять, чтобы их отпустили домой. Особенно просили за Полибия (*Polyb., XXXII, 7, 14—17*). Даже иноземные цари знали этого мегалопольца. Владыка Египта просил ахейцев прислать ему его на время (*Polyb., XXIX, 25, 7*). Познакомился он и с врагами римлян — карфагенянами. От них он узнавал подробности Ганнибаловой войны. Он сошелся и со старым ливийским царем Масиниссой. Последнее для меня просто непостижимо. Как Полибий умудрился выпросить у Масиниссы все подробности его дружбы с Великим Сципионом и даже узнал, как зовут его четырехлетнего сына, когда они, казалось бы, и поговорить не имели времени? После смерти старого царя в римский лагерь прибыл его сын Гулусса, и Полибий мгновенно нашел с ним общий язык. От него он тоже узнал много любопытного.

Иногда просто диву даешься, откуда Полибий что-нибудь знает. Он, например, вкратце описывает тайные переговоры между македонским и пергамским царями. А затем поясняет: «Я был в большом затруднении, как поступить в этом деле: писать обстоятельно, со всеми подробностями о том, что было предметом тайных переговоров между царями, казалось мне чем-то предосудительным и явно ошибочным; с другой стороны, признаком крайней небрежности и

величайшей робости почитал бы я полное умолчание о таких предметах, от которых больше всего зависел ход настоящей войны и в которых находили себе вразумительное объяснение многие из последующих загадочных происшествий» (*Polyb., XXIX, 5, 1—3*). Невольно возникает вопрос, как же Полибию стали известны тайные переговоры между царями, о которых он даже через много лет после их смерти не решался писать подробно. «Дело в том, скромно замечает историк, — что я жил в то самое время, когда описываемые события совершались, и больше всякого другого вникал в их подробности» (*Polyb., XXIX, 5, 3*).

Как и Одиссей, Полибий никогда не знал покоя, его энергия буквально неистощима. Один эпизод из его жизни особенно ярко показывает, что это был за человек (163 г. до н. э.). Умер царь сильнейшего и богатейшего государства тогдашнего мира — Сирии — Антиох Эпифан. Ему наследовал подросток. Пользуясь этим, римляне проводили в Сирии свою политику. Они ослабляли, как могли, это когда-то непобедимое государство. Между тем в Риме в качестве заложника жил Деметрий, законный наследник престола Селевкидов. Но это был взрослый, энергичный человек. Отослать его в Сирию значило погубить все свои планы. Вот почему, когда Деметрий со слезами на глазах начал умолять сенаторов отпустить его домой, сенаторы, хоть и были тронуты, отказали ему. Деметрий пришел в отчаяние. Да тут еще в Сирии произошло убийство римского посла. Сирийские послы, пришедшие доказать, что правительство не принимало никакого участия в этом деле, и умолявшие римлян о снисхождении, были отосланы без ответа. Ясно, римляне не удовлетворены. Они что-то замышляют. Они могут воспользоваться обстоятельствами и объявить войну беззащитному царству или, вернее всего, под угрозой войны навязать ему новые, еще более тяжелые условия.

В этой обстановке Деметрий «тотчас же призвал к себе Полибия, не зная, что делать». Он спросил, не обратиться ли ему вновь к сенату. Невольно поражаешь-

ся, каким доверием пользовался Полибий у молодого царевича. Мегалополец немедленно дал Деметрию совет, в котором ярко проявился весь его деятельный предприимчивый характер. «Полибий советовал не спотыкаться дважды об один и тот же камень, полагаться в своих расчетах только на себя и принять решение, достойное царского сана: сами обстоятельства дают ему много указаний, как действовать». Деметрий понял, на что намекает Полибий, — он советовал ему бежать. Но план этот показался царевичу настолько опасным, что он не рискнул его принять. Он посоветовался с друзьями. Никто не дал ему подобного совета. Тогда он снова обратился к сенату и, как и следовало ожидать, получил тот же ответ.

«Пропев, таким образом, свою лебединую песню», по выражению Полибия, Деметрий снова призвал к себе мегалопольца. Он сказал, что согласен на его план. Предприятие это, надо прямо сказать, было отчаянным. Не могу в точности решить, что сделали бы римляне с Деметрием, если бы поймали его. Зато уж если бы попался его пособник Полибий, быть может, нам бы уж не пришлось прочесть «Всеобщую историю». Но Полибия трудно было чем-нибудь смутить.

Он выдумал для Деметрия хитроумнейший план побега и горячо взялся за его осуществление. Но прежде всего нужен был корабль. А где его взять? Ведь все корабли в гавани римские. Но Полибий нашел выход и из этого затруднения. Как раз в это время два египетских царя Птолемея поссорились между собой. Один из них прислал в Рим посла для оправдания перед римлянами. Тут же, конечно, оказалось, что этот египетский посол Менил — хороший друг Полибия. Он немедленно знакомит посла с Деметрием и добивается от друга обещания достать для побега корабль. Менил нанимает на свое имя карфагенский корабль, чтобы возвратиться к царю в Египет. В последнюю минуту он говорит капитану, что непредвиденные обстоятельства вынуждают его остаться, но вместо себя он пошлет к царю узнать его дальнейшие распоряжения одного юношу.

И вот наступила назначенная для побега ночь. Не-

ожиданно Полибий, душа всего предприятия, заболел настолько тяжело, что не мог подняться с постели. Но даже в таком состоянии он неослабно следил за ходом событий и руководил ими*. По заранее разработанному плану Деметрий отправил часть друзей в Анагнии, обещая встретиться с ними утром, часть — в Цирцеи с собаками, чтобы на другой день с ними поохотиться. Сам же он с немногими оставшимися приятелями давал в Риме ночью прощальный пир, отчасти для удовольствия, отчасти для отвода глаз. Полибий, прикованный к постели, неотступно следил за каждым шагом Деметрия. С ужасом видел он, что время идет, а юный царь, склонный к попойкам, и не думает кончать пира. Надо было как-то выманить Деметрия из-за стола. Но как? Напомнить ему о заговоре? Но ведь собутыльники Деметрия и не подозревали о нем. Написать записку? А вдруг Деметрий уже пьян и записка попадет в руки кому-нибудь из его приятелей? Что предпринять? Наконец Полибий решился. Он взял табличку, что-то в ней написал, запечатал, позвал верного раба и велел передать ее Деметрию через виночерпия, только не говоря от кого, а лишь настоятельно попросив прочесть немедленно.

И вот Деметрий вскрыл записку. Там оказался набор каких-то изречений из древних авторов типа: «Ночь благодетельна всем, особенно отважным»; «Решайся, дерзай, действуй, терпи неудачу, Евтих; все лучше, чем упадок духа»; «Трезвость и недоверчивость — основа рассудка». К счастью, Деметрий оказался еще достаточно трезвым. Он тут же понял, что все это значит и от кого записка. Под каким-то предлогом он встал из-за стола и вышел, переоделся в костюм египетского посла и поспешил на корабль.

На следующий день в Риме считали, что Деметрий в Цирцеях, то же думали и ждавшие его в Анагниях. Охотники же в Цирцеях считали, что он почему-то задержался в Риме. Только на пятый день римляне

* Не могу удержаться, чтобы не напомнить одну яркую деталь — тяжелобольной Полибий лежал в доме Сципиона и оттуда ткал интригу, которая должна была разрушить планы римлян в Сирии.

догадались, что Деметрий бежал. Но это уже не тревожило Полибия: по его расчетам, царевич уже пересек Сицилийский пролив. Прошло много лет со времени описанных событий. И Полибий, уже не страшась своих друзей римлян, без стеснения поведал о бегстве Деметрия (*Polyb., XXXI, 19—23*).

Этот случай показывает не только хитрость Полибия, не только его умение сойтись с каждым, но и отчаянную смелость, предприимчивость и необыкновенно деятельный характер. Этим он тоже чрезвычайно напоминает Одиссея, которого буквально несет на опасности. Но главное сходство Полибия с Одиссеем даже не в этом. Главная черта Одиссея — его жадная любознательность и любопытство. На мой взгляд, герой Гомера путешествовал десять лет вовсе не из-за козней судьбы, но из-за собственного неумного характера. Ему интересно узнать, как живут великаны-циклопы, страшная волшебница Цирцея, и он, невзирая на ужасный риск, пытается все сам посмотреть и разузнать. Эта черта его характера особенно восхищала Полибия.

С целью показать, каким должен быть государственный муж, он (то есть Гомер. — *Т. Б.*) следующими чертами изображает нам Одиссея:

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который
Долго скитался...

и ПОТОМ:

Многих людей, города посетил и обычаи видел,
Много духом страдал на морях...

(*Одиссея, I, 1—2; 3—4*)

Или:

Претерпел я немало
В битвах жестоких с врагом на волнах разъяренного моря.

(*Одиссея, VIII, 183*)

Мне кажется, достоинства истории предполагают в писателе те же свойства... (*Polyb., XII, 27, 9 — 28, 1—2*).

Как ни странно, почти так же характеризовали современники Полибия.

На площади (в Мегалополе. — *Т. Б.*), позади огоро-

женного места, посвященного Зевсу Ликийскому, на столбе стоит изображение человека, именно Полибия, сына Ликорты. Там начертаны строки, которые гласят, что он:

Странствовал по всем землям и морям (*Paus., VIII, 30, 4*).

Действительно, проще сказать, где Полибий не был, чем где он был. Он облазил всю Италию вдоль и поперек и перезнакомился со всеми итальяскими жителями; был в Малой Азии, в Понте, объехал все острова греческого мира, был в Египте. «Мы подвергались опасностям странствий по Ливии, Иберии и Галатии, также по морю, ограничивающему их с наружной стороны, главным образом для того, чтобы исправить ошибки наших предшественников в этой области и сделать известными эллинам и эти части земли» (*Polyb., III, 59, 7—9*). Он проследил весь путь Ганнибала, все местности были осмотрены им лично во время путешествия, «которое мы совершили через Альпы из любознательности и любопытства» (*Polyb., III, 48, 12*). Наконец, когда по приглашению Сципиона он приехал в Африку, он не только объездил все доступные ее части, но даже попросил у Сципиона флот и обогнул Африку до Зеленого Мыса, чтобы проверить мнение Эратосфена о южных землях. Что касается Эллады, то он знал ее как свои пять пальцев. Он не только представлял все города, городки, деревеньки — он знал все ворота, речушки, узкие горные тропочки и безо всякого труда замечал малейшие ошибки в географических сведениях других историков (*Polyb., XVI, 14, 16—17*).

Любознательность Полибия просто поражает. Его интересовало абсолютно все: законы и обычаи народов, их обряды и святилища, постановления и договоры, образ жизни, занятия, даже пища. Он даже описывает различные растения и животных. Но и этого мало. Он рассказывает нам, как поставлено рудное дело в Испании, как ловят рыбу в Средиземном море, чем отличается итальянский способ пасти свиней от греческого. Он нашел остатки ископаемых рыб к северу от Пиринеев и описал жилища из сло-

новых бивней в Ливии. Свято веря Гомеру и считая его величайшим ученым, он объездил Средиземное море и нашел все страны, по которым скитался Одиссей: и страну Лотофагов, и скалу Сциллы и Харибду.

О его наблюдательности и ненасытном любопытстве можно судить по следующему его замечанию. Он критикует историка Тимея. Тот утверждает, что Корсика изобилует дикими быками, козами, зайцами. Все это ложь — говорит Полибий. На всем острове нет ни дикой козы, ни зайца. Там водятся только кролики да лисицы. Тимей, вероятно, смотрел издали, вот почему кролики показались ему зайцами. Действительно, издали их можно спутать. Но когда поймаешь кролика, возьмешь в руки и как следует рассмотришь, сразу видно, как он отличается от зайца по внешнему виду и на вкус. А что касается коз и быков, то это стада домашних животных, которые пасутся без присмотра и не подпускают к себе посторонних, а за пастухом бегут, лишь только он заиграет на флейте. Вот почему при поверхностном знакомстве можно принять домашних животных за диких (*Polyb., XII, 3, 7 — 4, 1 — 4*). Это место всегда приводило меня в изумление. Я представляю себе Полибия, который обследует этот пустынный гористый островок с такой тщательностью, что даже замечает повадки тамошних коз и пастухов, ловит кроликов и сравнивает их с зайцами. В результате этот аркадец представлял себе Корсику лучше, чем Тимей, уроженец соседней Сицилии.

Полибий успевал буквально повсюду. При осаде Карфагена он ни на шаг не отставал от Сципиона, а это было, как помнит читатель, делом нелегким, так как тот быстро появлялся повсюду: на лестницах, у кораблей, у ворот, в битвах. Причем Полибий еще постоянно давал ему советы. Он ворвался в Карфаген с передовым отрядом, насчитывающим 30 солдат.

У Полибия все время работала фантазия. Он придумывал, как применять геометрию для измерения высоты стен, как использовать железные крючья или доски с гвоздями против врагов, наконец, изобрел

прекрасный способ телеграфирования огнем. Он написал книгу по тактике и «О местожительстве у экватора». У него был настолько неутомимый характер, что в те немногие часы, когда он не путешествовал, не воевал, он занимался охотой. По его собственному выражению, он был «страстный охотник» (XXXII, 15, 8). Что это была на сей раз охота не на зайцев и не на кроликов, можно заключить по тому, что про своего друга Сципиона, охотившегося вместе с ним, он рассказывает, что тот проявлял необычайное мужество (XXXII, 15). Видимо, это было небезопасное занятие!

Гомер постоянно называет своего героя твердым в испытаниях. Подобно Одиссею, Полибий был человек, твердый духом. К нему, как и к царю Итаки, прекрасно подходят слова великого Перикла: «Мы называем сильными тех людей, которые знают и радости жизни, и ужас жизни и которые не отступают перед опасностью» (*Thuc.*, II, 40, 3). Взгляды Полибия прекрасно выражает следующее его высказывание: «Признаюсь, и я считаю войну делом страшным, но нельзя же страшиться войны до такой степени, чтобы во избежание ее идти на всевозможные уступки. Зачем было бы нам всем восхвалять гражданское равенство, право открыто выражать свои мысли, если бы не было ничего лучше мира? Ведь мы не одобряем фивян... за то, что они уклонились от борьбы за Элладу и из трусости приняли сторону персов... Мир справедливый и почетный — прекраснейшее и плодотворнейшее состояние; но нет ничего постыднее и гибельнее, чем мир, купленный ценой позора и жалкой трусости» (IV, 31, 3—8).

Поражает в Полибии и еще одна черта, сближающая его с Одиссеем, — необыкновенная доброжелательность и готовность всем помочь. Он всегда считал, что разум велит нам «помогать каждому в беде, выдерживать опасности за других и отражать от них нападение сильнейших противников» (VI, 6, 8). Сам он спешил помочь всякому, а так как природа наделила его необыкновенной ловкостью, он оказывал окружающим тысячи услуг. В своих странствиях он

объехал все городки Италии, проверяя мнение Аристотеля и других ученых древности. Стоило потом хоть одному из этих городов попасть в беду, и Полибий делал все, чтобы выручить его. И города Италии удостаивали его знаками почета и дружбы (XII, 5, 1—3). Его прекрасно характеризует взрыв возмущения, который вызвало у него поведение Афин. Речь шла о маленьком городе Галиарте, который во время Македонской войны изменил римлянам и теперь был ими захвачен. Афиняне решили, что гуманность велит им заступиться за несчастных, и прислали посольство в Рим. Сначала послы завели разговор о жителях Галиарта. Нельзя ли их простить? Получив отказ, они тут же стали просить у римлян подарить им земли Галиарта. Сенат уважил их просьбу. Полибий рассказывает об этом с негодованием: «Их притязания на землю галиартян заслуживают осуждения. Вместо того, чтобы всеми средствами содействовать возрождению... города... постигнутого несчастьем, разрушать его до основания и тем отнимать у обездоленного народа последнюю надежду на лучшее будущее, очевидно, не подобало бы никому из эллинов, афинянам меньше всего» (XXX, 21, 1—8).

Сам Полибий поступал иначе. Как я уже говорила, узнав, что римляне заняли Элладу, Полибий помчался ее спасать. Насколько успешно он там действовал, мы можем судить из следующих известий:

«Все греческие города, какие входили в Ахейский союз, призвали к себе... Полибия устроителем государства и законодателем... На площади Мегалополя... стоит изображение человека, именно Полибия, сына Ликорты. Там начертано двустигише, которое гласит, что он «...был помощником римлян на войне и смирил их гнев против эллинов» (*Paus.*, VIII, 30, 4).

«На стене белого мрамора есть рельефные изображения... Мойры и Зевс... Геракл... На третьем рельефе изображены нимфы и Пан... четвертое изображение Полибия, сына Ликорты, а на нем следующая надпись: Эллада не пострадала бы вовсе, если бы следовала во всем указаниям Полибия, потом, когда ошибка была сделана, он один помог ей» (*ibid.*, VIII, 37, 1).

«У мантинейцев есть храм, в нем на столбе стоит изображение Полибия, сына Ликорты» (*ibid.*, VIII, 9, 1).

«В Палантии... есть святилище Кору и Деметры, а немного дальше стоит статуя Полибия» (*ibid.*, VII, 44, 5).

«В Тегее... подле святилища Эйлефии находится жертвенник Земли. Подле жертвенника стоит столб из белого мрамора, а на нем изображение Полибия, сына Ликорты» (*ibid.*, VIII, 48, 6).

Такую благоговейную и благодарную память оставил он в сердцах эллинов не потому, что был великим историком, а потому, что был человеком с великой душой.

IV

Вот такой-то человек, наделенный огромным умом, наблюдательностью и неистощимой энергией, объездив почти весь мир, кидаясь в самую гущу событий, опаленный пламенем горящего Карфагена и овеванный ледяными ветрами Альп, ценой невероятных усилий собрал наконец необходимый материал. Но исходя из какого принципа его отбирать? Как разобраться в этом море, в этом безбрежном обилии фактов? Рассказывать ли все не мудрствуя лукаво, как древние летописцы? Уделить основное внимание войнам или мирной жизни? Рассказывать ли о праздниках, религии и обрядах, как Геродот, или о дипломатии и военных операциях, как Фукидид? Много ли внимания уделять анализу государственных форм? И, наконец, стоит ли говорить об отдельных людях, об этих ничтожных былинках? Что значат эти крошечные существа, когда рушатся великие царства земные и гибнут целые народы? Ясно, что для отбора фактов мало обладать острым умом — надо иметь определенную историческую концепцию. Ибо один историк считает, что главное — это экономика, другой — государственные формы, третий — внутреннее духовное развитие народов. Что же считает главным Полибий?

Полибий формулирует свою цель так: он хочет понять, «когда и каким образом началось объедине-

ние и устройство всего мира, а равно и то, какими путями осуществилось это дело». «Весьма многие историки описывали отдельные войны и некоторые сопровождающие их события, — говорит он, — но, насколько мне известно, никто даже не пытался исследовать этот вопрос» (*Polyb., I, 4, 3—6*). Итак, Полибий хочет понять, как и почему прежде разрозненные народы и страны в его время объединились в единую империю под властью Рима и судьба всей вселенной вдруг сплелась в одно неразрывное целое. Вот почему он считает необходимым перейти к *всеобщей* истории, ибо «этого нельзя постигнуть из отдельных историй» (*ibid., I, 4, 6*). Как из описания отдельных городов, говорит он, не составить картины земли в целом, так из отдельных историй не поймешь плана истории. Или еще неожиданнее, красивее и возвышеннее: он сравнивает отдельные истории с разбросанными частями некогда живого и прекрасного существа. Но тщетно, глядя на эти останки, люди пытаются себе представить это существо. «Если бы вдруг сложить эти члены воедино и, восстановивши целое существо с присущей ему при жизни формой и прелестью, показать снова тем же самым людям, то, я думаю, все они вскоре убедились бы, что раньше были слишком далеки от истины и находились как бы во власти сновидения» (*ibid., I, 4, 7—8*).

Таким образом, для Полибия история — как бы живое и полное прелести существо, которым можно любоваться, если увидеть его в целом. Что же в этом существе столь прекрасного? Замысел. Общий план, который является как бы душой всего целого. И, поняв его, можно, по выражению самого Полибия, «насладиться историей». «Особенность нашей истории и достойная удивления особенность нашего времени состоит в следующем: *почти все события мира судьба насильственно направила в одну сторону и подчинила их одной и той же цели**» (*ibid., I, 4, 1*). Теперь ясен принцип отбора материала — автор должен выбирать те события, которые ведут к этой цели, и от-

* Курсив в этой главе везде мой. — Т. Б.

брасывать мелкий попутный сор, который только отвлекает и сбивает с пути. «Нам подобает представить читателям в едином обозрении *те пути, какими судьба осуществила великое дело*» (*ibid.*). Это великое дело — «прекраснейшее и вместе благотворнейшее деяние судьбы» — подчинение всего мира власти римлян (I, 4, 4). «Антиохова война зарождается из Филипповой, Филиппова из Ганнибаловой, Ганнибалова из Сицилийской* промежуточные события при всей многочисленности их и разнообразии ведут к одной и той же цели» (III, 32, 7). Вот почему о своих сорока книгах он говорит, что они «как бы сотканы на одной основе» (III, 32, 2).

Однако для того чтобы понять общий замысел истории, нужно не просто описывать событие, но найти его место в целом, то есть объяснить его причины и выяснить последствия. И действительно. Полибий уделяет этому сугубое внимание. «Если изъять из истории объяснение того, почему, каким образом, ради чего совершено что-либо... то от нее останется одна забава... такая история окажется совершенно бесполезной» (III, 31, 12—13). «Даже и тогда, когда невозможно или трудно найти причину, следует старательно искать ее» (XXXVII, 9, 12). Эту мысль Полибий повторяет постоянно и настойчиво. И так же постоянно и настойчиво он разъясняет все события и факты. Его объяснения поражают продуманностью, четкостью и ясностью. Но в таком случае читатель вправе сразу спросить, в чем же причина главного события, того, которое он считает прекраснейшим, — почему судьбы человечества слились в одно целое? Однако, к нашему великому изумлению, именно это главное событие остается неразъясненным. В поисках ответа мы вспоминаем слова историка о том, что судьба *насильственно* направила все события к одной цели. Судьба то и дело упоминается на страни-

* Филиппова война — 2-я Македонская (200—197), Ганнибалова — 2-я Пуническая (218—201), Антиохова — война с государством Селевкидов (192—190), Сицилийская война — 1-я Пуническая (268—241).

цах его истории. Она подобна искусному устройте-лю состязаний (I, 58, 1), она придала новый вид все-му миру (IV, 2, 2), она даровала римлянам мировое владычество (XXI, 16, 8; XXX, 6, 6), она карает за неправду и награждает за доблесть. Видимо, в ней-то и следует видеть причину великого мирового преобразования, о котором повествует Полибий. Кто же в таком случае она, эта великая Судьба?

Конечно, мы сразу же думаем, что перед нами понятие религиозное. Что-то вроде могучего Бога Библии, для которого народы и цари не более чем орудия для достижения Его великих целей. Не есть ли римляне орудие Божие или Его избранный народ? Быть может, нам следует представить эту Судьбу в виде эллинистической богини Тюхе в короне из городских зубцов, с милостивой улыбкой на устах? Или это какая-нибудь безликая стоическая Проноя? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего исследовать религиозные чувства автора.

У Полибия был очень определенный взгляд на религию. Он разделяет всех людей на мудрецов и толпу. Если бы все государство состояло из мудрецов, говорит он, в религии не было бы никакой нужды. Но поскольку есть еще толпа, мудрецы-законодатели придумали религию, дабы она служила уздой для черни, и пугали ее рассказами о богах и преисподней. Религиозность римлян казалась бы нелепой, говорит он, если бы не одно обстоятельство — римляне имели в виду толпу (VI, 56, 10—12).

Будучи человеком умным и последовательным, Полибий вовсе не пытается искоренить религию в сознании людей. Более того. Он считает ее очень полезной и относится к ней с определенным уважением, хотя религиозность и богобоязненность в человеке кажутся ему несомненным признаком того, что он принадлежит к глупцам и невеждам (VI, 56, 7). Человек, который, оказавшись в беде, вместо того чтобы действовать, обращается к богам, «простирается с слезными мольбами перед столами и жертвенниками, с женским малодушием склоняется на колени», вызывает у него глубочайшее презрение (XXXII, 27,

7). Полибий решительно утверждает, что не к чему в затруднительных случаях обращаться к богам. «Если бы кто посоветовал нам обратиться к богам с вопросом, какие речи или действия могут сделать город наш многолюднее и счастливее, разве подобный советчик не показался бы нам глупцом... Лучше всего нам самим исправить собственные наклонности, так что в гадалелях и чудесных знамениях здесь нет нужды» (XXXII, 9, 6—11).

Однако, повторяю, он вовсе не вел с религией войну. Но как ученый он последовательно и беспощадно изгонял ее из *своей* науки. «Те люди, которые по природной ли ограниченности, или по невежеству, или, наконец, по легкомыслию не в силах постигнуть в каком-либо событии всех случайностей, причин и отношений, почитают богов и *судьбу* виновниками того, что достигнуто проницательностью, расчетом и предусмотрительностью» (X, 5, 8). Итак, только глупцы, невежды или, на худой конец, люди легкомысленные могут объяснять события с помощью судьбы. Во всех конкретных случаях он упорно спорит с предшественниками, изгоняя судьбу и богов из всех возможных лазеек, в которых они могли бы укрыться. «Необходимо изобличать и осмеивать привнесение в историю сновидений и чудес», — говорит он (XII, 126, 1). Сообщая о чудесах в храмах различных богов, Полибий восклицает: «Во всем сочинении я решительно и с негодованием восстаю против такого рода сообщений историков» (XVI, 12, 5). С невероятным презрением и отвращением говорит Полибий об историках, которые, «будучи не в состоянии привести свое повествование к развязке, вводят богов и божеских сыновей в рассказ о действительных событиях» (III, 47, 8). (Интересно противопоставление: боги и божеские сыновья и действительные события.) Настойчиво и упорно старается он опровергнуть мнение о боговдохновенности Сципиона Старшего.

Лишь однажды Полибий делает некоторую уступку общественному мнению и объясняет, когда можно все-таки привлекать сверхъестественные, сто-

ящие над человеком силы для объяснения событий. «Действительно, в тех затруднительных случаях, когда *по слабости человеческой* нельзя или трудно распознать причины, можно отнести их к божеству или судьбе: например, продолжительные, необычайно обильные ливни и дожди, с другой стороны, жара или холод, вследствие их — бесплодие, точно так же продолжительная чума и другие подобные бедствия, причину которых нелегко отыскать. Вот почему в такого рода затруднительных случаях мы не без основания примыкаем к верованиям народа» (XXXVII, 9, 1—4).

Довольно ясно, что имеет в виду Полибий. Он готов приписать богам нечто необъяснимое, а главное, совершенно не касающееся его как историка — засуху, мор и т. д. Более того. Из всего этого рассуждения как будто следует, что религия еще существует «по слабости человеческой», потому что наш разум еще не проник в причины некоторых явлений. Верно, что люди не знают причину засухи. Но они не знали раньше и причину затмений. Не станем же мы приписывать затмение божеству? Вывод из этих рассуждений таким образом все тот же: если бы общество состояло из мудрецов, разум которых мог бы проникнуть в причину всех явлений, религия была бы не нужна.

Со взглядами Полибия можно соглашаться или не соглашаться. Но одно несомненно: все, что он говорит, тщательно продумано и строго логично. Совершенно невозможно, чтобы такой человек, как Полибий, в одном месте утверждал, что Судьбы нет, а в другом ей одной приписывал ответ на главный вопрос своего сочинения. Что же тогда значит эта Судьба? Судьба, так сказать, с большой буквы?

Меня долго тревожил этот вопрос. Постепенно я стала понимать, что Судьба Полибия нечто вроде Природы для биолога-материалиста. Прочтя фразы вроде: «Природа мудро предусмотрела», «Природа дала животным средства для выживания» и даже «Природа создала все живое» — мы могли бы подумать, что написал это какой-нибудь древний стоик

или пантеист, а между тем автор этих строк не просто атеист, а атеист воинствующий, который не только не обожествляет природу, но даже не считает ее живым существом. Очевидно, природа для него — это совокупность каких-то законов, известных или неизвестных, которые и господствуют в биологическом мире. Слово «Природа», при всей его неясности, для него, однако, предпочтительнее слова «Бог», которое уже предполагает некоторую религиозную концепцию.

Точным аналогом такой «Природы» представляется мне Судьба Полибия, являющаяся тоже совокупностью таких сил и законов истории, которых мы не знаем. Это те могучие подводные течения, которые то заставляют народы бросать мирную жизнь и устраивать революции, то соединяют человечество воедино, то дробят его на мелкие части. Они так же мало доступны нашему пониманию, как процессы, образующие галактики или вызывающие мировые катаклизмы. Полибий это прекрасно понимал. Но он ощущал эти процессы, он приобщался к ним, как поэт к звукам вселенной, и в этом его гениальность. Вот почему, хотя он постоянно настаивает на необходимости всегда объяснять причину событий, говоря, что без этого для него история уже не история, а развлекательное чтение, он в то же время, как тонкий ученый, понимает, что есть события, которых никто из нас объяснить не может. Так, он не объясняет, почему же в его время судьбы всех народов слились воедино. Он может только констатировать этот факт. Зато он может объяснить, почему именно римляне объединили человечество. Поэтому можно сказать, что в его истории как бы два плана — космический, с неведомыми законами, и земной, где пытливый ум может попытаться объяснить все.

Итак, не боги творцы истории. Но кто же? Кто герои его повествования? Это народы. Вот почему, хотя сам он очень резко возражал против сравнения историка и драматурга, его история всегда чем-то напоминала мне великую трагедию Эсхила. В ней есть цепь роковых случайностей — Судьба и герои. Из

взаимоотношений этих героев с Судьбой и рождаются события. Народы и племена у него — это как бы живые люди с ярким характером и стремлениями. Дерзкие и наглые этоляне, осторожные и степенные ахейцы — все это настоящие народные личности. Они бывают наказаны за преступления и вознаграждаются за добрые дела. Полибий прямо пишет об этом: «Как в жизни мы стараемся оценить разных людей и их характер, так же в истории надлежит оценивать государства и народы» (VI, 1, 5—6). «Следует изложить стремления и наклонности, преобладающие и господствующие у отдельных народов в частной жизни и делах общегосударственных» (III, 4, 6). История, по его словам, должна показывать «подлинные чувства и мысли каждого народа» (III, 31, 8). У Полибия встречаются такие выражения: акарняне, *как всякий честный человек*, ставят долг превыше всего (IV, 30, 4); «Отмечая в нашем сочинении похвалой отдельных доблестных людей, мы обязаны таким же образом чествовать доброй памятью целые государства, если обыкновенно они действуют честно» (XVI, 22a, 6).

Но чем же определяется характер народов? У отдельного человека характер складывается из природных задатков, воспитания и обстоятельств. У народов роль природных задатков играют географические данные. «Природные свойства всех народов неизменно складываются в зависимости от климата. По этой, а не по какой-нибудь другой причине народы представляют столь резкие отличия в характере, строении тела и в цвете кожи, а также в большинстве занятий» (IV, 21, 1—3).

Но нельзя все сводить к климату. Огромную роль играет воспитание. Достаточно вспомнить, что весь характер лакедемонян сложился под влиянием законодательства Ликурга. А вот и еще более разительный пример. Все аркадцы — соотечественники автора — пользуются у эллинов прекрасной славой за свой гостеприимный, доброжелательный и благочестивый нрав. Одни кинефяне злы и дики. Почему же так случилось? Дело, оказывается, в том, что аркадцы

живут в местности с необузданно-суровой природой. Их характер должен был быть грубым, диким и жестоким. Но мудрые законодатели подумали об этом. Они ввели обучение музыке с самого раннего детства. «Занятие музыкой, — объясняет Полибий, — полезно всем людям, а аркадцам оно необходимо», так что аркадец может заявить себя невеждой в любом другом предмете, но незнание музыки для него позорно. А кинефяне этим пренебрегли и, по выражению Полибия, совершенно одичали. Такова благотворная роль воспитания (IV, 20—21, 1—7)*

И конечно, важен государственный строй. Связь тут, так сказать, двусторонняя. Основа государства — обычаи и законы. От них все и зависит. «Если, таким образом, у какого-нибудь народа мы наблюдаем добрые обычаи и законы, мы смело можем утверждать, что хорошими здесь окажутся и люди, и общественное устройство их. Точно так же, если мы в частной жизни людей видели любостыжание, а в государственных делах неправду, очевидно, можно с большой вероятностью предположить, что и законы их, и нравы частных лиц, и весь государственный строй негодны» (VI, 47, 2—5). Вот почему историк просто не может понять, как это Платон и многие другие называют самым лучшим государственным строем критский, хотя критяне самый коварный в частной жизни народ и самый несправедливый в общественных делах (VI, 47, 5). Пытаясь понять характер римлян, Полибий исследует их древнейшую историю, религию и, наконец, самым подробным образом, государственный строй.

Итак, народы — действующие лица истории. Но есть еще люди. С ними связана одна удивительная особенность сочинения Полибия. Я недавно сравнила его с молнией, с прожектором. Но еще оно напоминает мне окно: широкое окно в прошлое. Мимо него проходят сотни людей, мы видим их и, затаив

* Интересно, что все это сообщено Полибием для того, чтобы народы не пренебрегали музыкой; и сами кинефяне ввели у себя музыкальное воспитание, чтобы избавиться от одичания (IV, 21, 11).

дыхание, ловим их разговоры. Иногда мы видим целую битву, иногда ужасную сцену народного восстания в Александрии, когда при неверном свете колеблющихся факелов остервенелая толпа разрывает в клочья ненавистного временщика и его семью. А вот двое людей по дороге на Форум остановились перед нами, и мы слышим весь их разговор до последнего слова, можем даже наблюдать выражение их лиц. В свое время Мериме говорил, что отдал бы всего Фукидида за мемуары Аспасии или раба Перикла. Фраза эта вовсе не так пошла, как кажется на первый взгляд. Мериме — писатель, и он хочет представить людей прошлого: как они держались, как говорили друг с другом, вообще, как жили. Но он не находит всего этого у Фукидида. Вместо того он читает очень точный, доскональный отчет о Пелопоннесских войнах, а когда, наконец, герои открывают рот и начинают говорить, он слышит лишь очень логичные, очень искусно составленные, очень холодные риторические речи, написанные самим Фукидидом.

Совсем другое Полибий. Не думаю, чтобы его можно было променять на чьи бы то ни было записки. И это вовсе не потому, что он сообщает сплетни или пикантные анекдоты о политических деятелях, как делал, например, его предшественник Тимей. Напротив, он считает, что такой способ действия недостойн настоящего историка. Он поступает иначе. В ткань своей истории он с необыкновенным искусством вплетает фрагменты мемуаров. Читатель, быть может, помнит, с какими подробностями описывает он свой разговор со Сципионом, в то время восемнадцатилетним мальчиком. Он не только записал каждое его слово, но и каждый жест, сообщил, когда его юный собеседник покраснел, с какой интонацией произнес те или иные слова. И вот перед нами, как живой, встает образ этого нежного поэтического юноши. Когда Полибий повествует о Сципионе Старшем, которого никогда не видел, он пользуется записанными им рассказами его лучшего друга Лелия. И тоже так красочно, в таких подробностях ри-

сует каждое слово, каждый жест, что нам кажется, что будто мы его видим и слышим.

Это удивительный мастер портрета. Люди не просто ярко очерчены у него, нет — они живут на его страницах. Даже более, чем у Плутарха. Я не хочу этим сказать, что Плутарх хуже владеет пером, о нет. Тут другое. У Плутарха мы видим некий величественный и монолитный образ, будь то Перикл или Фемистокл. Эти люди, словно отлитые из золота статуи, великолепны и закончены. Они действительно напоминают изумительные создания Фидия или Поликлета, с лицами совершенными и спокойно прекрасными. Рядом с ними портреты Полибия выглядят странно. Я воспользуюсь для пояснения сравнением самого Полибия. Он говорит в одном месте, что утопический проект идеального государства нельзя сравнивать с государством реальным. Ибо это подобно тому, как «если бы кто-нибудь выставил одну из своих статуй и сравнивал ее с живыми, одушевленными людьми» (VI, 47, 9). Характерно, что у Плутарха, например, люди не развиваются и не меняются. Они прямо вступают на его страницы в полном расцвете. Недаром он не очень любит говорить о детских годах своего героя. Иное Полибий. Люди живут у него в истории, они взрослеют, стареют, меняются. Сципиона Младшего мы видим впервые нежным робким юношей, постепенно он превращается в сурового и властного воина. Филипп Македонский вначале — очаровательный, прекрасный молодой человек, «любимец Эллады». А со временем он превращается в подозрительного кровожадного деспота. Но в самом падении он отнюдь не утратил привлекательности. Смелый, находчивый, дерзкий, остроумный, он подобен злодеям Шекспира, глядя на которых не знаешь, ужасаться или восхищаться.

Есть еще один прием, благодаря которому люди оживают на страницах «Истории» Полибия. Он намеренно отказывается от всех риторических речей, которые так любили древние, начиная с Фукидида. Живя в обществе демократическом, они привыкли слышать в совете и народном собрании речи, в кото-

рых каждый оратор со всей возможной убедительностью стремился обосновать свою точку зрения. Постепенно читателям уже легче стало понимать дело, если изложить его в форме спора двух оппонентов. Не только у историков, но и у поэтов мы видим тот же прием! Овидий наполняет такими речами свои поэмы. Что уж говорить об историках! У Ливия, можно сказать, все повествование состоит из речей. При этом эпоха и характер действующего лица для него безразличны. Римляне времен Ромула говорят не хуже блестящих риторов эпохи Августа. Одинаковые речи произносят Аппий Клавдий Слепой и другие бородатые консулы и современники Сципиона Младшего.

Это было общим местом. Один Полибий сознательно отказался от этого приема. Многие читатели с недоумением спрашивали его, почему он так поступает. Историк пишет: «Наверно, кое-кто задает себе вопрос, почему при изложении предмета столь важного... мы не пользуемся случаем и не сообщаем ради вящей занимательности обоюдосторонних речей... Для меня самого не было бы ничего легче, как изукрасить рассказ таким образом. Однако я полагаю, что... историку не подобает наскучивать читателя и выставлять напоказ собственное искусство, но довольствоваться точными по возможности сообщениями того, что было действительно произнесено» (*Polyb., XXXVI, 1*). Это совершенно уникальное явление. Так не поступал никто ни до, ни после. Например, во времена Ливия сохранились подлинные речи Катона. Но историк и не подумал привести их в своем рассказе: вместо того он украсил свое повествование изящными риторическими речами, которые *мог бы* произнести Катон. Этот обычный прием невыносимо раздражал Полибия и вызывал у него ряд ядовитых сарказмов. Так, об одном историке он довольно язвительно замечает: «Он сообщает не то, что было сказано... вместо этого он предварительно решает, что должно быть сказано, а затем все произнесенные речи... дает в таком виде, как будто сочинил их в школе в ответ на заданные вопросы» (*XII, 25a, 5*). Мне

хотелось бы проиллюстрировать это положение Полибия и показать, в чем разница между нашим историком и другими античными авторами. Я приведу всего один пример. Это один и тот же эпизод, рассказанный римским историком Ливием и Полибием. Молодой римский военачальник Сципион Старший взял испанский город Новый Карфаген. В городе он нашел множество заложников, жен и детей испанских владык, которых карфагеняне держали в крепости, чтобы обеспечить верность иберов. Необыкновенное сходство обоих отрывков объясняется тем, что Ливий в данном случае довольно точно следовал Полибию, но решил придать его сухому рассказу блеск и занимательность. Вот текст Полибия.

«Публий приказал позвать заложников всего 300 с лишним. Детей он подзывал к себе по одному, ласкал и просил ничего не опасаться, так как, говорил он, через несколько дней они увидят своих родителей. Что же касается остальных, то всем он предлагал успокоиться и написать родным прежде всего о том, что они живы и благополучны... В числе пленных женщин находилась и супруга Мандония (одного из испанских царьков. — Т. Б.)... Когда она упала к ногам Публия и со слезами просила поступать с ними милостивее, чем поступали карфагеняне, он был растроган этой просьбой и спросил, что им нужно. Просящая была женщина пожилая и на вид знатного происхождения. Она не отвечала ни слова. Тогда Публий позвал людей, на которых был возложен уход за женщинами. Те... заявили, что доставляют женщинам все нужное в изобилии. Просящая снова, как и прежде, коснулась колена Публия и повторила те же слова. Недоумение Публия возросло, и он, решивши, что досмотрщики не исполняли своих обязанностей и теперь показали ложно, просил их успокоиться. Для ухода за ними он назначил других людей... Тогда просящая, после некоторого молчания, сказала:

— Неправильно, военачальник, понял ты нашу речь, если думаешь, что просьба наша касается еды.

Теперь Публий угадал мысли женщины и не мог

удержаться от слез при виде юных дочерей Андобалы и многих других владык, потому что женщина в немногих словах дала почувствовать их тяжелую долю. Очевидно, Публий понял сказанное; он взял женщину за правую руку и просил ее и прочих женщин успокоиться, обещая заботиться о них, как о родных сестрах и дочерях» (X, 18, 3—15).

А вот рассказ Ливия.

«Сципион призвал к себе заложников, прежде всего ободрил их всех, так как они перешли под власть римского народа, который предпочитает привязывать к себе людей не столько страхом, сколько благодеяниями и вступать с иноземными народами во внушающий доверие союз, чем придавать их плачевному рабству. Затем, выслушав названия их родных городов, он исчислил, в каком количестве и к какой народности принадлежат пленники, и отправил на их родину послов, чтобы община прислала за своими... В это время из толпы заложников с плачем бросилась к ногам главнокомандующего... супруга Мандония... и начала умолять его, чтобы он наказал стражам старательнее относиться к заботам и уходу за женщинами. Когда же Сципион заявил, что наверно они ни в чем не будут нуждаться, тогда женщина заговорила снова:

— Невысоко мы это ценим, ибо чего не достаточно для нас в нашем положении! Но меня беспокоит забота о другом, когда я думаю о возрасте этих вот женщин, так как сама я нахожусь вне опасности подвергнуться оскорблению женской чести...

Тогда Сципион возразил на это:

— Уже ради военной дисциплины народа римского, соблюдаемой мной, я не допустил бы оскорблять у нас ничего, считающегося где-либо священным. Теперь же заставляет меня еще тщательнее заботиться об этом ваша добродетель и достоинство, так как вы даже среди несчастий не забыли о своей женской чести» (XXVI, 49).

Мне кажется, сразу бросается в глаза разница между этими двумя рассказами. У Полибия мы видим человека юного, с мягким сердцем, легко доступного

жалости и состраданию. Он утешает и успокаивает насмерть перепуганных людей, ласкает детей и, чтобы их утешить, дарит им подарки. У Ливия перед нами холодный и спокойный римский военачальник, который в первую очередь произносит перед пленниками речь, в которой в официальных выражениях доказывает преимущества римской политики, а потом погружается в необходимые вычисления. Далее к ногам военачальника падает пожилая женщина. У Полибия Сципион сразу растроган, хотя не знает еще, в чем просьба. Он мягко и ласково пытается узнать, что ей нужно. Он тратит на это, очевидно, несколько часов — призывает стражей, расспрашивает, потом назначает новых, дает им указания и т. д. Особенно трогательно у Полибия, что женщина так и не решается прямо сказать Публию, о чем она молит. Она заставляет его догадаться, и Сципион, поняв, в чем дело, не может не заплакать. У Ливия героини не плачут. Женщина сразу безо всякого стеснения, напрямик излагает молодому полководцу свою просьбу. И уж, конечно, не плачет Сципион. Как хороший военачальник, он прежде всего озабочен не жалостью, он думает о дисциплине — ему надо следить, чтобы его воины не распустились, а затем в холодных выражениях хвалит женщин за целомудрие.

Таким образом, в рассказе Ливия мы видим хорошего, но безликого военачальника. Роль Сципиона мог бы с успехом сыграть и Марцелл, и Фабий Максим. Зато на страницах Полибия перед нами оживает неповторимый, обаятельный образ Публия Сципиона.

И еще одна довольно забавная деталь. Сципион разговаривал с испанскими женщинами и детьми, едва понимавшими тот упрощенный греческий язык, на котором он к ним обращался. Поэтому у Полибия он все время повторяет короткую фразу: «Успокойтесь!» У Ливия же он произносит перед ними длиннейшие речи о римском народе, целомудрии и добродетели, становясь в позу школьного ритора и совершенно не соображая, что находится в дикой стране, а слушатели его — перепуганные женщины и

дети, не понимающие всех этих возвышенных предметов. Точно так же он заставляет Сципиона произносить напыщенную речь о воздержании перед Массиниссой, который, вероятно, даже не знал, что это такое. Ничего подобного у Полибия нет.

Все это, конечно, придает рассказу Полибия необыкновенную живость. Но, с другой стороны, нет ли тут внутреннего противоречия? Раз в истории действуют неясные законы и народы, то какое отношение к ней имеет отдельный человек? Но, оказывается, огромное. «Такова, кажется, сила существа человеческого, что бывает достаточно одного добродетельного или порочного для того, чтобы низвести величайшие блага или накликать величайшие беды не только на войска и города, но на союзы городов, на обширнейшие части мира» (XXXII, 19, 2). «Такова чудесная сила одного человека, одного дарования!» — в восхищении восклицает он (VIII, 9, 7). Эти последние слова сказаны об Архимеде. Он говорит о том, что римляне могли бы легко взять Сиракузы, «если бы кто изъясил из среды сиракузян одного старца» (VIII, 9, 8). И конечно, Полибий понимал, что если один человек мог отстоять силой своего гения город от целого вооруженного до зубов войска, если он мог одним движением спустить на воду огромный корабль, который не способна была сдвинуть с места целая толпа, если он чуть ли не заставлял летать по воздуху вражеские корабли, то можно ли удивляться, что один полководец или один государственный человек может повернуть историю? Один человек, по словам Полибия, может сокрушить целые полчища, может возродить падшее государство (I, 35, 56). Если причины победы римлян над карфагенянами Полибий видит в римском строе и характере, то причина всех успехов карфагенян и самой 2-й Пунической войны в Ганнибале. «Единственным виновником, душой всего, что претерпевали и испытали обе стороны, римляне и карфагеняне, я почитаю Ганнибала. ...Столь велика и изумительна сила одного человека, одного ума» (IX, 22, 1—6).

Вот почему рассказ о людях занимает столь большое место в его сочинении. Он даже с насмешливым недоумением спрашивает, почему другие историки столько места уделяют повествованию об основании городов, их природных условиях, богатстве и не говорят ничего о людях, которые и составляют главный предмет истории (X, 21, 2—5).

Итак, в «Истории» Полибия перед нами проходит целая галерея портретов. Однако не следует забывать одного, может быть, самого яркого — портрета самого автора. На всем, что он говорит, лежит яркий отпечаток индивидуальности. Из сочинений Геродота или Фукидида мы можем попытаться воссоздать отдельные черты их автора. Но на страницах Полибиевой «Истории» он встает перед нами, как живой. Он столь же важный персонаж, как Ганнибал или Филипп Македонский. Это он показывает нам все те блестящие картины, которые мы видим. Это его голос мы постоянно слышим. Вот почему, читая его книгу, мы словно беседуем с ее автором и испытываем на себе сильнейшее влияние очень умной и оригинальной личности, влияние, которое некоторые не могут преодолеть никогда. И огромную роль играют тут отступления.

Его «История» представляет удивительную картину. Полибий то и дело оставляет свое повествование и принимается рассказывать о чем-нибудь, на первый взгляд мало относящемся к делу. Вначале эта манера даже может раздражать нетерпеливого читателя. Раздражать, тем более что у Полибия необыкновенный дар переносить читателя в гущу действия, так что ты оказываешься в самом центре бурлящих событий. И вот ты читаешь о каких-нибудь страшных битвах, герой в самом тяжелом положении, ты замираешь от волнения — и вдруг Полибий останавливается и начинает обстоятельно и неторопливо объяснять, как можно использовать знания по геометрии и астрономии в военном деле, или самым подробным образом описывать усовершенствованный

им огненный телеграф. Ты в отчаянии, ты проклинаешь все научные изыскания автора, и только суровый долг мешает тебе перескочить через десяток страниц, чтобы узнать, что же случилось с героем. Но постепенно ты привыкаешь к этому стилю и в этих отступлениях находишь удивительное очарование. Это нечто вроде лирических отступлений в «Евгении Онегине». И благодаря им мы видим и эпоху, и самого автора.

V

Хотя Полибий и создавал истинно драматические характеры, хотя он и описывал величайшие события истории, он всегда считал, что его книга ни в какой мере не является драмой, более того, художественным произведением. Дело в том, говорит он, что писатели и поэты сообщают об удивительных и захватывающих событиях, которые, однако, всецело являются их выдумкой. Автор же истории должен «точно сообщать только то, что было сделано и сказано в действительности, как бы обыкновенно оно ни было» (II, 56, 10). Этого мало. Книга Полибия резко отличается не только от какого-нибудь романа, но и от историй его времени. Другие авторы делали все, чтобы придать своему сочинению занимательность. Включали в свое повествование то рассказы о чудесах, то генеалогии героев, то пикантные анекдоты о знаменитых людях, то риторические речи, то, наконец, так преувеличивали и приукрашали действительность, что она становилась интереснее романа. Поэтому-то они, говорит историк, «привлекают к своим сочинениям множество разнообразных читателей». Но Полибий решительно и резко отменяет всю эту мишуру. Более того. Он старается избежать чувствительных описаний. Риторика, декламация и излишняя красивость изложения его раздражают. Рассказ, по его мнению, должен действовать на разум, а не на эмоции (II, 56, 7—9). Вот почему он прекрасно сознает, что история его может показаться сухой и неинтересной любителям легкого чтения.

Он признается, что рассчитывал вовсе не на широкую публику, а на очень определенный, узкий круг читателей, «потому что большинству чтение нашего труда не доставит никакого удовольствия» (IX, 1, 1—5).

Но пусть труд Полибия не доставит никакой забавы, зато он принесет огромную пользу. «Для историков самое важное — принести пользу любознательному читателю» (II, 56, 12). Эту мысль он не устает повторять на протяжении всей своей истории. Цель эта всегда перед его глазами. Польза для него главное. «Ни один здравомыслящий человек не начинает войны с соседями только ради того, чтобы одолеть в борьбе своих противников, никто не выходит в море только для того, чтобы переплыть его, никто не усваивает себе наук и искусств из любви к знанию». Всеми движет стремление к пользе (III, 4, 9—11)*.

Но что понимал под пользой Полибий? Понятие «польза» очень расплывчато, каждый век вкладывает в него что-то свое, да и каждый человек понимает пользу по-своему, так что это явно требует некоторых пояснений. Мне кажется, взгляды Полибия прекрасно разъясняет один разговор, вернее, одно высказывание, которое Цицерон вкладывает в уста Лелию, другу Полибия. Речь зашла о тех самых двух солнцах, которые так интересовали Туберона. Лелий же, который, как мы помним, был совершенно равнодушен к астрономии, с явным вызовом заметил, что считает этот вопрос не слишком важным, так как знания такого рода годны лишь для того, чтобы изощрять умы молодежи для более нужных дел. На вопрос же своего собеседника, какие дела он считает более нужными, он ответил, что его мало волнует второе солнце, которое либо вовсе не существует, а если и существует, то никому не мешает, «либо мы не в состоянии познать этого, а если и приобретем величайшее познание, не сможем стать ни лучше, ни счастливее» (*De re publ.*, I, 30—32). Причем счастли-

* Хотя кажется, что сам Полибий только и делал, что выходил в море только для того, чтобы пересечь его.

вее, по его мнению, помогает нам стать хорошее государственное устройство, *лучше* же — то, что облагораживает нашу душу.

Мне всегда казалось, что реальный Лелий действительно произнес эти слова. Полибий же мог под ними подписаться. Он, например, рассказывает, каким пустым вздором наполняют свои лекции современные ему философы, сбивая молодежь с толку, вместо того чтобы разбирать «вопросы нравственности и государственной жизни, единственно плодотворные в философии» (XII, 26с, 4). Вот почему и польза истории для него двоякая: во-первых, она дает читателю, особенно человеку государственному*, непреходящие уроки и учит, как избегать в будущем ошибок, и тем самым помогает стать счастливее. Во-вторых, от чтения истории мы должны стать прекраснее в нравственном отношении, то есть лучше.

Теперь рассмотрим обе эти стороны поподробнее.

Начнем с первого пункта. «Каковы бы ни были удачи в настоящем, никто из здравомыслящих людей не может ручаться с уверенностью за будущее. По этой причине, утверждаю я, ознакомление с прошлым не только приятно, но еще более необходимо» (III, 31, 3—5). Это положение Полибий много раз настойчиво повторяет. «Лучшей школой для правильной жизни служит нам опыт, извлекаемый из правдивой истории событий» (I, 36, 9—10). Современный человек может отнестись к этим словам несколько скептически. XX век показал, как мало пользы извлекает человечество из уроков прошлого (хотя этому нас тоже научила история). В оправдание Полибия скажу, что он адресовался к мудрецам, а это сильно меняет дело. В самом деле. Если опыт французской или русской революции не может удержать ни один народ от новой революции, то зато мудрый человек, читая Тэна, может понять сущность революции и даже предсказать ее ход. Итак, примеры из прошлого

* Напомню, что во времена Полибия государственными делами занимались все взрослые мужчины.

вразумляют и учат избегать ошибок в будущем. Но каким образом чтение истории может сделать нас лучше? Для пояснения приведу один пример.

Предшественник Полибия, историк Филарх, описывает события одной из греческих войн, которая, разумеется, сопровождалась кровавой резней и преступлениями. При этом Полибий замечает, что он нарочно, как бы с тайным удовольствием останавливается на описании всяких кровавых сцен. «Поступает он таким образом во всей истории, постоянно стараясь рисовать ужасы перед читателем... По его мнению, задача истории состоит в изложении несправедливых деяний. Напротив, о великодушии мегалопольцев... он не упоминает вовсе, как будто исчисление преступлений важнее для истории, чем сообщения о благородных, справедливых действиях, или же как будто читатели исторического сочинения *скорее могут быть исправлены* описанием противозаконных поступков, а не прекрасных и достойных соревнования». Далее Полибий говорит, что Филарх подробно описывает осаду Мегалополя, военные действия. «То, что следовало за этим и *что составляет предмет истории*, он опустил, а именно: похвалы мегалопольцам и лестное упоминание о достойном настроении их, хотя все это напрашивалось само собой. Таким образом, Филарх закрывает глаза на дела прекраснейшие и вниманию историка наиболее достойные» (II, 56—61).

Так вот что, оказывается, приносит пользу читателю — рассказ о возвышенных, благородных поступках, которые вечно останутся перед его глазами как нетленные памятники величия. Однако было бы чудовищным заблуждением думать, будто Полибий советует историку описывать только чудеса героизма, а темные и мрачные деяния опускать. Ведь главное для истории — это истина. Историю Полибий уподобляет живому существу, истина же — его глаза (I, 14, 6). Без нее история вообще теряет всякий смысл (XII, 12, 1—3). Нет, историк должен описывать все, без фальши и прикрас. Но перед поступками подлинно прекрасными и великодушными он останавливается

с восхищением и привлекает к ним внимание читателя.

Но и рассказ о злых и жестоких делах порой бывает не менее поучителен* Читатель видит воочию всю их пагубность и бессмысленность. Это заявление может нас удивить. Почему же дурные дела бессмысленны? Можно сказать, что они неблагородны, безнравственны. Но ведь зато весьма часто полезны и выгодны. Что же имеет в виду Полибий? Мысль его прекрасно иллюстрирует один рассказ. Однажды этоляне захватили два города, причем произвели там ужасные бесчинства. Тогда македонский царь Филипп напал на их страну и, по выражению Полибия, «воздал равной мерой этолянам за нечестие, врачую одно зло другим. Он... соревновал этолянам в кощунстве и был уверен, что не совершил никакого нечестия». Полибий называет его поступок поведением неистовствующего безумца. Чем же Филипп тогда отличается от этолян? «Для наилучшего уразумения того, в какую ошибку впал Филипп, достаточно представить себе те чувства, какие, по всей вероятности, испытали бы этоляне, если бы царь поступил противоположно тогдашнему своему поведению... Я полагаю, этоляне испытали бы прекраснейшее чувство благожелательности. Памятуя свой собственный образ действий... они ясно видели бы, что Филипп имеет силу поступить с ними по своему усмотрению... однако по своей мягкости и великодушию предпочел не подражать им. Отсюда до очевидности ясно, что этоляне осуждали бы сами себя, а Филиппа восхваляли бы... И в самом деле, превзойти врага благородством и справед-

* Иногда Полибий специально останавливается, чтобы дать возможность читателю извлечь урок нравственного самоусовершенствования из прошлого. Так, он очень подробно описывает недостойную трусость некоторых эллинов, захваченных римлянами во время Македонской войны и наказанных за измену. В заключение он пишет: «Зачем я так подробно останавливался на Полиарате и Зеноне? Не затем, конечно, чтобы от себя прибавить что-либо к их несчастиям. Это было бы величайшей низостью, но с целью разоблачить их безрассудство и научить других, когда они попадут в подобные обстоятельства, быть рассудительнее и мудрее (то есть покончить с собой. — Т. Б.)» (XXX, 9, 20—21).

ливостью не менее, скорее более *выгодно*, чем победить оружием» (V, 9—12, 1—4).

Итак, мстить врагу, *воздавать ему равной мерой, платить злом за зло* — это поступок исступленного безумца. Точно так же в другом месте он утверждает, что *разум* велит нам помогать каждому в беде, выдерживать опасности за других (VI, 6, 4 — 6, 10).

Однако нужно признаться, что все это шаткие основания для добродетели. Ведь подчас зло бывает чрезвычайно выгодно — выгодно и в частных делах, и в политике. Иной раз полезнее не поразить врага великодушием, как советует Полибий, а сковать его страхом, потопить его сопротивление в крови. Сам Полибий признается, что выгода и благородство нечасто идут рука об руку. «Благородство и выгода редко совпадают, и лишь немногие люди способны совместить их и примирить между собой. Большей частью благородство, как нам известно, исключает минутную выгоду, а выгода исключает благородство» (XXI, 41, 1—3). И он повторяет вслед за Симонидом: «Трудно быть благородным». Ибо «иметь добрые побуждения и отдаваться им до известной степени легко; напротив, очень трудно не изменить себе и при всяких обстоятельствах сохранять твердость духа, ставить превыше всего честь и правду» (XXIX, 26, 1—2). В то же время он уверенно утверждает, что и в личных, и в общественных делах надо ставить выше всего нравственный долг (IV, 30, 4).

И тут мы вспоминаем его рассуждения о религии. По словам историка, она придумана мудрыми законодателями, чтобы удерживать толпу на стезе добродетели, то пугая загробными муками, то лаская надеждами на посмертное блаженство. Но ведь это узда для невежд, для толпы, для черни. Значит, для мудрецов она не годится. Как же быть с людьми круга Полибия? Что должно заставить их быть добродетельными, исполнять свой нравственный долг, порой идти на смерть, на страдания во имя своих убеждений? Что будет им наградой? Ответ Полибия прост и величествен. Наградой им будет сам прекрасный поступок.

Вот две речи, которыми полководцы перед страшным боем стремились воодушевить своих воинов. Одна — средневековая, сообщаемая нашим древним летописцем, другая — взята у Полибия. Один вождь — древнерусский князь Мстислав Храбрый, рыцарь без страха и упрека, другой — Сципион Африканский Старший — любимый герой Полибия. Князь говорит своей дружине: «Братья! ...Аще ныне умрем за хрестьяны, то очистимся грехов своих и Бог вменит кровь нашу с мученикы»* (то есть умершие на поле боя будут сразу вознесены на небо). Речь же римлянина Полибий передает так: «Он просил их во имя прежних битв показать себя и теперь доблестными воинами, достойными самих себя и отечества. Если же битва кончится несчастливо, павшие в честном бою воины найдут в смерти за родину прекраснейший памятник, а бежавшие с поля трусы покроют остаток дней своих позором и бесчестьем. Итак, когда судьба обещает нам великолепнейшую награду, победим мы или ляжем мертвыми, неужели мы покажем себя низкими глупцами, и из привязанности к жизни отричем лучшее благо, и примем на себя величайшие беды»(XV, 10, 2 — 6).

Перед нами не риторы, которые строят перед своими слушателями красивые фигуры, не философы, мирно прохаживающиеся в своих садах вдали от суеты реальной жизни. Нет, это два военачальника. И, зовя своих воинов, быть может, на верную смерть, они стараются найти самые сильные, самые разительные, самые понятные для них доводы. И вот русский князь обещает им награду на небесах, римлянин видит награду в самом прекрасном поступке — это и есть «великолепнейшая награда», «прекраснейший памятник».

Я не сомневаюсь, что это подлинные слова Сципиона. Но Полибий передает их с таким горячим одобрением, что ясно — они составляют сущность его веры. И для него, как и для Сципиона, смерть за родину

* Соловьев С. М. История государства российского. Т. 2. М., 1960. С. 120.

сама по себе самая великая награда. Никакого загробного воздаяния не нужно. И надо быть действительно безумцем, чтобы отказаться от столь прекрасной доли. Этот взгляд разделяли с Полибием большинство его современников. Даже те из них, кто верил в бессмертие души, как Цицерон, все-таки считали, что добродетельным надо быть ради самой добродетели, а не ради загробного воздаяния. Римляне, друзья и ученики Полибия, придерживались той же веры. У Цицерона Лелий начинает сетовать, что герой, спаситель Республики, не получил никакой награды от отечества. И слышит суровый и спокойный ответ Сципиона:

— Для мудрого человека само сознание того, что ты совершил прекрасный поступок, есть высшая награда за доблесть (*Cic. De re publ., VI, 8*).

Именно эта вера возмущала ранних христиан. Лактанций в этом видит главное отличие своего учения от нравственной доктрины Цицерона, которого в остальном считает чрезвычайно близким к христианству. «Без надежды на бессмертие, которое Бог обещает своим верным, было бы величайшим неразумием гоняться за добродетелями, которые приносят человеку бесполезные страдания и труд», — пишет он (*Div. Inst., IV, 9*).

Полибий рассказывает и о судьбе тех, кто пренебрег своим нравственным долгом. Он говорит, что души людей, как и тела их, могут болеть болезнью, подобной проказе, и они начинают гнить и медленно разлагаться, хотя по виду это все тот же человек (*I, 81, 6—10*). Неужели же выгодно и умно доводить себя до такой ужасной, неизлечимой болезни?!

У Полибия есть удивительный образ. Он рисует человека образованного, умного, утонченного, который постепенно подпал под власть зла. Речь идет о македонском царе Филиппе. Он навлек на себя именно эту неизлечимую болезнь своим роковым выбором между добром и злом. Полибий вспоминает старинное предание. В Аркадии случалось, что люди обращались в волков. Но вскорости они вновь принимали прежний облик. Однако, если человеку, обернувшись зверем, доводилось попробовать человеческой крови, ему уже не суждено было вернуть-

ся к людям — он навеки превращался в злого волка (VII, 13, 7). Так и Филипп, «вкусив человеческой крови и смертоубийств», постепенно утратил свою человеческую природу. Он падал все ниже и ниже, зло засасывало его, как страшная тряпина. Конец его Полибий рисует настолько ярко, что я не могу не привести весь этот поразительный отрывок:

«К этому времени восходит начало ужасных бедствий, заслуживающих старательного изложения, которые обрушились над царем Филиппом и целой Македонией. Как будто настало время, когда судьба решила покарать Филиппа за все бесчинства и злодеяния, совершенные им раньше, ради чего ниспослала на него грозных богинь Эриний, преследовавших его за несчастные жертвы; мстящие тени загубленных неотступно преследовали его день и ночь до последнего издыхания, и всякий мог убедиться в справедливости изречения, что есть око правды и нам, смертным, надлежит памятовать об этом непрестанно». Мучаясь непрерывным страхом, Филипп решил не оставлять в стране ничего враждебного его дому и «отдал письменный приказ начальникам городов разыскивать сыновей и дочерей загубленных им македонцев и заключать их под стражу... Он повторял, говорят, следующий стих: «Безумец, кто убивши отца, оставляет в живых сыновей убитого»... Судьба поставила на сцене и третью драму с царскими сыновьями: юноши в ней злоумышляли друг на друга, и когда решение распри предоставлено было самому Филиппу, он день и ночь терзался мыслями о том, которого из двух сыновей обречь на смерть, от кого он должен опасаться и больших козней в последующей жизни, и насильственного конца в старости» (XXIII, 10, 1—14).

Это одно из красивейших мест у Полибия. Судьбу Филиппа он уподобляет трагической трилогии Эсхила, тема которой преступление и наказание. Эринии и тени убитых преследуют грешника, как в «Евменидах». Драматургом же является сама судьба*

* Замечательно, что Ливий, почти дословно следовавший в этом месте нашему автору, выпустил, однако, это сравнение.

Конец Филиппа был ужасен. Он пытался примирить сыновей, но поняв, что это невозможно, отдал приказ убить самого любимого, Деметрия, так как поверил наветам старшего сына. После убийства Филиппу стало известно, что Деметрий был невиновен и оклеветан братом, который и сделался вершителем судеб Македонии* Так, изуродованный духовно, терзаемый непрерывными муками, не отличая друзей от врагов, всеми ненавидимый, никому не верящий, умер тот, кто носил прежде гордое имя Любимца Эллады.

Вот почему нечестных людей Полибий порой почти жалеет (*XV, 4, 12; XVIII, 15, 15*). И мысль его ясна. Если бы за власть, деньги, могущество у нас требовали в качестве платы отрубить себе руку, ногу, нос, заразить себя проказой, где бы мы отыскивали безумца, который добровольно пошел на такие жертвы? Так разве же не безумец тот, кто добровольно изуродовал свою душу?

VI

Как мы видели, Полибий пишет, что он рассчитывал на очень определенный узкий круг читателей. Кто же эти читатели? В одном месте он прямо говорит, что книгу его прежде всех прочтут римляне (*XXXII, 8, 8*). Какие римляне? Довольно ясно. Его друзья. Члены кружка Сципиона. Те, с кем он столько раз обсуждал все эти вопросы, кому он, конечно же, читал отрывки из своей книги, те, кого считал своими единомышленниками. Так часто бывает в тесном кружке людей, объединенных стремлением к истине, которые много лет обсуждают отвлеченные проблемы. У них уже сложились общие взгляды, многое ясно им сразу, по незначительному намеку, многое они принимают без доказательств. Между тем понадобились бы многие месяцы, чтобы объяснить все это человеку стороннему. Так было и в кружке Сципиона.

* Это тот самый Персей, которого разбил и захватил в плен Эмилий Павел.

И конечно, Полибий имел на них всех огромное влияние. Все они были моложе его, годились ему в сыновья или младшие братья. Говорил он блестяще, наверно, еще лучше, чем писал. Все его мнения были продуманы, все доводы разительны. Во всех построениях чувствовалась подкупающая ясность. И особенно велико было его влияние на самого Сципиона. Ведь Публий познакомился с ним, когда тот был семнадцатилетним мальчишкой. Тогда он благоговел перед Полибием и по-детски был влюблен в этого необыкновенного, умного, интересного человека. Полибий стал руководить его воспитанием. Указывал, какие книги читать, беседовал с ним о прочитанном, развивал свои идеи. Его взгляды были так необычны, так отличались от общепризнанных! Он осуждал идеальное государство Платона, называя его безжизненным идолом, высмеивал знаменитых историков, которыми все зачитывались. Он издевался над модными философскими школами. Он призывал своего воспитанника во всем и всегда проникать в сущность явлений. Напомню, дружба между учеником и наставником продолжалась всю жизнь. И с ними не случилось того, что мы, к несчастью, постоянно видим: ученик вырастает и разочаровывается в том, кто помог ему сделать первые шаги на умственном пути.

Но влияние было обоюдным. Этого тоже не стоит забывать. Как историк Полибий сложился в Риме. В Риме возник замысел его истории, ее план, и в Риме же он начал писать. До Рима историка Полибия не было — был мелкий политический деятель, начальник конницы Ахейского союза. Да и римлян он вовсе не знал, пока не пожил среди них. А ведь они-то и есть главные герои его истории — те, кто объединил мир под своей властью. Этого мало. Он полюбил римлян всем сердцем, всей душой. Свою книгу он кончает чем-то вроде молитвы — молитвы искренней и горячей, насколько вообще может быть горячей молитва атеиста, — он умоляет сохранить ему его главное сокровище — любовь к римлянам (XXIX, 19, 1—2). И это понятно. «Трудно менять богов», — говорит Достоев-

ский. А для Полибия смена богов и разочарование могли быть равносильны духовной смерти.

И, наконец, сам его воспитанник. Чем больше он рос и мужал, тем более Полибий начинал, в свою очередь, поддавать под его влияние. Почему я так думаю? Потому что знаю, каким властным, сильным и умным человеком был Сципион Эмилиан. Потому что я вижу, что теперь Полибий в него прямо-таки влюблен, не может говорить о нем без восторга, повторяет его слова и считает идеалом человека. Не только Полибий — все, кто с ним сталкивался, испытывали на себе сильнейшее его влияние, и многие никогда от него не избавились. Философ Панетий постоянно пишет о нем в своих философских трактатах и цитирует его слова; молодые друзья Сципиона, можно сказать, прожужжали Цицерону уши, они говорили ему о Сципионе, только о Сципионе, и через их посредство сам оратор влюбился в Публия. Так велики были авторитет и внутренняя сила этого человека.

Я уже говорила, что Полибий, конечно, обсуждал главы своей «Истории» со Сципионом и его друзьями. Многое из того, что мы читаем у Полибия, это не только его мысли, а плод их коллективного ума. Причем более всех историк, разумеется, прислушивался к мнению Сципиона. Иногда я прямо слышу его голос в «Истории» Полибия. Например, Полибий повествует о трагической смерти полководца Марцелла, которого враги заманили в ловушку. Этот грустный эпизод, который вдохновил Плутарха на лирические печальные строки, оставил нашего историка удивительно бесчувственным. Он не только не жалеет римского героя, но его же еще осуждает и говорит, что войско едва не погибло от его глупого легкомыслия. «Полководцу говорить в свое оправдание: я этого не думал... значит давать неоспоримое доказательство своей неопытности и неспособности» (X, 32, 12). И вот мы случайно знаем, что это — подлинные слова Сципиона. «Сципион Африканский говорил, что в военном деле позорно говорить: я этого не думал» (*Val. Max.*, VII, 2, 2). Я не могу отделаться от впечатле-

ния, что Полибий прочел Сципиону свой рассказ о гибели Марцелла и услышал от него этот безжалостный комментарий. Полибий знал, что говорит с ним опытный и искусный полководец, и внес его слова в текст. Таково же рассуждение Полибия о греческих статуях, которое мы уже приводили.

Но особенно сильно влияние Сципиона в рассуждениях Полибия о судьбе. Я уже говорила, что судьба для него — предмет веры непросвещенной толпы. С другой стороны, судьба — вся совокупность исторических течений и законов, нам абсолютно не известных. Но его названный сын несколько иначе смотрел на судьбу. Его веру лучше всего выражает знаменитый рассказ Геродота. Царь Крез, говорит он, считал себя счастливейшим человеком на земле. Однажды к нему забрел афинский мудрец Солон. Крез принял его по-царски и показал все свои неисчислимые сокровища. В заключение Крез спросил: «Любезный афинянин, ты посетил много земель, и я желал бы спросить тебя, видал ли ты уже счастливейшего человека?» Крез задал такой вопрос в уверенности, что счастливейший из людей он сам. Но Солон отвечал: «Афинянина Телла». Изумленный Крез поспешно спросил: «Почему же Телла считаешь ты счастливейшим?» Солон отвечал: «Во-первых, родное государство Телла было счастливо; он имел прекрасных детей и дожил до той поры, когда у всех них родились и выросли дети... А кончил дни свои он прекрасной смертью, именно: во время сражения афинян с соседями при Элевсине он помог своим обратить врагов в бегство и умер мужественной смертью; афиняне похоронили его на государственный счет на том самом месте, где он пал».

Крезу поразили эти рассуждения. Задетый за живое, он в сердцах спросил: «Неужели же, любезный афинянин, ты ни во что ставишь мое счастье и меня считаешь ниже простых людей?» На это Солон отвечал: «Я знаю, Крез, что всякое божество завистливо... а ты спрашиваешь меня о человеческом счастье. Как много в своей долгой жизни человек вынужден видеть того, чего он не желал бы видеть, и как много он

должен испытать!.. Таким образом, Крез, человек весь не более как случайность. Ты очень богат и царствуешь над многими народами; но назвать тебя счастливым я могу не раньше, как узнавши, что век свой ты кончил счастливо... Во всяком деле следует смотреть на конец: многих людей божество ласкало надеждой счастья, а потом ниспровергло их вконец».

Крез, разумеется, очень мало вник в слова Солона. Он попросту решил, что афинянин ему завидует. Но вскорости царя «постигло возмездие от божества, как кажется, за то, что он почитал себя счастливейшим из всех людей». Сначала погиб его любимый сын. А потом он столкнулся с Киrom Персидским. Великое царство его, как часто бывало на Востоке, распалось, как карточный домик. Персы разбили некогда непобедимое лидийское войско, осадили столицу, и сам великий Крез оказался жалким пленником Кира. Персидский царь приказал сложить на площади костер и сжечь бывшего царя лидийцев. Крез находился в каком-то бездействии печали. Равнодушно смотрел он на приготовления к казни. Но когда он взошел на костер, то, казалось, осознал происходящее и в сердечной муке воскликнул трижды: «Солон!» Слова эти заинтересовали Кира. Ему стало любопытно, кого призывает Крез. Он велел остановить казнь и спросить, о чем говорит его пленник. И тогда Крез сначала неохотно, но постепенно воодушевляясь, рассказал всю свою беседу с афинянином. На Кира эта повесть произвела сильное впечатление. Он понял, как непостоянно счастье, устранился возмездия божества и велел освободить Креза (*Herod., I, 30—45; 84—86*).

В другой раз Геродот рассказывает о тиране Поликрате, пользовавшемся необыкновенным счастьем: все его начинания всегда имели успех. Это очень встревожило его друга, египетского царя Амасида, и он написал Поликрату такое письмо: «Приятно, что друг и союзник благоденствует; но твои необыкновенные удачи не радуют меня, потому что я знаю, как завистливо божество. И для себя, и для тех, кто мне

дорог, я желал бы, чтобы удачи сменялись неудачами... В самом деле, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, пользуясь во всем удачей, не кончил несчастливо и не был уничтожен окончательно». В заключение Амасид предложил другу «исправить судьбу», а именно: взять наиболее любимую им вещь и бросить как можно дальше. Поликрат никогда не снимал с руки изумрудный перстень дивной красоты. И вот он решил им пожертвовать. Он бросил любимый перстень в море. В тот же день рыбак принес ему в подарок пойманную им рыбу исполинских размеров. Поликрат приказал повару приготовить ему эту рыбу. Но вскоре повар ворвался к тирану с громким криком: в животе рыбы он отыскал изумрудный перстень Поликрата. Узнав об этой новой удивительной удаче, «Амасид понял, что человек бессилён спасти другого от предстоящего ему несчастья и что Поликрата ждет дурной конец». Так и случилось. Поликрат погиб самой ужасной и мучительной смертью и так заплатил за свое необыкновенное счастье (*ibid.*, III, 40—43).

Слово «божество» в этих рассказах следует заменить словом «судьба», и мы проникнем в глубинные убеждения Сципиона. Конечно, подобные высказывания о непостоянстве и зависти судьбы были до некоторой степени общим местом античной литературы и философии. Но для Публия они были выстраданными личными убеждениями. Он сам присутствовал при роковых катаклизмах, он сам был орудием судьбы и ощущал на лице своем ее страшное дыхание. Ему было 17 лет, когда он собственными глазами увидел, как пала в прах великая Македония, владительница вселенной, о которой он столько читал. И тогда отец его, глубоко потрясенный, произнес незабвенную речь о судьбе. Эта речь в такую минуту, вместо торжества и ликования, не могла не произвести на мальчика неизгладимого впечатления. Он видел, как мрачен и озабочен отец после своей великой победы. Он часто говорил, что ждет великого несчастья от судьбы. И вот у Сципиона один за другим умирают оба младших брата. И осиротевший отец сказал

тогда, что это ему возмездие от судьбы и он рад, что ее удары пали на него, а не на Рим. Нет. Такие минуты не забываются.

В расцвете сил Сципион сам разрушил великое царство и уничтожил Карфаген. И в эту минуту, схватив Полибия за руку, он плакал, говорил о превратности судьбы и страшился за будущее Рима. Когда после этого мы слышим, как в беседе с Газдрубалом он прямо повторяет слова своего отца, говоря, что судьба дает нам страшные и внушительные уроки и, глядя на это, нам, смертным, никогда не подобает разрешать себе ни наглых речей, ни поступков (XXXIX, 4); когда мы узнаем, что он часто повторял своему другу Панетию, что главный смысл философии в том, чтобы напомнить людям о непостоянстве судьбы, ибо «людей необузданных из-за счастливых обстоятельств и самоуверенных следует как бы ввести в круг разума и науки, чтобы они осознали шаткость дел человеческих и изменчивость судьбы» (*Cic. De off., I, 90*), то мы начинаем понимать, как глубоко эта идея пустила корни в его сознание.

Полибий был человеком трезвым и рациональным. Ему чужды были поэтические порывы друга. Но ту минуту на развалинах пылающего Карфагена он не мог забыть никогда. Слова, сказанные самым дорогим для него человеком в такую страшную и сладостную минуту, в минуту, когда повернулась всемирная история — а Полибий это видел! — в минуту, когда на века решались судьбы человечества, эти слова произвели в нем переворот. Он сам признается, что ничего такого ему и в голову не приходило и что именно тогда он впервые понял, что Сципион — великий человек.

И вот у Полибия в «Истории» появляются странные мысли. «Мы знаем, — говорит он, — как судьба умеет быть завистливой к людям и как она чаще всего направляет свои мощные удары на такие предметы, в каких человек полагает свое высшее благополучие и преуспевание» (XXXIX, 19, 2). Довольно странное высказывание для того, кто утверждает, что вера в богов и судьбу существует «по слабости человечес-

кой!»! Стоит какому-нибудь полководцу не в меру возгордиться своими удачами, как Полибий немедленно останавливается и читает ему мораль о непостоянстве судьбы. Всем жестоким людям он повторяет слова Сципиона, сказанные Газдрубату, что никогда не следует быть наглым и жестоким, помня, как сурово наказует судьба (например, I, 35, 29). И наконец, самое удивительное. В одном месте он пишет, что главная польза истории в том, чтобы люди, читая о прошлом, осознали шаткость человеческого счастья (III, 31, 3—5). Это просто замечательно! Оказывается, смысл занятия философией в том, чтобы человек осознал шаткость человеческого счастья и непостоянство судьбы, и смысл истории — в том же! Но в случае с философией мы знаем, чьи это были мысли. Думаю, не ошибусь, утверждая, что и во втором случае они исходят от того же человека.

VII

Я уже говорила, что действующими лицами «Истории» Полибия являются люди и народы. Но поскольку цель его показать, как мир слился в одно целое — а это великое деяние судьбы осуществили римляне, — мы вправе заключить, что они-то и являются главными героями Полибия. И сразу перед Полибием и его читателями возникает вопрос, почему именно римляне оказались в силах выполнить эту задачу? Как случилось, что всего за 30 лет* они покорили сильные, богатые, могущественные и воинственные государства? Есть ли ответ на этот вопрос у Полибия? Есть. Он утверждает, что достигли они этого благодаря своему государственному строю.

Каждое общество Полибий уподобляет живому существу. И оно последовательно проходит три стадии развития: рост, расцвет и упадок с последующей гибелью⁴⁶. «Как всякое тело, всякое государство... согласно природе проходит состояние возрастания,

* С 201 по 168 год, то есть от конца 2-й Пунической войны до сокрушения Македонии.

потом расцвета и, наконец, упадка». Во время столкновения с Карфагеном Рим только-только достиг расцвета, а Карфаген уже отцвел (*VI, 51, 4—5; 56, 2*). Государства Эллады рождались и отцветали необычайно быстро, образуя вечный круговорот, ибо формы сменяют друг друга по кругу. В описании существующих государственных форм Полибий не считает себя оригинальным. По его словам, он взял эту схему у Платона и других философов* и только придал ей бóльшую четкость и ясность, чуждые философскому уму.

Итак, он пишет, что существует три правильных государственных строя: монархия, власть одного человека, но власть законная, то есть такая, при которой большинство добровольно уступило царю власть. Аристократия — власть меньшинства, людей, которых выбрал сам народ. Таким образом, власть любого избранного совета, или, говоря современным языком, парламента, согласно Полибию, — аристократия. И наконец, демократия — власть большинства. Однако отнюдь не всякую власть большинства можно назвать демократией. «Нельзя назвать демократией государство, в котором вся народная масса имеет власть делать все, что бы ни пожелала и ни вздумала. Напротив, демократией должно почитать такое государство, в котором исконным обычаем установлено почитать богов, лелеять родителей, чтить старших, повиноваться законам, если при этом решающая сила принадлежит постановлениям большинства». Почему Полибий дает столь неожиданное определение демократии? Это очень понятно. Монархия требует высоких моральных качеств от одного человека, аристократия — от избранных. Но в демократии все граждане должны быть преданы общему делу. Поэтому и Монтескье впоследствии объявляет добродетель основой демократии. Но добродетель как раз и держится на религии и чувстве долга, которое, как мы увидим, тесно связано с почитанием родителей.

* Здесь прежде всего имеется в виду, конечно, Аристотель.

Однако, кроме этих трех правильных форм, существуют еще три неправильные, внешне на них очень похожие и являющиеся как бы их уродливыми двойниками. У монархии — это тирания, власть узурпатора, который не имеет опоры в обществе, а потому прибегает к террору и насилию. У аристократии — олигархия, правление партии, захватившей власть и являющейся как бы коллективным тираном. Наконец у демократии — это охлократия, господство толпы, необузданной, капризной, попирающей собственные законы. Эти шесть форм и образуют круговорот.

Сначала люди живут в первобытном стаде. Среди них выделяются, конечно, какие-то вожаки, как мы видим у животных. Но потом рождаются «понятия красоты и правды», а затем «понятие долга, его силы и значения, что и составляет начало и конец справедливости». Понятия эти возникают следующим образом. Первоначально у людей, как и у животных, дети, становясь взрослыми, покидали родителей. Некоторые даже платили за заботы черной неблагодарностью. Но постепенно у людей сложилось убеждение, что дети должны заботиться о немощных родителях. Это и есть первичное понятие долга. Впоследствии эти чувства были перенесены на друзей, возникло представление, что человек должен защищать друга и быть благодарным за сделанное добро. Наиболее предприимчивые и смелые люди становятся первыми царями. Они были, очевидно, такими, какими рисует их Гомер — храбрейшие в битве, мудрейшие в совете. Они все умели делать и не гнушались никакой работой. «По образу жизни цари ходили на прочих людей и всегда поддерживали общение с народом». Так возникает монархия. Но поколения сменялись. Дети и внуки этих энергичных и умных людей зачастую бывали глупы и вялы. Но они родились царями и смотрели на себя как на особых людей. Они стали окружать себя роскошью, считать, что им все позволено, а потому обижать и оскорблять подчиненных. Теперь они вызывали у подданных ненависть, и, значит, монархия превратилась в *тиранию*.

Самые благородные, гордые и отважные люди не могут мириться с таким положением. Они свергают тирана, и народ передает им власть. Так устанавливается аристократия. Но когда власть правителей начинает передаваться по наследству, с аристократией происходит то же, что и с монархией. Внуки и правнуки освободителей теперь утопают в роскоши, предаются порокам, угнетают и оскорбляют народ. Он платит им ненавистью, и аристократия становится олигархией.

Теперь «единственная необманувшая надежда граждан — на самих себя; к ней-то они и обращаются, изменяя олигархию на *демократию*». Однако и этот строй не вечен. Он даже еще более недолговечен, чем все остальные. Как мы видели, он зиждется на добродетели, а сохранять постоянно добродетель сложнее всего. Опять-таки при смене поколений нравственные устои ослабевают. Люди выдающиеся начинают стремиться не к общему благу, а к преобладанию. Они льстят народу и подкупают его подачками. Народ в результате становится жадным и, живя за счет благодетеля, привыкает к безделью. Таким образом демократия превращается в *охлократию*. Начинаются смуты, переделы земли, наконец, революции и «всеобщее одичание». Люди теперь тоскуют по сильной власти, и в конце концов устанавливается монархия. Крут замкнулся. Все начинается сначала (VI, 3—9). Таким образом, каждая форма очень недолговечна и неустойчива.

Теперь надлежало определить, что же представляет собой римское государство и чем отличается оно от всех предшествующих. Вопрос этот, оказывается, очень труден. Это, конечно, не монархия; разумеется, не аристократия; и менее всего — демократия. Тогда что же это такое? И тут Полибий приходит к удивительному выводу: Римская республика представляет собой равномерное смешение трех элементов: монархии, аристократии и демократии, «причем все было распределено между отдельными властями и при помощи них устроено столь равномерно и правильно, что никто даже из местных жителей не мог

бы решить, назвать ли аристократией все управление в совокупности, или демократией, или монархией» (VI, 11, 11). Монархический элемент, как мы уже говорили, выражен был властью консулов, аристократический — властью сената, демократический — народного собрания.

Консулы — это два ежегодно переизбираемых всем народом магистрата. Они прежде всего являлись верховными главнокомандующими, которые распоряжались военным набором и всем, что связано с войной. А так как римляне воевали всегда и так как в армии царила железная дисциплина, власть консулов была огромна. Кроме того, консулы созывали сенат и докладывали ему дела, то есть определяли повестку дня. Сам по себе сенат собраться не мог. Консулы собирали и народное собрание, которое, таким образом, не являлось регулярно действующим органом. Вот почему, говорит Полибий, взглянув на власть консулов, можно решить, что в Риме монархия.

Сенат состоял из 300 человек, бывших должностных лиц, которые с успехом исполняли свои обязанности. Должность сенатора была пожизненной. Сенат заведовал внешней политикой, а также казной, то есть держал в руках все финансы. Поэтому, глядя на могущество сената, Рим можно было, по словам Полибия, назвать аристократией.

Оглядывая полномочия консулов и сената, Полибий замечает: «Не без основания можно спросить, какая же доля в государственном управлении остается народу, да и остается ли вообще какая-нибудь». И он отвечает: остается, притом огромная. В самом деле, во-первых, только народ решал вопросы войны и мира, то есть только он мог объявлять войну и заключать мир. Во-вторых, только народ мог принимать законы, являясь, таким образом, высшим законодательным органом. В-третьих, народ распоряжался наградами и наказаниями. Добавлю от себя, что народ выбирал всех должностных лиц, то есть в его руках были все высшие почести. Человек, не угодивший народу, не смог бы продвинуться по обществен-

ной лестнице. Вот почему, оценивая полномочия народа, Рим можно было назвать настоящей демократией.

Власти, замечает Полибий, не только равномерно распределены, они искусно ограничивают друг друга, не давая ни одной чрезмерно возвыситься. В самом деле. Консул, опираясь на народ, может начать войну, не угодную сенату. Сенат не властен запретить ему это. Но он может вовсе не дать денег на экспедицию, как было в свое время со Сципионом Старшим. И полководец оказывается бессильным довести предприятие до конца. Далее, именно сенат распределяет так называемые консульские провинции, то есть сферу деятельности консула. Он может, следовательно, на другой год не продлить полномочия негодному консулу и послать ему на смену преемника, не дав закончить начатую войну.

С другой стороны, как ни силен сенат, он все-таки зависит от народа. Прежде всего в руках народа законодательная власть, и народ может провести самый опасный для сената закон, ограничивающий его власть. «Но еще важнее следующее: если хотя бы один из народных трибунов высказался против, сенат не только не в силах провести свои постановления, он не может устраивать совещания и даже собираться, а трибуны обязаны действовать всегда в угоду народу и прежде всего сообразоваться с его волей». Да и консулы зависят от народа не меньше, чем от сената: «Как бы далеко от родины они ни находились, они обязаны добиваться благосклонности народа, ибо... народ утверждает или отвергает заключенные ими мирные договоры». Кроме того, «консулы обязаны при сложении должности отдавать отчет в своих действиях перед народом». «Таким образом, для консулов весьма небезопасно пренебрегать благоволением как сената, так и народа». Сенат же «по всем этим причинам боится народа и со вниманием относится к нему». Но, с другой стороны, «и народ находится в зависимости от сената и обязан сообразоваться с ним», ибо в руках сената находится казна. Народ также зависит от консула, так как все римляне

подлежат военному набору и на войне должны строго подчиняться консулу, который имеет право высшего суда над воинами. Таким образом, в Республике действительно наблюдается полное равновесие сил. Каждая власть не дает другой чрезмерно усилиться, а значит, и выродиться, и принять извращенную форму. «Это государство в самом себе черпает исцеление», — говорит Полибий.

«Хотя всякая власть имеет полную возможность и вредить другой, и помогать, однако во всех обстоятельствах они обнаруживают подобающее единодушие, и поэтому нельзя было бы указать лучшего государственного устройства... Если что-нибудь случится, все римляне соревнуются друг с другом в совместном обсуждении, исполнение принятого решения не запаздывает, каждый отдельно и все вместе содействуют осуществлению начинаний. Вот почему это государство благодаря своеобразности строя оказывается неодолимым и осуществляет все свои планы» (VI, 11, 11; 18, 1—6).

Но для того чтобы признать Римскую республику лучшим государством, мало рассмотреть ее конституцию. Мы уже знаем, что для того чтобы понять, каково государство на деле, надо узнать, каковы люди, в нем живущие, каковы их обычаи и нравственные устои. Вот почему Полибий исследует, так сказать, римскую душу. Для этого он рассматривает раннюю историю римлян, религию и нравы. Он приходит к выводу, что религия пронизывает всю общественную и частную жизнь римлян, чего нет у греков. Он находит это очень мудрым, так как эта религия нравственна. Наконец, он останавливается на тех чертах римского характера, которые его особенно поразили. Римляне готовы идти на любую опасность, даже на явную смерть ради родины. Они ставят благо отечества выше самых тесных кровных уз. «Вот какое настроение и какую жажду подвигов воспитывают в римлянах исконные их обычаи» (VI, 54—56).

Хотя Полибий и признает, что римское государство самое удачное и самое устойчивое из существую-

щих, а римляне самый доблестный и самый приятный народ из всех, какие ему довелось повидать, он вовсе не считает, что Республика вечна. Она смертна, как и всякая государственная форма. Есть среди государств недолговечные, как афинское, и долговечные, как римское, но рано или поздно их ждут упадок и гибель⁴⁷

Полибий признается, что VI книга, в которой он описывает римское государство, потребовала от него особо кропотливого труда и напряжения всех сил. И я ему охотно верю. Ведь Полибию пришлось не только изучить всю раннюю историю Рима, не только подробно рассказать о всех римских религиозных коллегиях, но точнейшим образом описать военное дело римлян и, главное, римскую конституцию. Возникает естественный вопрос, откуда он мог собрать все эти сведения. Допустим, он сам был в военном лагере, наблюдал, как его разбивают, своими глазами видел все эти копья и дротики, которые он так чудесно описывает. Но этого мало. Откуда он знает, как в Риме проходит набор, когда воины приносят первую присягу, когда вторую, какие офицеры назначаются главнокомандующим, какие выбираются. А ведь он все это описывает с поражающими своей точностью подробностями. И далее. Сама конституция. Для того чтобы в ней разобраться, мало было пусть даже самого тонкого ума. В Риме не было свода законов, подобного современным европейским. Важнее были традиции и прецеденты. Сам Полибий был раза два на заседании сената. Но этого, конечно, мало для того, чтобы точно определить весь круг вопросов, которые обсуждают отцы, понять до тонкости полномочия различных должностных лиц и вообще проникнуть во все хитросплетения римской конституции. Думаю, что иноземцу сделать это было очень трудно. Ясно, что все эти сведения он получал от своих римских друзей и, конечно, более всего от Сципиона, и воина, и полководца, и сенатора. Уж конечно, Полибий с присущими ему любопытством и основательностью задавал своему другу тысячу вопросов, а тот терпеливо и любезно на них отвечал.

Но обычно подобные беседы проходили гораздо увлекательнее и интереснее.

У Цицерона Лелий вспоминает, как Сципион часами спорил с Полибием и Панетием о государственных формах и развивал им свой взгляд на Римскую республику (*Cic., De re publ., I, 34—35*). Это очень интересное сообщение. Что же доказывал Сципион и что говорил Полибий? Согласен ли был ученик с учителем или его не удовлетворяли построения ученого грека? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего попытаемся найти следы этих горячих споров у самого Полибия. Тут нас как будто ждет удача. Полибий в VI книге упоминает как своих оппонентов «философов» и «римлян». Мы вправе заподозрить, что под первыми отчасти разумеется Панетий, а под вторыми — в основном Сципион. Что до философов, то он довольно пренебрежительно говорит, что у них изложение «запутано и многословно» (*VI, 5, 1*). Гораздо более его беспокоят римляне. Он пишет о них даже с некоторой обидой и дает понять, что они очень придирчивы и вообще им ничем не угодишь. Очевидно, среди его римских друзей нашелся какой-то строгий критик, который сделал ему множество замечаний. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что замечания касались не самой концепции — в этом пункте ему, очевидно, не возражали — критики упрекали его, что он описал все недостаточно подробно и упустил множество существенных деталей. Но нас интересуют сейчас не эти детали. О чем же спорили Сципион с Полибием? И тут опять на помощь приходит Цицерон.

Лелий в его диалоге просит друга повторить все то, что он когда-то говорил ученым грекам. Сципион охотно соглашается. Он говорит, что это его любимые, задушевные мысли, которые он давно и тщательно продумал. Это его стихия. В этом одном — в том, что касается римской конституции, — он считает себя настоящим специалистом. Итак, он начинает рассказывать свои сокровенные мысли и излагает перед слушателями... идею смешанного государственного устройства Полибия. Читатель вправе спро-

сильно: так чья же эта, в конце концов, теория — Сципиона или Полибия? Полибий ли убедил Публия или Публий убедил своего великого учителя, когда, по словам Лелия, часами доказывал, что лучшим строем является тот, который достался римлянам от предков? Я думаю, мы этого никогда не узнаем. Во всяком случае, достоверно, что теория Полибия возникла именно тогда, в садах Сципиона, во время их долгих споров. И оба ее разделяли. Но для Полибия она была теоретическим построением, для Публия — жизненным *credo*. Будучи первым гражданином Республики, он старался направлять государственный корабль согласно этой теории. Она — ключ к пониманию всех его политических действий. Он строго следил за равновесием всех частей и поддерживал тот элемент власти, который в то время казался наиболее ослабленным. Он свято следовал этой доктрине до конца и ради нее отдал жизнь.

VIII

Я уже говорила, какое сильное и глубокое влияние имел Полибий на своих друзей, членов Сципионова кружка. И у нас есть одно удивительное доказательство этого влияния. Он пробудил в этих римлянах такой интерес к своей науке, что чуть ли не половина из них занялась историей. Историками были Фанний, зять Лелия, и Рутилий, написавший историю Рима и книгу «О своей жизни». Филу, самому близкому после Лелия другу Сципиона, принадлежит книга о римских древностях⁴⁸. Сцевола, другой зять Лелия, занимался историей религии. Однако до нас дошли столь жалкие фрагменты всех этих сочинений, что мы даже не можем сказать, насколько глубоко они поняли заветы и методы своего великого учителя. За одним исключением. Есть среди них один автор, выделяющийся, как яркая звезда, на римском небосклоне. От него тоже дошли крошечные отрывки, но они подобны алмазной россыпи: настолько каждый фрагмент ярок, выразителен и оригинален. И вместе они дают нам угадать замысел целого. Человек этот

Семпроний Азеллион, молодой римский офицер, служивший под началом Сципиона во время осады Нуманции.

Эта осада, о которой речь впереди, была поистине удивительна. Война велась в Испании, стране суровой и дикой. Крутом были варвары. Римляне жили в самых тяжелых условиях, требовавших постоянного напряжения сил. Но в этом пустынном и негостеприимном краю собрался чуть ли не весь кружок Сципиона. Там был и Полибий. И когда зажигались звезды, они вели друг с другом изысканные разговоры. Публий, не знавший ни минуты покоя, не имел даже времени обедать. Он брал кусок хлеба и ел на ходу, прогуливаясь и беседуя с друзьями. Они говорили так непринужденно, словно были в Академии Платона, а не в военном лагере, где каждую минуту подвергались смертельной опасности. Рутилий, например, то и дело спрашивал императора о природе небесных тел (*Cic., De re publ., I, 17*). Этот Рутилий и Фанний, оба бывшие офицерами Сципиона, уже тогда, быть может, начали описывать историю этой войны. Историю Нумантинской войны писал и престарелый Полибий. И тогда же в одной из палаток под звездным небом начал свои исторические записки Семпроний Азеллион.

В его истории все замечательно. Вот как он формулирует свои задачи как историка.

«Между теми, кто предпочитал составлять летопись, и теми, кто пытался описать историю римского народа, существует следующее различие: летописцы рассказывают только о том, что именно произошло и в какой год, подобно тем, кто пишет дневник, по-гречески *ephemerida*. Мне кажется, недостаточно только рассказать о прошедшем, но надо показать, какова цель и причина событий... Летопись не в состоянии ни пробудить кого-нибудь к более горячей защите отечества, ни удержать от совершения дурных поступков. А писать, при каком консуле началась война, и кто справил триумф, и что случилось на войне, не упоминая между тем ни о постановлениях сената, ни о внесенных законопроектах, ни о целях, руководивших этим событием, — это значит

рассказывать детям сказку, а не писать историю» (*HRR, Asell., fr.1*).

Но это же в точности мысль Полибия! Он пишет: «Историкам... следует обращать внимание не столько на изложение самих событий, сколько на обстоятельства, предшествующие им, сопровождающие их или следующие за ними. Если изъять из истории объяснение того, почему, каким образом, ради чего совершено что-либо... то от нее останется одна забава, лишенная поучительности; такая история доставит скоропреходящее удовольствие, но для будущего окажется совершенно бесполезной» (*III, 31, 11—13*). Итак, Семпроний выступает перед нами как настоящий ученик Полибия.

Все, что мы узнаем далее, только подтверждает нашу догадку. Семпроний старался все увидеть и все испытать. Он не писал с чужих слов. «Он описывал те события, в которых участвовал сам», — говорит о нем Геллий (*Gell., II, 13*). Из одного пассажа Цицерона можно заключить, что он, подражая Полибию, вовсе отказался от риторических речей и писал не для широкой публики (*De leg., I, 6—7*). Напротив, он всегда старался сообщить слова, действительно произнесенные его героями. Так, под Нуманцией он записывал слова Сципиона (*Gell., XIII, 3, 63*). Наконец, все, что он рассказывает о Тиберии Гракхе и прочих триумвирах, и ярко, и выразительно, и очень тонко раскрывает их характер и политику (читатель познакомится с этими фрагментами в VI главе нашей книги). Вот почему, когда я думаю о тех страшных разрушениях, которые время и человеческое невежество произвели в прекрасном здании античной культуры, среди прочих печальных утрат я всегда оплакиваю потерю сочинений Семпрония Азеллиона. И эта потеря тем тягостнее, что как раз в это время гаснет солнце Полибия и римская история снова окутана для нас глубоким сумраком.

IX

Но кто же был третий собеседник Полибия и Сципиона? Кто был этот Панетий? Основатель Второй Стои, величайшей философской школы Античнос-

ти. Слава его в древности чуть ли не превышала славу Полибия. Философы, ораторы, историки и писатели не знают, как достойно восхвалить его. «Первый среди стойков», «ученейший человек», «человек самого высокого дарования», «почти божественный», — говорит о нем Цицерон (*Cic., Div., I, 3, 6; Fin., IV, 9, 23; Mur., 66*). А греческий философ Посидоний пишет: «Подобно тому, как еще не нашлось живописца, который смог бы закончить изображение Венеры Косской, которое оставил незаконченным Апеллес (ибо красота ее лица не позволяла надеяться, что удастся достигнуть такого же совершенства других частей тела), так того, что Панетий пропустил и чего не завершил, не дерзнул продолжить никто» (*Cic. De off., III, 10*).

Судьба Панетия в чем-то похожа на судьбу Полибия. Он тоже родился в Греции. Также был блестяще образован и подавал необыкновенные надежды. И тоже в юности зачем-то приехал в Рим: быть может, по делам, быть может, из любопытства, или, скорее всего, родное государство отправило его в Рим послом, ибо греки часто выбирали послами людей мудрых и красноречивых. В Риме же его, как и Полибия, случай привел в дом Сципиона, бывшего ему почти ровесником. И он тоже уже не в силах был покинуть этот милый дом и полюбившийся город. Он годами жил у Публия, пользуясь его безграничной добротой и безграничным терпением. В этом доме он создал свою знаменитую философскую систему, в этом доме он обсуждал ее с друзьями Сципиона. Панетий был уже знаменит на весь мир. Афины приглашали его к себе и предлагали гражданство. В греческих городах люди с жадностью расспрашивали римлян о его учении, но философ отклонял все предложения и не покидал Рима. «Панетий и Посидоний... раз уехав, никогда не вернулись домой», — говорит Цицерон (*Tusc., V, 107*). Со Сципионом он уже не разлучался. «Панетий не оставлял знаменитого Публия Африканского, победителя на суше и на море, будучи участником его занятий и трудов» (*Symmach. Epist. in Gratianum Aug., 7*). Есть даже указания, что философ

сопровождал Сципиона в его походах, вероятно, под Нуманцию (*Vell. Pat., I, 13*). Панетий решил наконец покинуть Рим и уехать в Афины лишь после смерти своего друга* (*Cic. De Or., I, 17, 75*).

Жил он в Риме, однако, не безвыездно. Часто на несколько месяцев он уезжал в Афины и читал там лекции. Он жил словно в двух мирах: в Афинах, настоящем городе-университете, он был окружен учеными людьми, блестящими слушателями, которые наперебой теснились вокруг него, ловили каждое его слово и забрасывали его тонкими и интересными вопросами. Оттуда он возвращался в Рим, где его окружали люди государственные. Целые дни они проводили на Форуме, а дома обсуждали новые законы и предполагаемые войны. О философии они говорили урывками, в свободное время. И все же именно этот мир влек к себе Панетия больше всего. Эти люди нравились ему точно так же, как и Полибию, и именно им хотел он в первую очередь рассказать свое учение. Он учил добродетели, а в доме Сципиона он видел людей, которые в его представлении воплощали эту добродетель. В своих философских трактатах, написанных по-гречески и для греков, он снова и снова рассказывал о Сципионе и пытался описать его своим друзьям-эллинам. Он постоянно цитировал его слова, с гордостью называя своим другом (*Cic., De off., I, 90*).

Кажется, более всего поражала его удивительная щедрость римлянина, которой он без меры восхищался и о которой рассказывал своим изумленным слушателям. Это удивляло Цицерона. Ему кажется странным, почти обидным, что из всех необыкновенных душевных качеств Сципиона он выбрал именно это. «Панетий восхваляет Публия Африканского за то, что он бескорыстен. Что же, почему бы ему его и не восхвалять? Но у него были другие качества, более великие» (*Cic., De off., II, 76*). Так говорил Цицерон. Но в Греции, где, по свидетельству Поли-

* Van Straaten M. Panetius: sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition des fragments. Amsterdam, 1946. P.19—20.

бия, никому нельзя было доверить даже одного таланта, где все должностные лица сверху донизу были продажны и подкупны, рассказы о человеке, который роздал три наследства и отказался от карфагенской добычи, слушали, затаив дыхание, как волшебные сказки.

Панетий придерживался учения стройного, величественного, но мрачного и сурового. Это учение о мире, о человеке и его месте в этом мире. Мир, по учению стоиков, создан единым божественным разумом и управляется божественным промыслом. Все в этом мире разумно, прекрасно и рассчитано до мельчайших деталей. И величественные звезды в своем неизменном пути, и моря, и реки, и цветущие травы, и всякая тварь земная — все служит единому предназначению и единой цели. Здесь продумано все, вплоть до рисунка на крыльях бабочки. И все полезно и вместе с тем прекрасно. Единая же цель эта — человек. Ради него создан мир, этот великолепный храм, где он живет, дабы познать истину. И главное в человеке — это добродетель. Одни философы называли добродетель высшим благом, другие ставили ее ниже наслаждений. Но стоики простерли свою бескомпромиссную суровость до того, что объявили добродетель благом единственным, все же остальное — здоровье, благополучие, богатство, слава — вещи второстепенные и вовсе не нужные. Высшей добродетелью обладает мудрец, его фигура стоит в центре учения стоиков. Мудрец понял сущность добродетели, а так как она — единственное благо, он к ней только и стремится. Он идет по пути добродетели, и вожатый его — лишь разум, а никак не сердце. Напротив, сердце только отвлекает его и дает неверный совет. Ничто — ни любовь, ни жалость, ни страх, ни стремление к удовольствию, ни огонь, ни стужа — не могут совратить его с пути. Вы можете бросить мудреца в ледяной колодец или растянуть на раскаленной жаровне, вы можете заковать его в кандалы, но вы не можете ни на йоту изменить его волю или повлиять на него. Те люди, которые гонятся за призрачными ценностями — славой, богатством и удо-

вольствиями, — заслуживают у стойков имя не грешников, а безумцев, то есть людей, достойных одного презрения. Лишь совершенный человек заслуживает имя мудреца. Даже малый проступок закрывает вам путь к добродетели. Стоики образно говорили: ты можешь не дойти до Афин на сто стадиев, а можешь не дойти всего один стадий — какая разница, все равно в Афинах ты не побывал. Так и с добродетелью. Ты можешь совершить небольшой грех или тяжкое преступление — добродетели ты не достиг.

Многим такое учение может импонировать. Но людям мягким, снисходительным к чужим порокам, тем, кто ставит часто сердце над разумом, оно может показаться не просто суровым, а отвратительным. Одним из таких людей был Цицерон. «Учение это, — говорит он, — не мягкое и ласковое, а скорее суровое и жесткое». И он насмешливо описывает стоическую доктрину: «Был некогда даровитый муж, некто Зенон*»; последователи его догматов зовутся стоиками. Догматы же эти вот каковы: «мудрый человек никогда не уступает своей симпатии к кому бы то ни было, никогда не прощает чьей-либо вины; милосердие свойственно лишь неразумным и легкомысленным людям; не приличествует дать себя упросить или умиловить; одни только мудрецы прекрасны, даже будучи уродами, они одни богаты, даже будучи нищими, они одни цари, даже неся рабскую службу, — тогда как мы, остальные, не принадлежащие к мудрецам, — и беглецы, и безродные, и чужеземцы, и безумцы; все грехи равны между собой, все они — нечестивые преступления: одинаково виновен тот, кто без нужды задушил петуха, как и тот, кто задушил отца; мудрец ни о чем не судит по предубеждению, ни в чем не раскаивается, ничем не вводится в заблуждение, никогда не изменяет своего решения... Откупщики о чем-то ходатайствуют — «не смей уступать своей симпатии». Приходят к тебе с просьбой бедные и угнетенные — «ты преступник и злодей, если

* Зенон Китийский (ок. 335 — ок. 262 гг. до н. э.) — основатель стоицизма.

сделаешь что-нибудь под влиянием милосердия»; человек сознается, что согрешил, и просит прощения — «нельзя прощать преступника»; но этот проступок так незначителен! — «все проступки равны»; ты сказал что-нибудь — «стало быть, это решено и непреложно»; но ты основываешься не на фактах, а на предположении «мудрец ни о чем не судит по предположению»; ну, так ты просто ошибся — это он считает прямым оскорблением» (*Cic. Mur.*, 61—62).

Как же относились к этому учению Сципион и Лелий? Приняли ли они его безоговорочно как истину в последней инстанции или взяли только какую-то его часть? Ведь оба они были учениками Панетия, а Сципион даже любимым учеником. На этот вопрос отвечает нам тот же Цицерон. Он решительно утверждает, что философу не удалось обратить в свое мрачное учение римских друзей, прежде всего Сципиона. «У него жил в доме ученый Панетий; и все же его речи и наставления... не сделали его более суровым, а, напротив, как я слышал от старших, в высшей степени кротким. Был ли, затем, человек приветливее и ласковее Гая Лелия, хотя он и прошел ту же школу. То же я могу сказать и про Люция Фила» (*ibid.*, 66; *пер. в моей ред.*). Далее. Цицерон ни разу не называет Сципиона и Лелия стоиками. Более того. Он определяет даже общие черты римских стоиков. В частности, все они говорили плохо. Исключение, по его словам, составлял только Катон Младший. Между тем Сципиона и Лелия он называет лучшими ораторами своего времени (*Brut.*, 118—119). Значит, их он не считает исключением, иными словами, не считает стоиками.

Видимо, оба друга смотрели на курс Панетия как на интересные лекции, не более. У Цицерона Лелий прямо говорит, что считает такого рода науки нужными только для того, чтобы отточить и сделать более острым ум молодых людей, «дабы им легче было изучать *более важные предметы*» (курсив мой. *T. Б.; De re publ.*, I, 30). Эти слова очень похожи на мысли самого Сципиона, которые мы уже приводили. Он сравнивал молодых надменных юношей с необузданными горячими конями и говорил, что филосо-

фия смиряет их пылкий дух (*Cic. De off., I, 90*). Иными словами, стоическую философию вовсе не следует воспринимать как строгую религиозную догму, но в молодости она полезна, ибо смягчает человека, приучает его владеть собой и думать о вечности. Не более. Уж конечно, примерный стоик так не сказал бы.

Итак, Панетий не смог обратить своих любимых учеников. Более того. Произошло обратное. Они все более и более убеждали его и смягчали его дух. Постепенно суровый философ становился кроток и умерен, и его начали ужасать крайности его школы. В самом деле. Мудрец, говорят стоики, не должен знать сострадания. А Панетий говорит, что оратор из сострадания может даже взять на себя защиту заведомо виновного человека, если, конечно, он не убийца, не отъявленный злодей (*Cic. De off., II, 51*). А ведь все преступления равны! Мудрец не должен знать ни гнева, ни любви, ни скорби, ни симпатии — так называемая стоическая *apathia* и *analgesia*. А Панетий отвергал их (*Gell., XII, 5*). Стоики отрицали всякое наслаждение, как противное природе, Панетий же говорил, что некоторые наслаждения соответствуют природе, другие — нет (*Sext. Adv. math., IX, 73*). «Избегая их (стоиков. — Т. Б.) мрачности и жесткости, Панетий не одобрял ни суровости высказываний, ни колючих рассуждений и был, с одной стороны, мягче, с другой — блистательнее», — пишет Цицерон (*Fin., IV, 28*). Стоики выражались темно и непонятно, Панетий разъяснял все простым разговорным языком (*Cic. De off., II, 35*).

Панетию нравилось величественное учение о творце-демиурге, создавшем мир. Нравился и высокий, строгий догмат, признававший, что добродетель — единственное благо. Но Зенону, Клеанфу и Хрисиппу, основателям стоицизма, он стал предпочитать Аристотеля и особенно Платона, любимого философа Сципиона Африканского (*Cic. Fin., IV, 28*)*

* «Твой Платон», — чуть насмешливо говорит Лелий в беседе со Сципионом (*Cic. De re publ., IV, 4*).

Панетий называл Платона «божественным», «мудрейшим», «святейшим» и даже «Гомером среди философов» (*Cic. Tusc., I, 7, 9*). Прокл и Гораций прямо называют его платоником и сократиком, а не стоиком (*Procl. Diadoch. In Plat. Tim., 50B; Hor. Carm., I, 29*).

Но тут на Панетия обрушился новый удар, который поколебал все его мировоззрение до самых основ. То было могучее влияние Полибия из Мегалополя.

Оба ученых грека познакомились в доме Сципиона. Публий их и познакомил. Хотя Полибий и не любил философии, он охотно беседовал с молодым родосцем, и, по-видимому, эти беседы произвели на юного грека неизгладимое впечатление. Прежде всего он, как все, кто знакомился с Полибием, увлекся историей — наукой, которую презирали прочие стоики. У Цицерона есть очень любопытное место. В одном из своих диалогов он выводит самого себя и своего друга. Оратор рассказывает ему, что один из стоиков увлекался историей. Его собеседник изумлен. «Да что ты говоришь? — восклицает он. — Неужели стоики занимались подобными вопросами?» — «Нет, — отвечает Цицерон, — реальные государства этих мудрецов не интересовали». Но главное — Полибий поколебал его веру.

Краеугольный камень Стои — это вера в судьбу. Судьба — это и есть предначертания Промысла, которые управляют нашей жизнью. «Судьба определяет возникновение всего на свете, — так пишет Хрисипп в книге «О судьбе», Зенон и Боэф в I книге «О судьбе». — Судьба есть причинная цель всего сущего или же разум, по которому движется мир» (*Diog., VII, 149*). Судьбу можно узнать с помощью мантики — науки о гадании. Поэтому стоики придавали оракулам и гаданию огромное значение. «Хрисипп собрал бесчисленное множество оракулов» (*Cic. Div., I, 37*). «Стоики защищают все виды гаданий в соответствии с тем учением, которого как бы семена рассеял Зенон в своих записках, а Клеанф это учение еще пополнил. Затем присоединился к ним Хрисипп... который все учение о гаданиях изложил в двух книгах и помимо этого еще в одной — об ора-

кулах, и в одной — о сновидениях. А вслед за ним издал еще одну книгу его ученик Диоген Вавилонский, две — Антипатр, пять — наш Посидоний» (*ibid.*, I, 6).

Диоген и Антипатр учителя Панетия (*Suid. Lexicon. II, 184; IV, 20; Div., I, 6*), Посидоний же — его ученик. «Но отступился от стоиков их, можно сказать, глава... Панетий» (*Div., I, 6*). Он единственный из стоиков отвергал и судьбу, и оракулы, и астрологию (*Div., II, 88; Diog., VII, 149*). И он не только отступился от основного догмата стоицизма, но позволял себе его ядовито высмеивать. Он спрашивал, неужели Зевс велит вороне каркать слева (*Div., I, 12*). Цицерон не без злорадства замечает, что, отвергая судьбу и науку о предвидении, он бьет стоиков не доводами их врагов-скептиков, а аргументами их великого вождя — самого Панетия (*Div., II, 97*). Высмеивая астрологию и гороскопы, Панетий, в частности, говорил, что многие люди с совершенно разной судьбой рождаются в один и тот же день. Многие родились в тот же день, что и Сципион. «А разве был среди них кто-нибудь, подобный ему» (*Div., II, 95*).

Далее: стоику подобает верить в бессмертие души не менее горячо, чем правоверному христианину. Излагая их учение, Цицерон говорит о праведных людях: «Их души живы и бессмертны... они самые совершенные и вечные существа» (*De nat. deor., II, 62*). А Панетий наперекор авторитету всей Стои утверждал, что душа смертна, и в этом одном пункте спорил со своим любимым Платоном. Он даже утверждал, что диалог «Федон», где доказывается, что душа бессмертна, не подлинное произведение божественного Платона (*Diog., II, 64; Cic. Tusc., I, 32; Panetius, fr. 84, 128*). Он приводил такие доводы: во-первых, все, что рождается, умирает, а душа рождается. Это видно из того, что ребенок не только телом, но и душой похож на родителей. И второе. То, что знает боль и болезнь, знает и смерть. Душа же знает боль.

Стоики признают непреложной аксиомой, что через определенные промежутки времени мир погибает в огне и возрождается снова. Панетий же утверж-

дал, что мир бессмертен и вечен (*Diog., VII, 142; Cic. De nat. deor., II, 118; Philo De aetern. mund., 76; Eriphanius De fide IX, 45*). «Панетий признавался, что вечность космоса более убедительна и приятна для него, чем переход всего в огонь» (*Stobae. Eclog., I, 20*).

Стоики принимали все мифы, как бы странно, порой почти кощунственно они ни звучали для эллинистически образованного человека. Что может быть ужаснее для цивилизованного грека, чем сказание о том, как Кронос оскопил своего отца Урана и был в свою очередь свергнут с престола и закован сыном Зевсом?! Но стоики всем мифам давали аллегорическое толкование. Что такое «Уран»? Небо. Что такое «Кронос»? Время. «В этих нечестивых мифах заключена не лишенная изящества физическая мысль: небесная природа, самая высокая и эфирная, то есть огненная, порождающая из себя все, лишена той части тела, которая для того, чтобы породить, должна соединиться с другим телом». Связан же Кронос потому, что движение времени должно быть упорядоченным (*Cic. De nat. deor., II, 63—64*). Но и тут Панетий изменил родной Стое. «Панетий Родосец утверждал, что космос бессмертен и неувыдаем, отвергал мантику и разрушал все мифы о богах. Ведь он говорил, что все рассказы о богах — вздор» (*Panetius, fr. 68*).

Поистине это был какой-то еретик среди стоиков! И невольно кажется, что он был столько же учеником Клеанфа и Хрисиппа, сколько и Полибия⁴⁹.

Х

В Риме Панетий был необычайно популярен. У него было много последователей. И все члены кружка Сципиона считали себя учениками Панетия. Но воспринимали они учение Панетия по-разному. Сцевола рассматривал курс Панетия скорее как общеобразовательный. Он развил его ум, приучил мыслить абстрактно и оперировать философскими понятиями. Все это он и применял для систематизации права и при занятиях теологией. Спурия Муммия Стоя сделала еще более прямым, некорыстным

и равнодушным к внешним благам. Но совсем особое воздействие она имела на молодых друзей Сципиона — Туберона и Рутилия. Они были первыми примерами соединения римского национального характера с греческой философией — соединения, которое дало столь блестящие результаты в Катоне Младшем.

Греческие стоики были или профессиональными философами, рассуждающими о тонких, малодоступных простому смертному материях, или любопытными и блистательными юношами, жаждущими знаний. Все построения Панетия были для них лишь пищей для ума. Иное дело римляне. Описывая Катона Младшего, Цицерон говорит: «Прежде всего ведь сама природа внушила тебе сильное и возвышенное стремление ко всему честному и благородному, к самообладанию, справедливости и величию души, ко всем вообще добродетелям: это стремление было еще усилено учением не мягким и ласковым, а скорее, думается мне, суровым и жестким... Вот этому-то учению отдался всей душой наш высокоталантливый Марк Катон, дав веру своим просвещенным руководителям, *причем он видел в нем не предмет для диспутов, как это делает большинство* (добавим, греков. — Т. Б.), *а мерило для жизни*» (курсив мой. — Т. Б.) (*Cic. Mur.*, 61—62). Кроме того, греками всегда руководили разум, логика и прекрасное чувство меры. Римлянами же — огненный темперамент и страсти, скованные суровым чувством долга. Памятуя все это, мы поймем, почему только в Риме рождались стоики вроде Катона Младшего, Рутилия и Туберона.

Квинт Элий Туберон был племянником Сципиона, сыном его сестры Эмилии. Отец его был Элий Туберон, «достоинейший человек, с невиданным в Риме величием переносивший свою бедность. Этих Элиев в роду было шестнадцать человек, и все они совместно владели одним маленьким, тесным домиком, всех кормил один-единственный клочок земли, все жили под одной кровлей — со своими женами и многочисленным потомством. Там жила и дочь Эмилиа, дву-

кратного консула и дважды триумфатора, жила, не стыдясь бедности мужа, но преклоняясь перед его нравственным совершенством — причиной и источником бедности» (*Plut. Paul.*, 5). Воспитанный в благородной бедности, с молоком матери впитавший идеалы нравственного совершенства, в которых растили его родители, юный Туберон презирал богатство, все светские удовольствия и страстно стремился ко всему возвышенному и благородному. Бездетный Сципион был нежно привязан к своим племянникам, и вскоре Туберон почти переселился в дом дяди. Публий особенно любил его, так как у них были общие интересы: мальчик всеми силами души стремился к знанию, особенно к далекой от всего земного философии. Но Туберон во все вносил чрезмерную страстность и не знал меры: мы уже слышали, что он, оставив все другие заботы, дни и ночи занимался с философом.

Он стал одним из любимых учеников Панетия и в суровой и возвышенной философии стойков нашел свой идеал. Он старался быть строг и непреклонен, как истинный мудрец, и даже позволил себе однажды послушаться Сципиона, что римлянам показалось верхом суровости и нелюбезности, дальше которых идти нельзя. Как истый стоик, он, по словам Цицерона, не умел говорить. «Речь его, как и его поведение, была жесткой, лишенной лоска, суровой» (*Brut.*, 117). Но особенно отличился он на похоронах своего дяди Сципиона.

Публию наследовали два его племянника — Туберон и Квинт Фабий, сын его старшего брата. Этот Фабий был типичный молодой римский офицер. Искусный полководец, смелый воин, деловой и толковый командующий, он был совершенно равнодушен к философии и ученым рассуждениям. В молодости он любил блестящие кутежи и заводил громкие романы, но с годами остепенился и стал примером добропорядочности (*Val. Max.*, IX, 6, 4). Сципион знал, что Фабий человек честный и справедливый, что у него прекрасное, доброе сердце, он ценил его способности, а потому прощал племяннику увлечения

молодости, ценил его и уважал* Ясно, что оба племянника были слишком разные люди и нелегко им было найти общий язык.

Молодые люди устроили вместе поминки. Решено было, что Фабий позаботится о закуске, а Туберон сервирует стол. На поминки, как водится, сошелся весь Рим. Фабий приготовил роскошное угощение. Но второй племянник поразил квиритов. Туберон, «как человек начитанный и стойк», по выражению Цицерона, велел поставить деревянные скамьи, покрыть их козлиными шкурами, а вместо посуды вынести кружки из грубой глины. Трудно даже передать гнев римлян. Они с негодованием спрашивали друг друга — что это — мы справляем тризну по Диогену Собаке или хороним божественного Публия Африканского?! «Римский народ был возмущен этой неуместной мудростью Туберона... И вот этот честнейший человек, прекраснейший гражданин... этим своим козлиным шкурам был обязан своим поражением на преторских выборах» (*Cic. Mur.*, 75 — 76). Таков был Туберон.

Публий Рутилий был не чета Туберону. Тот был, в конце концов, честный ученый чудак, не более. Рутилий же, по выражению Веллея Патеркула, был «лучшим человеком не только своего времени, но и всех времен» (*II*, 13). Туберона помнили только те, кто специально интересовался кружком Сципиона. Рутилий был неувыдаемой славой римского народа.

С Тубероном они были почти ровесниками. Рутилий был тот самый молодой офицер Сципиона, который под Нуманцией приставал к нему с вопросами об астрономии. Он относился к Публию с восторженным обожанием и стал часто бывать в его доме. Там он познакомился с Панетием, стал его учеником и ярым, фанатичным последователем Стои. «Это был человек ученый, знаток греческой литературы, ученик Панетия, чуть ли не совершенный тип истинно-

* В 135 г. Сципион поддерживал кандидатуру племянника, баллотировавшегося в квесторы (*Val. Max.*, VIII, 15, 4), а через год Фабий поехал при нем квестором в Испанию, причем Сципион доверял ему очень ответственные поручения (*App. Hiber.*, 84).

го стойка», — говорит Цицерон (*Brut.*, 114). Его отличали удивительная, кристальная честность и великая твердость духа. Он и впрямь был из тех мудрецов, которых можно было поджаривать на медленном огне, а они бы лишь презрительно улыбались глупому людскому самомнению.

Как и большинство членов кружка Сципиона, он был юрист, и юрист прекрасный. Но говорил он плохо, а красноречие было в Риме едва ли не необходимым условием для продвижения по общественной лестнице. Речи его были сухи (*ibid.*). Происходило это отнюдь не от недостатка таланта или темперамента. Нет. Рутилию внушали отвращение приемы, которыми ораторы добивались успеха у слушателей: патетика, пафос, стремление разжалобить публику — все это казалось ему унижительным и недостойным. По этому поводу Цицерон вспоминает такой случай. Знаменитый Красс Оратор горячо восклицал в народном собрании:

— Вырвите нас из пучины бедствий, вырвите из зубов тех, чья жестокость не может насытиться нашей кровью; не заставляйте нас быть рабами кому-либо, кроме всех вас вместе, кому служить мы и можем, и должны!

Очевидец этого, оратор Антоний, друг и Рутилия, и Красса, рассказывает:

— Я внимал твоим словам с восторгом, Публий же Рутилий Руф, человек ученый и преданный философии, заявил, что эти слова... непристойны и позорны.

И Антоний излагает доводы Рутилия. «Я оставляю в стороне *бедствия*, которые, по словам философов, не могут коснуться человека мужественного; оставляю *зубы*, из которых ты хочешь вырваться, чтобы несправедливый суд не выпил твою кровь, чего тоже не может случиться с мудрецом; но ведь ты осмелился сказать, что не только ты, но и целиком все сенаторы должны быть рабами... Как, неужели... доблесть может находиться в рабстве? Дobleсть, которая единственная всегда свободна и которая, даже если тело попало в плен или заключено в оковы, тем не менее

должна сохранить независимость и непререкаемую во всех отношениях свободу!»

Еще с большим омерзением Рутилий говорил о поведении Гальбы. Этого Гальбу привлек к суду старик Катон и добился бы его осуждения, если бы подсудимый не вынес на руках и не поднял на плечи мальчика-сироту, сына своего покойного друга, которого он воспитывал как собственного ребенка. Квириты заплакали от жалости к малютке, и ради него Гальба был прощен. Рутилий, пылая от негодования, говорил, что «ссылка и даже смерть лучше такого унижения» (*Cic. De Or., I, 225—228*). Сам он мечтал на суде поступить как Сократ, который отказался от услуг защитников и произнес смелую речь, в которой не просил о снисхождении, а обличал и обвинял сам. И мечты его исполнились. Случилось это через много лет после описываемых здесь событий (92 г. до н. э.).

В то время Гай Гракх, стремясь сокрушить сенат, вызвал из небытия новую силу, богатых коммерсантов — всадников*. Чтобы привлечь их на свою сторону, он бросил им в жертву богатую провинцию Азию, бывший Пергам. Он отдал им все налоги на откуп, разрешив самим собирать подати. Всадники, естественно, выжимали последнее из несчастной провинции. Между тем возбудить против них судебное дело, чтобы обуздать грабеж и произвол, как это делалось в Риме ранее, было невозможно, ибо Гракх предусмотрительно передал суды тем же всадникам. Так что одни и те же люди и грабили, и судили. Притом люди это были отчаянные и готовые на все. Они не только обирали Азию, но запугивали наместников, которые не могли обуздать их и защитить несчастных.

Случилось, что провинцией управлял Рутилий. Стоит ли говорить, что ни подкуп, ни угрозы не оказали на него ни малейшего действия. Во все время своего правления он не позволял им грабить. Возбешенные всадники поклялись отомстить. И они исполнили угрозу. Когда Рутилий вернулся в Рим, они привлекли его к суду за то, что он грабил провинцию

* Подробнее об этом см. в гл. VI.

Азию! И он предстал перед судом тех, которые только что обирали провинцию, тех самых людей, которых он только что изгнал!

«Процесс этот всколыхнул Республику» (*Cic. Brut., 115*). Лучшие ораторы наперебой предлагали ему свои услуги, друзья умоляли внять голосу разума и вверить свою защиту Крассу. Тщетно! Непоколебимый стоик заявил, что поступит, как Сократ. Он защищал себя сам: говорил сурово, излагал только факты, не умолял о снисхождении, а скорее, обвинял (*Cic. Brut., 115; De or., I, 229*). И конец суда был тот же, что и у Сократа. «А если бы ты выступил тогда, Красс, — с горечью восклицает один из друзей Рутилия, — ...если бы тебе можно было говорить за Публия Рутилия не по-философски, а по-своему, то, как бы ни были преступны, злокозненны и достойны казни тогдашние судьи — а таковы они и были, — однако все глубоко засевшее бесстыдство их искоренила бы сила твоей речи. Вот и потерял столь славный муж, оттого что дело велось так, будто это происходило в платоновском выдуманном государстве. Никто из защитников не стенал, никто не взывал, никто не скорбел, никто не сетовал, никто слезно не заклинал государство, никто не умолял... Никто и ногой-то не топнул на этом суде, наверно, чтобы это не дошло до стоиков» (*Cic. De or., I, 229—230*).

Рутилий был осужден, лишен всех прав состояния и приговорен к высшей мере наказания в римском суде — то есть к изгнанию. Он демонстративно, чтобы показать свою невиновность, отправился в Азию, которую будто бы притеснял. Когда бывший консул, а теперь жалкий неимущий изгнанник достиг берегов Азии, к нему явились представители всех местных общин, и каждый на коленях умолял его осчастливить их город своим присутствием (*Val. Max., II, 10, 5*). Они готовы были содержать его на общественный счет, оказывать ему божеские почести, они носили его на руках. Разумеется, гордый римлянин отказался от всех почестей. Он уехал в Смирну, где тот час же получил гражданство. Там он и поселился. Когда к власти пришел Сулла, он отменил несправедливое решение и пригласил Рутилия вернуться. Но

тот считал, что изгнание и самая смерть лучше, чем быть обязанным чем-то кровавому тирану. До конца дней своих он жил в Смирне. Юный Цицерон ездил к нему. Рутилий много рассказывал ему о друзьях своей юности, более всего — о Сципионе и Лелии.

Таковы были римские стоики.

Но в кружке Сципиона были не одни ученые и философы, в его дом приходили не только неколебимые и суровые последователи Портика* Нет. Были тут люди совсем другого рода. И самым оригинальным и ярким среди них был Гай Люцилий.

XI

Гай Люцилий родился в маленьком провинциальном городке Суэссе Кампанской (*Juv., I, 20*) и был, вероятно, лет на 20 моложе Сципиона⁵⁰. Он происходил из хорошей семьи (*Vell., II, 9*), ни в чем не нуждался, был умен, талантлив, изящен, остроумен, прекрасно образован. И вот, как многие блестящие юноши его круга, он почувствовал, что ему тесно в затхлом провинциальном городке, где таланты его будут тускнеть и ржаветь, как старый боевой меч, забытый на стене. И он, говоря словами Плутарха (относящимися, правда, к другому провинциальному жителю), «выйдя из маленького городишки... бросился в необъятное море... Рима» (*Plut., Cat. mai., 28*).

Он был оглушен столичным шумом, стуком бесконечных повозок, везших нарядных дам, ослеплен блеском их нарядов, поражен сутолокой Форума, где можно было встретить запросто гулявших царей великих держав. И как все, переступавшие границы великого города, он остался там навек. Он мог громить его нравы, мог негодовать и обличать, но он не в силах был преодолеть его влекущего очарования.

* Портик — римское название Стои. Основатель стоицизма Зенон учил в крытой колоннаде, которая по-гречески называется «стоя», по-латыни — «портик». Отсюда название самой философской системы.

Он испытал судьбу Деметрия Македонского, Антиоха Сирийского, Полибия и Панетия.

Люцилий поселился на Палатине, в доме, где раньше жил царевич Антиох (*Asc. Ped. ad Cic. in Pis. III, 119*). Оттуда как на ладони виден был Форум, где, по его собственному выражению, «с утра до ночи в праздник и в будни шатается без различия весь народ и все отцы... и не уходят ни на минуту» (*Lucil., H, 41*). Сначала он, вероятно, упивался этим захватывающим зрелищем, но постепенно первый порыв восторга стал сменяться легкой досадой, даже обидой. Люцилий не был римлянином, он был *италиком*, то есть происходил от одного из многочисленных племен Апеннинского полуострова, которых покорили некогда воинственные потомки Ромула. В те времена, о которых идет речь, италики уже почти ничем не отличались от своих победителей. Они говорили на том же языке, так же одевались, служили в той же армии, молились тем же богам. Словом, это были те же квириды, лишенные только, по словам Цицерона, тонкого обаяния *столичности*, особого изящества манер и речи, по которому сразу можно было узнать природного римлянина (*Brut., 170—172*).

Казалось, сейчас италикам не на что было жаловаться. Они жили свободно и суверенно в своих городах, выбирали собственный сенат и магистратов. Поэтому у себя дома италик почти совсем не ощущал римского гнета: он не платил дани, в стенах его города не стояли римские солдаты, никто не стеснял его свободы. Но у него не было полного римского гражданства. Живя у себя в Кампании, Люцилий все и не думал об этом гражданстве, но едва он въехал в ворота Рима, как начал понимать, чего лишен и как горько обижен. Ежедневно он мог видеть увлекательные схватки на Форуме и слышать горячие споры на Рострах. В спорах этих решались судьбы вселенной, и каждый квирид мог принять в них участие. Каждый квирид, но не он. Он был лишь пассивным зрителем, но не актером.

Многие знакомые твердили ему, что это не беда. Пусть ему и не суждено решать судьбы Республики,

он может сделать блестящую карьеру, занявшись бизнесом и денежными спекуляциями в провинции. Так, не приобщившись, правда, к римской власти, он приобщится к римским богатствам. Ему приводили в пример преуспевающих нуворишей, наживших баснословные деньги. Но предложения такого рода буквально бесили Люцилия.

— Чтобы я сделался публиканом* в Азии?! — в сердцах восклицал он. — Нет, я останусь Люцилием! Я этого не хочу и не изменю себе за все золото на свете! (*Lucil.*, XXVI, 31)

Когда же доброжелатели настаивали, несдержанного на язык Люцилия прорывало:

— Сир, вольноотпущенник, мерзавец и висельник! И вот в него-то я должен превратиться и изменить всего себя?! (*Lucil.*, XXVI, 34)

О людях, подобных этому пресловутому Сиру, он говорил, что они, «впившись зубами, добывают золото из огня, еду — из грязи» (XXVI, 39).

Была и еще одна причина, не позволившая Люцилию заняться спекуляциями в провинции — та же, которая полтора века спустя помешала Овидию стать юристом: он ощутил страстное стремление к стихам и понял, что рожден поэтом.

В Риме было много поэтов. Те из них, которые, как отец латинской поэзии Энний, чувствовали склонность к литературе серьезной и возвышенной, писали трагедии, обычно из времен Троянской войны, или поэмы, прославляющие деяния римских героев, поклонники же легкой шутки сочиняли комедии. Беда была, однако, в том, что Люцилию не нравились ни те, ни другие, вообще не нравилась латинская муза и он не находил никого, кому мог бы подражать. Энний казался ему вялым и напыщенным: ему, как считал Люцилий, не хватало *значительности* (*Hor. Sat.*, I, 10, 54). Не нравились ему и другие трагики (*ibid.*, I, 10, 53—55). Не мог он опять писать про Гекубу и Ниобу! И кроме того, его неудержимо влекло к комедии. У него было все для того, чтобы стать коми-

* Публикан — откупщик.

ком, — живое остроумие, пронизательность, умение подмечать в вещах смешное, наблюдательность. «Он был весел, и у него был тонкий вкус», — говорит Гораций (*Sat., I, 4, 7—8*). Но и существующие комедии были ему не по душе. Ему противно было опять, вслед за Теренцием, рассказывать о влюбленных юношах, строгих отцах, ловких рабах и гетерах — обо всем том, что было на сцене и что никого не занимало в жизни; давать герою красивое греческое имя и представлять на подмостках какую-то сказочную Аттику, которой давно уже нет. Словом, ему не нравился ни один из современных писателей. А между тем был поэт, который глубоко восхищал Люцилия и рождал в нем страстное желание ему подражать. Поэт этот жил в глубокой древности — то был Аристофан, автор так называемых *древнеаттических* комедий.

Древняя комедия была самым дивным, самым причудливым созданием на свете. Действие в ней происходило не в какие-нибудь легендарные века, а в тот самый год, когда она была поставлена. Развертывалось оно на тесных улочках Афин, а героями были не Тесей или Геракл, а современники поэта — Сократ, Еврипид, Перикл или Алкивиад. На сцене обсуждали самые злободневные события — новый политический закон или нового стратега, последние битвы и последних народных любимцев. Великих мира сего осыпали градом самых бесцеремонных насмешек. Бывало, какой-нибудь всесильный временщик, приходя в театр, чтобы развлечься и отдохнуть от тяжких своих трудов, важно рассевшись на почетном месте в первом ряду, должен был, онемев от смущения и досады, наблюдать за тем, как кривляется на сцене его двойник, и видеть, как зрители с громким хохотом показывают пальцем то на карикатурную копию, то на самый оригинал. Можно себе представить, какая ярость клокотала тогда в его груди! Вот почему автору этих смешных комедий нужна была смелость, настоящий героизм. Перед всесильным демагогом Клеоном дрожали все, он кричал на великих полководцев, как

на школьников, он топал ногами и грозил изгнанием — один Аристофан дерзнул открыто вступить с ним в борьбу:

С самых первых шагов, так клянется поэт, он нанал не на малых и слабых,
Нет, с Геракловым каменным сердцем в груди поднялся на великих и сильных.
Без боязни на главного зверя восстал, на страшилище с пастью зубастой.
Словно молнии, взоры горели его, как глаза отвратительной Кинны.
А вокруг головы сто визжащих голов, сто льстецов обливались слюною.
А рычанье его — как гремящий поток, как чудовищный рев водопада.

На такого-то зверя посмел он взглянуть...

(«Осы», 1028—1035, пер. Адр. Пиотровского)

И он тяжело поплатился за свою смелость — Клеон велел избить его до полусмерти. Вовсе не дерзкая удаль заставляла Аристофана, рискуя жизнью, вступить в битву с Клеоном. Он был упорным борцом со злом и пороком и всегда старался пробудить в согражданах добрые чувства. И он с гордостью называл себя учителем народа.

А вот другая удивительная черта древней комедии. Все эти известные, знакомые люди, которых любой афинянин столько раз встречал на рынке или в палестре, попадали в такой причудливый вихрь самых невероятных, фантастических приключений, чудес и превращений, что с ними могло бы сравниться лишь гофмановское каприччо «Принцесса Брамбилла». Действительно. То герои отправляются в загробное царство, едут в утлом челноке Харона, чтобы вывести на белый свет лучшего поэта прошлого. То они попадают в государство птиц и между небом и землей строят фантастический город Тучекукуйщину, чтобы заставить самих богов склониться перед их властью. То, наконец, они откармливают навозного жука до размеров матерого поросенка, чтобы, взнуздав его, взлететь на небо и поговорить с олимпийцами. Это-то причудливое сочетание злободневной политической сатиры, безумной фантазии и возвышенного лиризма, которым дышат речи хора, и составляет неповторимую прелесть древнеаттической комедии. Действительно неповторимую. Римские поэты, а вслед за ними и поэты Европы вновь и вновь переделывали греческие трагедии и писали о Федре

и Ипполите или об Антигоне. Плавт, Теренций, а через их посредство Мольер перелагали Менандра. Но никто не решился переделывать древнеаттическую комедию, чувствуя, что этот яркий и благоуханный цветок, выросший в Афинах, завянет и засохнет, если перенести его на другую почву. Как раз это-то и задумал сделать Люцилий.

Он сразу выбрал новый и неожиданный путь. Он не стал следовать причудливой фабуле Аристофана, подставляя в его комедии имена римлян. Он не заставлял римских консулов строить птичье государство, а народных трибунов летать на навозных жуках. Нет, отринув оболочку его пьес, Люцилий, как ему казалось, взял самый дух, самое сердце его творений. Он отбросил и хор, и самих актеров. Ибо писал он не для сцены. Вместо пьесы он развертывает перед читателем свободный рассказ, где действует и сам он, и его друзья и недруги. Гораций именует эти маленькие поэмы *беседами*. Мы же назвали бы их картинами или сценами из римской жизни. Гораций задумал возродить этот жанр. И его стихи помогают нам представить творения Люцилия. Вот поэт прогуливается после тяжелого трудового дня по Форуму и делает мгновенные зарисовки уличных типов. Вот он беседует о поэзии со старым юристом. Порой из-под его пера выходят злые портреты богатых и бесчестных нуворишей. Так же поступал и его учитель Люцилий. Он описывает, например, обед у глашатая Грания, первого остролова Рима. На этом обеде присутствовали все первые люди Республики и каждый старался превзойти другого остроумием. Или он рассказывает о вечере в доме Сципиона Африканского и передает беседы его ученых и веселых друзей. Но чаще всего он описывает Форум и волнующие судебные дуэли, когда остроты, словно искры, сыпались из-под словесных шпаг.

Итак, Гораций назвал свои произведения беседами. Но сам Люцилий дал им другое имя. Он нарек свои творения *сатурами*. Хотя наше слово «сатира», безусловно, происходит от Люцилиевых сатур и хотя в его поэмах, конечно, очень много сатирического,

все же они сильно отличаются от того, что мы теперь называем *сатирой*. Начать с того, что сатурой римляне называли салат, который готовили из множества ингредиентов. Поэтому слово сатура соответствует приблизительно нашему выражению «окрошка» или «сборная солянка».

До нас дошли лишь жалкие отрывки из сатур Люцилия. Но Гораций, читавший их все и глубоко восхищавшийся ими, говорит, что в них действительно жил дух Аристофана. «Люцилий во всем подражает им, — говорит он о Евполиде, Кратине и Аристофане, творцах древней комедии, — ...он изменил только меру и стопу стиха» (*Sat., I, 4, 1—7*).

Иногда у Люцилия мелькает даже отблеск необузданной фантазии Аристофана — с удивительной дерзостью он показывает нам не только людей, но и богов. Первая книга сатур начинается на небесах, где заседают боги, чтобы решить назревшие земные проблемы. Заседание это удивительно напоминает римский сенат, разумеется, обрисованный с должной иронией (*I, 4—6*).

Как и Аристофан, Люцилий выводит на страницах сатур своих современников и не стесняется осыпать великих мира сего самыми злыми и ядовитыми насмешками. Он обладал огненным остроумием (*Hor. Sat., I, 10, 3—4*), прекрасно владел латинским языком (*Gell., XVIII, 5, 10*) и был поэтом колючим и беспощадным (*Macrob., III, 16, 17*). Он, по выражению Горация, «осмелился... содрать кожу с гнусного внутри человека и выставить его нагим на всеобщее обозрение» (*Sat., II, 1, 62—65*). «Он нападал на первых лиц среди народа и на самый народ» (*Hor., Sat., II, 1, 69—70*). Гораций прямо пишет, что Люцилий осмеивал людей с неслыханной смелостью, которую можно сравнить только с аристофановской (*Sat., I, 4, 1—8*). Сохранившиеся до нас фрагменты и впрямь пропитаны ядом.

«Это мерзавец, бесстыжий вор», — говорит он об одном влиятельном человеке (*Lucil., II, 3*).

«В его облике, в его лице все — смерть, болезнь, яд», — пишет он о другом (*ibid., I, 28*). О пороках его

поэт замечает, что они подобны ползучему лишая или гангрене (*ibid.*, I, 28).

Об одном человеке, который совершал какие-то темные махинации, он выражается так:

«Публий Пав Тудитан, которого я знал квестором в Иберии, был врагом света и другом мрака» (*ibid.*, XIV, 11).

О другом он пишет:

«Я не буду касаться того, что он алчен, я опускаю то, что он негодяй» (*ibid.*, H., 8).

А вот как он описывает одного политического деятеля, судя по всему, демагога:

«И вот, говорю я, он заревет и завопит с Ростр и побежит, сломя голову, как вестник-бегун, взывая к квиридам» (*ibid.*, VI, 18).

Тут невольно останавливаешься и спрашиваешь себя, как осмеливался он, кампанец, даже не римский гражданин, с такой удивительной дерзостью издеваться над могущественными людьми Рима? Ведь даже в демократических Афинах актеры трепетали, надевая маску Клеона или его клеветов, — и недаром, ведь сам Аристофан чуть не погиб. Что же сказать о Риме, государстве бесконечно более аристократическом, государстве суровом, граждан которого не научили издревле чтить поэтов и смотреть на них как на своих учителей?! Даже сам Цицерон, ученейший и просвещеннейший человек, возмущался смелостью Аристофана:

«Кого комедия не затронула, вернее, кого не терзала? Допустим, она задела народных вожаков, негодяев, питавших мятежные намерения по отношению к государству, — Клеона, Клефонта, Гипербола. Стерпим это, хотя было бы лучше, чтобы порицание таким людям высказал цензор, а не поэт. Но оскорблять Перикла, после того как он уже в течение многих лет пользовался величайшим авторитетом... произносить эти стихи на сцене было не более пристойно, чем если бы наш Плавт или Невий захотели поносить Публия и Гнея Сципионов, а Цецилий — Марка Катона... Наша жизнь должна подлежать суду магистратов и рассмотрению по закону, а не суду поэтов, и

мы должны выслушивать хулу только при условии, что нам позволят отвечать и защищаться в суде» (*De re publ.*, IV, 11).

При таком отношении легко угадать, что могло ожидать римского Аристофана. Гораций передает забавную сцену. Он открыл старому юристу Требатию Тесте, которого чтит как отца, свое намерение писать стихи в духе Люцилия. Старик всплеснул руками и горестно воскликнул:

— Сын мой, ты не доживешь до седых волос! (*Sat.*, II, 1, 61—62)

Опасения Тесты казались более чем справедливыми. В дни 2-й Пунической войны был такой случай. Прибыл в Рим поэт, тоже хорошего рода, тоже кампанец, тоже задумавший возрождать Аристофана. Звали его Гней Невий. Со сцены он осыпал насмешками римских политиков. И что же? Кончил он весьма плачевно. Первые лица в государстве обвинили его в оскорблении личности. Его заключили в тюрьму, откуда, правда, быстро освободили народные трибуны, но его поэтическая карьера была закончена. Его заставили уехать из Рима, и только Сципион Старший, которого он в свое время высмеивал, великодушно протянул несчастному поэту руку помощи. Этот печальный пример кого угодно мог отвлечь от желания подражать Аристофану.

Но удивительное дело! Ничего похожего не случилось с Люцилием. Римляне с редким терпением, даже, я бы сказала, с кротостью сносили его насмешки. Не берусь, конечно, утверждать, что никто из тех, кто стал мишенью его ядовитых стрел, не испытал чувства обиды или гнева. Но достоверно одно. *Никто и ни разу* не попытался отплатить насмешнику или хотя бы зажать ему рот. Люцилий, по выражению Горация, «изранил» Метелла Македонского, человека сумрачного и надменного (*Hor. Sat.*, II, 1, 67—68), сына того самого Квинта Метелла, который изгнал в свое время из Рима Невия. Отчего же Метелл не последовал примеру отца? Отчего он не воспользовался своим положением, а молча, стиснув зубы, стоял под градом ядовитых насмешек этого нового Аристофа-

на? Какая сила удерживала его? А ведь римские аристократы были вовсе не из тех людей, которые способны стерпеть оскорбление. Более того. Тот самый Цицерон, который так сурово осуждал дерзость аттических поэтов, с неизменным восхищением говорит о Люцилии. В чем же дело? Чем он заморозил квиритов?

Этой тайны мы никогда не узнаем. Быть может, одна из причин кроется в том, что римляне, привыкшие смотреть на театр как на милую забаву, искренне возмущались, видя, как эти лицедеи дерзают высмеивать то, что они чтут как святыню. Сами авторы, писавшие для сцены, были чаще всего бывшие рабы, как Теренций, или актеры, как Плавт. А тот, кто играл на сцене, не мог быть римским гражданином. Люцилий же писал не для сцены. Он был человеком самого светского воспитания и самого высокого круга. Он мог как равный говорить с любым из гордых римских аристократов.

Но и это не объясняет всего. Цицерон противопоставляет поэтам цензоров. Цензоров выбирали всенародно. Это были знатные и влиятельные люди. И все же, как мы знаем, даже цензорам приходилось терпеть ожесточенные нападки и месть униженных ими людей. Почему же такой мести избежал Люцилий? Здесь есть что-то странное. Какое-то присущее ему удивительное очарование, которому покорился Рим. Я думаю, что один из секретов этого обаяния заключается в том, что Люцилий вовсе не был желчным циником или легкомысленным зубоскалом, у которого нет ничего святого. Он взял в руки «ювеналов бич» лишь для того, чтобы очистить Рим от грязи и скверны. Он клеймил порок во имя высоких идеалов, и идеалы эти были *римскими доблестями*. «Он напал на первых среди народа и на самый народ... — говорит Гораций, — милостив был к одной только доблести и к друзьям доблести» (*Sat., II, 1, 69—70*). «Он чистил Рим, не жалея соли» (*Hor. Sat., I, 10, 3—4*). Доблесть же воспевал. Вот как он описывает эту доблесть:

«Доблесть, Альбин, заключается в том, чтобы уметь воздать истинную цену всему, что нас окружа-

ет, всем тем вещам, среди которых мы живем. Доблесть — это знание того, что для человека действительно полезно, что почетно, что хорошо и что дурно, что вредно, безобразно, бесчестно. Доблесть — умение определить пределы и границы каждой вещи. Доблесть в способности понять истинную цену богатства. Доблесть в умении воздать каждой вещи тот почет, который она заслуживает. Доблесть в том, чтобы быть врагом и противником дурным нравам и дурным людям и, напротив, быть защитником хороших людей и хороших нравов. Их подобает чтить, им желать добра, с ними жить в дружбе. Кроме того, она в том, чтобы выше всего ставить благо родины, затем — благо родителей, ниже всего — личное благо» (Н., 23).

Однако пусть не подумает мой читатель, что этот изящный, светский и веселый человек был суровым и мрачным пуританином, который всю жизнь лишь проклинал и обличал. Вовсе нет. Лиру свою он посвятил не одним гражданским мотивам. Как и все римские поэты, он был послушным рабом Венеры. В его книгах то и дело мелькают какие-то красавицы. Некая Гимнида со знойным лицом, поющая чарующие песни (Н., 80—81); еще какая-то дама, кажется, булочница, с которой он пил из одной чаши и, по его выражению, «соединял губы с ее губками» (VIII, 1). Какая-то девушка, которую поэт рисует совершенно прелестным существом, «ибо она грациозна, резва, ибо у нее чистое сердце, ибо она похожа на ребенка» (VIII, 6). Слова, напоминающие русскому читателю строки Лермонтова: «Как мальчик кудрявый, резва». Но главное, у него была целая книга, озаглавленная «Коллира». Из книги этой не дошло ни строчки, но античный комментатор пишет, что Коллирой звали возлюбленную поэта, которую этот ученый сравнивает с Горациевой Лалагой* (*Porph. ad Hor. Carm. I, 22*,

* Определить происхождение этой дамы по ее имени невозможно, так как римские поэты всегда скрывали имя своей избранницы, давая ей условное греческое имя, имевшее то же число слогов, что и подлинное.

10). Той самой Лалагой, которой посвящены одни из самых сильных строк во всей латинской поэзии:

Pone me pigris ubi nulla campis
arbor aestiva recreatur aura,
quod latus mundi nebulae malusque
Juppiter urget;

pone sub curru nimium propinqui
solis in terra domibus negata:
dulce ridentem Lalagen amabo,
dulce loquentem.

«Брось меня в ледяные поля, где ни одно дерево не живет теплое дыхание ветра, в тот край мира, который мрачный Юпитер гнетет тучами. Брось под самую колесницу солнца, в землю, где нет человеческого жилья, — все равно я буду любить чарующую улыбку Лалаги, ее чарующий голос» (*Carm.*, I, 22).

Но, как я уже говорила, эта книга для нас безвозвратно потеряна, и мы не знаем, была ли эта Коллира неверной и лукавой, как те прелестные изменницы, которых описали нам Катулл и Проперций, и извела ли она своего любовника так, как эти дамы.

И вообще его отзывчивая и пламенная душа, как арфа, легко откликалась на все потрясения. «Он поверял все свои тайны книгам, как верным друзьям: плохо ли ему было, хорошо ли, он бежал только к ним, а не к кому иному: так что вся жизнь старика открыта для нас и описана, словно на обетных табличках» (*Hor. Sat.*, II, 1, 28—34).

И обо всем он писал с невероятным воодушевлением и пылкостью — черта, вообще свойственная латинской поэзии и римскому темпераменту. Вот, например, одно описание его состояния: «И вот сейчас в этой величайшей скорби, среди этого бездоннейшего отчаяния, среди этих сомнений взошло для меня солнце спасения» (V, 3).

Круг его интересов поистине огромен. То он рассуждает о латинском языке и литературе и издевается над стилем ораторов-исократиков (*Gell.*, XVIII, 8), то с восторгом описывает какого-то борца, который превосходно фехтовал на палках (IV, 1—2), то рассказывает о своем путешествии в Сицилию, где пере-

межаются забавные сценки на постоянных дворах, на которых он пил, по его выражению, «мучительное вино» (*H., 155*), и картины природы:

«Но все наши приключения были игрой, ерундой, все, говорю я, было ерундой, игрой и забавой, а вот тяжкий труд начался, когда мы достигли границ Сетии: горы, способные привести в отчаяние даже козу, все эти Этны, все эти головокружительные Афосы» (*III, 8*).

После всего этого я ничуть не удивляюсь, что он высмеивал суровые пуританские законы Катона, ограничивающие расходы на обед (*Macrob., III, 17, 5*).

Этот-то Люцилий сделался близким другом Сципиона и Лелия.

ХИ

Мы не знаем, как и когда познакомился Люцилий с главным «другом доблести», со Сципионом Африканским. Но в один прекрасный день он переступил порог этого гостеприимного дома, где годами жили Полибий и Панетий. Его усадили за простой стол, перед ним поставили скромное блюдо из овощей, и он стал есть под непрерывные шутки гостей. Гораций описывает, как поэт увидел совсем близко от себя в домашней обстановке героя, «которому дал славное имя разрушенный Карфаген», и «ласкового мудрого Лелия». Прежде он видал их только на Форуме, где они были как бы затянuty в строгий пояс официальных светских приличий. Там, высоко на Рострах, они казались ему как бы актерами в котурнах и пурпурных плащах, стоящими на подмостках. И вот он увидел их сошедшими со сцены и снявшими свой пояс. Начались игры и самые непринужденные шутки (*Hor. Sat., II, 1, 65—74*).

Люцилий попал в обстановку кипучих споров и необычайного напряжения мысли. Здесь все обсуждалось и все подвергалось сомнению, здесь говорили о событиях седой древности и новых политических теориях, здесь обсуждались последние веяния литературы и философские течения, здесь говорили о бо-

гах и о судьбах души после смерти. Никогда еще Люцилию не было так интересно. В глазах его разом померкли и показались скучными пышные пиры богачей, столы которых ломились от роскошных яств (*Cic. De fin., II, 8*). И больше всего его привлекал и интересовал сам хозяин — Публий Африканский. Ему нравились и удивительная простота этого знаменитого человека, и богатство его мыслей, и благородный нрав, и блестящее остроумие. Ему доставляло необыкновенное наслаждение смотреть на Форуме, как Сципион повергает одного врага за другим. Эти великолепные поединки он включал потом в свои сатуры*. Но случалось, что сцены, разворачивавшиеся после Форума, были еще увлекательнее этих битв. «Наш Публий Корнелий», рассказывает поэт, возвращался домой. «Мы толпой следовали за ним». По дороге Сципион изощрялся в остроумии по адресу какого-то влиятельного человека, высмеивал его развлечения и «искусственный блеск». Его меткие слова летели, как копья (*H., 82*).

Но Люцилий делил не только игры и развлечения Сципиона. Когда тот поехал на опаснейшую войну в дикую Испанию, поэт без колебания последовал за ним (*Vell., II, 9*). Он описал свои приключения; и, по словам Горация, с его страниц встает образ Сципиона, «справедливого и мужественного» (*Sat., II, 1, 16—17*).

Однако их отношения вовсе нельзя представлять как безмолвное, восторженное преклонение с одной стороны и снисходительное внимание — с другой. Напротив. Люцилий не стеснялся осыпать своего знаменитого друга самыми бесцеремонными и колкими насмешками. Публий Африканский, как помнит читатель, считался лучшим оратором своего времени. При этом языку его свойственна была какая-то особая кристальная чистота, словно в речах он желал быть столь же аккуратным, как в жизни. Вот над этой-то рафинированной чистотой, над этим удивительным пуризмом и издевался Люцилий:

* См., например, *Cic. De Or., II, 253*. Мы знаем, что Люцилий описал весь судебный поединок между Сципионом и Азеллом.

— Чтобы казаться более изящным и знающим больше других, ты стал говорить...

И тут он начинает передразнивать и вышучивать произношение и язык Публия (*S.*, 18).

Горация восхищало, как спокойно и просто принимали Сципион и Лелий насмешки поэта (*Sat.*, II, 1, 65—68). Однако, зная характер Публия, я не сомневаюсь, что кто-кто, а уж он-то в долгу не оставался.

Но эта шуточная война не омрачала их дружбы. Постепенно Люцилий все более и более подпадал под влияние Публия Африканского. Он повторяет его слова*, он воспринимает его мысли, его идеалы. Даже самому названию своих поэм, названию столь необычному, он, по-видимому, был обязан Публию и его друзьям. Он поклоняется тем же богам, что и Сципион, и ненавидит того же врага, которому тот объявил войну. Читатель, который внимательно изучит все, что осталось от этого блистательного кружка, постепенно начинает понимать, что это за враг. Его образ встает со страниц Полибиевой истории, он мелькает перед нами во фрагментах Люцилия, он обрисован во весь рост в речах Сципиона. Мы уже хорошо различаем его черты, мы видим, буквально осязаем этого врага. Кто же он, этот враг? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сказать несколько слов об эпохе, в которую жили наши герои.

Век этот наследовал блестящей и поэтической эпохе Сципиона Старшего, эпохе, которая разбудила все дремлющие силы римского общества. Римляне словно вырвались к свету и радости, как их далекие потомки в эпоху Ренессанса. Разом, как по волшебству, родились театр, поэзия, ораторское искусство. Время 3-й Пунической войны было по отношению к этому времени словно знойным летом, сменившим нежную весну. Мы видим уже не наивных варваров, страстно жаждущих знаний, а людей вполне просвещенных, утонченно образованных, которые запросто говорят с мудрецами и философами Греции. Изменился и сам город. Последние сто лет в Рим непре-

* См. примеч. 52.

рывным золотым потоком лились бесценные сокровища эллинского искусства, и Рим ныне буквально сиял тысячами шедевров. Метелл Македонский привез изумительные скульптуры работы Лисиппа, он построил портик и украсил его статуями, которые образовывали прекрасный ансамбль. Он же первым воздвиг храм из мрамора по образцу тех, которые видел в Элладе (*Vell., I, 11*). Это великолепие завершил Муммий, который привез статуи и картины уже из самой Греции.

В жизни и интересах римлян произошли большие изменения. Подобно тому как ребенок часто проявляет совершенно поразительные способности в самых разных областях, но потом, взрослая, к величайшему разочарованию родителей одно за другим забывает свои былые увлечения, чтобы всецело с головой отдаться одной всепоглощающей страсти, одному призванию — если, конечно, этому ребенку суждено действительно великое будущее, — так и римляне предшествующей эпохи с детским восторгом хватились за все — от театра до астрономии — и везде проявляли блестящие способности. Теперь же они, словно достигнув зрелости, успокоились, перестали суетиться и разбрасываться и выбрали наконец то, к чему и были предназначены. Постепенно они охладели к театру. Пусть спектакли стали теперь великолепнее. Пусть вместо импровизированных подмостков была сцена, которую Люций Муммий украсил золотом. Пусть играли теперь не жалкие практиканты, на игру которых Плавт не мог смотреть без слез, а настоящие актеры, все же увлечение театром ослабело. Гениального Плавта сменил талантливый Теренций, того, в свою очередь, Афраний и какие-то совсем уж неизвестные авторы, а потом — мимы. Место театрального искусства занимает сатира, а затем и лирика. Ораторское искусство, только-только зарождавшееся в предыдущую эпоху, дало взлет необыкновенный. Римское право было создано трудами семейства Сцевола. Наконец появилась настоящая история. Словом, все предвещало, что грядет удивительный всплеск культуры.

Но наряду с этим появляется в обществе что-то мрачное, угрожающее. По словам Полибия, молодежь стала предаваться низким страстям и порокам, «переняв от эллинов эту слабость. Распущенность как бы прорвалась наружу в описываемое время» (XXXII, 11, 4—6). Люцилий рисует нам этих «новых» юношей. В их домах лежали роскошные ковры* (Lucil., I, 11). А пол вестибула, небольшой прихожей, ведущей в атриум, был выложен мозаикой, которая переплеталась в причудливый рисунок (Люцилий — Cic. De or., III, 171). Время эти изнеженные щеголи проводили в тавернах, которые в Риме назывались *попины*. Люцилий говорит об этих заведениях с глубоким отвращением. Он называет попину «нечестивой и отвратительной» (I, 9). Носили они туники с длинными рукавами, украшали себя золотом, надевали медальоны (Люцилий — Lucil., II, 11). Вот как описывает жизнь этих мотов Цицерон, перелагая одну из сатур Люцилия: «Нарядные, элегантные, имеющие лучших поваров и кондитеров, которым доставляют рыбу, птицу, дичь — все это самое лучшее... у них, как говорит Люцилий, «струится золотистое вино без всякого осадка, они соединяют свои пиршества с забавами...; красивые мальчишки прислуживают за столом; соответствует этому одежда, серебро, коринфская бронза, сама комната, дом» (Cic. Fin., II, 8, 25).

А вот один из этих щеголей наряжается на вечеринку: «Я выбрился, выщипался, вычистился, выскоблился, разукрасился» (Люцилий — Lucil., VII, 8). У них длинные кудри. «Они пошевелили головами, так что стали развиваться длинные лохмы, падающие на лоб по их обычаю» (Люцилий — Lucil., VII, 21). А деньги свои они расходуют на раков и осетров (Люцилий — Lucil., H., 30). Но хуже всего то, что у этих людей культ денег. «Золото и почести для них... доказательство доблести: сколько ты имеешь этого добра, столько ты и будешь стоять сам и тако-

* При чем даже различались ковры с односторонним ворсом и мягкие двусторонние с длинным ворсом.

вым тебя и будут почитать (в их кругу. — Т. Б.)» (Люцилий — *Lucil.*, Н., 36).

Как ни странно, знаменем своим эти люди выбрали эллинство. Воспитанные в преклонении перед Грецией, они восхищались ею от всей души. Но не потому, что она была родиной Эсхила, Аристофана или Платона, которых они не читали, да и вряд ли могли понять, а потому, что такое восхищение было модно, потому, что именно оттуда, из этого греческого рая шли к ним все эти ковры с двойным ворсом, туники и кулоны; потому, что оттуда звали они мастеров, чтобы сделать мозаичный пол в своей прихожей. И им было ясно, что греки, конечно, намного лучше римлян, ибо все, что они ценили, шло от греков, а у римлян было гораздо хуже. То же, что дали миру римляне, они не могли понять, ибо не понимали, что такое римские доблести. Кроме того, их пленяли греческие нравы, такие легкие и веселые, так приятно отличавшиеся от нравов соотечественников, которые привыкли все воспринимать чересчур серьезно, подчас почти трагично — даже такую простую и приятную вещь, как любовь, — над которыми всегда довлел суровый долг, отравлявший всю ту золотую чашу бытия, которую они с таким упоением подносили к своим губам. Так же просто относились они к обогащению, считая возможным наживаться, грабя провинции. Они охотно перенимали у греков изящные пороки — ухаживали за красивыми мальчиками, пили вино и пр. Полибий прямо пишет, что разврат и другие пороки пришли к римлянам от греков (*XXXII*, 11, 6). Эти люди были эпикурейцами, ибо им казалось, что в этом учении они отыскали свой идеал.

Все греческое было модно. Даже предметы домашней обстановки называли на греческий лад. Люцилий уморительно передает, как они с важностью произносили «клиноподы» и «лихны», а это всего-навсего ножки кровати и светильники (*Lucil.*, I, 12). Вот как описывает одного такого щеголя Полибий: «Он... был человек пустой, болтливый и величайший самохвал. С ранней юности он увлекался эллинским об-

разованием и языком и переступал в этом отношении всякую меру, по его вине стали дурно относиться к увлечению эллинизмом... Во всей своей жизни он, как человек сластолюбивый и изнеженный, подражал тому, что есть наихудшего в эллинизме» (курсив мой. — Т. Б.). Человек этот был самый ничтожный и трусливый (XXIX, 12). Притом он почти стыдился имени «римлянин». Другой, некий Альбуций, пошел еще дальше. Он учился в Греции и стал, по словам Цицерона, настоящим греком (*Brut.*, 131). Он был последователем Эпикура и в философии, и в жизни. Утопал в неге и роскоши. Люцилий чудесно рисует его, как он сидит с изящным эротическим кулоном на шее и ест мясные деликатесы (II, 9). Но хуже всего было то, что Альбуций был, по свидетельству того же Люцилия, «мерзавцем, бесстыдным вором» (*Lucil.*, II, 3). Управляя Сардинией, он ограбил жителей. Но в Риме были еще законы. Альбуций был уличен и изгнан (*Cic. De Off.*, II, 50). Изгнание свое он проводил в Афинах, вероятно, жалуясь образованным эллинам на невежество и отсталость своих соотечественников. Так вот, этот уличенный вор также стыдился имени «римлянин». В одной из сатур Сцевола Авгур говорит ему:

— Ты, Альбуций, предпочел бы быть греком, а не римлянином или сабинянином, соотечественником Понтия, Тританна, центурионов, величайших людей, героев и знаменосцев (*Lucil.*, II, 19).

Все приведенные фрагменты — обрывки бесед, которые вели между собой друзья Сципиона. Вот почему встречаются почти дословные совпадения. Люцилий издевается над туниками с длинными рукавами, *chirodytae* (I, 11), а если помнит читатель, Сципион обвиняет Галла в том, что он носит именно такую тунику⁵¹. Оба совершенно в одинаковых выражениях описывают, как прихорашивался и общипывался щеголь. Люцилий, обличая современные танцы, пишет: «Они приходят, чтобы глупо скакать среди шутов» (I, 19). Сципион, клеймя школу танцев, говорит: «Они идут в школу плясунов среди шутов» (*Macrob.*, III, 14, 7). Даже слово употреблено то же самое!⁵²

Мы знаем, кто задавал тон в кружке. Сципион не просто считал подобных людей вредными для Рима, он физически их не переносил. Они воплощали в себе все то, что он более всего ненавидел. Он презирал деньги, а им деньги представлялись главным в жизни. Он защищал несчастных и обиженных и боролся с их притеснителями, а они-то как раз и были этими притеснителями. Он ненавидел роскошь и все внешние хвастливые проявления богатства, а они окружали себя ими. Он был «изысканным поклонником свободных искусств», и их понимание эллинства казалось ему пошлым и раздражало невыносимо. Он был римлянином до мозга костей и больше всего гордился этим, и их презрение к собственной родине было для него величайшим оскорблением.

Если бурную, цветущую эпоху Сципиона Старшего можно сравнить с Ранним Ренессансом, то время, в которое жили наши герои, безусловно, соответствует Возрождению Позднему. И вот мы видим, что и в ту эпоху наиболее глубокие и чуткие умы указывали на те же болезненные явления, которые так печалили и беспокоили друзей Сципиона. Шекспир, настоящий певец Ренессанса, написавший самые светлые, самые радостные комедии, в конце жизни с ужасом смотрит на окружающий его сумрак. Он создает пьесы мрачные, комедии лишь по названию, где торжествуют низкие пороки — «Мера за меру», «Троил и Крессида», «Конец делу венец», — и свои великие трагедии, где брат убивает брата, сестра — сестру, сын предает отца, а дочери в бурю выгоняют старого отца ночью из дома. Особенно эта тема, конечно, звучит в «Гамлете»:

О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться!
О мерзость! Как невыполотый сад,
Дай волю травам — зарастет бурьяном.
С такой же безраздельностью *весь мир*
Заполонили грубые начала (курсив мой. — Т. Б.).

(Пер. Б. Пастернака)

В 66 сонете Шекспир говорит то же самое уже от своего собственного имени:

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместный почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...

(Пер. С. Маршака)

Эти «грубые начала», которые заполонили весь мир, этот торжествующий порок, разряженный в золото, — это и есть то самое, о чем писал Люцилий. То же находим мы у Боттичелли. Он, в картинах «Весна» и «Рождение Венеры» изумительно изобразивший, как сама Красота нисходит в мир, в конце жизни пишет «Покинутую», обе «Пиеты», «Клевету» и «Мистическое распятие» — картины, которые можно сопоставить лишь с великими трагедиями Шекспира. Венера превращается там в Истину, которая с полными слез глазами глядит на царящее кругом зло.

Что это? Первые признаки смертельного недуга или болезнь роста? Не берусь судить. Во всяком случае, то вовсе не была эпоха упадка, и закат Европы был еще далеко. В Италии в XVI веке родилась наука, Боттичелли наследовали Рафаэль и Микеланджело. XVII век дал Англии Ньютона, Свифта и Перселла. Это не говорит о вырождении. Быть может, эпоха Возрождения, вырвавшая все силы человеческого духа из темницы, давшая удивительных гениев, в то же время выпустила и силы зла, как это изображено на последней картине Боттичелли?* Можно предположить, что и в Риме происходили сходные явления.

Однако эти рассуждения могли бы завести нас слишком далеко. Вернемся к Сципиону. Мы знаем,

* Я имею в виду «Мистическое Рождество». Как гласит греческая надпись, сделанная самим Боттичелли, дьявол был выпущен в мир, но он будет снова заточен, как и изображено на его картине.

что он был не таким человеком, чтобы возмущаться в своем углу. Он объявил этим людям войну и боролся с ними всю жизнь, а его друзья, члены его кружка, следовали за ним. Полибий в своей истории, Люцилий в сатурах, Лелий и Сцевола — в речах — боролись с ними же.

ХІІІ

Главными отличительными особенностями Люцилия Цицерон считал ученость и необыкновенную светскость (*De or.*, I, 72; II, 25). Эти свойства позволяли ему, с одной стороны, легко сходиться с самыми разными людьми, так что он был приятелем чуть ли не всем римским аристократам, которые за изящные манеры готовы были простить ему подчас слишком колкие шутки; с другой — заставляли его всегда искать общества людей умных и образованных. Вот почему можно не сомневаться, что Люцилий близко познакомился с обоими знаменитыми друзьями Сципиона — Полибием и Панетием.

Беседы с Панетием были для него поистине бесценны. Видимо, именно благодаря Родосцу Люцилий проник так далеко в глубины философии. Он легко, шутя оперирует сложнейшими философскими понятиями, он разбирается во всех хитросплетениях этой науки, он даже переписывался с афинскими философами. Но все-таки этот насмешник так и не сделался правоверным стойком. Он высмеивает стоического мудреца почти в тех же выражениях, как делал это Цицерон. Порфирий пишет: «Стойки считают, что муж совершенной мудрости владеет всем. В этом смысле Люцилий говорит:

«Того, кто все это будет иметь (то есть совершенную мудрость. — Т. Б.), все же нельзя считать единственным красавцем, богачом, свободным и царем».

При этом Порфирий замечает: «Поэт говорит это не просто так, но чтобы высмеять стойков» (*Porph. ad Hor. Sat. I, 3, 124 = Lucil., H., 32*).

Зато Люцилий не устоял против могучих чар второго великого друга Сципиона — Полибия. И прежде

всего это видно из его отношения к народной религии. Он говорит о ней с неизменным презрением. Его насмешки над богами язвительны и злы и вовсе не похожи на добродушный юмор Аристофана. О чудесном рождении римского царя Сервия Туллия, произошедшего от огненного духа, сочетавшегося со смертной женщиной, он рассказывает примерно в тех же выражениях, в каких просветители XVIII века говорили о Непорочном Зачатии (Н., 78). Описание совета богов очень напоминает комические совещания богов у Лукиана. Небожители тщеславны и бестолковы. Аполлон очень обижается, что его называют красавцем, как развратного мальчишку. В конце концов почтенные олимпийцы настолько запутываются, что Нептун замечает, что они не сдвинутся с места, если

Орк не вышлет самого Карнеада* (I, 15—17).

Однако, как ни ядовиты эти насмешки, они сами по себе еще ничего не доказывают. Конечно, мы знаем, что Полибий был скептиком, но он не был единственным скептиком на свете, и у нас нет ни малейшего основания объявлять его учеником каждого вольнодумца. И мы не сделали бы этого, если бы не одно место из Люцилия.

Поэт описывает невежественного и темного человека:

«Он трепещет перед пугалами и Ламиями, *которых изобрели Нумы Помпилии и Фавны*, им он приписывает все. Подобно тому, как маленькие дети верят, что медные статуи — живые люди, так и они принимают за правду *лживые сновидения* и думают, что у медных статуй есть сердце. Все это — картинная галерея, ни крупницы правды, все ложь» (XV, 19; курсив мой. — Т. Б.).

Поистине замечательная мысль! Нума Помпилий, второй царь Рима, наследовавший воинственному Ромулу, считался творцом римской религии. К нему возводили чуть ли не все римские культы. Легенда го-

* Знаменитый философ-скептик, о котором шла речь выше.

ворит, что сами боги являлись мудрому царю, открывали ему тайны мироздания и учили, как воздавать им должные почести. Фавн же — древнеиталийское божество лесов, где находился в старину его оракул (*Prob. Verg. Georg., I, 10; Ovid. Fast., IV, 649—664*). Но Вергилий называет его древним царем Лациума (*Aen., VII, 46—47*).

Мы помним, что Полибий считает религию искусным созданием мудрых и ловких законодателей, которые выдавали свои собственные мысли за божественные сны и вдохновения. Цель же их заключалась в том, чтобы запугать невежественную толпу разными ужасами и держать ее в узде. Именно эту теорию и развивает Люцилий, рисуя Нуму и Фавна такими законодателями. Толпу он сравнивает с детьми, божества — с буками и другими пугалами. Сны же и видения называет лживыми. Замечу, что, быть может, Люцилий еще ближе к Полибию, чем мы думаем. Известно, что в не дошедших до нас частях своего сочинения Полибий описывал древнейшую римскую историю, а также религию и культ. Очень вероятно, что он останавливался подробно на рассказах о царе Нуме и заносил его в разряд обманщиков-законодателей.

Уже из этого маленького примера видно, какую могучую власть приобрел Полибий над умами своих друзей. Мы видим, что почти все члены кружка Сципиона заразились его скепсисом. И тут возникает любопытный вопрос. А сам наш герой и его alter ego Лелий? Неужели и они забыли веру отцов и стали егемеристами?

Но здесь перед нами встают непреодолимые трудности. До наших дней сохранилось слишком мало произведений обоих друзей. Кроме того, даже когда до нас доходят фрагменты, где Сципион или Лелий как будто совершенно ясно высказывают свои религиозные чувства, историки подозревают, что перед нами не истинное мнение, а политический расчет. Так обстоит дело с той знаменитой речью Лелия об обязанностях авгура, где он выступил как защитник

религии предков. Как ни горячо говорил Лелий, как ни трогательно было его восхищение народной религией, как ни глубоки умиление и сердечная боль, звучавшая в его словах, он не смог убедить ученых в своей искренности. Они считают, что Гай действовал как верный ученик Полибия. Ведь историк, говоря об изобретении религии, заключает: «Древние намеренно и с расчетом внушали толпе такого рода понятия о богах... напротив, нынешнее поколение, отвергая эти понятия, действует слепо и безрассудно» (*Polyb., VI, 56, 12*). Именно не желая быть безрассудным слепцом, говорят нам, Лелий и выступил в защиту религии. Что можно возразить против подобного рассуждения?

Еще меньше мы знаем о религиозных чувствах Сципиона. Он происходил из одной из самых набожных семей Рима. Отец его, Эмилий Павел, был авгуром и поражал современников своей глубокой религиозностью, при выполнении своих обязанностей, обнаруживая «поистине древнее благоговение перед богами» (*Plut. Paul., 3*). В самые роковые минуты своей жизни он с глубокой верой обращался к бессмертным. Вернувшись в Рим после тяжелой болезни, он тут же буквально бросился выполнять свои жреческие обязанности, а на другой день один, несмотря на страшную слабость, долго молился и творил обряды, благодаря за все небеса. Столь же набожна была его сестра, жена Великого Сципиона. Дочь ее Корнелия также была человеком глубокой религиозности и в этом духе воспитала своих сыновей.

Вот в каком окружении воспитывался Сципион. С ранней юности он пристрастился к чтению греческих книг. Однако эти книги были не из тех, что способны расшатать веру. Его любимыми писателями на всю жизнь стали Платон и Ксенофонт. Этот последний, как известно, был очень верующим и благочестивым человеком, свято чтившим народную религию. Платон же ее отвергал, но взамен создал собственное, возвышенное и мистическое, религиозное учение, очень близкое к пифагореизму. Таковы были увлечения юного Публия, когда он познакомился с

Полибием. Надо думать, названный отец сделал все, чтобы превратить своего воспитанника в настоящего мудреца. Но насколько он преуспел? Сделал ли он своего ученика атеистом, как он сам, или же тот сохранил веру детских лет? Мы видели, как смотрят на это современные ученые. Но есть и другая точка зрения. Она принадлежит Цицерону. Оратор рисует нам обоим друзей людьми глубокой религиозности. Сципион рассказывает у него друзьям о своем чудесном видении: он видел небо, родину наших душ, населенную прекрасными и разумными звездами, видел блаженные души усопших праведников, которые обитают в области Млечного Пути. А Лелий у него решительно говорит, что ему неприятен новомодный скептицизм греческих философов и он разделяет веру предков в бессмертие души.

Не говорит ли это о том, что религиозная вера в духе Платона и Пифагора, вера, которой наполнено чудесное видение Сципиона, соответствовала глубинным взглядам нашего героя?

В то время как Сципион и его друзья вели мирные и ученые беседы, на Республику надвинулись зловещие тучи. Казалось, налетевший ураган сметет Рим с лица земли. И первый порыв бури пришел из Испании.

РИМСКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

«Чеченские войны» Рима. Полководец и его строгость. Бани при лагере и чаши для охлаждения напитков. Партизанская война.

И в памяти народов навсегда
Нуманции засветится звезда!

Сервантес. Нумансия

I

Испания была кровоточащей раной на теле Республики. Почти ежегодно туда уезжали сотни молодых новобранцев. Война велась в ужасных условиях, она не прекращалась ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой (*Polyb., XXXVI, 1*). Битвы происходили ежедневно, без плана, без порядка, без предупреждения — и римляне не знали ни минуты покоя. Иногда они даже спали, не снимая доспехов (*App. Hiber., 77*). Они жили в пустынных равнинах, в диких горах, в болотах. Они терпели нужду во всем: в одежде, в продовольствии, в удобном жилище. Они страдали то от холода, то от зноя, то от сырости. Вода, которую они пили, была так плоха, что среди них то и дело вспыхивали эпидемии желудочных заболеваний (*App. Hiber., 54; 78*). В 137 году до н. э. в войске начался такой голод, что солдаты съели всех

вьючных животных, и многие из них умерли от истощения (*App. Hiber.*, 82).

Попавших в плен ждали муки. «У них (иберов. — *T. B.*) в обычае гадать по внутренностям пленников» (*Strab.*, III, 3, 6). Передают такой случай — за одну знатную нумантинку сваталось двое женихов. Отец объявил, что отдаст дочь тому, кто принесет правую руку римлянина (*Vir. illustr.*, 59).

Война тянулась бесконечно. Замечательно, что все римляне той эпохи, буквально все, которых мы знаем, сражались в Испании. Там воевали Эмилий Павел и оба его сына — Фабий и Сципион, воевали Тиберий Гракх и его сыновья, столь знаменитые впоследствии законодатели, воевали Авл Помпей и Метелл Македонский, Гай Лелий, Децим Брут, поэт Люцилий — словом, нет, кажется, ни одного римлянина, который не побывал бы полководцем, солдатом или офицером в этой злосчастной стране. Полководцы бывали хорошие, как Метелл, и плохие, как Помпей, честные и благородные, как Тиберий Гракх Старший, и лживые и бесчестные, как Лукулл*; одни поражали своей смелостью, как Децим Брут, другие изумляли суровостью, как Метелл, третьи — удивительной дисциплинированностью, как Фабий Эмилиан (*Vell.*, II, 5). Но война так и не сдвигалась с мертвой точки. Почему же римляне, покорившие весь мир, ничего не могли сделать с дикой, раздробленной Испанией?

Для историков XIX века все было очень просто. Для Моммзена ясно, что виновата прогнившая римская аристократия, которая не могла справиться с кучкой воинственных дикарей, а непрерывные восстания в стране показывают жестокость и неумелость римского управления. Сейчас, на исходе XX века, мы уже не можем так рассуждать. Слишком много горьких уроков дала нам жизнь. Мы невольно спрашиваем себя, как могло случиться, что римляне покорили величайшие державы тогдашнего мира, еще недавно сокрушили Македонию, если их аристократия и все управление насквозь прогнили, и почему толь-

* Под началом которого воевал наш герой в 151 году.

ко в случае с Испанией открывались все эти ужасные недостатки? Далее. В Испании сражались перво-классные полководцы, такие, как Метелл, еще недавно смиривший Македонию. Почему же только здесь, только в этой Испании, они оказались совершенно бессильны?

Ясно, что причину этого следует искать не в упадке и не в аристократии, а в чем-то другом. В чем же? Испания играла для Рима ту же роль, что Кавказ с Чечней для России. Это была горная страна, населенная дикими, воинственными варварами, которые в случае опасности уходили в горы и начинали оттуда партизанские действия. Замечательно, что справиться с этой войной не смог сам кумир всех немецких историков Наполеон, который потерпел поражение в России и оказался бессилён в той же Испании.

Бессильны были и римляне. Все привычные, веками усвоенные представления приходилось оставить. В другой стране разбить регулярную армию в генеральном сражении и захватить главные города значило одержать полную победу. В Испании же все было иначе. Можно было разбить варваров на поле боя. Можно было брать у них сколько угодно городов — Тиберий Гракх взял 300, Катон — больше чем пробыл там дней — могу себе представить, что это были за города! Что толку? Война пылала с прежней силой. Был только один способ покорить эту страну — построить там настоящие города, школы, приучить дикарей к цивилизации и оседлому образу жизни. Римляне прекрасно понимали это. Почти каждый полководец основывал в Испании город. И Страбон, автор I века н. э., рисует, какой стала эта страшная страна в его время:

«Турдетанцы... совершенно переменили свой образ жизни на римский и даже забыли свой родной язык. Большинство из них стало «латинскими» гражданами и приняло к себе римских колонистов. Так что все они почти обратились в римлян. И основанные теперь города... ясно обнаруживают перемену упомянутых форм гражданской жизни. Кроме того, все кельтиберы, принадлежащие к этому классу, на-

зываются *togati** Среди них находятся и кельтиберы, которые некогда считались самыми дикими из всех» (*Strab., III, 2, 15*).

Столь же странными представляются мне те страстные обличения жестокости римского управления, которые можно прочесть у Моммзена. Римское управление было, безусловно, очень дурным и очень жестоким, если сравнивать его с неким возвышенным идеалом гуманности и любви, который мы имеем в сердце. Но это же управление покажется нам весьма мягким и разумным, если мы взглянем на то, как обходились с подвластными народами европейцы, современники Моммзена.

Напомню судьбу североамериканских индейцев. «Индейцев истребляли... На них устраивали облавы, их травили собаками или подбрасывали им отравленную муку. Выдавалась плата за скальп индейцев: например, в Пенсильвании было истрачено 130 долларов за скальпы мужчин старше 12 лет и 50 за скальпы женщин. Был в ходу принцип, сформулированный генералом Шериданом: «Хороший индеец — это мертвый индеец»... Пока колонизаторы осваивали восточные районы Северной Америки, индейцев насильственно переселяли на Запад, причем применялись приемы, полностью предвосхищавшие сталинскую «ссылку народов». Индейцев загоняли в концлагеря, их селения сжигали, а потом, под вооруженной охраной, их гнали через весь континент. При таком переходе в племени Чероки, например, из 14 000 человек погибло 4 000. Но вскоре янки пришли и на Запад. Все соглашения, заключенные с индейцами, были нарушены. Генерал Уокер, комиссар по индейским делам, писал: «Когда имеешь дело с дикарями, так же, как с дикими зверями, вопрос о национальной чести не возникает». Индейцев согнали в резервации на земли, где они не могли себя прокормить. В Калифорнии число индейцев с 1850 до 1880 года сократилось от 120 000 до 20 000. Столь же свирепо ис-

* То есть «облаченные в тогу», национальную римскую одежду, олицетворяющую мирный образ жизни.

коренялись религиозные представления и обычаи. ... Тех, кто не хотел отказаться от своей религии, обрекали на голодную смерть. Детей с шести лет отбирали и отправляли в особые интернаты, где им запрещалось пользоваться родным языком. На каникулы их отдавали в слуги белым. Они были обязаны принять одно из христианских вероисповеданий. В 1884 году был принят уголовный кодекс, запрещающий индейские религиозные церемонии. Он был усилен в 1904 году и действовал до 1933 года (когда проблема уничтожения индейцев как нации была, видимо, решена). Индейское религиозное движение «Танцы духа» было подавлено расстрелами. Заключительным был расстрел в долине Вундед Ни в 1890-м: было убито 98 невооруженных воинов и около 200 женщин и детей. Кольер* приводит воспоминание очевидца о кучах трупов и отдельных телах, рассеянных по ущелью, где солдаты убивали убегающих. «Я видел младенца, пытавшегося сосать свою мать, покрытую кровью и уже мертвую». «Возможно, мир никогда не был свидетелем столь неумолимого и искусно осуществленного религиозного гонения», — говорит Кольер... — И вот результаты. Вместо 1 млн индейцев, населявших в XVIII веке территорию современных Соединенных Штатов, там осталось около 400 000. К 1925 году они занимали территорию, составляющую 2% от некогда принадлежавшей им земли. Из 600 племен 400 исчезло полностью»⁵³.

Дабы не создалось впечатления, что судьба североамериканских индейцев совершенно уникальна, я напомним об австралийцах. «180 лет тому назад нога европейца впервые ступила на землю Австралии... вскоре (1788 г.) там была основана первая английская колония. В истории аборигенного населения Австралии эта последняя дата стала роковой. Англия объявила Австралию «незаселенной страной». Коренные жители оказались вне закона на своей родной земле. Колонизаторам не удалось превратить охотничье аборигенное население в плантацион-

* Один из знатоков индейцев, долго живший среди них.

ных рабов, уак как оно не имело навыков земледельческого труда. Поэтому аборигенов просто сгоняли с земли, которая была нужна колонизаторам, а при попытке сопротивления безжалостно истребляли... Колонисты устраивали увеселительные «охоты» на аборигенов, расстреливая их из ружей. Во время карательных экспедиций уничтожались сотни и тысячи людей... Полицейские поджигали шалаши аборигенов, отделяли мужчин, женщин и детей друг от друга, убивали детей, разбивая им черепа о стволы деревьев, уничтожали целые племена, которым раздавали отравленные продукты». Жители Тасмании, — большого острова, расположенного близ Австралии, — были уничтожены поголовно, все до последнего человека, европейцами за 70 лет их господства. «Немногим лучше оказалась и судьба австралийцев. Уже к концу XIX века многие племена восточной Австралии и западного побережья были почти полностью истреблены или оттеснены в малопригодные для человеческого существования пустынные области центра. Сейчас их осталось около 50 тыс. (вероятно, одна шестая прежней численности)»*.

Рядом с этими страшными фактами бледнеют и меркнут все рассказы о злоупотреблениях римских наместников. Даже возмутительная история Лукулла или Гальбы. Этот Гальба заключил договор с одним лузитанским племенем, но потом вероломно его нарушил. В Риме его привлекли к суду, но он, как мы помним, избежал заслуженной кары, вынеся на руках мальчика-сироту, воспитывавшегося в его доме. Его обвинитель Катон говорит, что он погиб бы, «если бы не прибег к детям».

Мы ни разу не слышим, чтобы римляне перебили всех жителей какого-нибудь большого острова, например, Сардинии, как европейцы перебили всех жителей Тасмании. Чтобы они уничтожали иберов как диких зверей, сгоняли их в резервации, чтобы очистить от них территорию. Чтобы они официаль-

* Токарев С. Предисловие к кн. А. Элькин — Коренное население Австралии. М., 1952. С. 4—5.

но назначали плату за скальп испанца или травили их, как крыс. Всего этого в Риме не было и быть не могло. Мне представляется, что дело тут в том, что в Европе всегда была определенная идеология, позволявшая смотреть на завоеванных как на полуживотных, по отношению к которым позволено все. Сначала они были язычниками, затем неполноценной расой, наконец, тормозом на пути к прогрессу. У римлян же такой удобной идеологии не было. Поэтому, как ни велика была их национальная гордость, они все-таки всегда полагали, что их враги точно такие же люди, как они сами.

И еще одно. Нам очень много говорят о жадности и жестокости римских наместников, об их чудовищных злоупотреблениях. Но не странно ли, что мы так много знаем об этих злоупотреблениях, но ничего не слышим о беззакониях ассирийцев, персов и вообще всех бывших до римлян завоевателей? В чем тут дело? Очень просто. О римских наместниках мы узнаем из римских же судебных дел. Впервые в истории человечества покоренным народам дали право голоса и возможность судиться со своими властителями. А вели эти дела лучшие ораторы Рима. Из их-то пламенных, страстных речей мы и узнаем об ужасных преступлениях римских должностных лиц.

Однако вернемся к событиям в Испании.

Последним актом испанской войны стала война Нумантинская, вспыхнувшая в 143 году до н. э. Центром и средоточием ее стала неприступная крепость — «свирепая и гордая» Нуманция, как называли ее римляне (*Val. Max., II, 7, 1*), оплот всех партизан и разбойников. Сама природа превратила мятежный город в неодолимую твердыню. Он стоял на отвесном обрыве между двух рек и оврагов. Со всех сторон его густой стеной окружали леса. В крепость вела всего одна дорога, притом она была перерезана рвами и завалена острыми камнями (*App. Hiber., 76*). Боевые действия шли медленно, вяло. Одно время, когда в страну приехал Метелл Македонский, всем начало казаться, что близко окончание злосчастной войны. Но вскоре стало ясно, что, как ни блестяще ведет

военные действия полководец, у него не хватает сил ее закончить. Вот тут-то и разразилась катастрофа.

Быть может, читатель не забыл некоего Авла Помпея, «нового человека», которому некогда покровительствовал Сципион, но потом, увидав его двуличие и лживость, резко порвал с ним. Этот Помпей стал консулом в 141 году, стал почти обманом, обойдя Лелия, друга своего покровителя. Если бы он только знал, какие муки и опасности сулит ему этот консулат, ради которого он наделал столько подлостей!

Когда консулы бросили жребий, Помпею выпало ехать в Испанию. Даже Метелл не решался приблизиться к Нуманции, но Помпей смело подошел к городу. Трудно представить себе что-нибудь более жалкое и более позорное, чем все дальнейшие события. Сначала консул сделал было попытку осадить крепость, но был тут же выбит со своей позиции. Нумантинцы вскоре навели на него такой ужас, что он во все бросил осаду и двинулся к другой крепости, Терманции, воображая, что уж ее-то ему удастся захватить. Но тут его ждал новый удар. Он был разбит, потерял 700 человек убитыми, а затем его отрезали, лишили доступа продовольствия, а посланный за припасами отряд перебили. «Римляне были загнаны на крутизны и обрывы, многие из них, пехотинцы и всадники со своими конями, были сброшены в пропасть».

Слегка оправившись от поражения и утешившись тем, что взял несколько маленьких городков, Помпей вновь повернул к Нуманции. Решив, что взять ее силой совершенно невозможно, он задумал действовать измором и стал строить вокруг укрепления. Конец этого предприятия был самым плачевным. Нумантинцы непрерывно нападали на римлян, занятых работой, а тех, кто шел им на помощь, «они загоняли обратно в лагерь». Разгоняли они и фуражиров, привозивших съестные припасы.

«Стыдясь своих неудач и желая смыть с себя этот позор», Помпей решил не уходить на зимние квартиры, но оставаться в лагере, очевидно, надеясь, что совершит нечто славное. Но ничего, кроме новых бед,

это не принесло. Палатки оборудованы были плохо, снабжение не налажено, воины страдали от холода и голода. В лагере открылись повальные болезни. Римляне совершенно ослабели. Нумантинцы же настолько осмелели, что — вещь неслыханная! — бросали стрелы и камни чуть ли не прямо в римский лагерь. В конце концов Помпей не выдержал и покинул лагерь.

Тут он тайно завел переговоры с нумантинцами, соглашаясь на позорный для римлян мир. В это время прибыл его преемник. Нумантинцы пришли к нему и снова заговорили о мире. Очевидно, он и весь военный совет пришли в ужас, узнав, на какие условия готов согласиться Помпей. Помпей струсил и, по своему обыкновению, стал лгать. Он отпирался и говорил, что никакого договора не заключал. Его стали уличать во лжи собственные офицеры. Спор перенесен был в сенат. Отцы вовсе не поверили Помпею, а поверили нумантинцам. Бывший консул едва не погиб — его собирались выдать нумантинцам, — и спасла его лишь всегдашняя изворотливость (*App. Hiber.*, 76—79).

В 137 году до н. э. в Испанию прибыл новый консул, Гостилий Манцин. Этот злополучный вождь навеки запятнал свое имя клеймом несмываемого позора. Имея 20 тысяч человек, он дал себя запереть в ущелье врагу, насчитывающему всего 8 тысяч! В результате Манцин подписал позорный договор, по которому капитулировал и фактически отказывался от этой части Испании. Мир вызвал бурю возмущения. Рим отказался его ратифицировать. В Испании сменилось еще несколько вождей, но одно из двух — или вожди эти были плохи, или Помпей завел войну в такой тупик, что оттуда не было выхода. Положение становилось все хуже и хуже.

Терпение квиритов лопнуло. Они чувствовали себя так, будто их осыпали пощечинами. Они буквально задыхались от гнева и возмущения. Они знали, что у них есть средство разом покончить с унижением и позором. Но они откладывали его на крайний случай. Крайний случай настал. И римляне прибегли к этому средству.

Осенью 135 года до н. э. Публий Сципион отправился на Марсово поле, чтобы проголосовать за своего племянника Квинта Фабия, который баллотировался в квесторы. Но едва он появился на избирательных мостках, народ немедленно выбрал его консулом, объявив, что он должен ехать в Испанию и кончать Нумантинскую войну (*Val. Max., VIII, 15, 4*). История повторилась. Казалось, время пошло вспять. Опять, как 13 лет тому назад во время Пунической войны, народ выбрал его, даже не спросив его желания, поправ все законы и обычаи*. И опять, как и тогда, народ не слушал сенаторов и бурно требовал, чтобы Сципиону дали провинцией Испанию немедленно, без жеребьевки. И снова все были глубоко убеждены, «что он один сможет покорить нумантинцев» (*App. Hiber., 84*).

Неожиданное избрание обрушилось на Сципиона как снег на голову. Оно ломало все его планы, вырывало надолго из привычной жизни, навлекало на него тысячи хлопот, а главное, заставляло его ехать в дикую страну на опаснейшую войну с неодолимым врагом. Все произошло так быстро, что он едва успел опомниться. Но надо было действовать. Столь странно избранный консул созвал сенат и попросил, как требует обычай, денег и войска. И тут его подстерегала новая неожиданность, пожалуй, не уступавшая той, которая только что вознесла его на высшую должность. Ответ отцов был поистине ошеломляющим. Они заявили, что запрещают консулу проводить военный набор в Италии — довольно и тех войск, что стоят в Испании, — и, кроме того, они сейчас не могут дать ему ни одного асса (*Plut. Reg. et imper. apophigm. Scipio min., 15*).

Чем вызван был этот странный, невозможный, оскорбительный ответ? Как могли сенаторы отказать в деньгах и воинах лучшему полководцу Республики, к

* В первый раз Сципион не мог быть консулом, потому что не занимал еще ни одной должности, во второй раз — потому что закон запрещал быть консулом дважды.

которому воззвал народ в самый опасный час? Или, быть может, отцы негодовали, видя, что законы попораны, и инстинктивно пытались помешать слишком большому усилению одного человека? Но, в таком случае, их образ действия был совершенно неудачен, просто нелеп. Возвышению Сципиона они мешать были не в силах, зато мешали ему завершить войну и делали все, чтобы поставить ему палки в колеса. А что такое война в Испании, они знали хорошо — ведь почти все они там побывали. Они добились только того, что в глазах народа Сципион предстал в ореоле героя, а на них легло черное подозрение в зависти.

Сципион не стал спорить — он знал, что это бесполезно. Он ответил гордо и спокойно, что ему не нужны их деньги: у него есть средства, а главное, есть друзья, которые не покинут его в беде. Но он горько упрекнул их за то, что они не дают ему армии и заставляют вести войну с никуда не годным войском. Сказав это, консул покинул сенат (*ibid.*).

Публий попал в прямом смысле слова в отчаянное положение. Испанская война была не из тех, к которым можно было отнестись легкомысленно. Он это знал. Теперь же оказалось, что он еще должен был вести ее на собственные средства. В сенате он гордо заявил, что ему не жаль своих денег. Это-то, конечно, было правдой. Вряд ли существовала на свете хотя бы одна вещь, которую он жалел бы менее чем деньги. В этом отношении он остался таким же, каким был в юности. Нет, денег он не жалел. Но именно поэтому у него их никогда не было. «Сципион Младший, — пишет Плутарх, — за 54* года жизни ничего не купил, ничего не продал и ничего не накопил в доме» (*ibid.*, 1). Это утверждение не совсем верно. Продавать-то он продавал, например, после смерти отца, чтобы выплатить приданое мачехе. Но никакими спекуляциями, никакой коммерцией он, конечно, не занимался. Разумеется, и сейчас он продал все, что можно. Но этого — увы! — было слишком мало.

* Ошибка Плутарха. Сципион прожил 56 лет.

Как ни ужасно было его положение, он не обсуждал даже возможности уклониться от поручения, данного ему римским народом. То был его долг. Была у него еще особая причина, не позволявшая отказываться от командования. Война в Испании была столь мучительна, столь сурова, сопряжена с такими трудностями, что дрогнули даже некоторые из римлян — народа, всегда славившегося необыкновенной гордостью, железным терпением и феноменальным упрямством. Теперь же кое-кто, видимо, внутренне был готов отказаться от Испании. В 151 году до н. э. молодые люди под разными предлогами стали уклоняться от военного набора, не желая ехать в Иберию. Помпей и Манцин готовы были капитулировать. Тиберий Гракх, будущий реформатор, подписал за консула позорный мир, значит, готов был смириться с поражением. Так рассуждали многие. Но не Сципион.

Его гордая душа римлянина возмущалась против этого. Одна мысль о том, чтобы смириться перед испанцами, казалась ему верхом унижения, от которого его бросало в краску. В 151 году, когда все колебались, он голосовал за войну. Когда он увидел, что война становится опасной и молодежь робеет, он бросил все свои дела, отказался от поездки в Македонию, куда уже собрался, и поехал в эту суровую страну. Когда Манцин заключил мир, именно Сципион настоял на его расторжении. И вот теперь, когда все было на краю гибели, именно его назначили полководцем для этой войны. Мог ли он отказаться? Нет. И он принял вызов.

Итак, денег у него не было. Но, бедный деньгами, он всегда был богат любовью друзей, за которых так уверенно, так гордо поручился в сенате. Сам он готов был сразу, легко, с улыбкой отдать другу последнее. Он не допускал и мысли, что они окажутся менее благородны. С ранней юности мы видим его окруженным друзьями. Более того. Мы не можем указать никого другого из римлян, кто был бы настолько любим, как этот человек. С самых первых шагов, когда он, еще мальчишкой, служил под началом отца, которого войско люто ненавидело, даже тогда это же са-

мое войско его обожало. Когда же консулом он приехал под Карфаген, он привез с собой не двух-трех друзей, как другие, — нет, за ним из любви следовал целый флот! И все-таки мы никогда бы не узнали, как велика была сила этой всеобщей любви, если бы не Нумантинская кампания.

Никто не покинул его. Ему помогали, кто чем мог. Достаточно сказать, что на средства друзей он смог 15 месяцев вести войну и платить жалованье войску. Но друзья предоставили в его распоряжение не только свое имущество, но и свои жизни. Они все поехали с ним под Нуманцию. Вместе с клиентами Сципиона, которые также не покинули своего патрона, их набралось около 500. Консул сформировал из них особое войско, которое назвал «отряд друзей» (*App. Hiber.*, 84). Даже поэт Люцилий записался в этот отряд. Старый Полибий приехал из Греции, чтобы сопровождать своего названного сына. Не только отдельные люди — целые страны и города помогали Сципиону. Царь Аттал Пергамский и Антиох, которых он недавно посетил во время своего путешествия на Восток, прислали ему дары для ведения войны (*Liv., epit.*, 57; *Cic. Pro reg. Deiot.*, 19).

Но Сципион считал, что, сколько бы он ни получил от друзей, он должен в первую очередь истратить собственные средства. Другие полководцы ехали на войну, чтобы разбогатеть. Сципиону война принесла полное разорение. Правда, узнав об этом, сирийский царь прислал ему великолепные дары. Сципион получил их уже в военном лагере. Обычай не запрещал их принимать, ведь царь был другом римского народа. И император их действительно принял. Равнодушно взглянув на лежащую перед ним грудой золота, он немедленно раздарил его храбрейшим солдатам (*Liv., epit.*, 57). Так он до конца остался верен себе.

Ему помогали не только деньгами: царь Нумидии, наследник Масиниссы, узнав, кто будет командовать римской армией, прислал ему целый отряд под командованием столь знаменитого впоследствии Югурты. Фабий Эмилиан немедленно вызвался ехать

с братом легатом, хотя в Риме считалось неприличным старшему брату быть легатом у младшего. Его сын, который все-таки стал квестором, не только пожелал отправиться в Нуманцию, но взял на себя все заботы о добровольцах. Сципион был этому очень рад, так как не мог долее задерживаться в Риме. Поручив все дела племяннику, он срочно выехал в Испанию⁵⁴.

III

Сципион не хотел сражаться с испанскими легионами. Такая перспектива была ему во сто крат тяжелее, чем денежные затруднения. Он имел все основания презирать этих воинов и не доверять им. Деморализованные непрерывными поражениями, жизнью среди дикарей в стране, где не было ни права, ни закона, куда, казалось, не простиралась ни Божья, ни людская власть, привыкшие к коварству врагов и ответному коварству своих вождей, они сделались трусливы и робки с иберами, дерзки и наглы со своими полководцами. Первых они панически боялись, вторых искренне презирали. Они усвоили себе худшие приемы партизанской войны, сделались распущенны и строптивы и постепенно превратились в настоящую шайку мародеров. Они вели себя с консулами так, что Манцин, по выражению Плутарха, уже сам не понимал, военачальник он или нет (*Plut. Ti. Gracch., 5*). Впоследствии он даже, говорят, оправдывал свое поражение тем, что у него было вконец разложившееся войско, с которым невозможно сражаться (*App. Hiber., 83*). Солдаты, по словам Аппиана, вели жизнь «праздную, полную мятежей и разгула» (*App. Hiber., 84*). Вот с этими-то воинами и предстояло теперь брать Нуманцию Корнелию Сципиону.

Легионы, стоящие лагерем в Кельтиберии, привыкли, что почти каждый год к ним приезжает новый военачальник, и давно смотрели на это с полным равнодушием. Может быть, и сейчас, когда одним весенним днем к ним прибыл консул Сципион,

они в первую минуту не придали этому значения. Они думали, что и завтра проснутся, как всегда, и будут делать то, что им хочется. Если так, как страшно они ошибались!

Впрочем, заблуждение их рассеялось быстро. Сципион приступил к делу тут же, не дав им опомниться, едва войдя в ворота лагеря, даже не успев отдохнуть с дороги. «Придя в лагерь, он застал страшный беспорядок, распущенность, суеверие и роскошь» (*Plut. Reg. et imper. apophygm. Scipio min.*, 16). Повсюду слонялось множество праздных людей. Прежде всего, как некогда под Карфагеном, он выгнал всех лишних — женщин, торговцев, гадателей и гадалок всех мастей, к которым то и дело обращались воины, «ставшие суеверными от всяких неудач» (*App. Hiber.*, 85; *Frontin.*, IV, 1, 1; *Val. Max.*, II, 7, 1; *Plut. Ibid.*). Он осмотрел обоз и велел немедленно продать и отослать все лишние вещи (*App. Hiber. Ibid.*). Каждому воину он разрешил оставить один медный горшок, одну чашку и один вертел (*App. Hiber.*, 85; *Plut. Ibid.*). Он ежедневно обходил лагерь и, если видел какую-нибудь изящную посуду, предназначенную для тонких блюд, разбивал ее собственной рукой (*Frontin.*, IV, 1, 1). Так как он опять застал войско на грани болезни, он назначил им строжайшую диету (*App. Hiber.*, 85; *Plut. Ibid.*). Мягкие постели, на которых прежде спали воины, немедленно были выброшены. Сам император спал на простых досках (*HRR., Rutil.*, fr. 13).

Теперь войско каждый день совершало длинные переходы, причем воины несли за плечами тяжелую поклажу и провизию на несколько дней. Садиться на мулов Сципион запрещал.

— Какая польза на войне от человека, который не умеет даже ходить! — говорил он (*App. Hiber.*, 85).

«Воины приучались терпеть и голод, и дожди, переходить вброд реки, причем император все время пробирал трусливых и вялых» (*Frontin.*, IV, 1, 1). «Он проходил все ближайšie долины и каждый день приказывал ставить лагерь и разрушать его, выкапывать очень большие рвы и засыпать их, строить

очень высокие стены и сносить их, и сам от зари до вечера надзирал за всем». Раньше, при прежних вождах, войско шло свободным строем и часто разбредалось в разные стороны. Сейчас их строили в каре и «никто не смел менять назначенного ему места в строю». Сципион все время объезжал войско, зорко следил за всем, и воины трепетали от его взгляда. «Он приказывал всадникам спешиться и больных сажал на их место, а лишнюю поклажу перекладывал с мулов на пехотинцев. Когда воины разбивали лагерь, передовой отряд для этого прямо с пути должен был становиться вокруг вала, второй — объезжать кругом это место. Все остальные распределяли между собой работу: одним было приказано копать рвы, другим — сооружать стену, третьим — ставить палатки. Количество времени для этих работ было строго распределено» (*App. Hiber., 86*).

Теперь воины, покрытые грязью, часами рыли рвы. Сципион, глядя на них, говорил:

— Пусть они измажутся в грязи, если не желали забрызгаться кровью врагов! (*Veget., 3, 10*)

Войско изменилось на глазах. Оно стало дисциплинированно, послушно и как огня боялось своего императора. Он появлялся перед ними суровый, спокойный, закутанный в черный плащ, — он говорил, что носит траур из-за позора войска (*Plut. Reg. et imper. apophygm. Scipio min., 16*). Вскоре они стали бояться его насмешек еще более, чем угроз. Лагерем они стояли уже давно, и, при необыкновенной любви римлян к воде, естественно, что они построили баню. В бане они расположились со всеми удобствами: завели специальных служителей, которые помогали им мыться и натирали маслом. Сципион поднял их на смех и спрашивал, разве они ослы, у них нет рук и им нужны чистильщики (*Plut. Ibid.; App. Hiber. 85*). Сам он отвергал все удобства: ел простой хлеб и носил грубый плащ. Даже оружие его, оружие, которым воин так гордится и стремится его украсить, даже оно было просто и удобно. Когда кто-то похвастался перед ним красивым щитом, он сказал:

— Римлянин должен полагаться на правую, а не на левую руку (*Ael. Var., XI, 9; Frontin., IV, 1, 5; Plut. Ibid.*).

Но особенно всем запомнился случай с Гаем Меммием. Это тот самый пылкий трибун, который 23 года спустя возглавил римскую демократию (111 г. до н. э.). Тот, кто прочтет описание тех волнующих событий у Саллюстия, навсегда сохранит в своем сердце образ этого несгибаемого революционера и пламенного демократа, который один поднялся на борьбу с лживой, продажной знатью, метал на ее голову грома и молнии и яро прославлял вольность. Но когда после этого мы обращаемся к Цицерону, то с изумлением встречаем на его страницах совсем другого Меммия. В доме Красса Оратора о нем не могли говорить без улыбки. Сам Красс однажды заметил об этом пылком патриоте:

— Так велик кажется самому себе Меммий, что, спускаясь на Форум, наклоняет голову, чтобы пройти под Фабиевой аркой (*Cic. De or., II, 267*).

Он же однажды с самым серьезным видом рассказывал, что он, Красс, раз приехал в один провинциальный городок и, прогуливаясь по улицам, с удивлением увидел, что на всех стенах написаны пять букв — LLLMM. Заинтригованный этой загадочной надписью, он стал расспрашивать, что значат эти буквы. И ему объяснили, что Меммий недавно подрался из-за какой-то бабенки с неким Ларгом и очень доблестно покусал его. Буквы как раз и напоминают о подвиге смелого трибуна и означают: «Кусчий Меммий гложет локоть Лага»*.

— Анекдот остроумный, но выдуманый тобой с начала и до конца, — с улыбкой замечает по этому поводу Крассу его собеседник (*Cic. De or., II, 240*).

Но этого довольно. Сейчас же перед нами встает образ мелкого, ничтожного, спесивого демагога, уличного горлана и драчуна, вроде аристофановского колбасника, который, однако, полон бешеного самолюбия и злобы. Все удивительное благородство

* По-латыни звучит аллитеративно и напоминает каламбур: «*Lacerat lacertum Largi mordax Memmius*».

этого демократа, все его филиппики против развратной знати разом уничтожены в наших глазах. И когда мы узнаем, что сам Цицерон характеризует его как оратора весьма посредственного, но имеющего особый дар очернять людей, почему он и считался опаснейшим обвинителем, это добавляет последние штрихи к этому весьма нелестному образу (*Brut.*, 136).

Вот этот-то Меммий, тогда совсем молодой человек, приехал под Нуманцию. Он собрался как на модный курорт. За ним следовали бесконечные повозки, тюки и свертки. И особенно он гордился очень модными и очень дорогими чашами, устроенными так, что напиток в них мгновенно остывал, ведь Меммий знал, что под Нуманцией жарко. Как он не понял, под чьим началом ему предстоит служить, уму непостижимо.

Меммий только что приехал. Он стоял посреди своих бесчисленных тюков и самодовольно озирался. Войско следило за ним, затаив дыхание. Все со злорадным наслаждением ждали, что скажет император, и предвкушали большую потеху. Сципион молча смерил его взглядом с ног до головы и сказал:

— Таким, какой ты есть, для меня ты негоден временно, для себя самого и родины — навсегда (*Plut. Reg. et imper. apophygm. Scipio min.*, 17; *Frontin.*, IV, 1, 1).

Это сказано было тоном убийственного презрения. Можно себе представить, какой растерянный, красный как рак стоял Меммий посреди своих пожитков и как хохотало войско. Он был уничтожен и смешан с грязью.

Только когда войско стало трудолюбивым, покорным, послушным, выносливым или, как говорил сам Сципион, «суровым и готовым на все», полководец решил начинать военные действия.

IV

В дни мира Сципион был мил и прост в обращении. Какой-нибудь юноша, впервые переступивший порог этого знаменитого человека, бывал поражен и очарован тем, как сердечно, с неизменным уважени-

ем и вниманием, как равный с равным, беседует с ним хозяин. Но на войне все менялось. Сципион сам сравнивал полководца с врачом, а битву с операцией. И на поле боя он действительно становился похож на хирурга, который ведет сложнейшую операцию и дает быстрые и отрывистые приказания ассистентам. А они страшатся ослушаться малейшего его приказа, зная, что от их быстроты и понятливости зависит жизнь больного. И вот все друзья и милые собеседники Сципиона превращались в таких безмолвных ассистентов. Все. Даже Лелий. Цицерон передает, что дома Сципион почитал друга, который был старше его несколькими годами, как отца, и охотно давал понять окружающим, что Лелий много умнее и образованнее его. Но во время войны об этом не было и речи. Лелий даже не был советчиком. Он, как и остальные, молча исполнял приказания друга и «чтил его, как бога» (*Cic. De re publ., I, 18*).

Саллюстий пишет, что Сципион требовал от офицеров смелости и беспрекословного повиновения (*Sall. Jug., 7, 4*). С бестолковыми и медлительными он бывал очень резок. Под началом его в это время служил Гай Метелл, четвертый, самый младший сын Метелла Македонского. И вот передают, что однажды император, выведенный из терпения его непонятливостью, воскликнул:

— Если его мать родит пятого, то это уж будет осел! (*Cic. De or., II, 267*)

Очевидно, Публий намекал на то, что каждый следующий сын Метелла глупее предыдущего, а последний уже на той грани, где его трудно отличить от животного.

И что самое замечательное — на Сципиона никто не злился и не обижался, как некогда злились и обижались на его отца. Он сам говорил, что войско больше любит вождей мягких и уступчивых, чем суровых. Но по отношению к нему это было неверно. Как он ни мучил своих воинов, какие трудные задачи им ни задавал, они продолжали его обожать. И сыновья Метелла, в том числе самый младший, всю свою жизнь

им глубоко восхищались и самым искренним образом его любили.

И еще одна черта. Сципион был великолепным учителем — его учениками были первоклассные полководцы. Два будущих врага — Югурта, который заставил трепетать римские легионы, и Гай Марий, спасший Рим от кимвров, происходили из его школы. Марий, человек невежественный, с душой жестокой, грубой и черствой, навсегда сохранил в сердце образ этого военачальника — единственный луч солнца, проникший в его мрачную душу. Он навсегда запомнил, как однажды под Нуманцией оказался на пиру совсем рядом с императором. Речь зашла о полководцах, и кто-то спросил, будет ли когда-нибудь у Рима такой полководец и защитник, как Сципион. Публий с улыбкой повернулся к лежащему рядом с ним Марию и, хлопнув его по плечу, сказал:

— Будет, и, может быть, даже он!

Марий никогда не мог забыть этих слов, сопровождавший их жест и выражение лица. Многие думали, что этот-то маленький эпизод и побудил его искать славы и власти (*Plut. Mar.*, 3; *Val. Max.*, VIII, 15, 7). Точно так же и Югурта прилежно учился у Сципиона, страстно добивался его похвал и никогда не мог его забыть.

Сципион вместе с войском переносил все тяготы службы — голод, зной, сырость, нужду. Но он прекрасно сознавал, что у воина и командующего разные обязанности. Так, он запретил себе участвовать в битвах, что при его темпераменте было ему бесконечно тяжело. Ведь он увлекался боем, как молодой пес, который, визжа от возбуждения, бежит по следу, забыв обо всем на свете. Но теперь он не позволял себе этого удовольствия. Быть может, испанцы дивились этому и, желая его поддеть, приглашали на бой. Но он спокойно отвечал:

— Я родился полководцем, а не солдатом (*Frontin.*, IV, 7, 4).

Нумантинцы с интересом приглядывались к происходящему. Они, конечно, слышали о Сципионе, как слышал о нем весь мир, и знали, что это лучший на

свете полководец. Но они были самонадеянны, привыкли к победам, видели прежнее войско и не могли поверить, чтобы один человек, как бы велик он ни был, способен был изменить положение дел в стране. Несколько позже, когда, разбитые, они обратились в позорное бегство, старейшины, говорят, с возмущением спрашивали, как позволили они себя победить римлянам, которые раньше бегали от них, как бараны. Те же отвечали:

— Стадо осталось то же, да пастух другой (*Plut. Reg. et imper. apophbegm. Scipio min., 21*).

V

Своим легатом Сципион назначил брата. Фабий Эмилиан, которого некогда ставили Публию в пример как образец для подражания, не стал ни великим полководцем, ни великим государственным деятелем, ни знаменитым оратором. Но он был сыном Эмилия Павла и братом Сципиона и многому от них научился. Он так же любил порядок и дисциплину, как его отец и брат. Он делал все старательно, правильно и продуманно. Когда он сам командовал в Испании, он не сумел одержать победы, но уберег армию от поражения. Словом, это был идеальный помощник и заместитель.

Кроме того, братья всю жизнь любили друг друга. Теперь роли их поменялись. Ныне уже старшему брату давали понять, насколько он ниже младшего. Сципион со свойственной ему деликатностью делал все, чтобы ослабить это впечатление, и внушал всем, что Фабий во всех отношениях выше его, Сципиона, и вообще всегда относился к нему как к старшему брату (*Cic. De amic., 69*). По этой ли причине, потому ли, что Фабий был очень толковым военачальником, только на сей раз ближайшим помощником главнокомандующего стал он, а не Лелий.

Сципион не спешил дать бой, сначала он стремился понять характер испанской войны (*App. Hiber., 76*). Он делал вылазки и изучал местность. Было лето. Жара стояла такая, что передвигались римляне только

по ночам. Они рыли колодцы и пили горькую соленую воду. Животные умирали от жажды. Илистые топи, густые леса и непроходимые горы составляли ландшафт этой страны. Иберы с поразительным искусством пользовались каждой расщелиной, каждым оврагом, каждой чашей, чтобы устроить засаду. Один раз они подстерегли римлян за холмом во время фуражировки, другой — спрятались между болотом и оврагом. Много раз казалось, что римляне погибли. Только удивительная предусмотрительность и находчивость главнокомандующего каждый раз спасали войско. Рутилий, тогда молодой офицер, в своих мемуарах вспоминает, как они пошли на фуражировку. На них напал отряд испанцев. Сципион послал его оттеснить нападающих, приказав не отходить далеко и не приближаться к находившемуся на некотором расстоянии холму. Рутилий атаковал испанцев, но перешел указанную Сципионом черту — видимо, варвары заманивали его все дальше. Едва он подошел к холму, как на него набросились иберы, укрывшиеся там в засаде. Увидев, что Рутилий не возвращается, Сципион понял, что тот попал в ловушку, и немедленно устремился на выручку. Он разделил войско на две части и приказал им поочередно нападать на врагов. Они должны были разом метнуть копья и разом отскочить, ни в коем случае не меняя свое место в строю. Но каждый раз они отступали на несколько шагов дальше. Таким образом он постепенно выманил врагов из удобного места на середину долины и спас Рутилия с его отрядом (*App. Hiber.*, 87—89).

Сципион действовал точно так же, как некогда под Карфагеном. Отражая врагов, он постепенно оттеснял их к Нуманции и локализовал там действия партизан. Весь провиант в окрестности он уничтожал или свозил в римский лагерь. Он наладил отношения с дружественными Риму племенами, так что Нуманция постепенно осталась в изоляции. Наконец римляне придвинулись уже вплотную к городу. Войско Сципион разделил на две части — половину дал брату, половину взял себе. Затем обе армии были раз-

делены на множество небольших отрядов и приступили к строительным работам. Все они поочередно строили, отдыхали и несли охрану. Работа не прекращалась ни днем ни ночью. Очевидно, за это время Сципион отбил у нумантинцев охоту нападать на римлян и они не смели даже приблизиться к лагерю. Окружность Нуманции была, по словам Аппиана, 24 стадия (около 4,450 км). Главкомандующий обвел город системой укреплений, вдвое больших по длине. Это были два рва, прорытых на некотором расстоянии друг от друга, обведенных еще стеной шириной 8 футов (ок. 2,5 м), высотой 10 (ок. 3 м) и укрепленной зубцами. На протяжении всей стены были сооружены башни на расстоянии одного плефра одна от другой (30,83 м). Близлежащее болото Сципион не стал окружать стеной, но возвел здесь насыпь такого же размера, как стена.

Вся крепость была разделена на участки. Каждый поручен был одному из начальников, который и должен был его охранять со своим отрядом днем и ночью. Если они замечали что-нибудь подозрительное, то немедленно должны были подать сигнал тревоги: днем — высоко поднятое на копье красное знамя, ночью — зажженный факел. Сципион или Фабий тут же устремлялись на помощь. На башнях водружены были катапульты. По всему укреплению располагались вестники, которые днем и ночью скакали с докладами к главкомандующему. Часть войск должна была находиться на стенах, часть — у стен, часть оставалась в резерве. «Для каждого было назначено определенное место, менять его без разрешения было запрещено».

Только когда крепость Сципиона сомкнулась вокруг них, нумантинцы поняли, что они в ловушке. Сотни раз устремлялись они на стены то с одной, то с другой стороны, то под покровом тьмы, то днем — все было тщетно. Едва они приближались, вся слаженная машина мгновенно приходила в действие. «Быстрота, с которой защитники стены являлись на свои места, была поразительна. Всюду высоко поднимались знаки тревоги, всюду мчались вестники...

со всех башен слышался призывный звук труб, и весь круг укреплений... наводил на врагов ужас. И весь этот круг каждый день и каждую ночь объезжал Сципион, наблюдая за ним».

У самых стен Нуманции текла река Дурис. То была последняя артерия, связывавшая осажденных с внешним миром. Варвары уверены были, что против реки Сципион бессилен. Она была так широка и бурна, что нечего было и думать запереть ее, перебросив мост. Сципион и не стал делать мост. К изумлению осажденных он по обоим берегам реки соорудил по крепости. Из каждой крепости в реку спускались на канатах длинные балки, которые почти касались друг друга. Балки были круглые и утыканы острыми клинками. Под напором воды балки вместе с ножами быстро вращались. Теперь и река была заперта (*App. Hiber., 90—93*)⁵⁵.

Тогда, наконец, осажденные послали к Сципиону просить мира. Речь их, говорят, была, несмотря на отчаянное положение, хвастливой и высокопарной. Видимо, они предполагали заключить мир на условиях, подобных тем, которых ранее добивались от римских командующих. Сципион выслушал их и коротко отвечал, что не будет говорить с ними, как равный с равными, а требует немедленной безоговорочной капитуляции. Когда нумантинцы узнали об ответе римлянина, они пришли в такую неистовую ярость, что растерзали послов, посмевших принести столь дурные вести. О сдаче они не хотели и слышать (*ibid., 95*).

В городе свирепствовали голод и болезни. Наконец нумантинцы, убив и съев сперва слабых и больных, сами перебили друг друга (*Liv. epit., 59*)⁵⁶. Когда римляне ворвались наконец в город, там не осталось почти ни одного человека. Город был разрушен. Сципион окончил войну за год и три месяца (*Vell., II, 4*).

И только когда этот город, эта «свирепая и гордая Нумания» была разрушена дотла, римляне дали волю острой жалости, которую давно втайне испытывали к своим мужественным врагам. Говорят, глядя на жалкие остатки нумантинцев, никто из римлян не мог

сдержатъ слез (*Diod., XXXIV—XXXV, 4; App. Hiber., 97*). И слезы эти были так похожи на слезы Сципиона на развалинах Карфагена, слезы, в которых он показал на мгновение свою истинную душу, сбросив узы долга, в которые был затянут, как в броню.

Разрушив Нуманцию, Сципион занялся устройством провинции. Он сделал все, чтобы загладить те несправедливости, которые причинили его предшественники, — укреплял дружественные Риму племена, помогал отстраивать их города. С тех пор в стране установились спокойствие и порядок и началась как бы новая жизнь. Правда, еще встречались случаи грабежей, ибо живущие в горах испанцы образовывали разбойничьи шайки и грабили своих соплеменников. И все же «Испания была самой благоустроенной и цветущей страной из римских владений»*

Трудно передать изумление и восторг римлян. Они ожидали от Сципиона чудес, но действительность превзошла их самые смелые надежды. За 15 месяцев он закончил войну в Испании, которая столько лет терзала Рим! С ужасными иберийскими войнами было покончено! Вот почему борьба с этим далеким варварским племенем встала в сознании римлян рядом с Карфагенской войной. В одном отрывке неизвестного автора того времени читаем: «Сципион сокрушил Нуманцию, Сципион разрушил Карфаген, Сципион установил мир, Сципион спас отечество» (*Her., IV, 19*).

За свою победу Сципион получил триумф и почетное имя *Нумантинский*.

* Моммзен Т. История Рима. Т. 2. М., 1937. С. 23.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И РЕФОРМЫ В РИМЕ

*Римская земельная собственность. Римская семья.
Положение женщин в Риме и в Афинах. Гетеры.
Ауспиции — общественные гадания. Священные куры.
Дурные знамена. Суеверия римлян. Как римляне
проводили законы. Священные полномочия трибуна.
Жаркая политическая борьба. Битвы на Форуме.
Тайна одного знаменитого убийства. Идеал римлянина.*

Вином и кровию дыша,
В ту ночь нам судьбы диктовала
Восстанья страшная душа.

А. Блок

Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Ф. Тютчев

I

Я дошла сейчас в моем рассказе до рокового момента в истории Рима — момента, который на много столетий predetermined все будущее Италии и даже, по моему глубокому убеждению, всего европейского человечества. Республика, несшаяся доселе вперед, как величественная триумфальная колесница, дошла до поворота, до развилки — и от того, какую дорогу ей суждено было выбрать, зависели судьбы вселенной. Поэтому-то те события — страшные и трагические, печальные и величественные — вечно будут нас волновать. И мне представляется, что тени тех людей — гордых, благородных, самоотверженных или, напротив, жестоких и себялюбивых — людей, погибших в этом бурном водовороте, до сих пор сопровождают человечество, как его добрые и злые гении.

Мысль о мировом господстве Рима принадлежала, по-видимому, Сципиону Старшему* Но он предложил весьма необычный план этого господства. Рим не должен был поработать соседние страны. Огромные агрессивные империи лишались своей армии и свободы внешней политики. Маленькие же национальные государства сохраняли свободу и независимость под защитой и покровительством Рима. Разумеется, ни те ни другие не платили Республике дани. Но главные враги Рима, разбитые на войне, например Карфаген, выплачивали контрибуцию. Срок ее рассчитан был на несколько десятилетий. В случае с Карфагеном на 50 лет. Очевидно, Сципион предполагал, что Италия, совершенно разоренная и истерзанная Ганнибалом, вновь восстанет из руин и укрепится именно за этот срок. А как только она встанет на ноги, приток золота из-за рубежа прекратится.

Но произошло не совсем так, как он хотел. Обстоятельства изменились, а главное, победили враждебные ему люди, которые настаивали на полном подчинении разбитых на поле боя государств. К середине II века до н. э. стали образовываться провинции. В 148 году до н. э. провинцией сделалась Македония, в 146-м — Карфаген и Греция, в 133-м — Пергам. Они платили Риму ежегодную подать. В Италию потекли потоки золота.

Всем известно, что, когда в какое-либо государство хлынет много денег, они вовсе не распределяются равномерно между гражданами. Напротив, огромные суммы скапливаются в руках немногих. И чем больше богатства на одном полюсе, тем острее нужда и бедность на другом. Иными словами, начинает исчезать среднее сословие. Между тем именно среднее сословие является главной опорой демократии, для которой равно ненавистны мятежные голодные толпы бедняков, грозящие превратить ее в охлократию, и горстка

* Бобровникова Т. А. Сципион Африканский. М., 1998. С. 256—263.

могущественных богачей, мечтающих об олигархии. Так что такие явления опасны для любой демократии, но для римской они были подобны смерти.

Дело в том, что в Риме, как и в Древних Афинах, была демократия прямая, то есть народ сам решал свою судьбу, а вовсе не передоверял свои права посредством системы многоступенчатых выборов кучке профессиональных политиков, как в наши дни. Но это еще не было самым страшным.

Основная масса италийских земель принадлежала всей гражданской общине и называлась *ager publicus* — общественное поле. Каждый римский гражданин имел участок такого поля. До некоторой степени этот участок и являлся гарантией его гражданских прав. Между тем новые богачи стали вкладывать деньги в землю, скупать соседние мелкие надель, частью превращая их в большие поместья, частью — в пастбища для скота. Вероятно, долги нередко заставляли крестьян отдавать предприимчивым соседям свою землю. Многие из таких обедневших людей, естественно, шли в город, надеясь там заработать. Но заработать в большом городе, ставшем уже столицей Империи, не так-то легко. И многие из таких разорившихся крестьян пополняли ряды столичной черни — *пролетариата**. А эти люди уже не могли служить в армии, а значит, не могли быть полноправными гражданами. Ясно, что со временем эти нищие, безработные массы, выброшенные из жизни, должны были стать страшной угрозой Республике.

Читатель, разумеется, заметил сходство между описанным явлением и знаменитым огораживанием, когда, по выражению современников, «овцы съели людей». Как известно, крупные землевладельцы сгоняли тогда мелких фермеров с их участков и превращали землю в обширные пастбища для скота. Вся Англия наполнилась толпами нищих и бродяг, скитавшихся по дорогам и городам. Разумеется, они представляли большую опасность. Но Англия с блеском вышла из этого затруднения. В стране создава-

* Термин римский.

лась капиталистическая промышленность. Строились фабрики. Потерявший землю крестьянин должен был работать на них. Если же он уклонялся от неприятной ему работы, его подвергали публичному бичеванию — то есть били до тех пор, пока кровь не заструится по телу. Если бродягу ловили второй раз, то пороли вновь и отрезали ухо. В третий раз его казнили. Когда бродяг стало еще больше, пойманный преступник продавался в рабство, и лицо ему клеймили раскаленным железом. Постепенно все лишившееся имущества население осело на фабриках и заводах и превратилось в промышленный пролетариат.

Все эти меры были, вероятно, по-своему разумны, но — увы! — неприменимы к Риму. В Риме не было фабрик и заводов, римских граждан нельзя было продавать в рабство и клеймить раскаленным железом. И Рим считал крестьянство основой своего строя.

Я думаю, что эти болезненные явления только-только еще намечались в описываемую эпоху⁵⁷. И нужны были поистине зоркие глаза, чтобы их заметить. Такими-то зоркими глазами обладал Публий Сципион, разрушитель Карфагена, первый гражданин Рима. Несомненно, он неоднократно обсуждал эту проблему со своими друзьями и вместе они искали пути предотвращения надвигающейся катастрофы. Вероятно, довольно скоро они должны были прийти к мысли, что средством спасения является установление земельного максимума, более которого нельзя держать в одних руках. Излишки можно было бы разделить между неимущими. Это было тем более удобно, что существовал древний закон Лициния—Секстия, принятый вскоре после Галльского нашествия (367 г. до н. э.). Он ограничивал крупное землевладение 500 югерами (около 126 га). Можно было возобновить действие этого забытого закона.

Однако трудность заключалась в том, что по римской конституции только магистрат мог предложить законы народному собранию. Между тем Сципион был уже консулом и его подъем по лестнице почестей был закончен⁵⁸. Впрочем, это соображение не могло его особенно смутить — у него было много друзей, и

все они готовы были ему помочь. Случилось, однако, так, что взялся за проведение земельного закона самый его старый и лучший друг Гай Лелий, бывший тогда консулом (140 г. до н. э.)⁵⁹. Он был умен, красноречив и досконально знал право. Тем не менее трудно было отыскать более неудачную кандидатуру — Лелий по характеру был мягок, ласков, уступчив, он совершенно не умел быть резким, настойчивым, неумолимым. А именно эти качества нужны были для проведения закона, касающегося перераспределения земли. На беду еще случилось так, что друг его уехал из Рима и Гай остался один. Та рука, на которую он опирался всю жизнь, перестала его поддерживать. Встретив упорное сопротивление, он смутился и сам взял свой проект назад (*Plut. Ti. Gracch., 8*).

Думаю, что эта неудача не должна была обескуражить Сципиона. Он был достаточно умен и достаточно искушен в политике, чтобы понимать, как нелегко провести подобного рода реформы. Понимал он также, что удобнее действовать через молодых энергичных трибунов. И все-таки в течение следующих семи лет мы не слышим ни об одной попытке подобного рода. Почему? Прежде всего Сципион, видимо, решил путем некоторых демократических реформ создать базу для закона. В 139 и 136 годах до н. э. с помощью своих сторонников он провел законы о тайном голосовании в суде и при выборах магистратов. В 138-м он был всецело занят процессом против Котты, которому придавал огромное значение, так как он касался злоупотреблений в провинции. Полтора или два года ушло у него на путешествие по Востоку. А с 136 года все заслонила Испанская война, и испанские дела поглотили всеобщее внимание. Ни о чем другом просто нельзя было думать. В следующем году Сципион назначен был консулом и уехал под Нуманцию со всеми своими друзьями и сподвижниками. И вот, когда кружок Сципиона, то есть сторонники реформы, покинул Рим, закон о земле внес совсем другой человек. То был двадцатидевятилетний народный трибун Тиберий Семпроний Гракх.

О Гракхах трудно писать объективно. Давно заме-

чено, что для одних они злодеи, для других — герои. Середины нет. Для Плутарха это полубоги, новые Диоскуры, светлые мученики, а их убийцы — кровожадные, алчные чудовища. Для Цицерона же они — святотатцы, нечестивцы, преступники, а их убийцы — герои, заслуживающие памятника. Так же по-разному смотрели на них и их современники. Одни воздвигли им храм и благоговейно приносили в дар первые посеы, другие бросили их тела в Тибр, лишив даже законного погребения, дабы не осквернить землю их прахом.

После всего сказанного смешным самомнением с моей стороны было бы утверждать, что я одна смогу взглянуть на них беспристрастно. Меня утешает только мысль, что я хочу воссоздать живых людей. Я хочу описать не героя, каковым Тиберий Гракх, по моему глубокому убеждению, не был, и тем более не злодея. Я хочу увидеть того милого, изящного юношу, который с такой искренней верой встал на путь реформ, путь, который привел к гибели его самого и всех его близких.

II

Одной из самых блестящих семей тогдашнего Рима была семья Гракхов. Дом их славился гостеприимством и хлебосольством, прекрасным столом и утонченным великолепием. Жили здесь на широкую ногу. Хозяева не жалели никаких денег на чудесные греческие статуэтки, чеканные столики и прочие изящные безделушки* Дом этот славился не только на

* Все показывает, что дом Гракхов сиял великолепием. Дух этот, по-видимому, внесла туда Корнелия. Ее отец был человеком блестящим и щедрым. Ее мать, по словам Полибия, поражала всех «блеском и роскошью». Читатель, быть может, помнит ее ослепительные туалеты. Корнелия обменивалась дорогими подарками со всеми царями (*Plut. Ti. Gracch., 40*). А Тиберий, ее муж, будучи эдилем, устроил столь великолепные празднества, что едва не разорил казну (*Liv., XI, 44*). Их сын Гай поразил даже привыкших к роскоши аристократов, заплатив баснословные деньги за каких-то изящных серебряных дельфинчиков (*Plut. Ti. Gracch., 2; Plin. N.H., XXXIII, 147*). У его старшего брата Тиберия в 16 лет был «великолепный, богато украшенный шлем» (*Plut. Ti. Gracch., 14*).

весь Рим или на всю Италию, но на весь мир. Здесь в гостях бывали иноземные цари и великие ученые Греции. Но посетителей привлекали не вкусные обеды и красивые вещи, а особое обаяние, исходившее от приветливых хозяев. Они соединяли в себе гордое изящество манер, которое дается только вполне светским воспитанием, с искренней душевностью и благородством.

Отец, Тиберий Семпроний Гракх, происходил из почтенного и старинного рода, прославился подвигами на полях сражений и носил на теле почетные рубцы от неприятельских мечей и копий. Он был цензором, дважды консулом и дважды въехал в Рим на золотой триумфальной колеснице — честь, редко выпадавшая на долю даже великих полководцев. При исполнении своих обязанностей он отличался щепетильной честностью и педантичностью. Например, однажды он руководил консульскими выборами. Все шло прекрасно, но вдруг произошел странный случай — человек, который, согласно обычаю, провозгласил имена новых консулов, внезапно упал на землю замертво. Это обеспокоило Тиберия. Он решил, что «это имеет отношение к религии» (*Cic. De Nat. deor. II, 10*), и по окончании церемонии рассказал обо всем в сенате. Отцы решили призвать *гарустиков* — этрусских гадателей, так как всегда в глубине души верили, что все этруски — великие колдуны и им ведомы всякие оккультные тайны.

Введенные в сенат гадатели мрачно объявили, что магистрат, проводивший выборы, действовал незаконно. Одно лицо у Цицерона вспоминает: «Гракх, как я слышал от отца, вспыхнув от гнева, воскликнул:

— То есть как? Я действовал незаконно?! Я, консул и авгур? И какое право имеете вы, этруски и варвары, вмешиваться в ауспиции римского народа и судить о комициях?»

И выгнал их из сената. Прошло несколько месяцев. Все забыли об этом неприятном случае. Как вдруг Тиберий, читая какую-то священную книгу, нашел описание обряда, прежде ему совершенно неизвестного. Дело в том, что по римскому обычаю маги-

страт, проводящий выборы консулов, должен был выехать из Рима, разбить где-нибудь под открытым небом палатку и наблюдать знамения. Тиберий Гракх так и поступил перед консульскими выборами. Но, оказывается, если магистрат вынужден по каким-то причинам приехать в Рим и на некоторое время прервать ауспиции, то, вернувшись на место гаданий, он должен с соответствующими религиозными церемониями разбить новую палатку и ни в коем случае не возвращаться в старую. Вот этого-то Тиберий не знал. Между тем перед выборами его как раз срочно вызвали в Рим. Вернувшись, он, ничего не подозревая, вошел в старую палатку и dokonчил гадания. Вот, значит, что имели в виду этрусски, говоря, что он действовал незаконно!

Другой человек на месте Тиберия молчал бы о своей оплошности. Признаваться сейчас было стыдно, неловко. Да и консулы уже вступили в должность, уже разъехались по провинциям! Но Гракха это не остановило. Он открыто покался в своей вине и переполошил весь сенат. Отцы вынуждены были направить консулам официальное письмо, где перед ними извинялись от имени Тиберия и умоляли для блага Рима сложить свои полномочия. И консулы склонились перед авторитетом религии (*Cic. De Nat. deor. II, 10-11; Div., II, 74—75; Plut. Marcell., 5*).

Вот какой незапятнанной честностью отличался Гракх! И все-таки даже Цицерон, его самый горячий поклонник, вынужден признать, что рядом со своей блестяще одаренной женой и красноречивыми сыновьями, получившими самое модное воспитание, Тиберий казался простым воином (*Cic. De or., I, 38*). И все же, говорит он, «Тиберия Гракха... будут прославлять, пока сохранится память о деяниях римлян» (*Cic. Off., II, 43*). Почему же? Потому, что это был человек поистине великой души, благородный и справедливый. И это знали все, даже враги. Особенно враги. Он долго и упорно воевал с кельтиберами в Испании, взял у них 300 городов, затем покорил Сардинию (*Polyb., XXV, 1; XXXV, 2, 15; Liv., XLI, 28*). И что же? Даже пятьдесят лет спустя испанцы и жители Сардинии

повторяли с благоговением имя своего великодушного врага (*Plut. Ti. Gracch.*, 5;23).

Но Тиберий был не просто благороден. Это был настоящий рыцарь, под суровой наружностью скрывавший сердце нежное и деликатное. Он был цензором вместе с Аппием Клавдием Пульхром. Люди они были очень разные — Аппий был спесив, надменен, жесток, неуравновешен — словом, истинный представитель своего рода. Он презирал и ненавидел народ, и народ, разумеется, платил ему той же монетой. А Тиберия все уважали за его справедливость. Цензоры были очень суровы. Их чрезмерная строгость обозлила многих. Но, как всегда бывает, все свалили на ненавистного Аппия. Общим недовольством воспользовался один дерзкий народный трибун, лично обиженный цензорами. Он решил отомстить и привлечь их к суду. Но, зная настроения квиритов, привлек одного Аппия. Уже в середине суда стало ясно, что Клавдий будет осужден. Народ громко выражал свой восторг и в то же время кричал Гракху:

— Тиберий, не беспокойся, тебя мы в обиду не дадим!

Тогда Тиберий поднялся на ораторское возвышение и ясным, твердым голосом сказал, что делал то же, что и его коллега, поэтому, если Аппий будет осужден, долг велит и ему удалиться в изгнание. Эти слова произвели на римлян сильное впечатление. Клавдий был оправдан ради своего великодушного коллеги (*Liv.*, XLIII, 18; *Val. Max.*, VI, 5, 3; *De vir. illustr.*, 57).

Удивительным благородством Тиберия пользовались и друзья и враги. С Катонем Гракх был в смертельной вражде. И старый Цензор, когда его привлекали к суду, назначал председателем суда своего недруга Тиберия, прекрасно зная, что его рыцарственный враг сделает для него больше, чем сделал бы друг (*Val. Max.*, III, 7, 7).

Один из таких великодушных поступков и доставил Тиберию жену, первую красавицу Рима. Дело было так. Катон, злейший враг Сципиона Старшего, нашел наконец способ его погубить. Он задумал привлечь к суду его брата Люция, обвинив в казнокрад-

стве. Обвинение было заведомо ложное, но Порций рассчитывал на то, что Люций человек вялый, нерешительный и не сумеет отбиться от врагов. Однако, боясь недоброй славы, Катон решил действовать чужими руками. Он подговорил выступить с обвинениями одного из трибунов. Обвинитель грозил отвести Люция в оковах в тюрьму. Родственники обвиняемого апеллировали к остальным трибунам. Но между ними был сговор, и восемь из них отказали, девятый же был Тиберий Гракх. Он в сговоре не участвовал, зато в нем остальные были уверены, так как было известно, что между ним и Сципионами — смертельная вражда. Но все случилось совсем не так, как рассчитывали Катон и его союзники.

Когда все остальные трибуны отказали Сципионам в защите, Тиберий неожиданно заявил, что у него особое мнение. Все были убеждены, что он предложит меру еще более суровую по отношению к обвиняемому, и, замирая, ожидали, что будет. Поднявшись, Гракх дал торжественную клятву, что не мирится со Сципионами и ничего не делает, чтобы снизить их расположение, но, заявил Тиберий, он никогда не позволит отвести в тюрьму триумфатора Люция, ибо это недостойно Республики. Хотя Тиберий не сказал ни слова о самом деле, но все почувствовали такой стыд, что процесс на этом закончился (*Gell.*, VII, 19; *Val. Max.*, IV, 18; *Liv.*, XXXVIII, 57; *Cic. De cons. prov.*, VIII, 18)⁶⁰.

Рассказывают, что в тот же день был ритуальный пир в честь Юпитера в Капитолии. Весь сенат был в сборе. Были и Тиберий с Публием Сципионом. Случайно (вероятно, для них самих, но не для устроителей пира) бывшие враги оказались рядом за одним столом. Они заговорили и почувствовали друг к другу самую горячую симпатию. В конце пира сам Сципион, говорят, предложил Тиберию руку своей младшей дочери. Гракх с глубокой радостью принял это великодушное предложение. Публий прибавил, что шаг его не опрометчив, ибо он узнал Тиберия в самое подходящее время для того, чтобы составить о нем правильное мнение: именно когда тот был его вра-

гом (*Gell.*, XII, 8, 1—4; *Val. Max.*, IV, 2, 3). Далее рассказывают, что Сципион вернулся домой и объявил своей жене, что просватал младшую дочь. Та стала горько упрекать его, спрашивая, как мог он решиться на это, даже не посоветовавшись с нею. Публий благоразумно молчал. Наконец она воскликнула:

— Со мной надо было бы посоветоваться, даже если бы ты просватал дочь за Тиберия Гракха!

Публий, очень обрадованный, объявил, что Тиберий и есть жених, и мир был восстановлен (*Liv.*, XXXVIII, 57).

Тиберий всю жизнь обожал жену, мало того, всю жизнь был влюблен в нее и всегда относился к ней с такой трогательной, почтительной нежностью, с какой только истинный рыцарь может относиться к своей Даме. Сын их, Гай, вспоминает, что однажды его отец обнаружил в саду двух змей. Обеспокоенный Тиберий немедленно позвал этрусских гадалей, которым теперь свято верил. Гаруспики объяснили ему, что это знак смерти либо для него, либо для его жены. Тогда Гракх, подробно расспросив их, совершил все нужные обряды, чтобы обратить гибель на себя и отвлечь ее от жены. Через несколько дней он умер (*Plut. Ti. Gracch.*, 1; *Cic. De Div.*, I, 36; *Plin. N. H.*, VII, 122).

Но, как ни знаменит был отец Гракхов, его слава меркла перед славой их матери, как меркнет свеча перед блеском солнца. Однако здесь необходимо сделать небольшое отступление и рассказать о римлянах эпохи Республики. Очень ошибается тот, кто представляет себе их жизнь похожей на жизнь афинянок времен Перикла. Трудно представить себе что-нибудь более несходное. В самом деле. Насколько веселой, блистательной и яркой была жизнь афинского юноши, настолько унылой, серой и скучной была жизнь афинской женщины. Мальчика с младенчества окружала всеобщая любовь, его рождение было величайшим праздником для всей семьи, он учился у лучших учителей, каких только мог достать ему отец, а затем слушал лекции философов, знаменитых ораторов, математиков и вел тонкие диспуты то в круту

друзей, на пирах-симпосиях, то прямо на площади, среди теснившейся пестрой толпы слушателей.

А девочка была лишена всего этого. Ее рождение мало радовало родителей. В школу она не ходила и, сидя дома, обучалась только ткать, шить и вести хозяйство. Все время она проводила в *гинекее*, женской половине дома, и только по великим праздникам вместе с родителями и подругами выходила взглянуть одним глазком на пляски и веселье. В 14—15 лет родители выдавали ее замуж. Но жизнь ее мало менялась и ничуть не становилась свободнее — из родительского гинекея она переходила в гинекей мужа. По-прежнему она жила затворницей. Если к мужу приходили гости, она поспешно удалялась в свою комнату; если муж отпраивлялся в гости, жена не могла его сопровождать. Ее не видел никто, кроме ближайших родственников. Перикл прямо говорит, что лучшая слава для женщины — если о ее существовании знают только члены ее семьи (*Тисс.*, II, 45, 2).

Все это придавало афинской жизни какой-то странный колорит. Общество словно состояло из одних мужчин. На улицах, в гостях, на вечерах мужчины встречались только с мужчинами. Афинский юноша не виделся со сверстницами своего круга. Мы почти не слышим, чтобы кто-то из них влюбился в дочь или жену своего знакомца. И молодые люди стали влюбляться в прекрасных женоподобных юношей. Со страниц греческой литературы встает перед нами образ этих мальчиков. Они нежны и красивы, их окружают толпы поклонников, которые провожают их в палестру или на площадь и оказывают тысячи мелких услуг. Им дарят изящные безделушки, часто красивых птичек, а они капризничают и упрямятся, точь-в-точь как в других странах избалованные, кокетливые женщины.

Кроме того, молодежь часто проводила время в обществе гетер. У них обыкновенно собирались юноши, с ними они ходили на пиры. О гетерах написано много. И некоторые читатели до сих пор представляют себе этих дам в некотором романтическом

ореоле. Считают, что они, как японские гейши, учились в специальных школах и получали там самое изысканное воспитание; что они прекрасно знали литературу и философию и были блестящими собеседницами. Словом, что они не только телом, но и духом были настоящими *подругами** мужчинам, которые ради них бросали своих скучных, глупых жен. Естественно, гетерами становились самые умные и независимые женщины, которым невыносимы были унылые оковы домашнего рабства. Увы! Ничего этого мы не находим в действительной жизни.

Из Лукиана мы узнаем, что гетерами обычно становились девушки из бедных семей, вовсе не из стремления к эмансипации, но толкаемые нуждой. Вот, например, одна сценка. Мать рассказывает дочери, что едва не умерла с голоду, когда умер ее муж, кузнец.

«Я... растила тебя, дочка, в единственной надежде... Я рассчитывала, что ты, достигнув зрелости, и меня будешь кормить, и сама легко... разбогатеешь, станешь носить пурпурные платья и держать слуганок.

ДОЧЬ. Как это, мама? Что ты хочешь сказать?

МАТЬ. Что ты должна сходиться с юношами, пить с ними и спать с ними за плату.

ДОЧЬ. Как Лира, дочь Дафниды?

МАТЬ. Да.

ДОЧЬ. Но ведь она же гетера!

МАТЬ. В этом нет ничего ужасного. Зато ты будешь богата, как она, имея много любовников. Что же ты плачешь?» («Разговоры гетер», 6.)

Разумеется, эта дочь кузнеца не получила никакого специального образования. Неудивительно, что гетеры, которых описывает нам Лукиан, зачастую не умели ни читать, ни писать. Единственное, что им надо было знать, это некоторые правила поведения. Они не должны были на пиру громко говорить и хохотать; есть и пить им следовало изящно, без всякой жадности. А главное, гетера не должна была кокетни-

* * Слово «гетера» по-гречески значит «подруга».

чать со всеми во время вечеринки, но не отрываясь смотреть на того, кто платил ей деньги (*Ibid.*).

Естественно, гетеры не пользовались доброй славой. Их дружно называют бездушными и жадными. Говорили, что они умудряются в короткий срок обобрать своего поклонника, а потом безжалостно бросают его на произвол судьбы и уходят к более богатому. И они только укрепляли то презрение, с которым греки относились к женщинам. Их почитали существами низшими, грубыми, необразованными, неразвитыми.

Совершенно не так дело обстояло в Риме. С самого основания Города мы видим женщин окруженными почетом и уважением. Рождение дочери было столь же радостным событием, как и рождение сына, — в первый день Карменталий молили о рождении мальчика, во второй — о девочке (*Ovid. Fast., I, 618—636*). Девочкам давали точно такое же образование, как и мальчикам, и они даже вместе учились в школе, в одном классе — чего в Европе достигли только в XX веке. Никакой женской половины дома не существовало — девочка росла на виду. Выйдя замуж, она становилась настоящей хозяйкой дома. Она вела хозяйство и распоряжалась имуществом, она принимала гостей и сама ходила всюду с мужем. Историк Непот, современник Цицерона, сравнивая греческие и римские нравы, находит, что главное отличие — в положении женщин. «Кому из римлян было бы стыдно привести на пир жену? Или у кого мать семейства не занимает первого места в доме или не появляется на людях? А у греков совсем по-иному» (*Prolog., 6—7*).

Мы видим во времена Республики блестяще образованных женщин. Жена Помпея, по свидетельству Плутарха, «знала музыку и геометрию и привыкла с пользой для себя слушать рассуждения философов» (*Plut. Pomp., 55*). Другая ученая дама, Цереллия, настолько увлекалась философией, что не могла дождаться появления в свет очередного трактата Цицерона. Оратор всегда отдавал ей первый переписанный экземпляр, а иногда она сама переписывала, по выражению Цицерона, «горя рвением к филосо-

фии» (*Att.*, XIII, 21, 2; XIII, 22, 3). Дочь же самого Цицерона, Туллия, великолепно знала философию и юриспруденцию, греческую и латинскую словесность. Саллюстий описывает одну свою современницу, знатную даму. По его словам, она прекрасно знала науки и искусства Греции и Рима, была необыкновенно остроумна, очаровательна и писала стихи (*Sall. Cat.*, 25).

Но особенно поразила современников одна римлянка. Это было в дни великого террора. Триумвиры Октавий, Антоний и Лепид устроили в Риме кровавую бойню. Несмотря на то, что им шли деньги убитых, средств не хватало. И вот триумвиры решили обложить налогом римских матрон. Испуганные женщины обращались за помощью к лучшим ораторам, но «никто из мужчин не посмел им помочь» (*Val. Max.*, VIII, 3, 3). И тогда дело женщин на народном собрании перед лицом всего Рима взялась защищать Гортензия, дочь Квинта Гортензия, знаменитого соперника Цицерона. По словам современников, казалось, что ожил сам великий оратор — его волшебное красноречие дышало в речах дочери (*ibid.*). Она не просила о милости — она обвиняла. В заключение она сказала, повернувшись к триумвирам:

«— Вы отняли уже у нас родителей, мужей и братьев... Если же вы отнимете у нас средства к существованию, то поставите нас в тяжелое положение, недостойное нашего происхождения, образа жизни и природы женщин. Если вы считаете себя обиженными нами так же, как мужчинами, то подвергните нас, подобно им, проскрипциям... Наши матери... один раз, вопреки нашему полу, собрали налог: это было, когда... нам угрожали карфагеняне... Когда наступит война с галлами и парфянами, и мы окажемся не хуже наших матерей в стремлении сохранить отечество. Но для гражданской войны мы никогда не станем вносить вам денег или помогать вам в борьбе друг с другом.

Пока Гортензия произносила эту речь, триумвиры возмущались. Неужели женщины в то время, как мужчины сохраняли спокойствие, осмелились выступать в народном собрании, требовать отчета у магистратов в их действиях?» (*App.*, B. C., IV, 32 — 34). Они

попытались силой стащить Гортензию с трибуны, но на сей раз граждане им не повиновались. Властям пришлось уступить и оставить матрон в покое. Гортензия не только произнесла замечательную речь, она издала ее. «Мы читаем ее не из-за одного уважения к ее полу», — замечает знаменитый учитель риторики Квинтилиан (*Quintil.*, I, 1, 6).

Этот случай показывает не только образование и блестящие дарования римских женщин, но и их великую смелость. Такому качеству римлянок очень поразились иноземцы. «Благородная смелость римлян присуща и римским женщинам», — пишет Аппиан (*Ital.*, V, 3). Такое же удивление вызывали римлянки и у европейцев XIX века, которые знакомились с античной историей. Г. Буассье специально поясняет для своих читателей, что римляне любили в своих подругах «серьезный ум и решительный характер». «Эти достоинства ценились более всего в женщинах. Плавт приписывает им их в каждой своей пьесе... Мы никогда не видим их (героинь Плавта. — Т. Б.) робкими... у них решительный вид и они говорят твердым и мужественным тоном». Буассье приводит два примера. В первой пьесе действует бедная девушка без друзей и покровителей. Ее толкают на опасную и грязную интригу. «Она сопротивляется с холодной твердостью; чтобы избежать опасности, грозящей ее чести, она не прибегает ни к мольбам, ни к слезам; она спокойна, рассудительна, спорит и рассуждает». В другой комедии героиня — знатная матрона Алкмена. Муж, полководец Амфитрион, подозревает ее в неверности. «Оскорбленная Амфитрионом Алкмена*

* Речь идет о родителях Геракла. В пьесе Плавта Юпитер, плененный красотой Алкмены, проникает к ней в облике ее мужа. Амфитрион, вернувшись из похода, к своему ужасу узнает, что в его отсутствие жена принимала у себя другого. Возмущенный супруг осыпает ее градом упреков. Алкмена, верная и добродетельная жена, сознавая свою невинность, оскорблена до глубины души и требует развода, несмотря на то, что только что в своем монологе перед зрителями признавалась, что любит мужа больше всего на свете. Замечательно, что Плавт изображает Алкмену и Амфитриона как знатных римлян своего времени, причем Алкмена для него — идеальная женщина.

не старается тронуть его своими слезами, но хочет убедить его своими рассуждениями... Но когда она замечает, что убедить его невозможно, то принимает решение без всяких колебаний и требует развода... Она не хочет оставаться с ним более ни одной минуты... она решается уйти одна, «сопровождаемая только своим целомудрием». Очевидно, что именно так представляли себе образцовую женщину и что именно подобного рода качества считались принадлежностью идеальной матроны... В настоящее время, — заключает Буассье, — в молодых девушках нравится более робкий, нежный и менее решительный нрав. Слабость в них всего привлекательнее* В другом месте он прямо пишет, что римляне портили своих женщин, желая сделать их чересчур учеными**

Взгляды на женщин, разумеется, менялись от эпохи к эпохе. Идеал XIX века — идеал тихой, нежной и малообразованной девицы — показался бы смешным в XVIII веке, среди этих смелых, образованных и изысканных авантюристок. О нашем веке и говорить нечего. Но, как бы ни оценивать римских женщин, совершенно ясно, как формировался их характер. В XIX веке женщины воспитывались в закрытых пансионах или учились дома по совершенно особой программе. Римские же девушки воспитывались вместе со своими братьями. Впрочем, Плутарх, лично познакомившийся с римлянками, был ими очарован. Он говорит, что спартанки, тоже получавшие мужское воспитание, были грубы и резки, римлянки же — милы и нежны в обращении (*Num.*, 25).

После всего сказанного довольно естественным кажется, что у греков и римлян был разный взгляд на брак. Греки как будто даже несколько стыдились, что вынуждены соединяться со столь жалкими существами. Они постоянно подчеркивали, что совсем не говорят с женой (см., например: *Хенорф. Оecon.*, III, 12).

* Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., б.г. С. 561—563.

** Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк римского общества времен Цезаря. М., 1914. С. 104.

Женитьбу они объясняли вынужденной необходимостью. «Мы женимся, — говорили они, — чтобы иметь законных детей» (*Dem. in Neaer., 122*). Римляне же считали, что «брак есть союз мужа и жены, общность всей жизни, единение божественного и человеческого права» (*Dig., XXIII, 2, 1*). Жена Брута, знаменитая Порция, говорила мужу:

— Я... вошла в твой дом не для того, чтобы, словно наложница, разделять с тобой стол и постель, но чтобы участвовать во всех твоих радостях и печалях. Ты всегда был мне безупречным супругом, а я... чем доказать мне свою благодарность, если я не могу понести с тобой вместе сокровенную муку и заботу, требующую полного доверия (*Plut. Brut., 13*).

Сын этой Порции вспоминает, что, когда Брут прощался навек с женой, оба вспоминали знаменитое прощание Гектора с Андромахой. «Брут улыбнулся и заметил:

— А вот мне нельзя сказать Порции то же, что говорит Андромахе Гектор:

Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним.

Лишь по природной слабости уступает она мужчинам в доблестных деяньях, но помыслами своими отстаивает отечество в первых рядах бойцов — точно так же, как мы» (*ibid., 23*).

И мы действительно видим в Риме жену участницей сокровенных замыслов мужа. Плутарх, например, рассказывает, как вскоре после изгнания царей какой-то раб случайно узнал о заговоре против Республики. В заговоре замешаны были первые лица государства, поэтому он страшился рассказывать о том, что узнал. Наконец он решился довериться консулу Валерию. Он ему «обо всем рассказал в присутствии лишь жены Валерия» (*Popl., 4—5*). Иными словами, консул не усомнился открыть жене страшную тайну, от которой зависела судьба Рима. И всем казалось это совершенно естественным. Когда три века спустя другому консулу стало случайно известно о существовании опасного тайного общества поклонников Вакха, он под величайшим секретом открыл

это только жене и теще. Причем эта последняя, женщина чрезвычайно умная, помогла зятю отыскать преступников. Сообщают, что иноземцы, присылая послов в Рим, наказывали им попытаться добиться сочувствия женщин, ибо «у римлян женщины издревле имеют большое значение» (*App. Samn., XI, 1*).

Естественно, женщины считались полноправными членами гражданской общины. Когда умирала матрона, тело ее несли на Форум, за нею так же, как и за мужчиной, следовал длинный ряд умерших предков, тело ее водружали на Ростры, а сын или ближайший родственник перед всем римским народом произносил над ней похвальное слово. Римляне очень гордились доблестями своих жен и полагали, что в этом отношении они превосходят всех на свете. Даже Элиан, совершеннейший грек по воспитанию и взглядам, в этом пункте остается верен своей расе. Он перечисляет, кого считают лучшими среди гречанок — это все персонажи мифов — и кого — лучшими среди римлянок. Однако он неожиданно прерывает перечисление и говорит, что решил остановиться на этом, «чтобы, — прибавляет он со скромной гордостью, — немногочисленные имена гречанок не потонули в именах римлянок» (*Var., XIV, 45*).

Но римлянки не просто стояли рядом с мужчинами. Их всю жизнь окружал ореол романтического поклонения. Именно римляне ввели те формы вежливости, которые до недавнего времени соблюдались в Европе. Один грек с изумлением рассказывает о римских нравах. «Женщинам, — говорит он, — ...оказывают многочисленные знаки уважения. Так, им уступают дорогу, никто не смеет сказать в их присутствии ничего непристойного» (*Plut. Rom., 20*). Он не в силах найти слов, чтобы описать «уважение и почет, которым... окружали римляне своих жен» (*Plut. Num., 25*). Греков это настолько поражало, что они даже придумали теорию, согласно которой это безмерное уважение, граничившее с преклонением, объясняется тем, что первых своих жен римляне добыли, похитив сабинянок, а так как те рыдали и не хотели признать их своими мужьями, римляне дали

клятву отныне чтить их, как цариц (*Plut. Num.*, 25; *Rom.*, 14; 20 etc.). Овидий рисует нам женщин, которые пестрой толпой идут по улицам Рима. Их поклонники галантно держат над их головой зонтик от солнца, помогают зашнуровать туфельку, расчищают для них место в толпе — поведение, совершенно немыслимое в Афинах (*Fast.*, II, 311—312; *Ars am.* II, 209—212). Понятны после этого слова одного римлянина: «Тот, кто бьет жену или ребенка... поднимает руку на величайшую святыню» (*Plut. Cat. mai.*, 20).

Вот почему я прошу читателя представлять моих героинь — жену Лелия, его дочерей и других римлянок — изящными, образованными дамами, окруженными всеобщим поклонением. Они сидят на пирах рядом с мужчинами и с легкостью ведут ученые философские беседы, оживляя собой эти строгие собрания. И если они подчас и вносят в серьезные диспуты легкий оттенок веселого кокетства — ну что же, простим им это. Ведь легкий флирт вообще был свойствен римским вечерам.

Вернемся теперь к семье Гракхов. Корнелия была звездой среди римских женщин. По отзывам современников, она была умна, прекрасна, очаровательна, благородна. Ее одинаково чтили и друзья, и враги ее сыновей. Она была блестяще образованна и талантлива. Цицерон не мог читать ее писем без глубокого восхищения. Он не сомневался, что дети такой матери не могли не стать великими ораторами (*Brut.*, 211). Именно она была тем магнитом, который всегда притягивал людей в дом Гракхов. Это была вполне светская женщина. «У нее было много друзей... в ее окружении постоянно бывали греки и ученые, и она обменивалась подарками со всеми царями» (*Plut. C. Gracch.*, 40). Благородное происхождение и прекрасное воспитание сквозили в каждом ее жесте (*ibid.*).

Корнелия осталась вдовой с двенадцатью детьми. Тем не менее многие — и римляне, и иноземцы — добивались ее руки. Царь Египта, увидав прекрасную вдову, тотчас же поверг к ее стопам все богатства Александрии и предложил разделить с ним трон. Но Корнелия отвергла все предложения. Она осталась

верна памяти своего мужа. Она «приняла на себя все заботы о доме и обнаружила столько благородства, здравого смысла и любви к детям, что, казалось, Тиберий сделал прекрасный выбор, решив умереть вместо такой супруги» (*Plut. Ti. Gracch., 1*). Дети были главной ее заботой, ее гордостью, отрадой, смыслом ее жизни. Передают такой рассказ. У нее гостила знатная матрона из Кампании. Однажды гостя стала показывать хозяйке свои драгоценности, «самые прекрасные для того века». Когда она в свою очередь попросила хозяйку показать свои драгоценности, Корнелия указала на сыновей, в это время вернувшихся из школы, и сказала:

— Вот мои единственные сокровища (*Val. Max., IV, 4*).

Она вызвала для них лучших учителей из Эллады, чтобы дать им самое изысканное, самое утонченное греческое образование, одновременно она без конца рассказывала им о подвигах их предков, особенно о своем великом отце, чтобы пробудить в них римские доблести (*Cic. Brut., 104; Plut. C. Gracch., 40*). Она растила их «с таким честолюбивым усердием, что они... своими прекрасными качествами больше, по-видимому, были обязаны воспитанию, чем природе» (*Plut. Ibid.*). Ее забота о детях стала в Риме притчей во языцех (см. например: *Cic. Brut., 104, 211*). Плутарх говорит, что даже злейшие враги Гракхов не смели отрицать, что среди римлян не было равных им по воспитанию, образованию и заложенному в них матерью стремлению к нравственно прекрасному (*Plut. Ti. Gracch., 41*). «Мы знаем, как много дала для развития красноречия Гракхов их мать Корнелия, чья просвещенная беседа донесена до потомства ее письмами», — пишет Квинтилиан (*Quintil., I, 1, 6*). И дети относились к ней с восторженным обожанием, почти преклонением. Они считали ее лучшим, благороднейшим существом на свете и советовались с ней по всем вопросам.

Из двенадцати детей Гракха и Корнелии зрелости достигли только трое — дочь Семпрония и два сына. Старший звался Тиберием. О нем-то и пойдет рассказ.

III

Тиберий Семпроний Гракх был надеждой семьи, гордостью матери, идолом младшего брата. В детстве он много читал прекрасных греческих книг и слушал прекрасные рассказы матери — она чудесно рассказывала. Возможно, именно эти романтические, упоительные рассказы сделали его мечтательным. Реальную жизнь он знал плохо и видел мир сквозь цветной туман грез и мечтаний, где сливались образы героев книг и материнских рассказов. О нем можно было сказать словами Блока:

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.
И жизни (редкие) уродства
.....
Не нарушали благородства
И строй возвышенной души.

Он вырос утонченным, красивым юношей (*Flor., II, 3, 14*) с душою нежной и чистой, как весеннее небо. Это был, говорит Веллей Патеркул, молодой человек «чистейшей жизни, цветущих дарований, движимый самыми возвышенными намерениями и украшенный всеми добродетелями, какие только могут дать смертному природа и прилежание» (*Vell., II, 2*). По словам Плутарха, юный Тиберий был храбр, воздержан, бескорыстен и великодушен (*Plut. Ti. Gracch., 2*). Кроме того, он был сентиментален, чувствителен и плохо владел собой — мог безудержно рыдать от острой жалости к униженным и оскорбленным или к самому себе. Он был мягок и кроток в обращении (*Plut. Ti. Gracch., 2*). Римляне любили его не только из уважения к его знаменитым родителям, но и за его чистые нравы.

Тиберий вряд ли помнил своего отца, хотя воспитан был в благоговейном уважении к его памяти. Кроме матери, еще один человек опекал его с отроческих лет — то был Сципион Эмилиан. Он с детства знал семью Гракхов, с которой был связан самыми тесными узами родства. Потом эти связи еще укреп-

пились, ибо он женился на Семпронии, дочери Корнелии. Вот почему Сципион считал своим долгом постараться заменить отца осиротевшим мальчиком. Когда он был назначен командующим под Карфагеном, то взял с собой Тиберия, которому в то время было лет 16—17. Мальчик даже жил в одной палатке с главнокомандующим (*Plut. Ti. Gracch., 4*). В Африке Тиберий показывал чудеса храбрости: Фанний, зять Лелия, сам человек редкого мужества, вспоминал, что они вместе с Гракхом первые взойшли на стену Карфагена и получили золотой венок (*Plut. Ti. Gracch., 4*). Как и все, кто был знаком со Сципионом, юный Тиберий подпал под его влияние. Блестящие подвиги Публия поразили его, поэтому меня ничуть не удивляет сообщение Плутарха, что Тиберий стремился подражать всем его поступкам (*ibid.*).

Но постепенно между ними начало замечаться охлаждение — Тиберий все более и более отдалялся от своего бывшего кумира. Очевидно, он жаждал самостоятельности, а Сципион подавлял его своим умом и величием славы. Была и еще одна тайная причина. Тиберий был необычайно, болезненно честолюбив (*App. B. C., I, 9*). Когда он узнал, например, что школьный товарищ опередил его на лестнице почестей, он переживал это как страшную трагедию (*Plut. Ti. Gracch., 8*). Его восторженный почитатель и биограф Плутарх пишет, что даже злейшие враги не могли обвинить его героя ни в чем, кроме «непомерного честолюбия» (*Plut. Ti. Gracch., 45*). С детства он мечтал о славе, причем о славе совершенно особенной, необыкновенной, о которой рассказывала мать. В воображении своем он видел себя вторым Сципионом. Между тем наследником Публия Африканского считался не он, а его зять Эмилиан. Он разрушил Карфаген, он был первым гражданином, его имя гремело повсюду. Это невыносимо уязвляло Тиберия. Некоторые современники считали даже, что он затеял свою реформу оттого, что был не в силах выносить, что его мать называют тещей Сципиона, а не матерью Гракхов (*Plut. Ti. Gracch., 8*).

Плутарх прямо пишет, что главной причиной расхождения Тиберия с нашим героем было соперничество в славе (*ibid.*, 7). Как понимать эти слова? Какое могло быть соперничество в славе у разрушителя Карфагена с мальчишкой, не занимавшим еще ни одной магистратуры, не совершившим еще ничего не то что великого, а просто выдающегося?! Очевидно, слова эти относятся не к Сципиону, а к Тиберию. Это он ревновал к славе своего знаменитого родственника и отдалился от него, досадуя, что исходящий от Сципиона блеск совершенно затмевает его собственный слабый свет. И вот тут-то и произошло событие, заставившее Тиберия не просто отдалиться от Сципиона, а глубоко его возненавидеть.

В 137 году до н. э. Гракх был выбран квестором. Он вытянул жребий ехать под Нуманцию с консулом Гаем Гостилием Манцином* В воображении Тиберия Испания была сказочной страной, овеянной романтическими рассказами матери. В Испании совершил свои волшебные подвиги Сципион Великий. В Испании воевал его отец. Разве не чудесно, что судьба сразу же, на пороге жизни, посылает его именно в Испанию? Разве не виден в этом великий промысел богов? Вот почему Тиберий с восторгом принял назначение, которое привело бы в ужас большинство его сверстников, трепетавших при одной мысли об этой ужасной стране. И не последнее место в его душе занимала мысль о его сопернике Публии Африканском. Ведь и его слава началась с Испании. Он, будучи простым офицером, затмил полководца и один спас римское войско. Несомненно, в мечтах своих Тиберий видел себя на его месте, лелеял надежду отличиться не меньше зятя и показать наконец всему Риму, кто же настоящий внук Великого Сципиона, он или сын Эмилия Павла.

Единственное, что отравляло радость Тиберия, это мрачные знамения, преследовавшие консула. «Когда в Ланувии проводили ауспиции, куры улетели из

* Это был близкий родственник, возможно, кузен того Манцина, которого Сципион когда-то в Африке снимал со скалы.

клетки в Лавретинский лес, и их не нашли. В Пренесте в небе виден был пылающий факел. Среди ясного неба грянул гром. В Таррацине претор... стоя на корабле, сожжен был молнией. Фуцинское озеро разлилось на пять миль во все стороны. В Грекостасе и Комиции показалась кровь. На Эсквилине родился жеребенок с пятью ногами. А когда консул Гостилий Манцин всходил на корабль в порте Геркулеса... неожиданно услышали голос:

— Не езд, Манцин!*

Он спустился и сел на другой корабль, уже в Генуе, но на судне нашли змею, и она ускользнула из рук» (*Jul. Obsequ.*, 83(22)).

Казалось, все силы преисподней, неба и земли, все звери и птицы говорят консулу: «Не езд, Манцин!» Тиберий, как и его родители, был человеком глубоко религиозным, и его не могли не смутить эти мрачные предзнаменования.

Наконец они прибыли на место. Консул был человеком благородным, честным, но абсолютно непригодным для трудной войны, тем более для такой войны, какой была Нумантинская. Вскорости он был выбит из лагеря, потерпел поражение и «под бременем обрушившихся на него бед уже и сам не знал, полководец он или нет» (*Plut., Ti. Gracch.*, 5). Кончилось тем, что 20 тысяч римлян, находившихся под его командованием, были оттеснены в какое-то ущелье и заперты там 8 тысячами испанцев!

Их ожидала голодная смерть. Выхода не было. И тут нумантинцы неожиданно узнали, что среди римлян есть молодой офицер по имени Тиберий Гракх. Они сразу же вспомнили своего благородного врага и незабвенного друга. Они спросили, кем приходится ему молодой офицер. Услыхав, что это его сын, они закричали, что верят ему одному, и потребовали его для переговоров. Наконец-то стала сбываться мечта Тиберия! Римское войско в смертельной опасности, все гибнет, консул в отчаянии, на нем одном

* По-латыни эти слова звучат аллитеративно, как заклинание: «Мане, Манцине!»

сосредоточены все надежды. С бьющимся сердцем вступил он в неприятельский лагерь. Долго он говорил с нумантинцами и наконец под собственное честное слово заключил с ними мир. Враги выпускали римское войско целым и невредимым, а римский народ фактически отказывался от этой части Испании, то есть признавал себя побежденным.

Войско уже успело отойти довольно далеко, как вдруг Тиберий обнаружил, что у него пропали таблички с записями и расчетами, которые он вел как квестор. А по этим записям он должен был отчитываться перед сенатом. Конечно, он оставил их в лагере, который сейчас захвачен врагами! Делать было нечего. Тиберий повернул назад и один поехал к грозной Нуманции. Увидав его, испанцы выбежали из крепости и в изумлении столпились вокруг. В ответ на их расспросы Гракх умолял их найти его таблички. Он думал обождать пока у ворот, не желая входить в город, враждебный Риму. Но нумантинцы встретили его как родного. Они и слушать не хотели его робких протестов, «взяли его за руки и горячо просили не считать их больше врагами» и почти силой втащили в ворота. «Когда он вошел в город, граждане первым делом приготовили завтрак и хотели, чтобы он непременно с ними поел, потом возвратили таблички и предлагали взять все, что он пожелает, из имущества». Но Тиберий был слишком воспитанным и тактичным человеком, чтобы принять эти предложения. «Он не взял ничего, кроме ладана, который был ему нужен для общественных жертвоприношений, и, сердечно распрощавшись с нумантинцами, пустился догонять своих» (*Plut. Ti. Gracch.*, 6).

Тиберий был на седьмом небе от счастья. Пока корабль медленно ехал к берегам Италии, он упивался прелестными мечтами. Он представлял, как его примут в Риме, как будут прославлять как героя, спасшего 20 тысяч римлян, как будет гордиться им его мать, с какой завистью и благоговением будут смотреть на него школьные друзья! Увы! Что ожидало его в городе!..

В Риме их встретили взрывом возмущения, чуть ли не градом камней. Римляне были вне себя от гне-

ва и унижения. Говорили, что со времени основания города Рим не знал такого позора. Каждое слово злополучного договора было для квиритов, как удар бича. Они готовы были разорвать на куски авторов унижительного мира. Но они были бессильны, и это и приводило их в особенную ярость. Они не могли отказаться от позорного договора — он был скреплен консулом, скреплен торжественной клятвой. Нарушить ее было бы клятвопреступлением. Они оказались в ловушке, как и Манцин.

Консулом был тогда Люций Фурий Фил, неразлучный друг Сципиона и Лелия. В полном смятении он обратился за советом к обоим друзьям, главным образом, конечно, к Сципиону. И тот нашел неожиданный выход. Некогда, еще во времена бородатых консулов, римляне попали в такое же безвыходное положение. Они воевали тогда с самнитами. И вот враги заперли римлян в Кавдинском ущелье и заставили подписать позорный мир, фактически полную капитуляцию. Когда злополучное войско вернулось домой, город охватило отчаяние. Женщины оплакивали позорно спасенных как умерших, сенаторы сняли одежды с пурпурной каймой и облачились в глубокий траур, все торжества, браки и празднества были отложены на год. Спасенные воины прятались от дневного света, и на всех нашло какое-то немое бездействие печали (*App. Samn., IV, 7*). Выход предложил сам консул Постумий. Он спокойно заявил, что он один виноват в случившемся. Он сделал это, чтобы спасти ни в чем не повинных воинов. Но ни сенат, ни народ мира не ратифицировали. Значит, Рим может не считаться с его договором. Но, чтобы окончательно очистить себя перед богами и людьми, пусть римляне выдадут его, консула, и весь военный совет самнитам, нагими, со скрученными за спиной руками. Вот так же, заключил Публий, подобает поступить и в этом случае.

Фил, убежденный другом, выступил в сенате и предложил выдать нумантинцам виновников позорного договора — Манцина и Помпея, который недавно также заключил договор, оскорбительный для

римской национальной гордости. И вот оба бывших консула теперь стояли посреди Курии, опустив головы, под гневными и насмешливыми взглядами отцов. Оба оказались вполне достойными своих предков. Безродный Помпей безудержно рыдал, умолял и чуть ли не ползал на коленях перед сенаторами. А знатный Манцин твердо и спокойно заявил, что виноват он один и предложение консула кажется ему очень разумным. В результате Помпея помиловали, а Манцина обнаженным, со связанными руками выдали нумантинцам. Впоследствии Фил признавался, что запомнил на всю жизнь этот случай как величайшую из виденных им в жизни несправедливостей (*Cic. De or., I, 181; De off., III, 109; De re publ., III, 28*).

Нумантинцы отказались принять Манцина, не желая тем самым очистить римлян от клятвопреступления. Но он был уже навеки опозоренным. «Возвратившись домой, — рассказывает Цицерон, — Манцин счел себя вправе явиться в сенат; но народный трибун... велел его вывести, заявив, что он уже не гражданин» (*Cic. De Or., I, 181*). Что же касается Помпея, он мигом оправился от пережитого испуга и дошел до такой подлости, что даже набросился с упреками на Фила, который вытянул жребий ехать под Нуманцию. Потеряв терпение, Фил объявил, что берет его с собой, чтобы отнять у него возможность клеветать. Так что Фурий отправился в Испанию, везя с собой их обоих — Манцина, связанного и обнаженного, и Помпея, свободного и в одежде легата (*Val. Max., III, 7,5*).

Быть может, читатель заметил одно различие между тем, как поступили с Постумием, и как с Манцином. Тогда выдан был весь военный совет, сейчас — один консул. Между тем всем прекрасно было известно, что договор заключал вовсе не консул, а квестор Гракх! Всех потом интересовал вопрос, как Тиберию удалось избежать участи Манцина. Большинство римлян склонялось к мысли, что это Сципион Африканский, «обладавший тогда в Риме огромной силой», спас своего незадачливого родственника (*Plut. Ti. Gracch., 7*). Впрочем, у нас нет никаких

оснований обвинять Публия в лицепрятии. Я уверена, он поступил бы так же, если бы на месте Тиберия был совершенно неизвестный ему молодой человек. Он всегда считал, что за все, что происходит на войне, в ответе главнокомандующий. Будь он сам на месте Манцина, он не колеблясь взял бы все на себя. Ему казалось бессмысленной жестокостью опозорить всех офицеров, сражавшихся под началом Манцина, и навеки испортить жизнь неопытному мальчику, который столь неудачно вмешался в дело.

Итак, Тиберий был спасен. Его имя даже никто не упомянул. Но он пережил такое унижение, как никогда в жизни. Он, мнивший себя героем, спасителем Рима, был обесчещен перед всем Римом. Это было ужасно. Он, заключивший договор под свое честное слово и воззвавший к памяти отца, стал лжецом и предателем в глазах доверившихся ему людей, тех самых нумантинцев, которые так простодушно брали его за руку, приглашали завтракать и называли своим другом. Он, считавший себя гордостью своего рода, запятнал память собственного отца! Это было еще ужаснее. Но самое ужасное было даже не это. Он видел, как со всех сторон теснили консула, как осыпали его горькими упреками, но Манцин ни слова не сказал в свое оправдание, он даже намеком не упомянул истинного виновника договора, его, Тиберия Гракха! И он покорно протянул руки, чтобы его связали, даже не взглянув ни разу на Гракха. Как поступил бы в подобном случае отец Тиберия? О, в этом-то у Тиберия не могло быть ни малейшего сомнения. Он сказал бы:

— Я виновен также, как Гостилий Манцин, и я пойду вместе с ним к нумантинцам.

Да, так сказал бы его отец. Но Тиберий сидел, потупя голову, не смея поднять глаз, и не мог произнести роковых слов! Не смерть его страшила, хотя и смерть тоже. Ведь он так любил жизнь и все свои блестящие надежды! И все-таки он никогда бы не отступил в бою и достойно принял бы смерть. Но быть выданным нагим на поругание врагам, утратить вместе с жизнью честь, утратить навеки, безвозвратно, — о,

этого сделать он был не в силах! Ибо даже если бы враги его пощадили, кем бы стал он отныне — жалким изгоем, парией. И это он, Тиберий Гракх, которого все так любили, которого считали украшением семьи! И вот он, сознавая свою слабость, так и не произнес роковых слов и позволил консулу уехать одному. И это было вдвойне позорно еще и потому, что несчастный консул его всегда любил, ему доверял, кроме того, по римским понятиям, консул считался для квестора отцом. И вот этого отца он предал! Вот что было самым жестоким, нестерпимым унижением!

Люди редко обвиняют в своих бедах самих себя. Во всяком случае, Тиберию это было менее всего свойственно. Он никогда не мог забыть чудовищное унижение, которое пережил в сенате, — а потому был смертельно оскорблен. До самой смерти это чувство было в нем настолько сильно, что большинство современников было убеждено, что всю свою знаменитую реформу он затеял, чтобы отомстить отцам. Цицерон пишет: «Тиберию Гракху причинила боль и страх та ненависть, которую вызвал Нумантинский договор, ...и суровость, с которой сенат отверг этот договор. Это-то событие и заставило его, человека смелого и знаменитого, отпасть от авторитета отцов» (*Cic. Har. resp.*, 43; *cp. Cic. Brut.*, 103; *Vell.*, II, 2; *Oros.*, V, 8, 2; *Flor.*, II, 2, 2; *Quint.*, VII, 4, 13; *Dio.*, 83, 2).

Но главным виновником своих мук он считал своего безжалостного родственника Публия Африканского. У Плутарха есть любопытное место. Он говорит, что римляне были уверены, что жизнью Тиберий обязан Сципиону, — а это само по себе было нестерпимо для самолюбия Гракха! — «и все же, — продолжает он, — Сципиона осуждали за то, что он не спас Манцина и не настаивал на утверждении перемирия с нумантинцами, заключенного усилиями Тиберия, его родича и друга» (*Plut. Ti. Gracch.*, 7). Довольно ясно, кто мог «осуждать» Сципиона за то, что он не утвердил мир Тиберия!

Когда нас обидят, обидят незаслуженно, да еще обидят те люди, которых мы любили, мы, естествен-

но, ищем сочувствия и утешения. Вот почему Тиберий стал отдаляться от своих прежних приятелей, Рутилия и Туберона, — нечего было и думать жаловаться на Публия этим людям, которые буквально на него молились. Он стал искать других друзей. И прежде всего это был его тесть, Аппий Клавдий, — тот самый Аппий, который некогда соперничал со Сципионом из-за цензуры. Тесть для римлянина — второй отец. А Тиберий был любимцем Аппия, и Гракх всей душой привязался к старику. У тестя он находил неизменное сочувствие. Вот уж его не надо было убеждать в том, что Сципион незаслуженно и безжалостно его обидел! Аппий прекрасно помнил непереносимую гордость и змеиный язык этого человека! По словам Лелия, он ненавидел Сципиона (*De re publ.*, I, 31). Уж, конечно, старик убеждал Тиберия совсем порвать дружбу с Публием.

Затем был младший брат Тиберия, Гай Гракх. Между братьями была большая разница — девять лет. Тем не менее Тиберий всегда считал брата своим лучшим другом. «Они жили душа в душу», — говорит Цицерон (*Rab. Mai.*, 16). Это был очень умный и очень одаренный юноша. Он обожал Тиберия, преклонялся перед ним, считал лучшим человеком на свете. В долгих беседах Тиберий изливал ему душу, делился своими планами и надеждами. Можно себе представить, каким бальзамом для его израненного сердца было восторженное обожание этого пылкого мальчика⁶¹. На Гая же эти беседы произвели неизгладимое впечатление. С того времени он всем сердцем, всей душой возненавидел Сципиона.

Наконец, в то время Тиберий близко сошелся с одним очень интересным семейством — Публием Муцием Сцеволой, по прозвищу Юрисконсульт*, одним из лучших правоведов своего времени, и с его братом Крассом Муцианом. Сцевола был человеком милым, доброжелательным, честным и трудолюбивым. Он с головой погружен был в юриспруденцию. Но

* Это двоюродный брат Сцеволы Авгура. См. родословные таблицы.

эти сухие занятия не мешали ему быть дружелюбным и веселым — он играл в мяч почти так же блистательно, как составлял завещания (*Cic. De Or., I, 166*). Ему только, быть может, не хватало широты двоюродного брата, Авгура, зятя Лелия, который под влиянием своего тестя стал интересоваться и историей, и философией, и теологией.

Красс же был человек умный, блестяще образованный и одаренный. По словам Семпрония Азеллиона, молодого офицера Сципиона, занявшегося историей, у Красса было пять высших благ, на которых зиждется человеческое благополучие: он был богат, знатен, красноречив, в совершенстве знал право, наконец, был верховным понтификом*, то есть главой всего римского культа (*HRR, Asell., Fr. 8*). Цицерон говорит, что всегда восхищался его трудолюбием и удивительными дарованиями (*Brut., 98; De Or., I, 216*). В то же время было в нем что-то холодное, даже неприятное. Это ясно показывает один случай, который произошел несколько лет спустя после описываемых событий. Красс, бывший тогда консулом, вел очень трудную войну в Малой Азии. Он штурмовал какой-то город, и ему понадобилось большое длинное бревно для стенобитного тарана. Он видел подходящее бревно у одного из союзников и отправил к нему письмо, прося прислать его. Но, хотя консул все ясно объяснил, тот прислал совсем другое бревно, рассудив, что оно лучше подойдет для тарана. Тогда Красс велел наказать его телесно, сказав, что, когда он получает приказ, должен повиноваться, а не лезть с непрошенными идеями (*HRR, Asell., Fr. 8*).

Но этот поступок вовсе не вызвал ненависти греков. Напротив, Красс был очень популярен благодаря своей удивительной учености и особому такту, которыми обладал. В Малой Азии, проводя судопроизводство, он говорил с каждым не только по-гречески, но на его родном диалекте! Причем был так изысканно любезен, что даже декреты издавал на соответст-

* Понтификом он стал через год после трибуната Тиберия.

вующем наречии. Его язык и произношение были безупречны (*Val. Max., VIII, 7, 6*).

Красс не любил Сципиона, а быть может, тайно ему завидовал (*Cic. De re publ., I, 31*) — обстоятельство, делавшее его общество еще более приятным для Тиберия. Все эти знатные, образованные, утонченные люди составляли теперь дружеский кружок. Их связывали самые тесные узы дружбы и даже родства — в самом деле, Гракхи были братьями, Аппий — тестем Тиберия, а Гай настолько сблизился с семьей Красса, что впоследствии женился на его дочери Лицинии. Они непринужденно беседовали, обсуждая все политические новости. Но Тиберия интересовал теперь только один вопрос — аграрный закон. Казалось, все силы его ума и души сосредоточены были на нем одном.

Когда мысль об этом роковом проекте пришла ему впервые в голову? Конечно, он давно слышал о нем в доме Сципиона в то время, когда еще восхищался всем, что говорил и делал Сципион. Но только теперь, вернувшись из Испании, он вдруг загорелся этой идеей. Его враги считали, что задумал он это под влиянием обиды после провала Нумантинского договора. Но Гай вспоминал, как брат с волнением рассказывал ему, что по дороге в Испанию, проезжая по полям Италии, он увидел «запустение земли, увидел, что и пахари и пастухи — сплошь варвары, рабы из чужих краев», и у него сжалось сердце. «Тогда впервые ему пришел на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед» (*Plut. Ti. Gracch., 8*). Интересно, что Гай тоже свидетельствует, что мысль о законе овладела его братом после Нуманции.

Идея аграрного преобразования совершенно захватила Тиберия, и он отдался ей со всем пылом страсти. Более того. Ему удалось увлечь своими планами друзей. Теперь они не только сочувственно слушали молодого реформатора, но горячо поддерживали его и предложили свою помощь: Аппий Клавдий, опытный политик, и Сцевола с Крассом, блестящие юристы, стали соавторами его законопроекта

(*Plut. Ti. Gracch.*, 9; *Cic. Acad. Pr.*, 2, 5, 13). Трудно поверить, что Красс действовал под влиянием жалости к неимущим: ему, по-видимому, менее всего свойственны были подобные чувства. Но он считал реформу полезной для Республики. Но удивительнее всего видеть среди реформаторов — причем реформаторов самых горячих! — Аппия Клавдия. Того самого Аппия Клавдия, который всегда бесконечно презирал народ, который так возмущался тем, что Сципион запросто говорит с простыми людьми! И вот этот-то Аппий и возглавил теперь демократию! Не думаю, чтобы на старости лет он так изменился и забыл заветы своих гордых предков. Видимо, только бесконечное честолюбие и властолюбие превратили этого надменного патриция в пылкого демагога и заставили заискивать перед чернью. С ним произошла та же метаморфоза, что и с его предком Клавдием Децемвиром.

Многие полагали, что и сам Гракх меньше всего думает о страданиях обездоленных. Аппиан пишет: «Цель Гракха заключалась не в том, чтобы создать благополучие бедных, но в том, чтобы в их лице получить для государства боеспособную силу» (*B. C. I*, 11). Но мне кажется, что он ошибается. Тиберий, конечно, заботился в первую очередь о Республике, но от всей души жалел неимущих и не мог без слез говорить об их доле — отчасти потому, что наделен был сердцем нежным и чувствительным, отчасти потому, что был легко возбудим и артистичен и мог рыдать над чужим горем.

Сущность законопроекта сводилась к следующему. Вводился земельный максимум — 500 югеров на семью. Еще 250 югеров давалось на двух взрослых сыновей. Все остальное изымалось и делилось между неимущими. Продавать свои земельные наделы запрещалось. Закон казался и разумным, и умеренным. Мы не знаем, отличался ли чем-нибудь составленный друзьями Гракха проект от Лелиева, но, вероятно, если и отличался, то не очень сильно, так как оба были до известной степени повторением древнего закона Лициния—Секстия.

В то время когда Тиберий с таким восторгом и увлечением обдумывал свою реформу, у него появился еще один неожиданный друг и сторонник. Его звали Блоссий из Кум, и он был философом. Философы в те времена делились на два разряда: одни, подобно Панетию, были отвлеченными мыслителями, парившими в сферах чистого разума. Они презирали грубый земной прах и были далеки от забот обыденной жизни. Но были философы совсем иного склада. Они страдали, видя, как неправильно управляется наш мир, и мечтали, подобно Платону, перестроить его уже на основах разума. Они были необычайно горячи, активно и смело бросались головой вперед во все смуты. Более того. Эти мудрецы были настоящими дрожками — вокруг них все бродило и кипело. Эти беспокойные умы вдохновляли многие мятежи и революции. Так, в Греции два таких философа набросились на тирана Сикиона, пришедшего послушать их лекции, и умертвили его (*Plut. Arat.*, 3). Два других мудреца, Экдем и Мегалофон, настолько «стремились поставить философию на службу государственной деятельности и практической жизни», что организовали тайный заговор против тирании и освободили родной город (*Plut. Philop.*, 1). Наконец, философ Сфер вдохновлял знаменитых спартанских царей-реформаторов Агиса и Клеомена. Вообще смело можно утверждать, что в каждой греческой смуте участвовал какой-нибудь мудрец.

Блоссий из Кум принадлежал к этому второму разряду. Мысль вдохновлять римского трибуна на великие деяния, быть может, переустройство вселенной, волновала его дух. Лелий у Цицерона говорит, что Блоссий был не просто другом Гракха, но «вдохновителем его безумств» (*Amic.*, 37). Плутарх прямо пишет, что ходила молва, что Тиберий начал свою реформу «по совету и внушению... философа Блоссия» (*Plut. Ti. Gracch.*, 8). Замечательно, что после гибели Гракха Блоссий бежал из Рима в Пергам, где в то время вспыхнуло восстание. Мятежники дали своему государству очень многозначительное название Город Солнца. Мы не знаем, чего хотели *гелиополиты* и ка-

кова была роль Блоссия во всем этом деле, но само название города заставляет невольно заподозрить, что здесь не обошлось без какой-то социальной утопии.

Кумский философ со всем пылом и страстью излагал перед молодым учеником свои прекрасные социальные проекты. Но вскоре случилась странная вещь. Блоссий взялся руководить Тиберием и хотел использовать его как свое орудие. Однако он кончил тем, что буквально влюбился в своего воспитанника. Впоследствии он признавался Лелию, что был как зачарованный, действовал как живой автомат, готов был выполнить любое приказание своего повелителя.

— Если бы он велел мне поджечь Капитолий, я бы поджег (*Cic., Amic., 37*).

Этот эпизод может привести нас в некоторое недоумение. Мы вправе спросить, кто же главенствовал в этой дружбе? Цицерон говорит нам, что Блоссий вдохновлял «безумства» Гракха, и тот же Цицерон утверждает, что он слепо повиновался каждому слову реформатора. Но в жизни все обычно обстоит куда сложнее, чем во всех схемах, которые мы строим на бумаге. Быть может, страстные речи Блоссия и его отточенная диалектика впервые заронили искру во впечатлительную душу Тиберия, и в мечтах своих он увидел себя великим преобразователем. Между тем восторженный философ уверовал в него как в идеального героя, спасителя, божественного избранника. И эта-то безграничная вера поддерживала Тиберия в самые трудные минуты его жизни. Однако, как бы то ни было, Блоссий стал неразлучным спутником Гракха.

Блоссий был знаком со Сципионом Африканским. Но то ли Публий позволил себе отозваться об его проектах со своей обычной насмешливостью, то ли Блоссий ревновал к нему Тиберия, но только он не просто невзлюбил Сципиона, но делал все возможное, чтобы отвратить Тиберия от этого его прежнего кумира. По словам Плутарха, он и другие *софисты* всячески настраивали Гракха против Публия Африканского (*Plut. Ti. Gracch., 7*).

Тиберий не хотел ни революционных переворотов, ни особой демократизации общества. Он даже не подумал о том, что передел земли всегда сопровождается волнениями, беспорядками и смутой. А между тем он ведь прекрасно знал — кто мог знать лучше него, столь блистательно образованного и начитанного молодого человека! — что в эллинистических государствах земельные законы влекут за собой революции и кровопролития, что, когда всего сто лет назад подобный закон замыслили два спартанских царя, Агис и Клеомен, один из них был злодейски убит вместе со своей семьей, а второй ворвался с войском в Спарту, перебил эфоров, умертвил своего коллегу и стал фактически тираном в родном городе. Но Тиберий не только не сравнивал своего положения с положением этих реформаторов, но был почему-то убежден, что все пройдет тихо и мирно, и его воображению смутно рисовалось, что богачи, тронутые его красноречием, в едином порыве откажутся от своей земли. «Воодушевленный главным образом той большой и существенной пользой, которую достижение его цели могло принести Италии, Гракх не подумал о трудности своего предприятия», — говорит Аппиан (*Агр. В. С., I, 11*).

Тиберий никогда не говорил о законе с человеком, который его придумал, — со Сципионом. Более того. Похоже, он вообще скрывал от него свои планы. Как огня, он боялся его помощи. Он прекрасно помнил, как Кассий проводил закон о голосовании и все приписали эту реформу Сципиону. Ему не хотелось, чтобы потом сказали: «Публий Африканский провел аграрный закон с помощью своего родственника Гракха». Хуже этого ничего нельзя было себе представить. Между тем события разворачивались с драматической быстротой. В конце 135 года до н. э. Сципион совершенно неожиданно был выбран консулом и отправлен под Нуманцию. Новый тяжкий удар для самолюбия Гракха! В числе прочих знатных юношей, последовавших за Публием Африканским, был и Гай Гракх. И это было первым несчастьем для Тиберия. Сколько раз впоследствии, когда он буквально те-

рля голову, должен он был с тоской вспоминать о брате с его математическим четким умом! Как только Сципион и его друзья покинули Рим, Тиберий выставил свою кандидатуру в трибуны, чтобы провести аграрный закон (лето 134 г.).

«Мне кажется, — говорит Плутарх, — с Тиберием никогда не случилось бы непоправимого несчастья, если бы... рядом с ним находился Сципион Африканский. Но Сципион был уже под Нуманцией и вел войну, когда Тиберий начал предлагать новые законы» (*Plut. Ti. Gracch.*, 7).

IV

Все улыбалось Гракху⁶². Из трибунов по крайней мере двое — Туберон и Октавий — были его личными друзьями. Принцепсом сената был его тесть Аппий, а консулом этого года выбран Сцевола Юрисконсулт. Таким образом, главами сената были не просто его сторонники, но соавторы законопроекта. Но более всего Тиберий рассчитывал на самого себя. От природы он наделен был неотразимым оружием — изумительным, волшебным красноречием. Этот дар он лелеял и оттачивал. Он учился у оратора Лепида Порцины, который первым среди римлян стал использовать утонченные приемы греческого красноречия (*Cic. Brut.*, 96). Кроме того, его с ранних лет обучал знаменитый греческий софист и ритор Диофан, человек, вполне овладевший искусством убеждать (*ibid.*, 103). Сентиментальность и впечатлительность служили Тиберию прекрасную службу — он превосходно умел взволновать народ, так что толпа, заразившись его нервным возбуждением, то безудержно рыдала, то приходила в неистовую ярость. Современники не устают восхищаться речами Тиберия. Очевидно, они производили на слушателей неизгладимое впечатление. Однако любопытная вещь. Цицерон, который, конечно, никогда не видел Гракха и только ознакомился со сборником его речей, нашел их бледными и безжизненными (*ibid.*, 104). Замечательно, что ни один древний антиквар не приводит из

них ни строчки. Очевидно, все они разделяли мнение Цицерона. Видимо, Тиберий воздействовал на слушателей не словами, а порывистыми жестами, выражением лица, слезами, переливами голоса — он плакал, воздевал руки к небу, простирал их к народу. Когда же все это исчезло и остались одни написанные на бумаге слова, они не способны были никого тронуть.

Блестяще избранный, Тиберий прежде всего начал волновать народ пылкими речами о социальной справедливости — тема, которая легче всего находит доступ ко всем сердцам. Он «был грозен, был неодолим, когда, взойдя на ораторское возвышение, окруженный народом, говорил о страданиях бедняков примерно так:

— Дикие звери, населяющие Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света, бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врагов родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не осталось отчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм предков, нет! — и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти «владыки вселенной», как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!» (*Plut. Ti. Gracch., 9*)

Можно себе представить, как действовали на народ подобные речи! Слухи о новом трибуне моментально распространились по всей Италии. Толпы людей со всех концов «стекались в Рим, словно реки во всеобъемлющее море», чтобы взглянуть на это новое чудо (*Diod., XXXIV, 5*). И все очарованы были его чистотой и молодостью, заражались его энтузиазмом, были околдованы его красноречием. Сопровождаемый толпой народа, он вошел в сенат. Здесь он произнес речь уже совсем иного рода⁶³. Он не говорил уже ни о страданиях бедняков, ни о диких зверях. Он рассуждал только о нуждах армии и будущем величии Рима.

— Разве воин не более полезен, чем человек несражающийся? Разве участник общественного достоя-

ния не будет радеть более об интересах государства?.. Римляне, — говорил он, — завоевали большую часть земли и владеют ею; они надеются подчинить себе и остальную часть; в настоящее время перед ними встает решающий вопрос: приобретут ли они остальную землю благодаря увеличению числа боевых способных людей или же и то, чем они владеют, враги отнимут у них вследствие их слабости и зависти.

Напирая на то, какая слава и какое благополучие ожидают римлян в первом случае, какие опасности и ужасы предстоят во втором, Гракх увещевал богатых поразмыслить об этом и отдать добровольно, коль скоро это является необходимым, эту землю ради будущих надежд тем, кто воспитывает государству детей; не терять из виду большего, споря о малом» (*App. V. C., I, 11*).

Богатые были смущены. Далеко не все готовы были отдать свое имущество во имя будущих надежд. Они пробовали было спорить с реформатором. Но не так-то просто было состязаться с Тиберием. Он сделался уже кумиром толпы, и всеобщая ненависть и негодование встречали всякого, кто поднимался на трибуну, чтобы ему возражать. К тому же Гракх был волшебным, божественным оратором. И все их жалкие речи буквально смывались бурным потоком его красноречия. Они чувствовали себя совершенно беспомощными. Народ был в «неистовом возбуждении» (*Plut. Ti. Gracch., 10*). И вот тогда-то они решили привлечь на свою сторону одного из трибунов, Марка Октавия.

Октавий был друг и ровесник Тиберия. Это был очень скромный, честный и степенный молодой человек (*Plut. ibid., 10*). Когда его начали уговаривать выступить против Гракха, он сначала и слышать об этом не хотел, считая, что поступит некрасиво по отношению к приятелю. Но его стали убеждать, говоря, что отнять землю у владельцев значит перевернуть все в Италии вверх дном, что без кровопролития дело не обойдется, а интересы Республики надо ставить выше личных симпатий. И тогда Октавий наконец уступил. Если бы он только знал, что его ожидает!

Итак, Октавий выступил против коллеги. Говорил он самым вежливым образом, касался только законопроекта, а о Тиберии отзывался с глубоким уважением. Но что он мог сделать против Гракха? Он был скромн, ненаходчив, молчалив. Блестящее красноречие Тиберия, словно бурная река, сокрушало все его бедные доводы. Октавий понял, что не сможет возражать коллеге. Но он был уверен, что прав. У него осталось одно средство — он наложил на законопроект Гракха *вето*. Тут нам необходимо сделать небольшое отступление и рассказать о власти народных трибунов. Без этого дальнейшие события будут непонятны.

После изгнания царей римский народ не был еще единым — он делился на патрициев и плебеев. У патрициев были все права, у плебеев — почти никаких. И вот тогда-то плебеи Рима удалились на Священную гору и объявили, что не вернутся, пока патриции не выполнят их требования. Патриции уступили. Плебеи потребовали ввести должность народных трибунов. И только благодаря этому униженные некогда плебеи победили патрициев и стали равноправными членами гражданской общины. Кто же такие трибуны? Собственно, это магистраты. Они избираются народом и год отправляют свои полномочия. Но у каждого магистрата есть совершенно определенный круг обязанностей: консулы командуют армией, квесторы заведуют казной, эдилы следят за порядком. Каковы же обязанности трибуна? Трибун — это защитник народа* Защитник всего народа в целом и каждого отдельного гражданина. Для того чтобы трибун мог исполнять свои обязанности, ему дано два права: право принимать *апелляции* и право *вето*. Если какой-то гражданин терпит притеснения, унижение, если его незаконно арестовали консульские ликторы, он может апеллировать к трибуну и тот обязан рассмотреть дело и защитить невинного.

Второе право, право *вето*, дает трибуну возмож-

* Сначала только плебеев, затем, когда борьба патрициев и плебеев была закончена, всего римского народа в целом (III в. до н. э.).

ность фактически остановить любое действие. Например, консул хочет предложить какой-нибудь закон, он уже всходит на трибуну, его секретарь разворачивает свиток, чтобы огласить текст, но трибун говорит: «Вето», и секретарь должен умолкнуть на полуслове.

Трибун совершенно исключительное лицо. Он нужен всегда. Другие магистраты могут позволить себе отдохнуть от дел. Трибун же не может. Ни на один день не должен он покидать Рим, и даже глухой ночью не имеет права запереть двери своего дома. Ведь, пока он будет в отсутствии, Рим останется без защитника. И, может быть, только глухой ночью какой-нибудь несчастный отважится прийти к нему за помощью.

Трибун — это грозная сила. Сам консул подчас склонялся перед его авторитетом. Более того. Он мог даже на одни сутки арестовать консула. Но в распоряжении консула была свита из 12 вооруженных ликторов, а у трибуна даже не было охраны. И стены собственного дома не могли его защитить: ведь он никогда не запирает своих дверей. Что же охраняло трибуна? Не оказывался ли он бессильным и безоружным перед верховным главнокомандующим Рима? Не являлись ли все его пресловутые права пустым звуком? О, он был защищен, притом так надежно, как не могли бы его защитить ни железная броня, ни каменная стена, ни отряд вооруженных до зубов телохранителей. Дело в том, что трибун — лицо священное и неприкосновенное. И это не пустые слова. Насилие над ним, непослушание, — да что там! — просто резкое слово приравнивались к кощунству* Известно, что трибун Марк Ливий Друз велел на сутки арестовать консула за то, что тот осмелился прервать его речь, а другому своему противнику, Цепиону, пригрозил, что прикажет сбросить его с Тарпейской скалы (*Val. Max., IV, 5, 2; De vir. illustr. LXVI, 8*). За пять лет до трибуната Тиберия народный трибун Куриаций велел наложить оковы на обоих консулов

* Моммзен Т. Т. I. С. 156—258.

(*Cic. De leg.*, III, 20; *Val. Max.*, III, 7, 3). Предание рассказывает даже, что в старину некий человек был казнен за то, что осмелился не уступить дорогу трибуну (*Plut. C. Gracch.*, 3). Вот какими грозными законами охранялась личность народного заступника!

Правом вето и воспользовался теперь Марк Октавий, запретив ставить на голосование закон Тиберия Гракха.

Тиберий был совершенно ошеломлен. Он всего ожидал, только не этого. Он стоял как громом пораженный. Он был разом обезоружен. Ни его популярность, ни блестящий дар слова, ни доводы, ни таланты — ничто не могло помочь. Перед ним была глухая стена. Можно было кричать, рыдать, браниться, произносить пышные речи — все тщетно! Тиберий был в отчаянии. Он бросился к народу. Но народ был бессилен. Он устремился в сенат. Но и отцы ничего не могли сделать. Тиберию даже показалось, что они над ним издеваются (*Plut. Ti. Gracch.*, 11; *App. B. C. I.*, 12)⁶⁴.

Оставалось одно средство — попробовать убедить Марка Октавия, уговорить этого упряма, сломить его упорство. Ведь четыре года тому назад произошел аналогичный случай — Кассий предложил новый закон о голосовании, а трибун наложил на него вето. Но после долгой беседы со Сципионом трибун от своего вето отказался, и закон был принят (*Cic. Brut.*, 97). И вот Тиберий кинулся к коллеге. Ежедневно весь Рим был свидетелем захватывающих и драматических сцен. Оба трибуна поднимались на Ростры, и Тиберий обнимал друга, заклинал его всеми богами, плакал, чуть не становился перед ним на колени. Со слезами на глазах он говорил, что отдаст ему все, что имеет, взамен той незаконно захваченной земли, которую в результате реформы потеряет Марк Октавий (*Plut. Ibid.*, 10).

Нужно сказать, что Тиберий выбрал не лучший способ, чтобы убедить коллегу. В самом деле. Он устраивал целые спектакли, как в театре, причем сам играл великодушного героя, другу же предоставлял самую неблагоприятную роль бесчувственного злодея. Ведь, предлагая ему свои земли взамен незаконно за-

хваченных, причем предлагая не с глазу на глаз, наедине, а громко, публично, на глазах всего Рима, он совершенно ясно давал понять, что движут Октавием не любовь к родине, не интересы Республики, пусть неправильно понятые, а голая корысть. Октавий, несомненно, чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он видел, что народ глядит на него с каждым днем все с большей ненавистью и отвращением. Но он не мог бороться с Тиберием и упрямо молчал.

Между тем Тиберий, будучи не в силах сдвинуть друга с места, вспомнил, как проводили свои законы великие народные трибуны, боровшиеся некогда с патрициями. Эти доблестные мужи буквально брали знать измором, запирали храмы, казначейство и останавливали жизнь в Риме, пока аристократия не шла на уступки. И Тиберий решил последовать их примеру. Собственной печатью он запечатал храм Сатурна, где находилась государственная казна. Запретил всем магистратам, кроме трибунов, отправлять свои обязанности. Остановил суды и судебные разбирательства (*Plut. Ibid., 10*). Римляне остолбенели. Уже 200 лет никто не предпринимал ничего подобного. Да и дико это было: Рим уже стал столицей Империи, как же можно было остановить жизнь такого города?! Сначала им казалось, что Тиберий просто шутит. Но, когда он пригрозил послушникам огромным штрафом, они поняли, что тут дело серьезное. И огромный город замер и остановился по мановению одного человека.

Однако для того, чтобы успешно довести до конца подобное предприятие, нужны были две вещи — время и терпение. Ни того ни другого у Гракха не было. Срок его полномочий был всего год. А из этого года он уже столько времени потерял на бессмысленные пререкания. Он с ужасом видел, как с каждым днем сокращается срок его трибуната. Он почти сходил с ума, он терял голову... И тогда-то он принял наконец роковое решение...

Утром Тиберий явился на Форум бледный как смерть, поднялся на Ростры, бросился к стоящему рядом Октавию, судорожно схватил его за руки и «умолял уступить народу, который не требует ничего,

кроме справедливости, и за великие труды и опасности получает только скромное вознаграждение» (*Plut. Ibid., 11*). Октавий с упреком посмотрел на друга и молча покачал головой. Тогда Тиберий повернулся к народу и сказал, что оба они с Октавием трибуны, но предлагают совершенно противоположные меры для Республики. Пусть же народ рассудит, кто из них прав, и неправого лишит полномочий народного заступника. Один из них должен сегодня спуститься с Ростр частным человеком. Если выбор народа падет на него, Тиберия, о! он с радостью сложит свою власть, лишь бы угодить римскому народу.

Октавий на несколько минут лишился дара речи, настолько чудовищным, вопиющим нарушением конституции показалось ему предложение Гракха. Наконец, придя в себя, он тихо, но твердо заявил, что предложение его коллеги незаконно и он не намерен участвовать в этой игре. Если так, сказал Тиберий, я ставлю вопрос о полномочиях одного Марка Октавия.

Началось голосование. Приступили к подсчету голосов. В Риме было 35 триб. Сосчитали голоса первых 17 — большинство было подано против Октавия. И тут Тиберий снова бросился к другу, «обнимал и целовал его на виду всего народа», заклиная не губить себя и не заставляя его совершать жестокость. На какую-то долю секунды казалось, что Октавий колебался, — он взглянул вниз на глухо волновавшуюся толпу, и тысячи взглядов, полных смертельной ненависти, буквально обожгли его. Он представил себе все то унижение, весь тот позор, которые обрушатся на него через несколько минут, и содрогнулся. Но он овладел собой и твердо заявил, что решения своего не изменит и пусть Тиберий Гракх делает с ним все, что найдет нужным. Тогда Тиберий воздел руки к небу и, призвав всех богов в свидетели, что против своей воли подвергает товарища бесчестию, и сделал знак продолжать голосование. Последние голоса были сосчитаны. Большинство было против Октавия. И он стал частным человеком. По знаку Тиберия его вольноотпущенник стащил бывшего трибуна с Ростр.

Все эти дни народ, распаленный речами Гракха, буквально пылал ненавистью к Октавию. Но он не решался даже сказать ему резкого слова, боясь оскорбить священное и неприкосновенное лицо. Сейчас же, когда он стал частным человеком, толпа буквально ринулась его разрывать. Спас Октавия случай. На Форуме находился его раб. Увидав, что происходит, он кинулся к господину и заслонил его своим телом. Ему выбили глаза в свалке, но на несколько минут он сдержал толпу. А в следующий момент Тиберий буквально слетел с трибуны и прикрыл собой бывшего друга (*Plut. Ibid.*, 11–12; *App.*, *V. C.*, I, 12).

После этого Тиберий совершенно спокойно поставил на голосование свой закон, и он был принят. Вечером народ, довольный и возбужденный, возвращался с Форума. Но люди благоразумные были возмущены и говорили:

— Не обрадуется Гракх, когда станет частным человеком, Гракх, надругавшийся над священной и неприкосновенной должностью народного трибуна, Гракх, давший такой толчок к распрям в Италии (*App. V. C. I*, 13).

Итак, Тиберий провел свой закон. Народ носил его на руках. Казалось, он достиг венца своих желаний. Но душу его омрачали новые тяжкие заботы. Люди его круга смотрели на него теперь совсем другими глазами. Друзья детства от него отворачивались*. Его троюродный брат Туберон порвал с ним всякие отношения (*Cic. De amic.*, 37). Метелл, до того сторонник реформы, с возмущением от него отшатнулся⁶⁵. Ему, видимо, пришлось выслушать горький упрек от собственной матери** В глазах многих римлян он

* Снятие коллеги было в глазах современников главным преступлением Тиберия. Цицерон прямо утверждает, что он был убит именно за это (*Pro Mil.*, 72). В другом месте он пишет: «Что другое нанесло удар Тиберию Гракху, как не то, что он отнял у коллеги власть совершать интерцессию?» (*De leg.*, III, 24). Поэтому оратор даже считает, что в конечном итоге Октавий вышел победителем: «Он, претерпев беззаконие, сломил Тиберия Гракха терпением» (*Brut.*, 95). Плутарх пишет: «Из всех обвинений против Тиберия наиболее тяжелое состоит в том, что он лишил власти своего товарища трибуна» (*Ti. Gracch.*, 45).

** См. параграф VI.

был преступник, даже больше — святотатец. Тяжело это было Тиберию. Он видел, говорит Плутарх, что «из всех его действий поступок с Октавием особенно беспокоит не только могущественных граждан, но и народ, — великое и высокое достоинство народных трибунов, до той поры нерушимо соблюдавшееся, казалось поруганным и уничтоженным» (*Plut. Ti. Gracch., 15*).

Другая забота была не легче. Он, конечно, провел свой закон. Раньше он думал, что достиг цели. Теперь понял, что это далеко не так. Одно дело провести закон на бумаге, совсем другое — осуществить на деле. Особенно такой закон. Ведь перераспределить всю землю в стране — страшный, мучительный труд. Нужно было прежде всего рассмотреть весь фонд италийской земли, изучить каждое владение, выяснить, какой именно участок захвачен незаконно, то есть поднять весь архив, расспросить свидетелей и выслушать защиту каждого крупного собственника. Чтобы выполнить эту задачу, Тиберий назначил комиссию триумвиров для раздела полей. Туда вошли он сам, его тесть Аппий и брат Гай. Казалось, логичнее было ввести в комиссию Сцеволу или Красса Муциана. Они имели огромное влияние в сенате, были популярны в народе, они были соавторами его закона и опытными юристами. Но нет! Тиберий непременно хотел видеть в комиссии брата. Это имело два неприятных последствия. Во-первых, Гая не было в Риме, а значит, Тиберий лишился одного из помощников. Во-вторых, несомненно, поднялся ропот. Для многих римлян это было новым оскорблением — он назначил комиссию из членов своей семьи да еще ввел туда Гая, мальчишку, только-только со школьной скамьи!

Кроме того, для осуществления закона нужны были деньги, и много денег. Нельзя же было просто взять бедняка и посадить его на землю. Надо было дать ему какие-нибудь средства, чтобы доехать до места, построить дом, купить зерно и сельскохозяйственный инвентарь. Между тем деньги в Риме были в руках сената, сенат же и слышать теперь не хотел о

преступном трибуне. Он отказал, причем, как считал Тиберий, в самой оскорбительной форме. Ему даже не выдали на казенный счет палатки, чтобы отправлять обязанности триумвира. А содержание положили всего 9 оболов в день*

В то время как Тиберий с тоской думал, где же достать денег, само божество, как ему показалось, пришло к нему на помощь. Случилось так, что как раз в это время умер последний царь Пергама, Аттал. Он был бездетен. В завещании его было написано, что все свое достояние он оставляет римскому народу. По закону деньги Пергама должны были поступить сенату, ибо именно сенат ведал финансами. Неожиданно Тиберий предложил, чтобы деньги, назначенные народу, были отданы гражданам, получившим землю, то есть были отданы в распоряжение триумвирам. Сенат онемел от возмущения. Дело было даже не в деньгах Аттала. Дело было в принципе. Предложение Гракха означало, что отныне казной распоряжается уже не сенат, а трибуны. А это выбивало почву из-под ног у отцов.

Буря возмущения обрушилась на голову Тиберия. Все сенаторы вставали и обличали его. Метелл, как человек благородный, с болью в голосе напомнил, каков был отец Тиберия. Люди тушили свет, когда он, будучи цензором, вечером возвращался домой, дабы он не подумал, что они проводят время в попойках. А как низко пал его сын! И какие подонки освещают ему дорогу, когда он ночью возвращается домой!⁶⁶ Помпей, как человек подлый, сказал, что живет рядом с Тиберием и знает, что из царских сокровищ ему привезли корону и багряницу Аттала, которую он примеряет, так как хочет быть царем Рима. Тиберий хотел было что-то возразить, но тут Тит Анний закричал, чтобы он дал наконец прямой ответ, подверг ли он унижению своего коллегу, лицо священное и неприкосновенное.

* То есть приблизительно в 4 раза больше, чем солдату, и в два раза больше, чем центуриону (воин получал 2 обولا в день, центурион — 4).

Этого Тиберий вынести не мог. Он вскочил, стремительно выбежал из сената, хлопнул дверью, собрал народное собрание и объявил, что Тит Анний публично его оскорбил. Пусть теперь перед лицом всего Рима даст объяснения. Анний струсил. Оскорбить трибуна — это не шутка. Он знал, что не сможет возражать Тиберию: у того необыкновенный язык, и он быстро его заговорит и опорочит. И Анний придумал следующий выход. Он спросил, можно ли ему сперва задать трибуну один небольшой вопрос. Тиберий отвечал утвердительно. И Анний спросил тогда:

— Если ты вздумашь унижать меня и бесчестить, а я обращусь за помощью к какому-нибудь из твоих товарищей по должности и он заступится за меня... неужели ты и его отрешит от власти?

«Вопрос этот, как сообщают, поверг Тиберия в такое замешательство, что при всей непревзойденной остроте своего языка, при всей своей дерзости и решимости он не смог раскрыть рта» (*Plut. Ibid., 14*).

Из этого все сделали вывод, что поступок с Октавием тяжелым камнем лежит на совести Тиберия. Одно упоминание о нем совершенно выводит его из равновесия. Тиберий понял, что он должен оправдаться перед народом. Он созвал собрание и произнес пространную речь.

— Народный трибун, — говорил он, — лицо священное и неприкосновенное постольку, поскольку посвятил себя народу и защищает народ. Стало быть, если он, изменив своему назначению, чинит народу обиды, умаляет его силу, не дает ему воспользоваться правом голоса, он сам лишает себя чести, не выполняя обязанности, ради которых только и был этой честью облечен. Даже если он разрушит Капитолий и сожжет корабельные верфи, он должен остаться трибуном. Если он так поступит, он, разумеется, плохой трибун. Но если он вредит народу, он вообще не трибун. Разве это не бессмысленно, чтобы народный трибун мог отправить консула в тюрьму, а народ не мог отнять власть у трибуна, коль скоро он пользуется ею во вред тому, кто дал ему эту власть? Ведь и консула, и трибуна одинаково избрал народ! Царское

владычество не только соединяло в себе все должности, но и особыми, неслыханно грозными обрядами посвящалось божеству. А все-таки город изгнал Тарквиния, нарушившего справедливость и законы, и за бесчинство одного человека была уничтожена древняя власть, которой Рим обязан своим возникновением. Что римляне чтут столь же свято, как дев, хранящих неугасимый огонь? Но если какая-нибудь из них провинится, ее живьем зарывают в землю, ибо, кощунственно оскорбляя богов, она уже не может притязать на неприкосновенность, которая дана ей во имя и ради богов. А значит, несправедливо, чтобы трибун, причиняющий народу вред, пользовался неприкосновенностью, данной ему во имя и ради народа, ибо он сам уничтожает ту силу, из которой черпает собственное могущество. Если он на законном основании получил должность, когда большая часть триб отдала ему голоса, разве меньше оснований лишить его должности, когда все трибы голосуют против него? Нет ничего священнее и неприкосновеннее, чем дары и приношения богам. Но никто не препятствует народу употреблять их по своему усмотрению, двигать и переносить с места на место. В таком случае звание трибуна, словно некое приношение, народ вправе переносить с одного лица на другое» (*Plut. Ibid., 15*).

Плутарх приводит этот отрывок как блистательный пример красноречия Тиберия. Для меня это скорее блистательный пример его софистики и демагогии. В том-то и отличие демократии от *охлократии*, владычества толпы, что народ свято чтит собственные законы. Если же он будет снимать трибунов, возбужденный речью какого-то опытного демагога — ибо в чем реально заключается польза народа, не знает никто, — Республика ввергнута будет в анархию.

Между тем настала весна. Весна не радовала Тиберия. Чем теплее становился воздух, чем больше зеленело и оживало все кругом, тем мрачнее он делался. А когда солнце, превратившись в пылающий шар, наполнило зноем тесные, узкие улочки Рима, когда Форум, запертый между холмами, стал раскаленным, сияющим адом, тогда Тиберия охватило черное от-

чаяние. Срок его полномочий кончался. В июне должны были быть новые выборы. Тиберий не мог скрывать от себя самого, что реформу он не провел. Из дошедших до нас источников неясно, удался ли ему план с казной Пергама, достал ли он денег на свою реформу и начал ли вообще ее проводить. Если он не мог осуществить своих преобразований, будучи трибуном, что он сможет сделать, став частным лицом? Но не только это угнетало Тиберия.

Через несколько месяцев он должен был стать частным человеком. Его неприкосновенность кончится. И что с ним будет тогда? Его привлекут к суду — Помпей уже клялся, что привлечет его к ответу в тот самый день, когда он перестанет быть трибуном. Да и не один Помпей. Его опозорят, осудят, изгонят... На нем во веки вечные будет несмываемое клеймо преступника. Да что там суд!.. Его могут просто пырнуть ножом на улице, ведь в глазах людей он преступник. Его ждет смерть, смерть позорная, бессмысленная, нелепая. А умирать Тиберий совсем не хотел. Он был так молод, так полон сил! И потом у него была семья — обожаемая мать, которая не переживет его гибели, брат, и, наконец, маленькие дети и жена, которая ждала ребенка⁶⁷. Слишком живое воображение Тиберия рисовало ему душераздирающие картины. У него сердце разрывалось от жалости к этим дорогим существам и самому себе. А время неумолимо двигалось вперед, и солнце становилось все жарче и жарче...

Призрак смерти стал преследовать Тиберия. С самого начала реформ этот ужасный призрак чудился ему повсюду. Когда он опечатал храм Сатурна, то прямо заявил, что враги «уже приготовили убийц для покушения», и с тех пор он выходил не иначе как «опоясанный огромным разбойничьим кинжалом» (*Plut. Ibid.*, 10). Как только он провел свой закон, скоропостижно умер один его приятель, и Тиберий немедленно вообразил, что тот был отравлен. Он кричал об этом на Форуме и говорил, что теперь очередь за ним (*ibid.*, 13).

Теперь же его охватил безумный, мучительный ужас — одно из тех чувств, которое толкает самого

осторожного и рассудительного человека на отчаянные и иступленные поступки.

Среди всего этого беспросветного мрака Тиберий видел только один луч, один проблеск надежды — стать трибуном во второй раз. Прежде всего у него будет еще год неприкосновенности, а год — это очень много. Затем он спокойно доведет до конца свои реформы. Но это было совершенно незаконно. Быть трибуном два раза запрещала конституция. Тиберию оставалось одно — любыми путями склонить на свою сторону плебс. Он пользовался каждым удобным случаем, «чтобы еще сильнее озлобить и взволновать народ» (*ibid.*, 13). Он обещал все новые и новые популярные законы, один другого радикальнее — говорил, что сократит срок военной службы, отнимет суд у сената, позволит народу обжаловать судебные приговоры (*Plut. Ibid.*, 16). Он делал все, чтобы тронуть плебеев и разжалобить их. Он беспрестанно напоминал, что гибнет ради них. Он стал появляться на улицах в трауре. Однажды он пришел на Форум весь в черном, ведя за руки детей, и «просил римский народ позаботиться о них и об их матери, ибо сам он обречен» (*Plut. Ti. Gracch.*, 13). Он жалобно умолял плебеев спасти его и «избрать трибуном на следующий год, указывая, что из-за защиты их интересов ему грозит опасность» (*App. B. C.*, I, 13).

После нескольких таких душераздирающих сцен народ был готов на все, только бы спасти Тиберия. Теперь за ним ходила целая толпа и сторожила его и днем и ночью (*Plut. Ibid.*, 16). Семпроний Азелион пишет: «Ведь Гракха, когда он возвращался домой, сопровождала толпа не меньше трех или четырех тысяч человек» (*HRR, Fr.* 7). Так Тиберий, сам того не сознавая, сделал последний шаг, превративший его в глазах порядочных людей в преступника, — он окружил себя шайкой уличных головорезов, как афинские тираны. Этим и попрекал его в свое время Метелл.

Роковой день выборов приближался. Тиберий был издерган до последней степени и до последней степени издергал народ. В назначенный день он с толпой приверженцев пришел на площадь. По римским зако-

нам выборами магистратов на следующий год руководили люди, занимающие эту же должность в этом году. Поэтому коллеги Тиберия бросили жребий. Председательствовать выпало некоему трибуну Рубрию.

Но едва толпа приблизилась к урнам, как враги Тиберия закричали, что быть трибуном два раза нельзя, а потому выборы незаконны. В ответ гракханцы вопили, что законны. Рубрий, оглушенный этими криками, совсем потерялся и не знал, что предпринять. И тогда, в этот критический момент, к нему подошел Тиберий и потребовал, чтобы он сложил с себя председательство. Когда несколько месяцев назад Тиберий отрешил от должности Октавия, он назначил на его место какого-то своего клиента (*Plut. Ti. Gracch., 13*). Это был человек совершенно безвестный, и ни один источник не может правильно написать его имени — у Плутарха он назван Муций, у Аппиана — Квинт Муммий, у Орозия — Минуций (*Plut. Ti. Gracch., 13; App. B. C., I, 12; 14; Oros., 5, 8, 3*). И вот этому-то Муммию, или Муцию, приказал Тиберий уступить председательство (*App. B. C., I, 14*). Рубрий, смущенный и испуганный, готов был уже согласиться, но это последнее незаконное и наглое требование переполнило чашу терпения остальных трибунов. Они потребовали, чтобы жребий бросили снова (*ibid.*). Но Тиберий зашел уже слишком далеко. Отступить было поздно. Он продолжал настаивать на своем. И тут он почувствовал, что даже народ дрогнул. Кроме того, ему показалось, что собралось недостаточно его сторонников. Тогда он решил сорвать собрание под любым предлогом. Взяв слово, он «сперва, чтобы затянуть время, стал хулить своих товарищей по должности, а потом распустил собрание, приказав всем явиться завтра» (*Plut. Ti. Gracch., 16*)⁶⁸.

Все это произвело на Тиберия ужасное впечатление. Он казался совершенно убитым (*App. B. C., I, 14*). Вечером он снова появился на Форуме в глубоком трауре «и удрученно, униженно, со слезами на глазах молил граждан о защите» (*Plut. Ti. Gracch., 16*). Всю остальную часть дня он ходил «по Форуму со своим сыном, останавливался с ним около отдельных лиц, по-

ручал его их попечению, так как самому ему суждено очень скоро погибнуть от своих недругов» (*App. B. C., I, 14*). Современник этих событий, Семпроний Азеллион, офицер Сципиона, вспоминает: «Он стал молить, чтобы они защитили его и его детей.... и поручал сына народу, чуть не плача» (*HRR, Fr. 7*).

Ему удалось взбудоражить плебс. «Бедные начали очень горевать. Они думали... о Гракхе, который боится теперь за себя и который столько вытерпел из-за них. Вечером бедные пошли провожать Гракха с плачем до его дома и убеждали смело встретить грядущий день» (*App. B. C., I, 15*). Прощаясь с ними, Тиберий со слезами сказал, что «боится, как бы враги ночью не вломились к нему в дом и не убили его, и так взволновал народ, что целая толпа окружила его дом и караулила всю ночь напролет» (*Plut. Ti. Gracch., 16*).

Следующий день должен был решить судьбу Тиберия. Легко себе представить, что в эту ночь он не мог сомкнуть глаз и как тень блуждал по дому. Вспомнил ли он свою счастливую, блестящую юность, свои подвиги под стенами Карфагена, только он достал свое оружие и стал его разглядывать. Но когда он взял в руки свой великолепный, богато украшенный шлем, из него неожиданно выползла змея. Тиберий в ужасе отшатнулся. Это был знак смерти. Наутро Тиберий велел произвести гадание по курам. Он в волнении спросил у прислужника, как ведут себя птицы. Тот мрачно отвечал, что они даже не вышли, когда он бросил им корм; тогда он с силой встряхнул клетку, но птицы сидели нахохлившись и вышла только одна — вытянула левое крыло и вернулась опять. У Гракха упало сердце.

Тут к нему толпой пришли друзья, чтобы проводить на Форум. Их энергичные лица, ободряющие звуки голосов, яркое солнце несколько оживили Тиберия. Но только что он переступил порог, как споткнулся и так ушиб ногу, что на его башмаке-кальцеи появилось темное пятно крови. Тиберий совсем помрачнел. Не успел он сделать и нескольких шагов, как слева на крыше увидел двух дерущихся воронов. Одна из птиц уронила камень и, хотя кругом была ог-

ромная толпа, камень упал прямо к ногам Тиберия. Этого уже несчастный трибун вынести не мог. Он бросился бы назад к дому, если бы его не удержал Блоссий из Кум. Он воскликнул:

— Какой будет срам и позор, если Тиберий, сын Гракха, внук Сципиона Африканского, заступник римского народа, не откликнется на зов граждан, испугавшись ворона!

В этот миг к Тиберию подбежало сразу много посланцев с Капитолия, от друзей, которые советовали поторопиться, ибо все-де идет прекрасно. Гракх сразу приободрился и, окруженный толпой, двинулся на Капитолий. «Появление его народ встретил дружеским криком, а когда он поднимался по склону холма, ревниво окружил его, не подпуская никого из чужих» (*Plut. Ibid., 17*).

Однако на площади уже стояли его коллеги-трибуны. Они воспользовались своим правом вето и решительно запретили ему приступать к противозаконному голосованию (*App. B. C., I, 15*). Но Тиберий был доведен до отчаяния и был готов на все. И он распорядился прогнать трибунов, а председательство передал Муммию (*Plut. Ibid., 18*). На площади «началась свалка: сторонники Тиберия старались оттеснить врагов, которые в свою очередь теснили тех» (*ibid; cp. App. B. C., I, 15*). Некоторые передают даже, что были раненые (*APP. B. C., 15*). «Поднялось такое смятение... что... трибуны в страхе оставили свои места, а жрецы заперли храмы... Многие бросились в беспорядке искать спасение в бегстве». Ходили самые невероятные слухи: говорили, что Гракх отрешился от должности всех трибунов, а себя без голосования назначил на следующий срок (*App. B. C., I, 15*). Защитник и апологет Тиберия Плутарх говорит, что и тогда его герой не хотел ничего ужасного, он был бы доступен голосу увещаний, «если бы ему не грозила смерть» (*Plut. Ti. Gracch., 20*). Но в том-то и дело, что он боялся смерти, на него напал панический ужас и он потерял голову!..

В это время здесь же, на Капитолии, в храме Верности шло экстренное заседание сената. Сенаторы

уже считали дни, ожидая, когда окончится этот безумный трибунал. И вдруг оказывается, что он и не кончится — Тиберий хочет быть трибуном еще на один срок! Все были в смятении. Тут прибежали трибуны, говоря, что на Капитолии делается что-то невообразимое — там свалка, и их выгнали сторонники Гракха. Отцы были потрясены. Поднялся ропот возмущения. Быть может, кто-то выкрикнул, что далее невозможно терпеть тирана. Как бы то ни было, один из сенаторов, Фульвий, друг Тиберия Гракха, встал, незаметно вышел из храма и бросился к месту выборов. Там было настоящее столпотворение. Он попытался было пробраться к Тиберию, но это оказалось невозможным. Тогда он поднялся на какое-то возвышение и стал махать рукой. Тиберий его заметил и сделал знак, чтобы его пропустили. Фульвий протиснулся сквозь толпу, подошел вплотную к Тиберию и сказал, чтобы он был осторожен, ибо его хотят убить.

И тогда Тиберий, окончательно потерявший самообладание, сделал знак, чтобы его ближайшая охрана вооружилась. Они бросились искать оружие и стали выламывать колья у забора, которым оцепили головательный участок. Дальние ряды стали кричать и волноваться, не понимая, что происходит. Объяснять что-нибудь в этой дикой суматохе было бесполезно. И Тиберий дотронулся до головы, желая показать, что ему угрожает смертельная опасность. Тут же в сенат примчался вестник, который сообщил, что Гракх подал какой-то условный сигнал, очевидно, требуя себе царской короны, и по этому знаку его сторонники вооружаются. Все пришли в ужас. И тогда вскочил Назика, сильный, мрачный и суровый мужчина, ненавидевший Тиберия всеми силами души, и призвал консула спасти государство и свергнуть тирана*.

* Назика был не только злейшим врагом Тиберия, но и его очень близким родственником. Он также был внуком Великого Сципиона — его мать была родной сестрой Корнелии, матери Гракхов. Отец же был тот самый Назика, который вместе с отцом Тиберия получал некогда приданое из рук нашего героя (см. родовые таблицы).

Консул Сцевола был другом Тиберия, соавтором его законопроекта и не мог поверить, чтобы такой милый человек, как Гракх, мог оказаться преступником. Он был совершенно растерян и сказал, что, если Тиберий сделает что-то незаконное, он, консул, ему не подчинится, но никогда не поднимет на него руки.

Тогда Назика, окинув его взглядом, полным убийственного презрения, воскликнул:

— Ну что ж, если глава государства — предатель, тогда все, кто готов защитить законы, — за мной!

И он вскочил и стал оглядываться в поисках оружия. Но сенаторы не имели обыкновения ходить на заседания вооруженными. Единственное, что попало ему на глаза, была тяжелая дубовая скамья, стоявшая поперек здания. Он разбил ее об пол и кинулся из храма. Часть сенаторов повскакала с мест и кинулась за ним, вооружившись обломками скамьи.

Когда толпа на Капитолии увидела отцов, она почтительно раздалась в стороны. Некоторое сопротивление оказали лишь телохранители Тиберия. Но битва была неравная. Сенаторы были опытными воинами и без труда разогнали разношерстную толпу, окружавшую Гракха. Тиберий бросился бежать. Кто-то ухватил его за тогу. Он сбросил ее с плеч, остался в одной тунике и кинулся дальше, «но поскользнулся и рухнул на трупы тех, кто пал раньше. Он пытался привстать, но тут Публий Сатурей, один из его товарищей по должности, первым ударил его по голове ножкой скамьи». Второй удар нанес некий Руф. Больше Тиберий уже не шевелился (*Plut. Ibid., 18—19; App. B. C. I, 14—15*)⁶⁹.

Это ужасное событие случилось, когда Тиберий был еще народным трибуном, и кровь его, кровь лица священного и неприкосновенного, залив Капитолий, осквернила весь Рим. И обе партии, до того столь разъяренные, должны были в ужасе отпрянуть, осознав, что они совершили.

Убийство Тиберия Гракха кажется нам подчас чудовищной, нелепой случайностью. В самом деле. Если бы Флакк не подошел тогда к Тиберию, если бы Тиберий не сделал тогда того несчастного жеста, который был превратно истолкован, он был бы жив!.. Ведь за час до того ни одна сторона и не подозревала, что на Капитолии прольется кровь! Но это не так. Участь Тиберия была решена. Решена в ту самую минуту, когда он начал добиваться второго трибуната. Действия его были незаконны. Коллеги наложили на них вето. Тиберию ничего не оставалось, как прогнать их силой — страшное кощунство! — и попытаться захватить место для голосования.

Если бы он был избран тогда, мог бы сенат примириться с таким вопиющим беззаконием? Не думаю. А значит, Гракх поставил бы себя вне закона. Но, если бы отцы даже решились примириться и согласились ждать еще год, что бы это изменило? Тот же вопрос встал бы через 12 месяцев, но было бы еще хуже, ибо преступления Тиберия возросли бы во сто крат. Подобно человеку, который тщетно пытается выбраться из болота и с каждым новым движением завязает все больше и больше, Тиберий Гракх, стремясь спасти свою жизнь, все более и более увязал в беззакониях. Каждый новый шаг усугублял его вину. Что ожидало бы его после второго трибуната? Или он попытался бы стать трибуном на третий срок?!..

«Гракха погубил составленный им превосходный план, потому что Гракх для его осуществления прибег к насильственным мерам. Гнусное дело, случившееся тогда в первый раз в народном собрании, потом неоднократно повторялось время от времени и применялось к другим, подобным Гракху, лицам», — пишет Аппиан (*App. В. С., I, 17*). Тиберий, как государственный преступник, был лишен законного погребения, и тело его было брошено в Тибр.

Тиберий Гракх был похож на мальчика из восточной сказки, который открыл случайно найденный им кувшин и выпустил чудовищного джинна, пожравшего и самого мальчика, и всю его деревню. Подобно этому мальчику, Тиберий из самых лучших по-

буждений, с самыми чистыми намерениями выпустил на свет демонов революции, демонов, которые погубили и Гракха, и всех его близких.

V

«Когда ты въедешь на Капитолий в триумфальной колеснице, ты застанешь Республику потрясенной замыслами моего внука» (*Cic. De re publ., VI, 11*).

Так, если верить Цицерону, говорил некогда Эмилиану дух Великого Сципиона, когда они оба стояли в звездном круте высоко над землей, а далеко-далеко внизу тускло мерцали башни Карфагена. Прошло 17 лет, и его предсказания сбылись.

Сципион был под стенами Нуманции, когда ему рассказали о бурном трибунате Тиберия и его страшном конце. При этом известии он не мог не содрогнуться. Он знал Тиберия с самого рождения, когда-то сам учил его воевать и увенчал золотым венком за храбрость. Потом различие характеров и чужие влияния отдалили их. И все-таки они встречались как друзья. Уезжая на эту опасную войну, он оставил Тиберия полным сил и надежд. И вдруг он узнает, что Гракх убит и убит так ужасно! Убит в Риме, где ему, казалось, не угрожала ни малейшая опасность!

Но, чтобы ни почувствовал в эту минуту Сципион, вслух он произнес всего одну фразу, строфу из своего любимого Гомера:

— Так да погибнет и всякий, кто дело такое свершил бы! (*Plut. Ti. Gracch., 21; Hom. Od., I, 47*).

Этими резкими, безжалостными словами Сципион подвел итог деятельности своего погибшего родича. Чем же вызвано столь суровое суждение? Разве не сам Публий когда-то задумал аграрную реформу? Разве не Лелий первым пытался ее провести? В чем же тогда был виноват Тиберий Гракх?

Довольно ясно. Плох был не закон, а сам трибун. В глазах Сципиона он был преступником, поправшим закон и конституцию. Трибун снял своего коллегу и все больше и больше увязал в беззакониях. Наконец, цепляясь за жизнь, он чуть ли не с оружием в руках

попытался захватить трибунат и погиб в уличной борьбе. Мало того. Каждый шаг, каждый жест несчастного Тиберия должен был вызывать глубокое отвращение у Сципиона. Этот сдержанный, гордый, насмешливый человек считал для себя унижением даже просить голосов у квиритов, как того требовал обычай. Он когда-то явился на суд в светлых одеждах, чтобы судьи не вообразили, что он хочет их разжалобить. С каким же убийственным презрением должен был такой человек слушать рассказы о том, как Тиберий облачался в траур и плакал, держа на руках младенца. Отзвуки этого отношения можно заметить у членов кружка Сципиона. Его офицер, Семпроний Азеллион, в своей истории описывает, как Гракх вышел к народу и умолял его «чуть не плача». И в этих словах невольно ощущаешь насмешливое презрение автора. Другой молодой друг Публия, Рутилий, с дрожью отвращения говорил, что ни за что на свете не вывел бы на Форум детей — «ссылка, даже смерть лучше подобного унижения» (*Cic. De or., I, 288*). И можно себе представить, с какой насмешливой улыбкой слушал Сципион, который даже голоса никогда не повышал на ораторском возвышении, рассказы об истерических слезах Тиберия!

Итак, Публий узнал обо всем еще в Испании. Но лишь въехав в Рим на триумфальной колеснице, он понял размеры катастрофы, обрушившейся на Рим⁷⁰. «Смерть Тиберия Гракха, а еще раньше весь смысл его трибуната разделил единый народ на две части» (*Cic. De re publ., I, 31*). И обе половины Рима глядели друг на друга с ненавистью — кровь Тиберия Гракха была между ними.

В этих обстоятельствах Сципиона встретили не просто как победоносного полководца, закончившего очень трудную и мучительную войну. Все сословия кинулись к нему как к спасителю. «К тебе одному, к твоему имени обратится все государство, к тебе бросится сенат, к тебе бросятся все честные граждане, к тебе бросятся латины и союзники, ты будешь единственным человеком, который сможет спасти Республику» (*Cic. De re publ., VI, 12*). Так описывает это

всеобщее настроение Цицерон. Римляне давно привыкли к мысли, что Сципион всегда избавляет их от всех бед. Значит, он спасет их и на сей раз. И в глубине души сам Публий разделял эту веру. За несколько дней до смерти с его уст сорвалось признание:

— С Римом ничего не случится, пока жив Сципион.

Но, если верить Цицерону, великая тень, предрекая будущее нашему герою, не сказала, что он спасет Республику. Слова ее были таковы:

— Ты, Публий Африканский, должен показать родине блеск своего духа, гения, мудрости. Но я вижу, что с этого момента дорога судьбы как бы раздваивается... Ты будешь единственным человеком, который сможет спасти Республику... если только ты избежишь преступных рук (*Cic. De re publ., VI, 12*).

Было ли произнесено когда-нибудь это роковое пророчество или нет, Сципион не мог не знать, какой опасности он себя подвергает, вмешиваясь в страшную борьбу разъяренных партий. Но он не колебался ни минуты. Он принял вызов судьбы, как принимал его в дни войны, когда бросался в самую гущу боя. Еще не придя в себя после труднейшей кампании, он устремился на помощь Республике. Мысль Сципиона, как всегда, была ясна и проста. Гракх убит законно. Но убит он вовсе не из-за своей реформы — он убит за то, что превысил свои полномочия и попра л конституцию. Сам по себе аграрный закон полезен и вполне разумен. Вот почему следует посмертно осудить Тиберия, следует даже покарать его ближайших помощников, но в то же время нужно всемерно поддерживать закон убитого трибуна.

Итак, Сципион хотел, насколько это возможно, примирить врагов и направить их усилия к одной цели — благу Рима. Надо признаться, что положение его было очень трудным и опасным. Нет ничего хуже, чем в период всеобщего озлобления встать между враждующими партиями и открыто заявить, что не примыкаешь ни к одной из них. Все они возненавидят тебя и обратятся против тебя. Сципион мог бы повторить о себе то, что сказал великий афинский законодатель и мудрец Солон. Он говорит, что стоял

между неистовыми партиями, чтобы помешать междоусобице:

Встал я, могучим щитом своим тех и других прикрывая,
И никому побеждать не дал неправо других.

А они в бешенстве кидались на него со всех сторон.

Я отбивался, словно волк от стаи псов.

Но ничто не могло поколебать Публия. Он стоял незыблемо, как скала, между налетающими, словно бурные волны, врагами. Подобно тому, как он считал необходимым поддерживать народ против знати, так точно сейчас он видел свой долг в том, чтобы поддерживать пошатнувшийся сенат.

По-видимому, ему удалось убедить отцов. Мы наблюдаем удивительное явление. Тиберия объявляют тираном, его сторонников — преступниками, и в то же время открывают его реформам неограниченный кредит. Консулы Попиллий и Рупилий — а этот последний был протееже Сципиона — судят и изгоняют приспешников убитого законодателя. И они же делают все, чтобы провести в жизнь его закон. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Народ начал получать землю⁷¹.

Казалось, Рим стал успокаиваться. Но демоны революции, раз разбуженные и растревоженные, не спешат покинуть землю. Неохотно уходят они в свои подземные недра. Сципион это чувствовал инстинктивно. И особое беспокойство ему внушали триумвиры по разделу полей — Аппий Клавдий, Гай Гракх и Красс Муциан, выбранный в комиссию после гибели Тиберия. Аграрные законы были страшным оружием в руках демагогов Греции. Публий знал это. И кто мог знать это лучше него — ведь он сотни раз слышал об этом от Полибия. Отзвуки этих бесед мы находим в его истории. Кризис демократии, по словам историка, наступает, когда «водворяется господство силы, а собирающаяся вокруг вождя толпа совершает убийства... переделы земли, пока не одичает совершенно и вновь не обретет себе властителя и самодержца (то есть тирана, которым ста-

новится бывший демагог. — Т. Б.)» (*Polyb., VI, 9, 7—9*). «Разгневанный народ, во всем внимая голосу страсти, отказывает властям в повиновении, не признает их даже равноправными с собой и все дела желает решать сам. Тогда государство украсит себя благороднейшим именем свободного народного правления, а на деле станет наихудшим из государств — охлократией» (*Polyb., VI, 57, 7—9*).

Между тем теперешние вожди народа — Красс и особенно Аппий — не внушали Сципиону ни малейшего доверия. Честолюбец, перебежчик из аристократии, он готов был на все ради власти и почестей. Ослепленный тщеславием и мелкой мстительностью, он стремился помешать Публию остановить революцию, ибо ее бурные, мутные волны вознесли его так высоко. Вот почему Сципион делал все, чтобы ограничить влияние триумвиров. Они всегда не любили его и завидовали ему. Сейчас, когда он встал им поперек дороги, они возненавидели его. Они положили начало непрерывным нападкам на Сципиона не только на Форуме, но и в сенате (*Cic. De re publ., I, 31*). Чем кончилась бы эта борьба, неизвестно, если бы не неожиданные события.

Демократическая деятельность принесла огромную популярность триумвирам, особенно Крассу. Он был избран сначала верховным понтификом, то есть главой всего римского культа, а в 131 году до н. э., через два года после гибели злополучного Гракха, консулом. Красс достиг, казалось, венца своих желаний. Но честолюбие его не знало границ. Случилось так, что в то время вспыхнуло восстание в недавно присоединенном к Риму Пергаме. Восстание все разрасталось. Стало ясно, что один из консулов должен отправиться в Малую Азию подавлять мятеж. Красс всеми силами стремился получить этот назначение. Но дело в том, что теперь он был верховным понтификом, а религия запрещала своему главе покидать Италию. Доныне ни один великий жрец не дерзнул нарушить этого запрет. Но соблазн оказался сильнее Красса. Он не только попрал заветы религии — он дерзнул использовать ее в своих политических целях. Вторым

консулом был фламмин* Марса. Все жрецы подчинялись понтифику, и, пользуясь этим, Красс запретил коллеге ехать на войну. «Консул Красс, верховный понтифик, наложил штраф на коллегу Флакка... за то, что он оставляет священнодействия» (*Cic. Phil., XI, 18*).

Народ был смущен и не знал, что предпринять. Две трибы даже предложили неожиданное решение — вместо консулов послать Сципиона, который «намного превосходил обоих военной славой и доблестью» (*ibid.*). Разумеется, это было химерой. Сенат никогда не передал бы командование частному человеку, да он и сам никогда не согласился бы на это, — не мог он оставить Рим в этот трудный момент. Но предложение это показывает, насколько римляне привыкли смотреть на Сципиона как на своего неизменного ангела-хранителя.

В конце концов ехать разрешили Крассу, запретив ему, правда, недостойные действия против коллеги. Но кампания не принесла ему желанной славы. Он потерпел поражение. И — позор неслыханный! — он, консул римского народа, живым попал в плен. Его привязали к седлу, и варвар-фракиец торжественно повез его из битвы. Со свойственным ему холодным здравым смыслом Красс понял, что положение безвыходное — ни уговоры, ни мольбы не спасут его от невиданного унижения. Он был безоружен. В руке его был только прут, которым он погонял коня. И он нашел выход. Неожиданно он повернулся к варвару и изо всех сил хлестнул его прутом по глазам, причинив адскую боль. Расчет оказался верен. Озверевший от боли фракиец забыл все на свете, бросился на пленника и прикончил его. Так Красс добился желанной смерти (*Frontin., IV, 5, 16; Val. Max., III, 2, 12*). Надо признать что если он и покрыл себя позором, то сумел избавиться от этого позора с мужеством, достойным своих великих предков.

Итак, Красс покинул Рим. Примерно в это же время скончался второй триумвир, Аппий Клавдий. На освободившиеся места в комиссию были выбраны два

* Жрец.

новых человека — Марк Фульвий Флакк и Гай Папирий Карбон⁷². Это были люди сравнительно молодые — ровесники покойному Гракху. Оба были ему если не друзьями, то по крайней мере приятелями. Фульвий был, по-видимому, тем самым сенатором, который предупредил Тиберия об опасности — это предупреждение и привело к роковому исходу. Карбон же был соучеником Тиберия: оба они прилежно посещали оратора Лепида Порцину (*Cic. Brut.*, 96). После смерти Гракха оба — и Флакк, и Карбон — заявили себя горячими последователями убитого. Фульвий поднял в сенате вопрос о его убийстве и при этом осыпал Назику всевозможными оскорблениями (*Cic. De or.*, II, 285). А Карбон постоянно оплакивал гибель Тиберия на народных сходках и открыто заявил, что пойдет по стопам Гракха (*ORF², Crassus, fr. 14; Cic. De amic.*, 39).

Но в остальном это были люди очень разные. Фульвий был, по-видимому, субъективно честный человек, искренне преданный идеям демократии. Но он не блистал ни умом, ни талантами (*Cic. Brut.*, 108) и был, что называется, без царя в голове. К тому же нрав у него был беспокойный, мятежный — все вокруг него кипело и бурлило (*Plut. C. Gracch.*, 10). Но в силу его бестолковости все это кипение ровно ни к чему не приводило. По-видимому, он вообще был абсолютно неспособен обдумать последствия своих поступков. Он хотел спасти Тиберия, а вместо того погубил его. Позже он тайно начал мутить италиков, в результате они восстали и были сурово наказаны, а виновник всего этого Фульвий даже не помог им (*Plut. C. Gracch.*, 10; *App. B. C.*, I, 34). Люди добропорядочные его недолюбливали. «Сенату он внушал прямую ненависть, а всем прочим — немалые подозрения» (*Plut. Ibid.*). Его почитали заговорщиком и смутьяном.

Совершенно другим человеком был Папирий Карбон. Он был умен, ловок и необыкновенно красноречив. Его речи свойственна была какая-то необыкновенная плавность и напевность (*Cic. De or.*, III, 28). «Это был оратор со звучным голосом, гибким языком и язвительным слогом... он соединял силу с необычайной приятностью и остроумием... Карбон был

также на редкость трудолюбив и прилежен и имел обыкновение уделять много внимания упражнениям» (*Cic. Brut.*, 105). И в то же время Карбон был страшным человеком. Современники, по-видимому, считали, что он принадлежит к числу тех редких людей, которые начисто лишены моральных норм. Поэтому они смотрели на него с некоторым сверхъестественным ужасом, как на какое-то чудо природы. Поэт Люцилий называл его сыном Нептуна. Очевидно, он считал, что Карбон сродни циклопу Полифему, лестригонам и другим чудовищам, порожденным богом морей (*Cic. De nat. deor.*, I, 63—64). «Если бы Люп или Карбон... — пишет он, — думали, что боги существуют, были бы они такими клятвопреступниками и подлецами?» (*Ibid.*) Цицерон же называет его бесчестным человеком (*De leg.*, III, 35).

К демократии Карбон примкнул по расчету. Пока ему было это выгодно, он защищал дело Гракхов. Но после убийства Гая он не только отошел от него, но открыто переметнулся на другую сторону и даже имел низость публично защищать убийцу своего бывшего друга. Но этим Карбон ничего не достиг. Сенат и народ с равным отвращением отшатнулись от предателя. «Он потерял народное доверие из-за своего вечно непостоянства», — говорит Цицерон (*Brut.*, 103).

Ясно, что появление таких двух триумвиров резко изменило лицо комиссии. Аппий и Красс были людьми солидными. От слишком опрометчивых действий их удерживали возраст и занимаемое в обществе положение. Папирий же и Фульвий были молодыми, энергичными людьми, которые отчаянно рвались к власти и почестям. Кроме того, Красс был знаменитым правоведом. Его участие в триумвирате придавало комиссии вид строгой законности. Между тем Карбон «законов не знал вовсе, обычаи предков знал еле-еле, а гражданское право в лучшем случае посредственно» (*Cic. De or.*, I, 40).

Но тут необходимо сказать о третьем члене комиссии, до сих пор остававшемся в тени, — о Гае Семпронии Гракхе, младшем брате Тиберия. Однако здесь передо мной встает определенное затруднение. Дело

в том, что развернулся Гай уже после смерти моего героя, значит, по всем законам жанра я не должна о нем говорить* Но, с другой стороны, Гай сыграл роковую роль в жизни Сципиона, стало быть, о нем надо сказать, хотя все его планы и замыслы скрывались тогда в темных глубинах его души. И потом, мне кажется почти кощунством отрывать его жизнь от жизни Тиберия. Недаром их сравнивали с Диоскурами, которые неразлучны и на этом и на том свете. Предание говорит, что Диоскуры были братьями, детьми одной матери, но один был сыном Зевса, другой — простого смертного. И, когда смертный брат погиб, сын Бога пожертвовал из любви к нему своим бессмертием. Эта древняя легенда странно повторяется в истории братьев Гракхов. Пусть же перед читателем мелькнет трибуна Гая как видение того, чего более всего боялся мой герой.

VI

Иль правосудья нету в нашем веке?
За жизнь его отдай мне жизнь Монтечки!
В. Шекспир. Ромео и Джульетта

Марина Цветаева, свидетельница трех русских революций, говорила о том, как Блок написал «Двенадцать»:

«Демон данного часа Революции... вселился в Блока и заставил его... Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались»**.

Если бы я верила, что демоны революции могут хотя бы на время вселиться в живого человека, я бы думала, что они вселились в Гая Гракха.

Мы расстались с Гаем в 134 году до н. э., когда он был совсем мальчиком — ему только-только минуло 19 лет. После задуманных бесед с Тиберием он дол-

* Гай Гракх был трибуном в 123 и 122 гг.

** Цветаева М. Искусство при свете совести.

жен был покинуть Рим и уехать под Нуманцию. Это было роковым событием в его жизни. Ему не суждено было находиться рядом с братом и разделить его судьбу. «Они выступили порознь на государственном поприще, что нанесло огромный ущерб их делу, ибо... слить силы воедино они не могли. А такая совместная сила была бы громадной и неодолимой» (*Plut. Ti. Gracch.*, 3).

Итак, Гай был далеко от Италии во время всего трибуната Тиберия. Но у Плутарха мы находим поразительное сообщение. Он говорит, что вечером того страшного дня, когда на Капитолии был убит его брат, Гай каким-то чудом появился в Риме (*Plut. Ti. Gracch.*, 20). Как это понимать? Ведь война еще не была окончена. Как же случилось, что Гай бросил ее перед самым завершением, почему он оставил своего полководца, почему не вступил в Рим несколько месяцев спустя в торжественном шествии, следующем за триумфальной колесницей, в праздничной одежде, с лавровой ветвью в руке? Я вижу только одну причину — он каким-то образом узнал о том, что делается в Риме. Как? Конечно, из письма брата. Можно себе представить, что Тиберий в самых жалобных словах описал ему свое безвыходное положение, умоляя о помощи. Этого было достаточно, чтобы Гай, забыв все на свете, не помня себя, полетел в Рим, махнув рукой на триумф. Зная его пылкий темперамент и безумную любовь к брату, я представляю себе, как он несся сломя голову по знойной, пыльной дороге из гавани в Рим. Но он опоздал...

Невольно становится жутко при мысли о том, что он тогда испытал. Вечером того рокового дня Гай появился перед убийцами брата и умолял отдать ему его тело. Но все было тщетно. Труп Тиберия бросили в реку (*Plut. Ti. Gracch.*, 20).

Гай едва не сошел с ума. На него нашла какая-то апатия и полное безразличие ко всему. Он «совершенно не показывался на Форуме» и не мог никого видеть (*Plut. Ti. Gracch.*, 22). Даже спустя 10 лет он признавался, что ему невыносимо тяжело ступать на Капитолий, который залит кровью его брата (*ORF²*,

C. Gracch., fr. 61). Он вновь и вновь переживал кровавую трагедию. Много лет спустя он с болью говорил народу:

— У вас на глазах Тиберия насмерть били дубьем, а потом с Капитолия волокли его тело по городу и швырнули в реку! (*Plut. Ti. Gracch., 24*)

Но время шло. Год сменялся годом. Другой человек постепенно успокоился бы и примирился с неизбежным. Гаю было всего 20 лет, а в этом возрасте любая рана заживает и зарубцовывается. Говоря словами Гомера:

Часто случается: смертный и более близких теряет, —
Сына цветущего.....
Плачет о нем и скорбит, но потом свою скорбь прекращает.
Смертных богини судьбы одарили выносливым сердцем.

(*Il. XXIV, 46—49. Пер. В. В. Вересаева*)

Но Гай Гракх не мог забыть и не хотел примириться. Ни время, ни новые впечатления, ни мечты о воинской славе, ни любовь, ни рождение ребенка — ничто не могло заставить его забыть. Эта рана жгла его всю жизнь.

Не только в истории Рима, но и во всей истории человечества трудно отыскать более величественную и трагическую фигуру, чем Гай Гракх. Так и кажется, что он сошел со страниц Лермонтова или лорда Байрона. Только они выводили природы столь могучие, глубокие, мрачные, неукротимые, не знающие меры ни в любви, ни в ненависти, природы, целиком посвятившие себя мщению, отрекшиеся от всех земных привязанностей, отверженные и проклятые людьми и осужденные на ужасную гибель.

Гай был подлинно велик. И тут лучше всего послушать не друзей его, а заклятых врагов. Цицерон, считавший Гаю самым вредоносным из римлян, не мог говорить о нем без глубокого восхищения. Он называет его «самым одаренным из наших сограждан» (*Fontei, 39*). Он наделен был необыкновенно ясным умом. Мог работать не уставая день и ночь (*Plut. Ti. Gracch., 27*). Он разработал законы, касающиеся всех сфер римской жизни — судов, провинций, землевла-

дения, вывода колоний, армии, положения городской бедноты, строительства дорог, — и все это за два года! За два года Гай Гракх один, без армии, без денег, без партии, единственно силой своего ума и красноречия перевернул все римское государство!

Он умел делать все — превосходно знал законы, но «оружием владел не хуже, чем тонкостями права» (*Plut. Ti. Gracch., 22*), а дороги строил не хуже, чем владел оружием. Но особым его даром было красноречие. Тут он был бог. Перед ним меркло, тускнело, казалось пресным и жалким знаменитое красноречие Тиберия. «Согласись, Брут, — говорит в одном месте Цицерон, — что никогда не существовал человек, одаренный для красноречия полнее и богаче... О, какой урон с его безвременной смертью понесла римская и латинская словесность!.. В красноречии, мне кажется, никто его не превзошел: стиль его возвышен, мысли мудры, тон внушитель» (*Brut., 125—126*). «Гай Гракх — какое дарование, какое красноречие, какая сила!» — восклицает он в другом месте (*Har. resp., 41*). До нас из всего этого великолепия случайно дошло несколько жалких фрагментов. Я приведу всего два отрывка, чтобы снова зазвучал этот неповторимый голос.

Вот фрагмент из его оправдательной речи перед цензорами. С какой гордостью, с каким спокойным достоинством говорит он о своей жизни в провинции!

— Я жил в провинции так, как считал согласным с вашей пользой, а не так, как это приличествовало бы моему честолюбию. Я не держал у себя роскошной кухни, у меня за столом не стояли красивые рабы, и на пиру ваши дети держались скромнее, чем перед ставкой главнокомандующего. Я так жил в провинции, что никто не может сказать, что я получил в подарок хоть асс или кто-либо из-за меня вошел в издержки. Два года я жил в провинции; если хоть одна шлюха вошла в мой дом, если из-за меня был соблазнен чей-нибудь раб, считайте меня самым последним подлецом! Если я был так чист с их рабами, то вы можете заключить, как я относился к вашим детям.

Вообще, квириты, когда я вернулся в Рим, то те пояса, которые я увозил оттуда полными денег, я привез из провинции пустыми, а другие люди, которые взяли амфоры, полные вина, привезли их домой полными денег (*ORF², C. Gracch., fr. 26—28*).

А вот второй отрывок. Гай, уже трибун, выступает перед народом по поводу одного закона:

— Если, квириты, вы захотите проявить свою мудрость и доблесть, право, как вы ни ищите, не найдете из нас никого, кто выходил бы сюда без корыстной цели. Ведь все мы, произносящие речи, чего-нибудь от вас добиваемся, и кто бы ни выходил перед вами, конечно, выходит не за чем другим, как только чтобы что-нибудь от вас получить. И я сам, который говорю сейчас перед вами, убеждая увеличить свои доходы, чтобы вы могли все устроить к вашей выгоде и управлять Республикой, я выступаю не даром. Но я прошу у вас не денег, я хочу уважения и почета. Те, которые выступают, чтобы отговорить вас принять этот закон, добиваются не почета от вас, но денег от Никомеда*. Те, кто уговаривают принять его, добиваются не уважения от вас, но награды и платы за свои дружеские чувства от Митридата*. Наконец, люди того же положения и сословия, которые молчат, те едва ли не опаснее всего: ведь они получают награды от всех и всех обманывают; вы же, полагая, что они далеки от этих интриг, награждаете их своим уважением; послы же царей, полагая, что они молчат в их интересах, награждают их великолепными подарками и деньгами. Так, в Греции, когда один трагик хвалился, что за представление одной только драмы получил целый талант, то Демад, самый красноречивый оратор своего государства, говорят, заметил: «Ты удивляешься, что получил талант за то, что говорил? Я получил от царя десять талантов за то, чтобы молчал». Так и эти люди получают за свое молчание самую высокую плату» (*ibid., fr. 44*).

Сколько в этой речи ядовитого сарказма! С каким уничтожающим презрением говорит он о своих

* Речь идет о двух царях-соперниках.

противниках! Как опасно было иметь дело с этим оратором, который умел так беспощадно высмеять своих оппонентов! Выступали ли они за закон, против или даже молчали — он умел представить их в глазах народа закоснелыми злодеями.

При этом сам голос у него был изумительный — красивый, мощный и звучный (*Plut. Ti. Gr., 25*), и Гай заранее обдумывал его переливы и тона. «Гракх... имел обыкновение, выступая перед народом, скрытно ставить за собой опытного музыканта с флейтой из слоновой кости, чтобы тот сейчас же подавал ему на ней нужный звук, указывая, когда нужно усилить, когда ослабить голос» (*Cic. De or., III, 225*). Так что речь Гая уже напоминала пение.

Судя по приведенным отрывкам, читатель мог бы вообразить, что Гракх говорил сдержанно, с горькой насмешкой. Но это жестокое заблуждение. «Гай говорил страстно, грозно и зажигательно» (*Plut. Ti. Gr., 2*). Тацит называет его неистовым оратором (*Dial., 26*). Плутарх рассказывает, что во время речи Гай в нервном возбуждении срывал с плеча тогу и метался по Рострам, что в ту эпоху в Риме было совершенно не принято. И лицо его при этом бывало страшно (*Plut. Ti. Gr., 2*).

Гай никогда не мог совладать со своим огненным темпераментом и бешеными страстями. Собой он владел не лучше брата. Только проявлялось это по-иному. У Тиберия, особенно в последние дни жизни, бывали настоящие истерики с неудержимыми рыданиями. Гай, в отличие от брата, не плакал. Плутарх передает, что один только раз, накануне своей смерти, когда участь его была уже решена, Гай, уходя с Форума, остановился перед статуей отца, долго молча смотрел на нее, а потом вдруг разразился бурными рыданиями (*Plut. Ti. Gr., 35*). Но вообще-то подобные взрывы были не в его характере. У него тоже бывали истерики, только другие — он разражался потоком площадной брани. Он был «колюч и вспыльчив настолько, что нередко во время речи терял над собой власть и, весь поддавшись гневу, начинал кричать, сыпать бранью, так что в конце концов сбивался и

умолкал» (*Plut. Ti. Gr., 2*). Враги, разумеется, знали его слабость и подчас нарочно доводили бешеного трибуна, чтобы вызвать очередной припадок. Но иногда это происходило случайно. «Ведь надо думать, — пишет Геллий, — что при его природной вспыльчивости Гракх не нуждался во внешних причинах для гнева» (*Gell., I, 11*). Цицерон приводит любопытнейший случай.

Главным противником Гая был Кальпурний Пизон, великодушный защитник провинций, который за свою незапятнанную жизнь был прозван Честным (*Frugi*). Цицерон пишет: «Что это был за человек! Человек столь добродетельный, столь непорочный, что даже в те счастливые времена, когда вообще нельзя было найти окончательно дурного человека, его одного называли Честным». Гай собирался произнести речь против этого человека и велел служителю позвать его на Форум. Но служитель спросил, какого Пизона он имеет в виду, потому что в Риме их было несколько. Этот невинный вопрос вывел Гракха из равновесия.

— Ты заставляешь меня назвать моего врага Честным! — воскликнул он в ярости и, когда Пизон явился, произнес против него речь, «состоящую скорее из ругательств, чем из обвинений» (*Cic. Fontei., 39; Schol. Bob. in Cic. Flacc. 96, 26*)*

В такие ужасные минуты Гая спасала та же флейта. Музыкант, замечая, что демон начинает овладевать господином, играл нежно и мягко. Гай был необыкновенно музыкален, и звуки действовали на его мятущуюся душу, как некогда арфа на безумного Саула. И, слыша нежную музыку, он «приходил в себя и успокаивался» (*Plut. Ti. Gr., 2*).

Существует странное, глубоко укоренившееся в сознании людей заблуждение. Думают, что Тиберий и Гай стремились к одному и тому же. Старший брат

* Впоследствии речь была написана и издана, тон ее не изменился, но ругательства стали изящнее. Вот небольшой фрагмент из нее: «Твое детство — позор для твоей юности, юность — стыд для твоей старости, старость — бесчестье для Республики» (*fr. 43*).

был мягче и нерешительнее, младший — жестче и энергичнее, но цель у них была одна — дать народу землю. Ничего не может быть дальше от истины. Тиберий действительно хотел одного — провести свой аграрный закон. Но планы Гая были величественнее и грознее. И весь свой гениальный ум, все свое упоительное красноречие, всю силу своей неукротимой души Гай отдал их осуществлению. Перед ним были две цели.

И первой из них была, конечно, месть. Месть его была действительно великой. То была могучая, всепожирающая страсть. Он посвятил ей всю жизнь, как лермонтовский Неизвестный, он пожертвовал ей всем своим счастьем. Этот необузданный, вспыльчивый человек мог затаиться и ждать годами, пока пробьет его час. Кошка, которая часами неподвижно лежит у мышиной норки, чтобы потом кинуться на свою добычу, могла бы позавидовать терпению Гая. Прошло 10 лет со дня смерти Тиберия Гракха, и только тогда, став трибуном, Гай приступил к своей мести. Подобно эсхилловским эриниям, он неотступно шел по кровавому следу убийц брата, и никто не избежал его тяжелой руки. Он непрерывно говорил о его убийстве, постоянно твердил о нем квиристам; о чем бы ни шла речь, он всегда возвращался к одному — к кровавой трагедии на Капитолии (*Plut. Ti. Gr.*, 24). А так как Гай был гениальным оратором и актером, он заставлял своих слушателей вновь и вновь ее переживать. И всем начинало казаться, что Тиберий убит не много лет назад, а только что, что кровь его еще не высохла на каменных плитах. Он натравил народ на Назику, сделал его жизнь невыносимой, заставил покинуть Рим и умереть вдали от родины в тоске и печали⁷³. Он обрушился на Попиллия, консула 132 года, который раздавал народу землю, но преследовал друзей Тиберия Гракха. Заслуги перед плебсом не спасли его. Гай послал его в изгнание, злорадно крикнув в вдогонку:

— О, пусть бы он истлел на виселице!⁷⁴ (*ORF², C. Gracch., fr. 32—38; Cic. Post red. in sen., 37; Ad quir., 60*).

Теперь черед был за Октавием, бывшим коллегой

его брата, который, по выражению Цицерона, «сломил Тиберия Гракха терпением» (*Brut.*, 95). Это была нелегкая задача. Октавий казался неуязвим. Он славился своей честностью. На его репутации не было ни единого пятна. Но Гай нашел способ опозорить его, унижить, смешать с грязью. Он предложил закон, по которому магистрат, отрешенный народом от должности, не мог впредь занимать никакой магистратуры. Закон не имел и тени справедливости. Само такого рода отрешение было антиконституционно, а потому подобных прецедентов не было. Всем было ясно, что закон придуман специально затем, чтобы «покрыть позором Марка Октавия» (*Plut. Ti. Gr.*, 25). Мало этого. Гай направил закон против Октавия, отрешенного от должности за девять лет до нового закона, то есть дал закону обратную силу, что было уже верхом несправедливости. Судьба Октавия, казалось, была решена. Его спасла неожиданность. Благородная Корнелия, мать Гракхов, не выдержала столь вопиющего беззакония. Она имела какую-то беседу с сыном. Наутро молодой реформатор явился на Форум и неожиданно объявил, что сам берет свой законопроект назад, потому что об этом его попросила мать (*Plut. Ti. Gr.*, 25). Так неукротим был в своей мести Гай Гракх.

Вторая цель Гая была еще более грозной и страшной. Он задумал великую революцию. Он решил превратить римскую Республику в полную, абсолютную демократию, на манер афинской. Но если вдуматься, мы увидим, что это не две цели, а одна, во всяком случае, идти к ним надо было одним и тем же путем. В самом деле — кто мешал превращению Рима в демократию? Сенат — могучий оплот аристократии. А кто был главным убийцей Тиберия Гракха? Тот же сенат. И Гай объявил ему открытую войну. Он, который мог бы стать гордостью аристократии, блистающим алмазом в ее венце, с презрением отвернулся от нее и перешел к народу. Он отверг мир и покой и предпочел бунт и мятеж. «Гракх, обладавший сверкающим гением, — пишет Валерий Максим, — мог бы лучше всех защитить Республику, но он предпочел безбож-

но ее замутировать» (*Val. Max., VIII, 10, 1*). «О, если бы он захотел показать любовь не к брату, а к родине!» — грустно замечает Цицерон (*Brut., 126*). «О, как скорбели все честные люди, видя, что такие сокровища талантов не поставлены на службу более добрым мыслям и более благой воле», — говорит он в другом месте (*Cic. Har. resp., 41*).

Его законы сыпались на сенат сплошным дождем, как стрелы при штурме города. «Все мои проекты, — говорил он, — это кинжалы, которые я разбросал на Форуме, чтобы граждане (он имел в виду, конечно, сенаторов. — *Т. Б.*) друг друга перерезали» (*Cic. Leg., III, 20*). Проведя один закон, он с торжеством воскликнул:

— Я одним ударом уничтожил сенат (*App. B. C., I, 22*).

В другой раз он сказал:

— Даже когда я умру, я не выпущу из рук меча, который вонзил в тело сената! (*Diod., XXXVII, 9*)

Он не упускал ни одного случая унижить отцов. Произнося речи на Форуме, он повернулся к сенату спиной. «Легким поворотом туловища он сделал перемену огромной важности — превратил... государственный строй из аристократического в демократический» (*Plut. C. Gracch., 5*).

Все были убеждены, что движет Гаем только страстная жажда мести (*Brut., 126*). Даже его биограф и апологет Плутарх, рисуя Гая почти святым, не сомневается, что его герой действовал так, ибо «мстил за брата, убитого без суда и приговора властей» (*Plut. Ti. Gr., 45*). А Цицерон склонен даже оправдывать Гая. Он говорит, что тот вынужден был пойти на государственный переворот. От природы он был благороден, но «смерть брата, любовь к нему и величие духа заставили его добиваться мщения за родную кровь» (*Cic. Har. resp., 43*).

Но сенат был опасным противником. Чтобы его уничтожить, надо было найти могучих союзников. Прежде всего Гай решил расшатать равновесие всех элементов, которым так гордилась римская республика, разделить государство и все силы натравить на сенат. Действовал Гай с необычайным блеском и ис-

кусством. Сначала он привлек на свою сторону народ, идолом которого быстро стал. Он никогда не смешивался с плебсом и не был с чернью запанибрата. Почти до самой смерти он жил в наиболее аристократическом районе Рима, на Палатине (*Plut. C. Gracch., 32*). Он любил роскошь, но роскошь утонченную, ничего общего не имевшую с вульгарной пышностью нуворишей, о которых говорит Люцилий. Он поразил даже богатейших римских аристократов, потратив бешеные деньги на каких-то изящных серебряных дельфинчиков (*Plut. Ti. Gracch., 2; Plin. N. H., XXXIII, 147*). Г. Буассье пишет о Гракхах, имея в виду, однако, более всего Гая: «Они горячо защищали народные интересы, напоминая вместе с этим гордым изяществом манер свое аристократическое происхождение. Известно, что при их вставании от сна по утрам присутствовала целая толпа клиентов и что они первые вздумали делать между ними различия, напоминающие большие и малые выходы Людовика XIV»*. Гай являлся плебсу в бледном ореоле павшего ангела, знатнейшего нобилия, отрекшегося от аристократии и проклятого ею, страдальца и мученика за народ.

Он прежде всего возобновил аграрный закон, смягчил чрезмерно суровую военную дисциплину и улучшил положение воинов. Этого мало. В те времена Рим стал уже столицей мира и туда со всех концов стекался всякий сброд и праздношатающийся люд. Эти-то деклассированные элементы и взял под свое покровительство Гай. Он провел закон, по которому государство фактически должно было содержать люмпен-пролетариат, выдавая ему из казны дешевый хлеб.

Закон этот вызвал бурю возмущения. Именно против него так настойчиво выступал Пизон Честный. Не говоря уже о том, что обязанность кормить люмпенов тяжким бременем легла на римскую казну, после закона Гая они окончательно превратились в

* Буассье Г. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря. М., 1914. С. 242.

отвратительную, паразитическую прослойку, ту самую чернь, которая требовала хлеба и зрелищ и готова была продаваться каждому политику. С тех пор каждый трибун-популяр начинал свою карьеру с того, что раздавал новую порцию хлеба городской черни, количество которой все увеличивалось. Аппиан пишет: «Обычай, имевший место только в Риме, — публичная раздача хлеба неимущим — привлекал в Рим бездельников, попрошайек и плутов со всей Италии» (*App. В. С., II, 120*). Это была мощная сила, которую Гай извлек из небытия.

Но он отыскал еще одну силу. «Подобно тому, как раньше он подкупал народ, так теперь он склонил на свою сторону так называемых всадников... Воспользовался он при этом другим политическим маневром» (*App. В. С., I, 22*). Эти всадники были богатые дельцы всех мастей — банкиры, ростовщики, купцы, спекулянты. «Маневр» Гая состоял в следующем. Быть может, читатель помнит, что царь Пергам завещал свою страну Риму. Если бы он знал, что сделает с ней Гай Гракх, он никогда не оставил бы подобного завещания, будь он даже выжившим из ума деспотом. Гракх провел закон, по которому Пергам, называвшийся теперь провинцией Азией, уплачивал в римскую казну налог в размере одной десятой части урожая. При этом налог отдавался на откуп всадникам. Реально это означало, что богатая корпорация всадников вносила в казну всю сумму, которую государство должно было собрать с провинции, а взамен получала право самим взимать деньги с Азии. Естественно, чтобы остаться в барышах, им нужно было выжать из несчастной провинции втрое или вчетверо. Этому-то закону Гракха Рим обязан был той лютой ненавистью, которой пылала к нему Азия.

Но мы знаем, что провинции вовсе не были беззащитны против угнетателей. По закону того же Пизона Честного жители их могли возбуждать дела о лихоимстве против своих притеснителей. Сколько нам известно блестяще выигранных процессов такого рода! Увы! Жителям Азии подобные суды были недоступны. Дело в том, что Гай провел закон, по которо-

му суды, ранее бывшие в руках сената, передавались всадникам. Это был тот самый закон, о котором Гай сказал, что одним ударом убил сенат. «Эти слова Гракха оправдались еще ярче позднее, когда реформа... стала осуществляться на практике. Ибо предоставление всадникам судебных полномочий над римлянами, всеми италийцами и самими сенаторами, полномочий карать их любыми мерами воздействия: денежными штрафами, лишением гражданских прав, изгнанием — все это вознесло всадников как магистратов над сенатом, а членов последнего сравняло со всадниками или даже поставило в подчиненное положение... Всадники стали заодно с трибунами в вопросах голосования и в благодарность получили от трибунов все, чего бы они ни пожелали... И скоро дело дошло до того, что самая основа государственного строя опрокинулась: сенат продолжал сохранять за собой лишь свой авторитет, вся же сила сосредоточилась в руках всадников... Всадники не только стали заправлять всем в судах, но даже начали неприкрыто издеваться над сенаторами... Процессы против взяточничества они совсем отменили... Обычай требовать отчет от должностных лиц вообще пришел в забвение, и судебный закон Гракха на долгое время повлек за собой распрю, не меньшую прежних» (*App. B. C., I, 22*).

Много зла принесли Риму всаднические суды. По словам Цицерона, они были «преступны, злокозненны, достойны казни» (*Cic. De or., I, 229—230*). Но печальнее всего закон этот отозвался на жителях Азии. Все их жалобы на всадников теперь разбирались всадниками же. Самым знаменитым и самым возмутительным было дело Рутилия, о котором я уже говорила. Управляя Азией, этот благородный человек не давал всадникам грабить жителей. Взбешенные откупщики обвинили его самого в том, что он грабил провинцию, и всаднический суд приговорил его к вечному изгнанию.

Мне хочется верить, что Гай Гракх не предвидел всех поистине дьявольских последствий своего закона. Ему нужны были голоса всадников — и он отдал

им провинцию. Он хотел одного — отнять у сената реальную власть и насколько возможно унижить его. Он ликовал, представляя, как гордые аристократы будут отчитываться в своих действиях перед скромными дельцами. Рассказывают, что 17 триб отвергли закон, а 17 приняли его. Стали считать голоса последней, тридцать пятой. И оказалось, что больше голосов подано за закон Гая. «Итак, решение народа было сопряжено с такими колебаниями, а Гракх был в таком волнении, как будто речь шла о его жизни. Когда же он узнал, что победил... то в восторге закричал:

— Меч занесен над врагами, а остальное, что бы ни послала судьба, мы стерпим!» (*Diod., XXVII*)

Эти слова показывают, что он думал в эту минуту только о мести. Но факт остается фактом. Он, человек благородный и чистый, который, как шекспировский Брут, готов был скорее чеканить деньги из собственного сердца и лить в драхмы свою кровь, чем вырывать их из рук крестьян, для достижения своей цели пожертвовал жителями провинции и обрек их на бесконечные муки и страдания.

Вот как описывает действия Гая один античный историк из противоположного лагеря:

«Гракх произносил перед народом речи, призывая к свержению аристократии и установлению демократии. Он достиг расположения всех классов общества... Каждого он подкупал надеждами, и каждый готов был претерпеть за его законы опасности, как за свое добро. Отняв судебную власть у сената и назначив судьями всадников, он позволил менее достойному сословию распоряжаться лучшими и разрушил прежде бывшее согласие между сенаторами и всадниками... а толпу сделал грозной силой против обоих сословий и всеобщим разладом укрепил себе власть; он опустошил государственную казну неуместными и позорными расходами и подачками. Все это сделало его объектом всеобщего восторженного внимания. Бросив с презрением провинции в жертву наглости и алчности... он возбудил справедливую ненависть подданных против власти. Своими законами он уничтожил старинную воинскую дис-

циплину и внес в государство мятеж и анархию. Совершая государственный переворот, он с презрением противодействовал магистратам. Из-за этого происходили гибельное беззаконие и полное разрушение города» (*Diod., XXV*).

Цицерон же прямо пишет, что Гай «ниспроверг весь государственный строй» (*Leg., II, 20*). «В этом ви-хре не оставалось ничего незыблемого, ничего прочного, ничего устойчивого», — говорит о законах Гая Веллей Патеркул (*Vell., II, 6*). Так говорили противники Гракха, оптиматы. Но вот Саллюстий, самый яркий демократ, приводит речь уже знакомого нам Меммия, отчаянного трибуна-популяра, речь, в которой тот громит знать и призывает народ отомстить за Гракхов, которые погибли, кстати, на глазах этого Меммия. И вот трибун говорит:

«Тиберий и Гай Гракхи... начали призывать народ к освобождению и раскрывать преступления немногих (то есть сената, аристократии. — Т. Б.) ... Конечно, в своей жажде победы Гракхи не проявили достаточной умеренности» (*Iug., 42, 1—2*). Значит, даже популяры должны были сознаться, что в дни торжества Гай не знал меры.

Молодой реформатор провел и еще один любопытный закон. Он начал строить в Италии большие дороги, дело, казалось бы, совершенно несвойственное трибунам. Руководил он всем сам. Дороги, как и все, что он делал, были великолепны. Он заботился одновременно и об удобстве, и о красоте. «Дороги проводились совершенно прямые. Их мостили тесным камнем либо же покрывали слоем плотно убитого песка. Там, где путь пересекали ручьи или овраги, перебрасывались мосты и выводились насыпи, а потом уровни по обеим сторонам полностью сравнивались, так что вся работа в целом была радостью для глаза. Кроме того, Гай измерил каждую дорогу от начала до конца по милям... и отметил расстояние каменными столбами. Поближе один к другому были расставлены по обе стороны дороги еще камни, чтобы всадники могли садиться с них на коня, не нуждаясь в стремянном» (*Plut. Ti. Gr., 28*).

Казалось почти чудом, что трибун, законы которого лились непрерывным потоком, находил еще время столько возиться с дорогами. Но «во главе всех начинаний он становился сам, нисколько не утомляясь ни от важности трудов, ни от их многочисленности, но каждое дело исполнял с такой быстротой и тщательностью, словно оно было единственным, и даже злейшие враги, ненавидевшие и боявшиеся его, дивились целеустремленности и успехам Гая Гракха» (*Plut. Ti. Gr., 27*).

Всеми этими мерами Гай достиг поразительных результатов. Он вырвал деньги из рук сената. Он выдавал хлеб народу из казны, он платил многочисленным рабочим и мастеровым, которые его обожали. «Гракх стал проводить по Италии большие дороги, привлек на свою сторону массы подрядчиков и ремесленников, готовых исполнять все его приказания» (*App. B. C., I, 23*). Теперь с утра до вечера он был окружен «подрядчиками, мастеровыми, послами, должностными лицами, воинами и учеными» (*Plut. Ti. Gr., 27*). Он говорил с ними величественно и милостиво, как добрый владыка со своими подданными. И народ, по словам Плутарха, восхищался им и поражался его любезности, которая явно изобличала клеветников, называвших его «страшным, грубым, жестоким» (*Plut. Ti. Gr., 27*). Какая странная фраза! Неужели Гай не мог поговорить вежливо и приветливо с кем-нибудь, не вызывая удивления?! Какова же в таком случае была его репутация!

Из слов Плутарха видно другое: Гай взял уже в свои руки казну, внешнюю политику — он ведь принимал послов! — он решал вопросы военного дела, и сами магистраты уже склонялись перед этим всесильным человеком.

Гай давно уже провел закон, по которому можно было быть трибуном сколько угодно раз. Он был трибуном второй срок и тут приступил к осуществлению своего заветного плана. Если угодно, это была вторая революция — первая превратила Рим в демократию, вторая должна была сделать его из города страной. Он предложил дать права гражданства ла-

тиньянам, вероятно, желая впоследствии распространить их на всех союзников (*App. I, 23; Vell., II, 6*). Новый законопроект возмутил многих. Сама мысль поставить на одну доску римлянина и италика была невыносима для римской гордости. И, главное, по иронии судьбы реформатор натолкнулся главным образом на сопротивление той самой толпы, которую сделал грозной силой. Она вовсе не намерена была делиться выгодами своего положения с кем бы то ни было⁷⁵.

Гай видел всеобщее недовольство, видел, что авторитет его пошатнулся, и поспешил взять свой законопроект назад. Первая его неудача!

В это время случилось одно, казалось бы, небольшое событие, которое имело, однако, роковые последствия. Гай начал активно выводить колонии*. И вот один трибун предложил основать колонию на территории бывшего Карфагенского государства, причем основателем ее должен был быть сам Гракх. Разумеется, Гаю ничего не стоило отказаться и поручить это дело кому-нибудь из своих друзей, тем более что он как трибун не должен был покидать границ города Рима. Но он с радостью ухватился за это предложение. Во-первых, он любил все делать сам. Во-вторых, он так смертельно устал и издергался за эти два года, что мечтал на несколько дней покинуть Рим. Наконец, была у него еще одна тайная цель.

Итак, Гай прибыл в Африку. Страна эта, разумеется, велика, и он мог основать будущий город где угодно. Но он выбрал именно то место, где некогда стоял Карфаген, — то самое место, над которым Сципион 24 года назад произнес страшное заклятие, обрекая его в удел подземным богам и духам (*App. V. C., I, 24*). Несомненно, Гай сделал это, чтобы насмеяться над памятью человека, который публично заявил, что Тиберий Гракх убит законно. Последствия его по-

* Поселения римлян на чужбине. Различались колонии римских граждан, имевших те же законы, религию и обычаи, что и римляне. Граждане их не утрачивали прав римского гражданства. И колонии латинов, граждане которых имели те же права и обязанности, что и жители древних союзных Риму латинских городов.

ступка были поистине ужасны. «Божество, как сообщают, всячески противилось новому основанию Карфагена... Ветер рвал главное знамя из рук знаменосца с такой силой, что сломал древко, смерч разметал жертвы, лежавшие на алтаре» (*Plut. Ti. Gr.*, 32).

Быть может, в этом и не стоит видеть чуда. Заставь людей вступить на территорию, которая, по их глубокому убеждению, занята духами и привидениями, причем эти люди уверены, что посягают на священные права этих чудовищ, что их каждую минуту ждет месть разъяренных демонов. К чему все это приведет? Они будут вздрагивать от каждого шороха, в кустах им будут чудиться злобные лица, все будет валиться у них из рук, они будут пугаться собственной тени. Именно это и случилось с теми, кто находился с Гракхом. Но Гая невозможно было ничем остановить. Ни вихри, ни мрачные знамения не могли сломать его упорства. Он заставил дрожавших от ужаса людей вбить колышки, чтобы отметить границы будущего города. Но ночью явились волки и вытащили все столбики (*App. B. C.*, I, 24; *Plut. Ti. Gr.*, 32).

И все-таки Гай, по-видимому, довел дело до конца. Но вернулся он в Рим совершенно измученным, почти невменяемым. У него нельзя было добиться, что же произошло в Африке. При одном упоминании о Карфагене он становился как безумный, кричал, что все ложь, никаких волков не было, так что казалось, что в него вселился один из потревоженных им демонов (*App. B. C.*, I, 24). Не только сенат, но и народ поражен был всем происшедшим, и поведение Гракха представлялось ему кощунством. «Волки вытащили и засыпали все пограничные знаки. И тогда сенат отказался от этого поселения», — пишет Аппиан*

Гая ждало еще одно горькое разочарование. Воз-

* Интересна судьба задуманной им колонии. Почти через сто лет той же мечтой загорелся диктатор Цезарь. Он «записал себе на память, что следует заселить Карфаген». Но, как только он принял это решение, он «погиб от рук врагов в здании римского сената. Сын же его... прозванный Августом, найдя это указание в записях отца, основал нынешний Карфаген очень близко от прежнего, но остерегаясь проклятой земли древнего города» (*App. Lib.*, 136).

вратившись в Рим, он на своем опыте познал истину, давно возвещенную Аристофаном, жившим при той самой демократии, которую устанавливал теперь Гай. Народ, говорил он, подобен избалованному мальчишке, за которым ухаживают толпы поклонников-демагогов, а он капризничает, привередничает и дарит свою благосклонность то одному, то другому, едва ли не каждый день меняя любимцев. И каждый демагог стремится перещегоолять другого популярными законами. Гай уехал на 70 дней, а в таких случаях, как гласит пословица, с глаз долой — из сердца вон. Появились у народа за это время другие ловкие льстецы и поклонники. «Сила Гая уже в известной степени шла на убыль, а народ был пресыщен планами и замыслами, подобными тем, которые предлагал Гракх, потому что искателей народной благосклонности развелось великое множество» (*Plut. Ti. Gr., 32*). Как бы то ни было, когда Гай выставил свою кандидатуру в трибуны на третий срок, он не добрал голосов. Когда подсчет был окончен и выяснилось, что Гракх не будет трибуном, враги его засмеялись от счастья. Гай, «как сообщают, потерял власть над собой» и закричал, что их смех предсмертный*, «они еще не подозревают, каким мраком окутали их все его начинания» (*Plut. Ti. Gr., 33*).

Этого мало. Популярность бывшего народного кумира упала настолько, что консулом выбрали его заклятого врага, Люция Опимия, человека решительного и очень жестокого. В январе 121 года новый консул вступил в должность и сразу стал искать хоть какого-нибудь незаконного поступка в деятельности бывшего трибуна, который позволил бы привлечь его к суду. Но молодой реформатор был так умен и осторожен, что не дал врагам ни малейшего повода для нападения. И тогда они воспользовались его единственным промахом, этой злополучной поездкой в Африку. Они выступили против его кощунственных действий. Гай был в таком нервном состоя-

* В подлиннике сардонический — когда губы человека дергаются в предсмертных конвульсиях.

нии, что решил не идти на собрание — он боялся очередного припадка ярости, который мог его погубить.

Вот почему он послал вместо себя Фульвия, который тоже был с ним в Африке, а сам ждал последствий в смертельной тревоге. Он вошел в какой-то храм — вероятно, хотел успокоить смятенную душу молитвой. И вдруг туда же вошли ликторы консула и стали расчищать ему место. Гай, как всегда, был не один — его окружала огромная толпа почитателей и телохранителей. И вот один из ликторов крикнул, обращаясь к этой толпе:

— Ну вы, негодяи, посторонитесь, дайте дорогу честным гражданам!

Он крикнул это толпе, но получилось так, что он указал в сторону самого Гая Гракха. Гай вспыхнул, повернулся и посмотрел на этого человека испепеляющим взглядом. В тот же миг ликтор упал мертвым на каменные плиты. Все в ужасе кинулись к нему, и тут обнаружилось, что умер он вовсе не из-за «дикого взгляда Гракха»* — бедняга был пронзен *стилем*, тонкой, острой металлической палочкой для письма, которую кто-то из приспешников Гая метнул в него с необычайной ловкостью. Произошло ужасное смятение. Народ с воплем кинулся из храма. Гай бросился на Форум и «хотел там объяснить случившееся. Но никто даже не останавливался перед ним; все отступились от него как от человека, оскверненного убийством» (*App. В. С., I, 25*). Гай в отчаянии и бешенстве обернулся к своей свите и осыпал ее горькими упреками — он кричал, что они его погубили, наконец-то враг получил против него желанное оружие (*Plut. Ti. Gr., 34; App. В. С., I, 25*)⁷⁶.

Все случилось так, как он и предполагал. Опимий, конечно, в душе ликовал. Теперь самые умеренные из сенаторов, самые расположенные к Гракху — если такие были — должны были решить, что он представляет безусловную опасность для государства: одно из двух, либо он приказал убить человека, бывшего с

* Выражение Аппиана.

ним недостаточно почтительным, либо он стоит во главе банды, которая уже вышла из-под его контроля. И наутро сенат приказал, чтобы Гай и Фульвий распустили свою шайку и явились на суд как обычные граждане. Гай, видимо, был готов даже на это. Но Фульвий и слышать об этом не хотел, он стал вооружаться и вербовать сторонников. Теперь оба они превратились в глазах сената в мятежников, вожаков вооруженного бунта. И это было великой удачей для врагов Гая — пока он действовал внутри Республики в рамках законности, он был неуязвим, когда он перестал быть ее частью и вышел на открытую вооруженную борьбу, расправиться с ним стало возможно. Сенат вручил консулу чрезвычайные, фактически диктаторские полномочия для борьбы с мятежниками. В другом государстве это означало бы, что консул, бывший верховным главнокомандующим, вводит в Рим свою армию. Но в Рим нельзя было вводить вооруженных воинов⁷⁷ И консул издал эдикт, где призывал всех, кто верен законам, с оружием в руках прийти на другой день на Капитолий, чтобы биться с врагами порядка (*App. B. C., I, 25*).

Гай давно знал, что умрет именно такой смертью. Но, как всегда бывает, она пришла неожиданно. И, как бы ни оценивать этого человека, в этот последний день он показал себя подлинно великим, достойным своих знаменитых предков. Фульвий развил лихорадочную, но довольно бессмысленную деятельность — раздавал всем желающим гальские доспехи и мечи, хранившиеся в качестве трофеев в его доме, призывал клиентов и даже обещал свободу всем рабам, которые к нему примкнули (*Plut. Ti. Gr., 36; App. B. C., I, 26*). Его отряды захватили Авентин, чтобы биться с консулом наутро. Но Гай Гракх безмолвствовал и пребывал в полном бездействии. И в его безнадежном спокойствии было куда более величия, чем в суете Фульвия. Он ни в чем не помогал Фульвию, и потому у того ничего не получалось. Было ясно, что Гай не собирается оказывать никакого сопротивления врагам. «Столь пылкий и решительный на войне, во время мятежа он проявил полную бездеятель-

ность» (*Plut. Ti. Gr., 44*). Если бы Гай захотел, с его неутомимой энергией, с его железной волей и пронзительным умом он подготовил бы страшное восстание. Быть может, они и не победили бы. Но зато дорого продали бы свою жизнь. Но он не хотел этого.

В тот последний день Гай, как обычно, спустился на Форум и произнес несколько слов, которые навеки врезались в сердца всех, кто их слышал:

— Куда пойти мне, несчастному? На Капитолий? Но он еще мокр от крови брата. Домой? Чтобы видеть в горе и страданиях мою несчастную мать? (*ORF², C. Gracch., fr. 61*)

«Он произнес это с таким выражением лица, таким голосом и с такими жестами, что враги не смогли удержаться от слез» (*Cic. De or., III, 214*).

На другое утро оба холма были укреплены, словно неприятельские крепости. То римляне собирались пролить кровь римлян. И с самого рассвета выяснилось, что огромное большинство граждан оказались верны законам, как они их понимали, и перешли к консулу.

В то утро Гай Гракх вышел из дому, как он твердо знал, в последний раз. Он не только не взял меча или копья, чтобы разить самому, он не надел даже панциря и шлема, чтобы защитить тело от ударов. Он собирался уже переступить порог, но «в дверях к нему бросилась жена и, обнявши одной рукой его, другой ребенка», душераздирающим голосом закричала:

— Ты сам отдаешь себя в руки убийц Тиберия! Ты идешь безоружный... предпочитая претерпеть зло, нежели причинить его, но... зло уже победило. Быть может, я буду молить какую-нибудь реку или море поведать, где скрыли твой труп!

Гай ничего не ответил жене. Он молча высвободился из ее объятий и шагнул через порог. «Она уцепилась было за его плащ, но рухнула наземь и долго лежала, не произнося ни звука, пока, наконец, слуги не подняли ее в глубоком обмороке и не отнесли к брату» (*Plut. Ti. Gr., 36*). Но Гай не обернулся.

Придя на Авентин, где укрепились его сторонники, Гай сделал все, чтобы избежать кровопролития,

но события уже вышли из-под его контроля (*Plut. Ti. Gr., 37*). Битва началась. Гай не принял участия в сражении. Он был «не в силах даже видеть того, что происходило вокруг», и удалился в стоявший поблизости храм Дианы (*Plut. Ti. Gr., 37*). Вскоре по шуму и крикам он понял, что его сторонники разбиты и бегут в беспорядке. Он достал небольшой кинжал — единственное оружие, которое было при нем, — и хотел покончить с собой.

Но тут в храм вбежали двое его верных друзей, Помпоний и Леторий* Когда началось смятение и бегство, они, оставив прочих, бросились искать повсюду Гая. Они схватили его за руки и умоляли бежать немедленно и спасти свою драгоценную жизнь. Тогда он бросился на колени перед статуей богини и перед ее лицом торжественно проклял римский народ и горячо молился, «чтобы в возмездие за свою измену и черную неблагодарность он стал рабом навеки» (*Plut. Ti. Gr., 37*). Все трое выбежали из храма и устремились вниз с холма к реке. Тесные римские переулки были запружены народом. Со всех сторон угрожали враги. В Гая летели копья и камни. Но «друзья своим телом закрывали его от вражеского врывающегося отовсюду оружия» (*Val. Max., IV, 7, 2*). Преследователи настигали. Тогда Помпоний остановился у узких ворот Трех Близнецов. Он сказал, что задержит врагов, сколько возможно, и умолял Гая бежать, не думая больше о нем. «Он жестоко бился. Живым его невозможно было отбросить от ворот». Лишь убив его, преследователи смогли выйти из городских стен. Леторий же стал на мосту. «И пока Гракх не перешел через него, защищал проход, пока хватало дыхания. Наконец, осиленный огромной толпой, он повернул к себе острие меча и упал в Тибр» (*Val. Max., IV, 7, 2*).

Теперь Гай бежал один. За ним следовал только его верный раб, готовый в любую минуту прикрыть его собой. Но Гай не ушел далеко. Он добрался до маленькой рощи, посвященной богиням мщения Фуриям, которых греки называли Эриниями. Гай почув-

* У Плутарха Лициний.

ствовал, что здесь его путь должен окончиться. Вероятно, он верил, что кровь, пролитая здесь, на глазах богинь, тяжко падет на головы всех его врагов. И он подозвал раба и подставил ему горло. Раб исполнил его последний приказ, обнял мертвого господина и закололся над его трупом. Так их и нашли враги — мертвый раб продолжал сжимать в объятиях мертвого хозяина (*Plut. Ti. Gr., 38; Val. Max., VI, 7, 3*)⁷⁸.

Большинство авторов передают, что труп Гая бросили в Тибр, как и предсказывала утром его несчастная жена. Но некоторые писатели уверяют, что он избежал этой ужасной участи и его отнесли к близким, чтобы те могли оплакать его, — но не к жене, которая так рыдала над ним утром, а к матери в Мизен. Корнелия, которая не одобряла деятельности своих сыновей при жизни, не отреклась от них после смерти. Когда ей принесли тело ее последнего сына, весь дом исходил в рыданиях. Крутом проклинали злую судьбу Корнелии. Но она нашла в себе силы остановить их и твердо произнесла, что не станет корить судьбу, которая дала ей таких сыновей (*Sen. Dial., 12, 16, 6*). Позже ей сообщили, что народ благоговейно чтит места их убиения, как величайшие святыни, и она сказала, что ее мертвые получили достойные могилы (*Plut. Ti. Gr., 40*).

Плутарх говорит об этой необыкновенной женщине: «Корнелия, как сообщают, благородно и величественно перенесла беды... Она провела остаток жизни близ Мизен, нисколько не изменив обычного образа жизни. По-прежнему у нее было много друзей, дом ее славился гостеприимством и прекрасным столом, в ее окружении постоянно бывали греки и ученые, и она обменивалась подарками со всеми царями. Все, кто ее посещал или же вообще входил в круг ее знакомых, испытывал величайшее удовольствие, слушая рассказы Корнелии о жизни и правилах ее отца Сципиона Африканского, но всего больше изумления вызывала она, когда, без печали и слез, вспоминала о сыновьях и отвечала на вопросы об их делах и гибели, словно повествуя о событиях седой старины». Думая о Корнелии, Плутарх, по его словам,

понял, «как много значат в борьбе со скорбью природные качества, хорошее происхождение и воспитание... пока доблесть старается оградить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над ней верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может» (*Plut. C. Gracch., 40*).

Так погиб Гай Гракх. Но он оказался прав. Его начинания окутали непроглядной тьмой всех его противников. С этого времени Рим вступил в полосу смут и гражданских войн.

Но все это случилось через 12 лет после смерти Тиберия. А пока Гай молчал, совершенно погрузившись в свою печаль. Он избегал людей, не бывал на Форуме, и никто, глядя на этого грустного мальчика, не мог предвидеть, что несет он Республике. Окружающие не подозревали, что это вулкан, лишь временно заснувший, который вскоре затопит все потоками лавы и пепла. Они не видели, что на его лице начертано: «Это смерть».

Но почему, действительно, он 10 лет медлил со своей мстью? На его глазах Попиллий судил и изгонял сторонников его брата. Через 10 лет он тяжело отомстил ему. Но тогда, тогда он не промолвил ни слова в их защиту. Фульвий пытался поднять вопрос о незаконности убийства Тиберия, но Гай и тут смолчал. Цицерон вкладывает в уста Лелия следующие слова: «За Тиберием Гракхом пошли Гай Карбон, Гай Катон и во всяком случае тогда менее всего его брат Гай, ныне столь неукротимый» (*Cic. De amic., 39*). Что же означает это странное бездействие человека, который обладал бешеной энергией? Несомненно, он был в тяжелой депрессии, которая мешала ему не только говорить, но и смотреть на людей. Но постепенно она стала отступать. Мы видим, что в 131 году он словно пробудился от тяжелого сна, а в 129-м был уже совершенно неукротим. Он стал тайно, в тишине, лелеять планы мести и «оттачивать свой дар слова, как бы готовя себе крылья, которые вознесут его на государственном поприще» (*Plut. C. Gracch., 22*). И

все-таки он медлил. Мне кажется, главной причиной этого странного бездействия была Корнелия.

Гай обожал свою мать. И это неудивительно. Мы знаем, какими узами, нерасторжимыми в самой смерти, были связаны члены этой семьи. Отец отдал жизнь ради матери, мать всю себя отдала детям, дети же настолько любили друг друга, что Гай всю жизнь посвятил мщению за брата. Мать была для Гая самым близким другом и советчиком. Она всегда была в курсе всех его дел. По ее просьбе он, всевластный трибун, недоступный мольбам и уговорам, беспрекословно отменял свои законы. Он жил всегда вместе с матерью, не разлучаясь с ней ни на минуту. Рассказывают, что однажды кто-то в присутствии Гая недостаточно почтительно отозвался о Корнелии. Из дальнейшего как будто следует, что тот человек не хотел ее оскорбить, а просто не совсем удачно сравнил себя с ней. Но этого было достаточно. Гай вспыхнул от гнева.

— Ты говоришь дурно о моей матери! — воскликнул он. — Ты смеешь хулить Корнелию, которая родила на свет Тиберия Гракха? Как у тебя только язык поворачивается сравнивать себя с Корнелией! Ты что, рожал детей, как она? А ведь в Риме каждый знает, что она дольше спит без мужчины, чем мужчины без тебя! (*Sen. Dial.*, 12, 16, 6; *Plut. C. Gracch.*, 25 = fr. 65)

Этот трибун, которого называли страшным, грубым, жестоким, становился с ней нежен и кроток, как ребенок. И перед самой смертью он вспоминал не о жене, которую оставлял с маленьким ребенком, нет, он думал все о них — о своем брате и матери. После смерти Тиберия общее горе еще больше сроднило мать и сына. Их скорбь была равно тяжелой, но выражалась по-разному. Корнелия переносила несчастье, как всегда, спокойно и величественно. Но трудно поверить, что так же держался и ее сын. Мне кажется несомненным, что пылкий и несдержанный Гай выражал свое отчаяние бурно — то безудержно рыдал, то раздражался проклятиями. И тогда мать была для него настоящей опорой.

Но скорбь Корнелии была еще тяжелее оттого, что Тиберий, по ее глубокому убеждению, погиб не за

правое дело. И вот она стала замечать во втором сыне зародыши того же опасного недуга. Теперь она приложила все усилия, чтобы удержать Гая, свое утешение, свое единственное теперь сокровище, своего последнего сына, от рокового пути Тиберия. Она боялась не за его жизнь. Она с детства старалась внушить сыновьям такую самоотверженную любовь к Риму, чтобы они готовы были в любую минуту умереть за него. Но она страшилась за его душу. Она боялась, что демоны зла окончательно овладеют ею. И еще она страшилась за Рим — она знала, какие силы разрушения таятся в ее Гае.

Мать с сыном вели долгие, горячие споры. Наедине с ней Гай не говорил ни о народе, ни о демократии, а только о мести. Наконец Корнелия решилась писать ему, надеясь, что письмо будет красноречивее ее речей. По счастью, до нас дошел отрывок из ее письма, который хотя бы отчасти дает представление о ее «просвещенной беседе», которой так восхищались современники.

«Ты скажешь, что мстить врагам прекрасно. Никому это не кажется более великим и прекрасным, чем мне, но только, если этого можно достичь, не повредив Республике. А так как это невозможно, во много раз лучше, чтобы наши враги не погибли, а жили бы долго так же, как живут сейчас, лишь бы Республика не разрушилась и не погибла.

Я бы могла принести великую клятву, что никто, кроме убийц Тиберия Гракха, не причинил мне столько страданий, столько мук, как ты, ты, который должен был бы взять на себя обязанности всех тех детей, которых я потеряла некогда, и заботиться, чтобы в старости я имела больше покоя. Ты должен был бы радовать меня и считать грехом в важных делах действовать вопреки моему мнению: ведь мне так мало осталось жить. Неужели даже мысль о столь кратком сроке не остановит тебя и ты пойдешь наперекор мне и будешь расшатывать Республику? Кончится ли это когда-нибудь? Неужели наша семья не перестанет безумствовать? Неужели это будет вечно? Неужели мы не остановимся и всегда будем терпеть

горе или причинять его другим? Неужели мы не будем краснеть от стыда, вспоминая беспорядки и смуты в государстве? Но если это невозможно, то добивайся трибуната, когда я умру. Делай что хочешь, когда я перестану чувствовать. Когда я умру, ты станешь приносить мне жертвы и называть богом-родителем. И тебе не будет стыдно слать молитвы тому богу, которым, пока он был жив и у тебя перед глазами, ты пренебрегал и слова которого оставлял без внимания? Да не допустит великий Юпитер, чтобы ты остался непреклонен, и это ужасное безумие вошло в твою душу. А если ты все же останешься непреклонен, боюсь, ты по собственной вине всю жизнь будешь так глубоко страдать, что никогда уже сам не будешь доволен собой» (*Nep., fr., 59*).

Гай не мог остаться глух к этим словам. С другой стороны, не мог он отказаться и от мести. И все это угнетало и мучило его. Вот почему он просто обрадовался, когда, став квестором, вытянул жребий ехать в Сардинию. «Воинственный от природы и владевший оружием не хуже, чем тонкостями права... он вместе с тем... с большим удовольствием воспользовался случаем уехать из Рима» (*Plut. C. Gracch., 22*). В Сардинии Гай служил безупречно, добился любви и уважения и воинов, и местных жителей, и своего начальника. И сама служба очень ему нравилась. Но вдруг, не дослужив нескольких месяцев, не дождавшись даже прибытия преемника, он, словно ужаленный, сорвался с места и устремился в Рим. Его поступок настолько не соответствовал римским законам и традициям, что показался странным даже народу, не говоря уже о сенате (*Plut. C. Gracch., 23*). Цензоры на ближайшем смотре всадников остановили его и потребовали, чтобы он отдал коня в наказание за этот постыдный поступок⁷⁹. Но Гай не позволил отобрать у себя коня — он произнес перед цензорами и народом ту самую речь о своем безупречном поведении в провинции, которую мы уже приводили. Оправдавшись, Гай тотчас же выставил свою кандидатуру в трибуны, то есть сделал то самое, чего так боялась его мать.

Что заставило тогда Гая так стремительно сорваться с места? Плутарх объясняет это тем, что сенат повелел сменить войско в Сардинии, а консула оставил, «имея в виду, что долг службы задержит при полководце и Гая» (*Plut. C. Gracch.*, 23). Но трудно поверить, что столь ничтожный повод имел столь грандиозные последствия. Видимо, причину следует искать не в этом. У Цицерона читаем интереснейший рассказ: «Гай Гракх, как пишет... Целий, рассказывал многим, что... ему во сне явился брат Тиберий и сказал, что хотя он и хотел бы помедлить, но ему суждена та же смерть, какой погиб сам Тиберий. И Целий пишет, что он сам слышал это от Гая Гракха прежде, чем он стал трибуном, слышали и многие другие» (*Div.*, I, 56). Когда Гай видел этот сон? Цицерон полагает, что тогда, когда искал квестуры. Мне кажется, скорее во время этой квестуры. Когда ему явился во сне призрак, все колебания его были кончены. И это последний штрих, делающий Гая подобным великим героям Лермонтова. Он знал, что над ним тяготеет рок, что он умрет во цвете лет, умрет смертью ужасной и позорной. Много раз с его губ срывались фразы, явно показывающие, как он верил в свою обреченность. Однажды он сказал народу:

— Если бы я захотел сказать вам и напомнить, что я происхожу из знатнейшего рода, что ради вас я потерял брата, что из всей семьи Публия Африканского и Тиберия Гракха не осталось никого, кроме меня и одного мальчика, и попросил бы, чтобы вы разрешили мне сейчас оставаться в покое, чтобы род наш не вырван был с корнем и чтобы от него осталась хотя бы какая-нибудь ветвь, не знаю, охотно ли бы вы отозвались на мои просьбы (*ORF², C. Gracch.*, fr. 47).

Вот почему он так торопился, лихорадочно спеша нанести врагам смертельные удары.

А теперь вернемся к нашему рассказу. В то время Гай не был еще всемогущим трибуном, но только членом комиссии по разделу полей. Триумвиры действовали всегда согласованно и были в союзе. Но надо

отдать справедливость Гаю Гракху, он, по-видимому, никогда не сблизился с Карбоном. Во всяком случае источники ничего об этом не говорят. Зато он очень сошелся со вторым триумвиром, Фульвием Флакком, который вскоре стал его лучшим другом. Этот спокойный и безвольный человек вскоре совершенно подпал под влияние своего молодого друга, наделенного острым умом и необыкновенной волей.

VII

131 год до н. э. был годом наивысшего торжества демократии* Папирий Карбон, признанный глава популяров, избран был трибуном. Рим кипел. Всех охватили мятежное беспокойство и лихорадочное возбуждение. Казалось, демоны революции все более и более овладевали людьми. Насколько велик был накал страстей, прекрасно показывает один эпизод, страшно поразивший квиристов. Цензором в тот год был уже знакомый нам Метелл Македонский. Вряд ли можно сомневаться, что этот суровый, властный человек был цензором строгим и требовательным. И вот он удалил из сената за какие-то неблагоприятные поступки трибуна Гая Атиния Лабедона. Тот пришел в ярость и решил отомстить. Но он не привлек к суду своего обидчика, как сделал в свое время Азелл, оскорбленный Сципионом. Его месть приняла гораздо более страшную и причудливую форму. Пользуясь своей огромной властью, он велел поставить на Ростры треножник с горящими углями и совершил древний зловещий обряд, наложив проклятие на имущество Метелла и на него самого. А затем приказал сбросить его с Тарпейской скалы. К счастью, этот «безумный поступок трибуна»** не привел к роковым последствиям: вмешались другие трибуны и не допустили убийства (*Cic. Pro domo suo, 123; Liv. Ep., 59*).

Но опаснее всего был Папирий Карбон. Он беш-

* Именно в этот год Красс Муциан избран был консулом.

** Выражение Цицерона.

но рвался к власти, сметая все на своем пути. Удивительное красноречие и умение управлять толпой сделали этого демагога непобедимым. И вот на народном собрании он предложил закон, по которому народного трибуна можно переизбирать сколько угодно раз. Закон этот противоречил всему духу римской конституции. До этого ни одного магистрата никогда не переизбирали* Даже диктатор во время войны должен был сложить свои полномочия через шесть месяцев, независимо от того, выполнил он свою задачу или нет. Так что предложение Карбона должно было казаться опасным. Но в настоящий момент оно было просто гибельным. Сейчас, когда поднималась революционная буря, давать демагогам огромную власть на годы значило погубить Республику. Это понимали многие. Однако никто не отваживался выступить перед народной сходкой, «возбужденной бешеным трибуном» (*Val. Max.*, VI, 2, 2). Но два человека решились. То были Сципион и его друг Лелий. Вот как рассказывает об этом сам Лелий у Цицерона:

«Какую лесть вливал недавно в уши народной сходке Гай Папирий..! Мы выступили против. Но ни слова обо мне. Лучше я расскажу о Сципионе. Боги бессмертные, сколько в нем было строгости, сколько величия!» (*De amic.*, 96) Его речь, которую Ливий называет «суровой», представляла резкий контраст с льстивой, вкрадчивой манерой Карбона. Но странно — настроение народа внезапно резко изменилось. Квириты как замороженные слушали Сципиона. Карбону было ясно, что собрание склоняется на сторону его врага. Нужно было во что бы то ни стало помешать ему. И вот Карбон придумал способ, как одним ударом положить конец удивительной популярности этого человека.

Трибун прервал свою речь и среди воцарившегося молчания спросил, как относится Публий Африканский к убийству Тиберия Гракха. Это был замечательный ход. Любой ответ Сципиона должен был не-

* Исключение составляли консулы в эпоху 2-й Пунической войны.

минуемо погубить его. Если бы он сказал, как велели ему честь и совесть, что он одобряет это убийство, он разом потерял бы любовь народа. Если бы он испугался и осудил это убийство, это означало бы, что он публично отрекся от своих слов и убеждений. Мало того — от своих друзей, в первую очередь от Лелия, который ведь был в комиссии, судившей сторонников убитого трибуна. А влияние Сципиона зиждилось на его репутации, репутации незапятнанного человека. Впрочем, трудно было поверить, чтобы он решился перед лицом возбужденной толпы открыто осудить ее кумира.

Итак, вопрос был задан. Среди мертвого молчания Сципион твердым, ясным голосом ответил:

— Мне представляется, что Тиберий Гракх убит законно.

И тут разразилась буря. Его слова потонули в неистовых воплях разъяренной толпы. Тогда Сципион негромко — он никогда не повышал голоса в народном собрании — сказал:

— Я ни разу в жизни не дрожал от крика вооруженных врагов, неужели вы думаете, что меня испугает сброд, для которого — я уверен в этом — Италия не мать, а мачеха⁸⁰.

Он намекал на то, что более всего неистовствуют бывшие рабы, а не исконные граждане. Впервые в жизни римский народ слышал о себе такие слова, сказанные в лицо. Толпа напоминала яростного зверя. Сципион стоял спокойный и неподвижный. Он добавил еще несколько слов тем же спокойным, властным, презрительным тоном. И вдруг случилось чудо. Так велика была внутренняя сила этого человека, что «народ...так обидно оскорбленный... смолк» (*Val. Max.*, VI, 2, 2). В этот роковой момент в события вмешалось новое лицо.

Гай Гракх, как всегда, подавленный и ко всему равнодушный, стоял у трибуны. Но, как только Публий произнес имя Тиберия Гракха, Гай вздрогнул, будто его ударили хлыстом. Он вспыхнул, взлетел на Ростры и произнес страстную речь. От нее остался небольшой отрывок:

— Последние негодяи убили моего самого лучшего на свете брата! (*ORF², C. Gracch., fr. 17*)⁸¹

Но время было упущено. Победа на сей раз осталась за Сципионом. И «популярный у народа закон был отвергнут голосованием народа» (*Cic. De amic., 96; Cic. De or., II, 106; Cic. Mil., 8; Vell., II, 4; Liv. ep., 59; Plut. Ti. Gracch., 21; Plut. Reg. et imp. apophbegm. Scipio Min., 23; Vir. illustr., 58; Val. Max., VI, 2, 2*).

Лелий ликовал — разум победил! Он был убежден, что Республика висит над бездной, и только его гениальный друг сумеет ее удержать. Зато триумвиры были в бешенстве. Карбон понял, какой опасный, какой страшный противник Публий Африканский. Даже в бурю, даже в дни народной ярости он может одним только словом укротить мятеж. А Гай Гракх кипел от гнева. Он чувствовал себя так, словно ему публично дали пощечину. Это ясно видно из слов, которые он крикнул тогда квиристам:

— Вы не должны позволять незаконно оскорблять нас! (*ORF², C. Gracch., fr. 19*)

Оба горели жаждой мщения. А их месть бывала страшной. И эти события имели роковые последствия для всех участников.

VIII

Между тем раздел полей шел своим чередом. Дело это было сложное, запутанное, и на каждом шагу комиссию поджидали невероятные трудности. У одних на земле, которую надлежало изъять, уже возведены были многочисленные постройки. Некоторые «говорили: мы заплатили за наши участки прежним владельцам, неужели мы должны лишиться вместе с этой землей и уплаченных денег? Другие указывали: на этой земле могилы наших отцов... Третьи указывали, что на приобретение этих участков они израсходовали женино приданое или что свои земли они дали в приданое дочерям... Некоторые указывали, что их земля принадлежит кредиторам по долговым обязательствам. В общем, стоял стон» (*App. B. C., I, 10*). Некоторые участки имели нескольких владельцев, и

неясно было, как их делить. Поля были очень разные по качеству — одни болотистые, глинистые, другие — плодородные. Равны ли были пятьсот югеров камней и болот пятистам югерам чернозема? Наконец, у многих просто не было никаких документов, подтверждающих право владения землей, а значит, триумвиры имели право ее отнять (*ibid.*, 18).

Вот тут как раз полная беспринципность Карбона сослужила хорошую службу. Там, где другой заколебался бы, почувствовал смущение и жалость, он шел напролом. Тысячи людей были несправедливо обижены и изгнаны со своей наследственной земли. Но тщетно жаловались они сенату: отцы решили мириться с неизбежным злом. «Комиссия... действовала беспощадно и даже бесцеремонно», — пишет Моммзен* Тем временем межевание полей вступило в новую фазу.

«Государственные земли в Италии находились не только в руках римских граждан. На основании постановлений сената и народного собрания большая часть этих земель была роздана в исключительное пользование союзных общин»** Вот эти-то земли и вознамерились сейчас отнять у союзных общин триумвиры. Узнав об этом, италики пришли в ужас и бросились в Рим искать правды. Но тщетно. Сочувствовали им, вероятно, очень многие, но помочь не решился никто. Любое прямое или косвенное выступление против закона Гракха равнялось в глазах римского народа преступлению. А тут надо было выступить против этого закона, и ради кого? — ради италиков, которые в глазах толпы были куда ниже римлян. А схватка один на один с триумвирами казалась ужасной. Вот почему италики не могли найти в Риме справедливости.

Доведенные до отчаяния, они пришли тогда к Сципиону. Они напомнили ему, что всегда храбро служили под его началом, и спросили, неужели он допустит, чтобы они получили такую благодарность

*Моммзен Т. История Рима. Т. 2. М., 1937. С. 97.

** Там же.

за верность Риму. И они умоляли «защитить их от чинимых несправедливостей» (*App. В. С., I, 19*). Сципион знал, как опасно сейчас вмешиваться. Но он считал, что триумвиры пренебрегли правами союзников и святостью договора (*Cic. De re publ., III, 41*). Ведь римляне теперь разбирали дела союзников, а это было грубым вмешательством в их внутреннюю жизнь*. Он видел, что италики обижены, что они беззащитны, что им больше не к кому обратиться, и, верный своему правилу защищать несчастных, решился вступить в бой, чего бы это ему ни стоило.

Действовал, однако, Публий очень продуманно и осторожно. Выступив перед народом⁸², он ни словом не обмолвился о самом законе Гракха. Но, сказал он, происходит явная несправедливость — вопрос о спорном участке возбуждают триумвиры и они же выносят приговор, являясь в своем деле и истцом, и судьей. Это неправильно, тем более что триумвирам сейчас очень многие не доверяют. Необходимо выбрать какого-нибудь третейского судью, к которому бы и апеллировали обе стороны. В качестве такого арбитра он предложил консула этого года, Тудитана. Доводы Сципиона показались римлянам очень убедительными, и предложение его было принято. Но когда консул вник в суть дела и «увидел всю его трудность», он пришел в ужас и предпочел срочно отправиться куда-то в поход. А значит, деятельность комиссии приостановилась (*App. В. С., I, 19*) (129 г. до н.э.).

Вот тут-то поднялась буря. Триумвиры задыхались от бешенства. Опять тот же человек стал на их дороге! На сей раз они решили его уничтожить, смести с лица земли. Они ежедневно разжигали толпу и настраивали ее на Сципиона, они поносили его с ораторского возвышения (*Plut. С. Gracch., 10*). Гай, как воплощенный дух мщения, являлся, окруженный разъяренной шайкой своих приспешников (*Plut. Reg. et imp. apophygm. Scipio Min., 23*). Они пускали в ход все средства. Они кричали, что Сципион предал римский народ в угоду италикам. Они «стали вопить:

* Astin A. E. Op. cit. P. 239.

Сципион решил совершенно аннулировать закон Гракха и собирается устроить вооруженную бойню!» (App. В. С., I, 19). Но ничто не могло заставить Публия отступить. Народ был в полном смятении. То, растревоженный триумвирами, он приходил в ужас. То, слыша знакомый твердый, спокойный голос, снова вверялся Сципиону⁸³.

В это бурное время травли Сципиону удалось на несколько дней вырваться из Рима и увидеть те места, которые он так любил с детства. Была зима. Погода стояла чудесная. В тихий, ясный день друзья сидели на освещенном солнцем лугу. Сципион казался очень оживленным. Он охотно предавался воспоминаниям, рассказывал различные случаи из своей жизни, говорил о философии и об астрономии. Лелий, напротив, сидел как на иголках. Он был совершенно не в силах слушать общие разговоры и говорил, что просто не понимает, как это они могут толковать об отвлеченных вопросах, зная, в каком положении государство и в какой опасности Сципион*

Передышка продолжалась недолго. Через три дня Публий был уже в Риме и как всегда, спокойный и насмешливый, стоял на Рострах против триумвиров. Видимо, он каждый раз выбивал из рук противников словесную шпагу. «И тогда бывшие с Гаем закричали:

— Смерть тирану!

Он же сказал:

— Разумеется, враги родины хотят меня убрать. Ведь пока Сципион стоит, Рим не падет, и Сципион не станет жить, если падет Рим» (*Plut. Reg. et imp. apophygm. Scipio Min.*, 23).

В тот день Публий выдержал тяжкий бой, но закончился он, по-видимому, его победой. Толпы народа провожали его с триумфом до дома. «Из многих дней, дней блестящих и радостных, которые он видел в своей жизни, для Публия Сципиона самым светлым был этот... когда он возвращался вечером домой и его провожали сенаторы, римский народ,

* Эта картина заимствована мной из «Республики» Цицерона.

союзники и латиняне», — говорит у Цицерона Лелий, описывая этот чудесный день (*De amic., 12*).

Был уже поздний вечер. Прощаясь с друзьями, он сказал, что этой ночью будет готовить большую речь для народного собрания, и просил зайти за ним утром. Но когда они пришли на другой день, то нашли его мертвым, с обезображенным лицом, с какими-то страшными следами на шее. Рядом с ним лежали таблички, на которых он собирался набросать речь (*App. B. C., I, 20*).

Смерть Сципиона как громом поразила Рим. Скорбь окутала город (*Cic. De amic., 21; Pro Mil., 16*). Все почувствовали себя растерянными и осиротевшими. Только тут они до конца осознали, что значил для них этот человек. Среди бледных, испуганных лиц тысяч людей, пришедших проститься со Сципионом, особенно поразило всех одно лицо — лицо его старинного врага Метелла Македонского. Этого утрюмого, сурового и чопорного человека невозможно было узнать. Он выбежал из дому с залитым слезами лицом и «прерывающимся голосом... произнес:

— Сбегайтесь, сбегайтесь, сограждане, — стены нашего города повержены — преступная рука настигла Сципиона Африканского у его пенатов!» (*Val. Max., IV, 1, 12*)

Три дня спустя к нему явились его четыре сына и с обычной почтительностью попросили разрешения своими руками вынести тело Сципиона в последний путь.

— Идите, дети мои, — отвечал он. — ...Никогда вы не увидите похорон более великого гражданина (*Plin. N. H., VII, 144*).

Весь Рим провожал Сципиона. Как велит обычай, его отнесли на Форум, и его племянник, Квинт Фабий Максим, обращаясь к живым и мертвым, произнес о нем речь. Всем было известно, что речь эту писал Гай Лелий, самый близкий Публию человек. Фабий сказал:

— Невозможно испытывать к бессмертным богам более горячую благодарность, чем должны испытывать мы за то, что он, с его сердцем и умом, родился

именно в нашем государстве... Умер же он в такое время, когда и вам, и всем, кто хочет, чтобы наша Республика была здорова, он так нужен живым, квири-ты! (*ORF², Lael., fr. 22; ср. Cic. Pro Mur., 75*)*

Гай Лелий держался очень мужественно. Он сразу как-то сдал, выглядел больным, слабым, впервые пропустил обычное заседание авгуров, коллегии, которую так любил. Но он гнал от себя отчаяние и казался погруженным в светлую, тихую грусть. Он не избегал разговоров о Сципионе — наоборот, искал их. Его единственным удовольствием было вновь и вновь воскрешать в памяти малейшие подробности их дружбы, бесед и игр. «Мне кажется, я прожил блаженную жизнь, ибо прожил ее рядом со Сципионом», — говорил он. Все его существо пронизывала тихим внутренним сиянием мысль о друге. «Для меня лично Сципион, хотя его и отняли у нас, жив и всегда будет жив». Он снова видел перед собой молодого Публия, таким, каким он был, когда с такой нерасчетливой щедростью отдавал все своим близким, с улыбкой склонялся над комедией Теренция или слушал Полибия.

— Если бы воспоминания об этом исчезли вместе с ним, я не смог бы перенести тоску по нему, так тесно связанному со мной и любившему меня так сильно. Но они не исчезли. Напротив, они усиливаются и растут... И самый возраст мой служит для меня большим утешением. Ведь предаваться этой тоске очень долго я уже не смогу.

Он говорил спокойно, без жалости к себе, с грустной благодарностью за бывшее счастье. Если верить Цицерону, он находил утешение в мысли, что души людей прекрасных и справедливых возносятся на небо. «А для кого же путь к богам более легок, чем для Сципиона?»**

Лелию легче, чем многим другим, было отвлечься от своего горя. У него была любящая семья. Его окру-

* Слова эти, говорят, повторил Метелл Македонский. Он сказал детям: «Благодарите богов за Рим — за то, что Сципион не родился в другой стране» (*Plut. Reg. et imp. apophegm., Metell. Mac., 3*).

** Эта картина взята из «Дружбы» Цицерона.

жали жена, дочери, зятя, внуки. И все же он не пережил Сципиона и на год. Вскоре он последовал за тем, кого называли самым великим гражданином Рима⁸⁴.

IX

Смерть Сципиона осталась нерасследованной и неотмщенной. Но это не означает, что мы не должны пытаться приоткрыть покров этой зловещей тайны. И тем более возбуждает нас то, что друзья Сципиона и их воспитанник Цицерон постоянно намекают, что знают истину, но почему-то ее скрывают.

И прежде всего встает вопрос, действительно ли Сципион был убит. Он мог умереть мгновенно какой-нибудь естественной смертью, но произошло это в такой напряженный момент политической борьбы, что гибель его приписали козням врагов. Так было, говорят, с Александром Македонским. Он умер от горячки, а позже возникла версия об отравлении. Не так ли произошло и с Публием?

Думаю, что не так. Плутарх, повествуя о смерти Александра, говорит, что все хоронившие царя были убеждены, что он умер естественной смертью. А через несколько лет распространился слух, что Александр был убит. В случае же со Сципионом все обстоит как раз противоположным образом. Все современники, видевшие его на смертном ложе, были убеждены, что он убит. Ни у Метелла, ни у Цицерона, ни у Красса Оратора — эти двое были воспитаны друзьями Сципиона и слышали их рассказы — не было ни малейшего сомнения, что он погиб насильственной смертью. Напротив. Много лет спустя стали возникать другие предположения. Плутарх говорит, что, быть может, он был убит, а быть может, он «вообще был слабого здоровья и умер от внезапного упадка сил» (*Rom.*, 27). И это сказано о человеке, который, по словам Полибия, отличался всю жизнь железным здоровьем и никогда ничем не болел!

Итак, Публий был убит. Но кем?

Все нити ведут к триумвирам. Плутарх дает понять, что подозрения пали на всех членов комиссии (*C. Gracch.*, 10). Но если мы присмотримся внима-

тельно к показаниям тех, кто был ближе к Сципиону, то увидим, что это не так. Начнем с Гая. Вряд ли кто-нибудь был так ненавистен аристократической партии, как Гай Гракх. Естественно, любой слух, в какой-то степени порочащий его доброе имя, должен был быть раздут его врагами до невероятных размеров. Почему же мы не слышим постоянно, что убийца он?! Цицерон говорит о нем иногда как о человеке благородном, высокой души, который пошел против общества из жажды мщения. Но мог ли он так говорить о Гае, если бы подозревал его в самом подлом, трусливом убийстве?

Плутарх говорит: «Главным виновником этой смерти молва называла Фульвия Флакка» (*C. Gracch., 10*). Однако создается впечатление, что Плутарх путает Фульвия Флакка с Карбоном. Во-первых, он вообще не упоминает о Карбоне, хотя тот был тогда главным лицом в комиссии. Во-вторых, он пишет, что Гай и Фульвий задали в народном собрании Сципиону вопрос, как он относится к убийству Тиберия Гракха (*Ti. Gracch., 21*). Между тем доподлинно известно, что вопрос этот задал Карбон. Так нет ли путаницы и в этом случае? Быть может, и здесь вместо Фульвия надо подразумевать Карбона?

Эта догадка блестяще подтверждается. Ни один латинский автор не называет имени Флакка в связи с убийством Сципиона, зато многие указывают на Карбона. В одном своем письме Цицерон пишет о Карбоне: «Считают, что он убил Публия Африканского» (*Fam. IX, 21, 3*). Во время одного бурного народного собрания, когда слышались взаимные угрозы, Гней Помпей Великий вне себя воскликнул:

— Я буду охранять свою жизнь лучше, чем Публий Африканский, которого убил Карбон! (*Cic. Quint. fr., II, 3, 3*)

Наконец, ровно через 10 лет после убийства Сципиона выступил двадцатилетний юноша Люций Красс Оратор, который открыто обвинил Карбона в убийстве. Он произнес такую фразу:

— Ты был союзником в убийстве Публия Африканского! (*Cic. De or., II, 170—171*)

По-видимому, у молодого обвинителя было много косвенных улик, но ни одной прямой. Во время процесса к нему тайно явился какой-то человек с ларцом в руках. Оказалось, что это был секретарь Карбона и в ларце находился тайный его архив, «содержавший много документов, с помощью которых его легко можно было погубить». Но Красс был очень молод и горяч. Ему показалось низостью рыться в украденных бумагах. Не притронувшись к ларцу, он послал его своему врагу нераспечатанным (*Val. Max.*, VI, 5, 6). На последнее заседание суда Карбон не явился. Он принял яд (*Fam. IX*, 21, 3). Не оттого ли, что заметил пропажу ларца? Напомню, что Красс был тесным образом связан с друзьями Сципиона. Он был зятем Сцеволы Авгура и был, таким образом, женат на внучке Лелия. А в доме его рос Цицерон.

Итак, мы можем, к всеобщему удовольствию, признать убийцей Папирия Карбона. Ведь этот человек был, как черная смерть, равно ненавистен обеим партиям. Увы! Некоторые обстоятельства мешают нам произнести окончательный приговор.

Первое. Мы знаем — и это обстоятельство неоднократно подчеркивается Цицероном, — что никто из друзей не возбудил дело об убийстве Сципиона. Почему? Скажут, они боялись ярости толпы и преступных триумвиров. Но это совершенно невероятно. Друзья Сципиона славились как люди твердые, мужественные, способные рисковать жизнью за свои убеждения. Могли ли они на поверку оказаться такими жалкими трусами и предать память своего друга? Но пусть даже мы все в них ошиблись и они были недостойны его дружбы. Мы бы тогда постоянно слышали ропот осуждения. Все античные авторы горько упрекали бы их. Но ничего подобного. Никто этого не делает. Более того. Цицерон выводит Лелия вскоре после смерти Сципиона; выводит как образец истинного друга. По его словам, это единственное лицо, достойное толковать о дружбе. И сам Лелий выражает надежду, что память о его дружбе со Сципионом переживет века. Какой горькой насмешкой звучали бы эти слова, если бы этот самый Лелий из трусости

отказался расследовать дело об убийстве друга! Нет, тут что-то не так. Да и сам Цицерон дает понять, что друзья Сципиона были правы. Они почему-то не должны были приподнимать покров этой тайны. Это очень странно. Но страннее другое. Цицерон, как я уже говорила, намекает, что знает истину. Но ведет себя столь же таинственно, как друзья Сципиона. Ни в одном сочинении, предназначенном для печати, он не называет имени убийцы. Даже в «Государстве» он отделяется неясным намеком. Это явно запретная тема. Мы должны сделать чудовищный вывод — друзья Сципиона и все близкие к ним люди сознательно выгораживали убийцу, и Цицерон считал, что они правы⁸⁵. Но неужели они выгораживали триумвиров?

Только один-единственный раз мы находим нечто вроде намека. Он дает нам в руки ключ к роковой тайне. Как помнит читатель, в «Государстве» Сципион Великий предсказывает нашему герою будущее. Он говорит, что Сципион спасет Рим.

— Если только ты избежишь преступных рук своих близких.

«Я, — говорит наш герой, — был в ужасе не от страха самой смерти, но от мысли о коварстве моих близких» (*De re publ.*, VI, 12; 14).

Итак, его погубили близкие. Значит, это не Карбон. Но кто же? Гай Гракх? Да, его действительно можно назвать близким — ведь он состоял в родстве с Публием. И все же трудно поверить, что тут речь идет о Гае. Во-первых, можно повторить все то, что уже говорилось в пользу непричастности Гракха к убийству. Во-вторых, есть еще одно очень интересное место в письме Цицерона, которое проливает новый свет на это злодеяние. Он пишет: «Та ночь не была бы так горька для Публия Африканского, умнейшего человека, тот день не был бы так тяжок для Гая Мария, хитрейшего человека, если бы оба они не были обмануты» (*Fam.* X, 8, 7).

Итак, Сципион был обманут. Его предал кто-то ему очень близкий, кому он безусловно доверял. Валерий Максим говорит даже, что человек этот жил в его до-

ме (V, 3, 2). Никакого доверия к Гаю Гракху, чьи приспешники вопили: «Смерть тирану!», у Сципиона быть не могло. Так кто же этот человек?

У авторов, близких к Публию, мы больше ничего не узнаем. Но более поздние писатели уже не видели причины что-либо скрывать. Ливий пишет, что, как полагали, «ему дала яд жена, Семпрония, которая была сестрой Гракхов» (*Ep.*, 58). Аппиан же сообщает, что она была соучастницей в этом преступлении — судя по его рассказу, она открыла дверь убийцам мужа (*B. C.*, I, 20) Эти слова разом все объясняют. Мы понимаем, и кто такие преступные близкие и причину загадочного молчания друзей. Возбуди они дело, пришлось бы допрашивать слуг, обнародовать письма и вытаскивать на свет Божий подробности семейной жизни Сципиона. Быть может, пришлось бы говорить о неверности одного из супругов, а может быть, и обоих.

Фигуру этой женщины, Семпронии, третьего представителя семьи Гракхов, над которой тяготело страшное обвинение в убийстве мужа, окутывает непроницаемый покров тайны. Античные авторы хранят о ней упорное молчание. Единственное исключение — небольшой эпизод, рассказанный Валерием Максимом. Он пишет о страшной смуте, поднятой Сатурнином 26 лет спустя после смерти Сципиона. Чтобы добиться особой любви народа, он выставил в качестве своего друга и помощника какого-то проходимца, которого выдавал за сына Тиберия Гракха. Для подтверждения его происхождения Сатурнин вызвал Семпронию, которая поднялась на Ростры, откуда до той поры выступали первые люди государства. Но, несмотря на рев разъяренной черни и угрозы трибуна, перед которым дрожали и храбрые мужчины, Семпрония во всеуслышание объявила, что это не сын ее брата (*Val. Max.*, III, 8, 6).

Из приведенного рассказа ясно, что Семпрония была женщиной смелой, решительной и беззаветно преданной памяти своих братьев. Но отношения ее с мужем представляют загадку. Аппиан пишет: «Она была некрасива и бесплодна и не пользовалась его любовью, да и сама не любила его» (*App. B. C.*, I, 20).

Эти слова таинственны. Ведь мы знаем, что Сципион и Семпрония были в браке много лет. Что же привязывало его все эти годы к некрасивой, бесплодной женщине? И что привязывало ее к нелюбимому мужу? Ведь в Риме инициатором развода мог быть любой из супругов. Это первое.

Второе. Брак Сципиона оставался бездетным. В таком случае римляне обычно либо прибегали к разводу — в ту эпоху крайне редко, либо — гораздо чаще — усыновляли чужого ребенка. Почему Публий не сделал ни того ни другого? Сразу напрашивается одно объяснение. Отец самого Сципиона развелся с женой, когда сын был совсем ребенком, и отдал его в другую семью. Хотя мальчик и был любим в новом доме и счастлив, мысль об усыновлении невольно соединялась в его сознании с воспоминанием о том, что родители расстались. А это причинило мальчику сильную боль. Вот почему теперь подобный путь был для него неприемлем. Но все-таки странно, что он не расстался с нелюбимой женщиной. Астин предлагает такое объяснение. После возвращения из-под Нуманции Сципион порвал со всей семьей Гракхов. Но он не мог официально развестись, потому что тогда должен был вернуть жене ее приданое. Между тем денег у него не было вовсе, а Семпрония происходила из богатой семьи и, вероятно, имела роскошное приданое. Поэтому развод пришлось отложить.

Как бы то ни было, если верить Аппиану, супруги последние годы фактически были в разводе, хотя по какой-то причине не оформляли его официально. Если Семпрония была похожа на своих братьев, надо представить ее натурой, наделенной необузданными страстями и жаждой мести. Такая натура не могла простить человеку, оскорбившему ее семью или пренебрегшему ею как женщиной. Хотя Сципион и порвал с женой, он, очевидно, продолжал смотреть на нее как на своего друга и абсолютно ей доверял. Тут он при всем своем необыкновенном уме ошибся, как говорит Цицерон.

Остается последний вопрос: как был убит Сципион. Читатель, вероятно, заметил, что Ливий называет

причиной смерти яд, а Аппиан говорит об убийце, по-видимому, впущенном Семпронией. Эти две версии мы встречаем и в дальнейшем у античных авторов. Плутарх так и пишет, что одни полагали, что он умер от яда, другие — что «его задушили прокравшиеся ночью враги» (*Rom.*, 27). Я говорила, что лицо Сципиона было обезображено. Действительно. Его, против всех обычаев, хоронили с закрытой головой (*Vell.*, II, 4; *Vir. illustr.*, 58). Но каким образом было изуродовано лицо, неясно. Плутарх говорит, что тело Публия три дня лежало в его атриуме и весь Рим с ним прощался. Значит, все видели его лицо (*Rom.*, 27). Но совсем не очевидно, что он лежал с открытой головой. Весьма возможно, что заботливая рука скрыла лицо Сципиона от посторонних глаз и только самые близкие люди видели его. И действительно, все дошедшие до нас сообщения имеют характер слухов, притом весьма неясных. Веллей Патеркул: «На шее у него были видны какие-то следы удушения» (на шее — почему же закрыто было лицо?) (*Vell.*, II, 4). У автора биографий великих людей: «Его несли с закрытой головой, чтобы не видно было синее пятно на лице» (*Vir. illustr.*, 58). У Плутарха: «На теле (*sic* !) его выступили какие-то следы, как казалось, следы насилия» (*C. Gracch.*, 10). Похоже, что никто из писавших не знал ничего определенного.

И все же я склоняюсь к версии, что он был задушен. Почему? Во-первых, мне кажется, что яд не мог до такой степени обезобразить лицо. Но самое главное другое. Я начала с того, что убийцей называли Карбона. Красс, который, видимо, знал об этом преступлении очень много, раз у него хватило материала на целое дело, называет его «союзником в убийстве Публия Африканского». Но в чем же заключалось его соучастие? Неужели только в том, что он купил яду в ближайшей аптеке? Видимо, его самого или какого-то его посланца впустила в ту роковую ночь Семпрония.

Впрочем, обе версии не исключают друг друга. Известно, что царевича Деметрия Македонского отравили, а когда он, почувствовав внезапную боль, лег,

задушили подушкой. Я, конечно, вовсе не думаю, что Сципиона сначала отравили, потом задушили. Если бы ему дали яд, убийца был бы уже не нужен. Но я вполне допускаю, что он был усыплен или чем-то одурманен. В самом деле. Он ушел к себе писать речь. То есть собирался эту ночь работать, а не спать. Между тем его нашли мертвым в постели и смерть скорее всего наступила во сне. Иначе Сципион, конечно, не сдался бы без сопротивления. Это был сильный, ловкий воин. Поднялся бы шум, на который сбежался бы весь дом. Нет. Я думаю, убийца, кто бы он ни был, не решился один на один столкнуться со Сципионом⁸⁶.

Когда я снова и снова мысленно оглядываю жизнь Сципиона, я спрашиваю себя, в чем же секрет той бесконечной любви и благодарности, которые питал к нему Рим. Для римлян он был дороже всех героев прошлого и настоящего.

Он был лучшим полководцем, говорит Плиний. Да, бесспорно. Он был блестящим военачальником. Разрушив Карфаген и покорив Нуманцию, он завершил две мучительнейшие войны. Но в Риме были полководцы, не уступавшие Сципиону. Тит Фламинин разбил македонскую фалангу, а отец нашего героя, Эмилий Павел, разгромил великое Македонское царство, страшного соперника Республики. А между тем в широких кругах он был известен просто как отец Сципиона, ибо то, что он произвел на свет Публия, значило безмерно больше, чем любые великолепные триумфы.

Он был лучшим сенатором, то есть государственным мужем, продолжает Плиний. И это бесспорно. Светлый, ясный ум делал Сципиона опорой Республики. Но все же с его именем не связано ни одного великого преобразования. Закон о табличках, который провели с его помощью, никак нельзя сравнить с реформами Гракхов или Друза. Но могли ли Гракхи или Друз стать в сознании римлян рядом с Публием Африканским?! Он проводил, будучи цензором, великое очищение. Но результаты этого очищения бы-

ли не так уж велики. Многие из тех, кого он изгнал из сената и опозорил, были восстановлены его мягко-сердечным коллегой.

Он был лучшим оратором, пишет Плиний. Верно и это. Его речь была великолепной. Но вскоре Гай Гракх и Красс Оратор, не говоря уже о Цицероне, затмили его.

Так в чем же тайна этого человека? В его личности.

Сципион, это «солнце Рима», действительно излучал некий свет, которым согрета целая эпоха. В самые тяжкие годы, в дни крови и убийств, образ этого человека светил Республике, светил каждому и помогал мужественно и достойно переносить страдания. «Я любил его доблесть, а она не угасла, — пишет Цицерон. — И не у меня одного она стоит перед глазами... но и для потомков она будет светла и блистательна. И всякий, кто с пылом и надеждой задумает великое дело, считает, что он должен вызвать в памяти образ Сципиона» (*De amic.*, 102).

Второй век до н. э., несомненно, самая блистательная эпоха в истории Республики. Это время, когда, по выражению Буассье, «Рим, упоенный своей победой (в Пунических войнах. — Т. Б.), уверенный в будущем и грозный для всего мира, впервые стал замечать красоты эллинской культуры и увлекаться литературой и искусством»* Действительно. Римляне победителями прошли по ойкумене и достигли могущества, доселе невиданного. Они не были уже «диким племенем Ромула». Греческое образование отточило их ум, смягчило сердце, придало душе утонченность, в то же время оно не сделало их развращенными и изнеженными, как в позднее время. Римляне жили тогда в государстве свободном, в атмосфере самых горячих споров и политической борьбы, но они не знали еще тех кровавых смут и страшных гражданских войн, которые раздирали Республику в последний период ее существования. Они покорили мир не только силой оружия. Даже врагов пленяли их благородство и чувство чести. Казалось, дряхлеющий эллинистический Восток ощутил дыхание доблести и молодости, исходившее от этого народа. Недаром лучшие люди того времени, Полибий и Панетий, были очарованы Римом. Порча нравов, праздность, разгул и другие отвратительные язвы поздних

* Буассье Г. Цицерон и его друзья. С. 35.

эпох были так же далеки от тогдашних римлян, как тяжкие болезни старости от цветущей юности.

Неудивительно, что в памяти потомков это время запечатлелось как золотой век. Цицерон все снова и снова переносит читателя в «те счастливые времена» и выводит на страницах своих произведений людей той эпохи, ибо, как он говорит, благородство участников придает мыслям еще больше внутреннего значения (*Fontei, 39; Q. fr., III, 5, 1*).

Те люди, которые командовали победоносными армиями, вели переговоры с великими царями и беседовали с греческими мыслителями, были римскими аристократами. Вот в их-то круг я и постаралась ввести читателя, причем стремилась показать их в повседневной жизни — на войне и во время мира, дома и на Форуме, в Италии и на чужбине. Подобно путешественнику-иностранцу, попавшему в это блистательное общество, мы входили во многие дома римской знати и наблюдали, как живут хозяева. Но нашим проводником был неизменно один и тот же человек — герой этой книги. Мы следовали за ним на всех путях и дорогах и постепенно узнавали все подробности жизни римских патрициев. При этом мы не только видели, как вели себя римляне, мы всегда узнавали, как они *должны* были себя вести, ибо в глазах соотечественников он был всегда мериллом нравственного совершенства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Павел, конечно, воспринял слова дочери как предзнаменование. В самом деле, он отправлялся на войну с Персеем и сразу же услышал, что умер Перса.

² Год рождения Полибия неизвестен. Он вычисляется приблизительно на основании следующих соображений. В 182—180 годах до н. э. Полибий был назначен послом к Птоломею, хотя, по словам самого историка, не достиг положенного законом возраста (*Polyb.*, XXIV, 6, 4—5). Мы знаем, что в Ахейском союзе возрастной ценз для занятия государственных должностей был 30 лет. Значит, в 182—180 годах Полибий еще не достиг этого возраста, и год его рождения колеблется между 209 и 200 годом, так как вряд ли его назначили послом моложе 20 лет. В 169 году он был избран начальником конницы, вторым лицом в союзе после стратега (*Polyb.*, XXVIII, 6, 9). Зная, что он занимал посты даже ранее положенного срока, можно предположить, что ему только-только исполнилось 30 лет, то есть он родился около 200 года, тогда познакомился он со Сципионом в 32—33 г.

³ Нам совершенно неизвестно, где познакомился Полибий со Сципионом — в доме его отца, у общих знакомых или просто на улице. В «Истории» Полибия был подробный рассказ об этом, но он утерян (*Polyb.*, XXXII, 9, 4).

⁴ Так повелось со времен Катона, и я писала об этом подробно в своей первой книге «Сципион Африканский».

⁵ Это ясно видно из рассказа о его единоборстве с кельтибером (о нем речь дальше). Аппиан говорит, что Сципион был очень юн, а Веллей — что он обладал скромными силами (*App. Hiber.*, 53; *Vell.*, I, 12). А между тем ему было уже 35 лет и он был очень силен. Видимо, наш герой имел облик хрупкого мальчика.

⁶ Это видно из того же рассказа о его единоборстве.

⁷ В Египте Птолемей даже бегом не мог догнать Сципиона, который шел быстрым шагом.

⁸ В 166 году поставлена была «Андрия», в 165-м — «Сверковь», в 163-м — «Самоистязатель», в 161-м — «Евнух» и «Формион», в 160 году — «Братья».

⁹ Исключение составляла комедия «Сверковь».

¹⁰ Почти каждый пролог к своей пьесе Теренций начинает с оправданий и жалоб на козни ненавистников-поэтов. Пролог — а им бывал обычно сам Амбивий Турпион, директор труппы, игравшей комедии поэта, — даже называет себя его адвокатом. Однако обвинения сбивчивы, не-

ясны и до того несправедливы, что заставляют заподозрить, что существовала какая-то иная, тайная причина недоброжелательства коллег к Теренцию.

Во-первых, его обвиняют в контаминации, то есть в том, что, переделывая какую-то греческую пьесу, он порой вставлял туда сцены из других комедий. Так, в «Братьях» вся сцена со сводником принадлежит не Менандру, а взята у другого автора (*Heaut.*, 10—20; *Adelph.*, 1—16). Но так поступали практически все римские поэты.

Во-вторых, говорят, что его образы уже встречались у Плавта и Невия (*Eun.*, 19—30). Но Теренций справедливо замечает, что вообще во всей новоаттической комедии одни и те же образы — злая гетера, паразит-обжора, воин-хвастун и т. д.

В-третьих, враги говорят, что он легковесен (*Phorm.*, 6). Смысл этого обвинения мне неясен.

Наконец, он не сам пишет свои пьесы.

Быть может, в этом последнем обвинении и следует искать причину общей ненависти.

¹¹ Блестящая реконструкция С. И. Соболевского. Он обратил внимание на одно сообщение Доната, античного комментатора Теренция. Донат пишет, что у Менандра Микион женится охотно, по собственному желанию. (Очевидно, автор хотел закончить комедию двумя счастливыми свадьбами и не оставлять Микиона осиротевшим и одиноким.) Из этого Соболевский делает неопровержимый вывод, что вся приведенная нами сцена целиком сочинена латинским автором (*Публий Теренций. Адельфы. Введение и коммент. С. И. Соболевского. М., 1954. С. 358*).

¹² Слово «осел» было, по-видимому, любимым эпитетом — довольно нелестным, конечно, — часто срывавшимся с уст Сципиона (*Cic. De or.*, II, 258; 267; *Plut. Reg. et imp. apophegm. Sc. min.*, 16; *App. Hiber.*, 85).

¹³ Цицерон постоянно говорит об увлечении Сципиона астрономией. Диалог «О государстве» начинается с долгих научных дебатов о небесных явлениях. Туберон считает только Сципиона способным ответить, почему на небе видны два солнца. Сам Публий говорит, что беседовал с друзьями об астрономии даже под стенами Нуманции. Еще более подогрели его интерес к астрономии Полибий и Панетий. Оба интересовались этой наукой, а Полибий даже считал, что полководцу совершенно необходимо знать ее. Несомненно, оба ученых грека давали ему уроки.

В то же время из текста Цицерона очень заметно, что Лелий совершенно не разделяет увлечения своего друга.

Когда он приходит и узнает, что разговор идет об астрономии, он с досадой спрашивает:

— Разве мы уже изучили все, что относится к нашим домашним делам и государству, что хотим знать, что происходит на небе?

Затем именно он приводит слова своего наставника Элия, издевавшегося над этой бесполезной наукой. И наконец решительно прерывает разговор о звездах (*Cic. De re publ., I, 15; 17; 19; 30—32*).

¹⁴ Правда, Астин предполагает, что еще до отъезда в Испанию Сципион был квестором (*Op. cit., 14—15*). Приводит он единственный аргумент — по сообщению Полибия, в 151 году Сципион голосовал за войну в Иберии, а голосование это происходило в сенате, значит, он уже был его членом. Однако у нас нет ни одного известия о его квестуре, а голосование могло происходить в народном собрании, так как тот же Полибий решительно утверждает, что вопросы войны и мира решает только народ. Что до Лелия, то первую известную нам должность он занял в 145 году.

¹⁵ Время этого путешествия неизвестно. *Terminus ante quem* появляется в 151 году, когда Сципион уехал в Испанию. Год спустя вернулся на родину Полибий. Так что путешествие могло произойти в любой год от 166 до 151-го. Но мне представляется, что до 160 года наш герой был слишком занят пьесами. Писались они каждый год. Пропущены были только 164 и 162 годы. Но в 162 году умерла Эмилия, и Сципион погружен был с головой в имущественные дела. А в 164-м его отец был цензором и, вероятно, хотел, чтобы его любимец был подле и, глядя на него, учился государственной деятельности. Поэтому я склонна думать, что он предпринял это путешествие, чтобы рассеяться после смерти отца.

¹⁶ У нас нет прямых известий о том, что Лелий и Полибий сопровождали Сципиона в Испанию. Но о Лелии Цицерон говорит, что все походы и путешествия у него были общими со Сципионом (*De amic., 103—104*). Что до Полибия, то, во-первых, Веллей пишет, что тот всюду сопровождал Сципиона. Во-вторых, сам историк говорит, что лично посетил Испанию. Когда это могло произойти? Я полагаю, что это случилось до 146 года, так как Полибий сначала предполагал завершить свой рассказ 168 годом, то есть 3-й Македонской войной. События 146 года заставили его изменить свой план и продолжить «Историю». Но описание Испании входило в первоначальный его рассказ. Значит, он посетил Иберию в бытность свою римским заложни-

ком. Сразу напрашивается вывод, что ему гораздо удобнее было это сделать в обществе Сципиона. Быть может, его одного в Испанию не отпустили бы.

¹⁷ Так, во всяком случае, рисует его Аппиан. Судя по Ливиевым эпитомам, этот историк гораздо более высокого мнения о Лукулле.

¹⁸ Это были единоборства между вождями.

¹⁹ Замечательно, что сын этого кельтибера, уже, очевидно, получивший кое-какое образование, очень гордился, что отец его пал от руки Сципиона. Он даже всю жизнь упорно носил на пальце кольцо с изображением этой славной битвы, несмотря на жестокие насмешки римлян (*Plin. N. H., XXXVII, 9*).

²⁰ Цицерон описывает первую встречу Сципиона с Масиниссой. Но он ошибочно относит ее уже к тому времени, когда началась 3-я Пуническая война и Сципион был одним из офицеров. Из Аппиана мы знаем, что встреча эта произошла на год раньше и при иных обстоятельствах.

²¹ Это знаменитый «Сон Сципиона». Его обычно считают чистой выдумкой Цицерона, созданной по аналогии с теми волшебными снами, которые видел Публий Африканский Старший, а также с платоновским видением Эра. Но, быть может, была некая легенда, некий неясный слух — столь естественный! — что великий предок, сокрушивший мощь Карфагена, благословил внука, который окончательно разрушил этот город. Аппиан, например, пишет, что в Африке старые солдаты говорили, что нашему герою помогает даймон его деда (*App. Lib., 491*).

²² Какие причины заставляли Назику так упорно заступаться за пунийцев? К несчастью, до нас не дошло текста ни Полибия, ни Ливия (лишь его эпитомы). Сохранились только поздние авторы — Зонара, Диодор, Августин, Плутарх. На основании их анализа исследователи восстанавливают доводы Назики следующим образом.

Первое. Римлянам необходим страх перед внешним врагом, чтобы сохранить свое мужество (*Zon., 9, 30; Oros., 4, 23, 9*).

Второе. Без этого страха в Риме вспыхнут междоусобные войны (*Plut. Cat. Mai., 27, 2; Diod., 34—35, 33*).

Третье. Без этого страха Рим станет заносчивым и несправедливым с другими государствами (*Aug. C. D., I, 30; Diod., Ibid.*).

Исследователи давно заметили, что все эти доводы риторичны, и, как замечает Астин, трудно поверить, что ими мог оперировать реальный политик (*Astin A.E. Scipio*

Aemilianus. Oxford, 1967. P. 276). Кроме того, совершенно очевидно, что доводы эти придуманы задним числом. Пункт второй явно указывает на гракханский кризис, который, разумеется, не мог предугадать Назика. Далее. Первый пункт также вызывает большие недоумения. Как могли римляне забыть свое мужество, если в Испании пылала война? Все это заставляет многих ученых, особенно Гофмана, относиться ко всей традиции с недоверием (*Hoffmann W. «Die romische Politik des 2 Jahrhunderts und das Ende Karthagos» — Historia, 9 (1960), Pp. 309 sq.*). Он считает, что перед нами конструкция поздних писателей, которые знали уже всю историю Рима, включая войны Суллы и Мария, диктатуру Цезаря и «порчу нравов» I века до н. э. Тогда все несчастья Рима приписали разрушению Карфагена и вложили пророческое предсказание в уста мудрого Назики. Сам Гофман предполагает, что Назика не был принципиальным противником разрушения Карфагена, но его, как верховного понтифика, останавливали соображения религии. Он полагал, что у Рима нет *causa belli iusti*. Когда же такие причины появились, он сам охотно прикнул к противникам Карфагена.

Однако это объяснение нельзя признать удовлетворительным. Во-первых, мы не знаем случая, чтобы римская религия в лице своих верховных понтификов вмешивалась во внешнюю политику Рима. Даже Публий Красс, консул 205 года до н. э., который часто злоупотреблял своей властью и даже не пускал наместников в их провинции, ни разу не высказался против той или иной войны. Во-вторых, как бы ни оценивать причины 3-й Пунической войны, по существу, совершенно ясно, что с формальной стороны римляне были правы. Карфагеняне нарушили все пункты договора и оскорбили римское посольство. Самый придирчивый понтифик мог быть удовлетворен. Полибий специально останавливается на этом пункте и доказывает, что римляне соблюли все нужные формальности (*Polyb., XXXVII, 1*).

Значит, следует искать иные причины поведения Назики. На наш взгляд, Назика, зять Сципиона Африканского, считал себя наследником его политики. Он защищал Карфаген, во-первых, потому, что считал себя его патроном. Во-вторых, потому, что разрушение Карфагена было дурным прецедентом. Назика явственно ощущал поворот к новой, более жесткой политике. Этот процесс он и пытался остановить. Пример Карфагена был бы прекрасным доводом в защиту римской гуманности — если уж римляне

пощадили Карфаген, могут ли они быть суровыми к другим врагам? Он оказался прав — разрушение Карфагена ознаменовало собой перелом в римской политике. Отсюда начинается провинциальная эра. Мир с Карфагеном явился краеугольным камнем этой политики. Вот почему единомышленники Сципиона Старшего так упорно защищали Карфаген в 151—150 годах до н. э.

²³Число спасенных Сципионом когорт варьируется у разных авторов. У Ливия их две, у Аппиана — четыре, у автора «Жизни прославленных мужей» — восемь. Но, вероятно, надежнее всего свидетельство Варрона. Он говорит о трех когортах. Кроме того, на постаменте статуи Сципиона, воздвигнутой на Форуме Августом, было написано, что он был награжден венком за спасение трех когорт, попавших в окружение (*Plin. N. H., XXII, 13*). Статуи, поставленные Августом, являлись обычно копией тех, которые были воздвигнуты во времена Республики, так что, вероятно, число спасенных когорт указано верно.

²⁴Поэтому автор *De viris illustribus* не прав, когда утверждает, что Сципион был награжден золотым венком.

²⁵Это видно из Аппиана (*Lib., 134*). Кроме того, известно, что многие записали его заочно консулом на 148 год, хотя это было незаконно (*Liv. Ep., 49*).

²⁶У Аппиана находим сообщение о том, что Сципион в это время ночным налетом овладел Мегарами, карфагенским пригородом. Но был не в силах удержать город и ушел (*Lib., 117*). Мне этот рассказ кажется, по меньшей мере, странным. Совершенно неясно, зачем предпринята была эта опасная операция. Ведь мы знаем, что план Сципиона заключался в том, чтобы отрезать город от суши и моря и взять его медленной осадой. Неожиданная атака Сципиона стоит в резком противоречии с этим планом. При этом Сципион, который уже год пробыл под Карфагеном, прекрасно знал, что таким внезапным налетом ничего не добьешься. Вообще вся эта авантюра совсем не в его духе.

Ключ к разгадке я вижу в сообщении Зонары, который приписывает взятие Мегар Манцину (9, 29). Действительно, захват Мегар очень напоминает захват карфагенских ворот, за который он так жестоко поплатился. Очевидно, его план заключался в том, чтобы захватить город внезапно, и он искал слабое место. Косвенное доказательство я вижу в том, что Манцин впоследствии выставил на Форуме план Карфагена, похваляясь, что был в городе раньше Сципиона (*Plin. N. H., XXXV, 23*). Обычно полагают, что он имел в виду тот случай, когда едва не овладел Карфагенскими

воротами и был оттеснен на скалы. Наглость Манцина, конечно, была велика, но все-таки я не думаю, чтобы он стал напоминать об этом столь позорном для него деле. Кроме того, каждый сразу вспоминал, что спас его Сципион. Да и в Карфагене-то тогда он фактически не был. Поэтому логичнее предположить, что Манцин напоминал о единственно славном своем деянии, окончившемся весьма благополучно.

²⁷ Аппиан не сообщает, как сам военачальник проник в город. У нас есть всего два отрывка, рассказывающие об этом событии, — приведенные нами фрагменты из Плутарха и Аммиана Марцеллина. Оба они восходят к Полибию. Сложность заключается в том, что оба писателя не ставили целью что-то нам рассказать — они предполагают, что этот эпизод хорошо известен читателю. Мне представляется, что они говорят об одном и том же событии. Мы узнаем, что Сципион вошел в город с помощью подкопа. При этом Марцеллин пишет, что Сципион не просто совершил вылазку, а захватил город. Очевидно, он не был выбит тогда из Карфагена, ибо Юлиан вряд ли стал бы подражать несчастливому предприятию.

²⁸ Кто поджег ту часть города, которая располагалась между площадью и Бирсой? Аппиан говорит, что Сципион. Но этому противоречит то, что, по его же словам, множество римлян находилось в это время на крышах. Далее. Аппиан сообщает, что из-за пожара Сципион не мог прорваться к Бирсе и шесть дней расчищал проход. Почему же вместо того, чтобы идти на Бирсу, он загородил себе путь пожаром? Поэтому, на мой взгляд, логичнее предположить, что подступы к Бирсе подожгли защитники, подобно тому, как они только что подожгли Котон. Так же в 195 году поступили спартанцы, когда римляне ворвались в город.

²⁹ В подлиннике Сципион говорит: «ω πολυβίε... χαλογμέν». Дошедший до нас фрагмент представляет собой отрывок без начала. Фраза начинается с середины, и это затрудняет понимание. Помогает конспективное изложение этой сцены у Аппиана. Сципион, согласно его рассказу, сначала плачет и жалеет врагов, затем вспоминает обо всех погибших царствах, затем читает стихи Гомера. «Когда же Полибий... прямо спросил Сципиона, как понимать его слова, тот, говорят, не постеснялся сказать, что боится за отечество при мысли о бренности всего человеческого» (*Lib.*, 132).

В нашем отрывке читается «...как у Гомера...». Затем Сципион говорит, что боится за Рим. Значит, наш фрагмент соответствует самому концу разговора. Слова Сципиона яв-

ляются ответом Полибию на его вопрос после чтения стихов из «Илиады». Как же в таком случае понимать слово *υαλοϋ*.

Возможно несколько толкований.

Первое. «Как замечательно, Полибий!» Так толкует Астин. Но это совершенно не вяжется ни с вопросом Полибия, ни со всем духом разговора, ни с настроением самого Сципиона, который говорит это плача, полный грустных дум о судьбе человечества.

Второе. Эти слова могут быть ответом на какое-то замечание Полибия, опущенное Аппианом. Например: «Но разве не хорошо, что ваш злейший враг сокрушен?» — «Да, это хорошо, Полибий, но... и т. д.»

Третье. Это может почти соответствовать русскому «да» и означать: «Это так, Полибий».

Но, учитывая весь дух разговора, слезы Сципиона и его возвышенные и печальные размышления, учитывая также, что слова его были ответом на вопрос Полибия о строках Гомера, я даю несколько иное толкование. Я думаю, что Сципион говорил не о счастье своем, а о величии происходящего. И это естественный финал всех его размышлений о судьбе и человеческом бессилии. Мое толкование более всего приближается к толкованию В. Р. Патона, который переводит это место так: «A glorious moment, Polybius» (*Polybius. The Histories, with an English translation by W. R. Paton. Vol. VI. L., 1995. P. 437*).

³⁰ Исключение составляет тот памфлет против Теренция, о котором мы говорили в первой главе. Но, хотя автор и поносит Сципиона, все-таки к нашему герою эти стихи имеют маленькое отношение. Здесь один литератор пишет о другом, более удачливом, а потому вызывающем у него острую зависть. И если он попутно облил грязью всех друзей своего коллеги, это его очень мало беспокоит. Даже упреки, делаемые им Сципиону, необдуманно: он обвиняет его... в скупости.

³¹ Астин высказывает совершенно неожиданное мнение — он называет нашего героя популяром (*Op. cit., p. 26 sq.*). Доказательства он приводит следующие.

Цицерон в одном месте упоминает, что популяры в его время считали Публия Африканского за своего (*Acad. Pr., 2, 13; 2, 72*). Аппий, враг и соперник Сципиона, обвинял его в том, что он запросто общается с простонародьем (см. гл. III, § 3). И наконец, решающим аргументом являются уже приводимые нами цитаты из Плутарха и Аппиана.

Доводы эти не представляются мне убедительными. Уп-

рек Аппия означает лишь, что Публий лишен был сословной сноты и чопорности. То, что популяры I века до н. э. стремились выдать Сципиона за своего, только доказывает, что он стоял вне партий — ведь сколько раз сам Цицерон хочет представить его оптиматом! Значит, и сто лет спустя обе партии продолжали спорить из-за Публия Африканского. Что же касается приведенных слов Аппиана и Плутарха, то не следует путать понятия «популяр» и «популярный политик». Популярный политик, особенно победоносный полководец, часто держит себя достаточно независимо, опираясь при этом на любовь и расположение народа. Но это никак не означает, что он демократ. Например, все, что говорят о нашем герое Аппиан и Плутарх, в гораздо большей степени относится к Сципиону Старшему. Сенат постоянно противостоял ему, народ же буквально носил на руках. Каждую уступку он вырывал у сената, грозя апеллировать к народу. Тем не менее никто еще не назвал Сципиона Старшего популяром. Почему? Потому что популяр — это не просто любимец народа, а политик-демократ, который стремится отнять власть у аристократии и передать ее народу. Причем часто он стремится достигнуть цели путем мятежа (отсюда постоянный эпитет популярных *seditionis*). Но ничего такого Сципион Старший не делал.

Как, впрочем, и Младший. Законы о голосовании, которые он проводил, умеренные и здравые, и показывают только, что он был чужд узкосословных интересов. Никогда он не волновал народ страстными речами о свободе, не звал на борьбу и не натравливал на знать. Далее. Среди кружка его друзей-единомышленников не было ни одного популяра. Даже демократичный закон о голосовании он проводил с помощью сурового аристократа Кассия. Видимо, трибуны-популяры ему претили. А Лелий резко восстал против трибуна-популяра, стремившегося унижить сенат (см. гл. III, § 2).

Замечательно, что Астин оказывается неспособным объяснить действия Сципиона в последний период его жизни (133—129 гг.). Он дает какое-то совсем неловкое объяснение: Сципион, вернувшись из Испании, увидел, что его место, место главы популярных, занял его враг Аппий Клавдий, и перешел к оптиматам. Так не мог поступить — уж не говорю Сципион, — но любой уважающий себя политик, хоть сколько-нибудь дорожающий своей репутацией. Бывали в Риме политические предатели и перебежчики, вроде Карбона, но у них и была соответствующая

слава. И потом — это же просто нелепо! Все равно что сказать — Гай Гракх вернулся из Африки и, обнаружив, что Друз и другие его враги сделались популярными, перебежал к сенату. Наоборот. Популярные обычно стремятся перещеголять друг друга демагогическими и народолюбивыми проектами. И почему Сципион, узнав, что без него провели популярный закон, не мог выступить как его защитник? Сделай он так, чернь носила бы его на руках. Тем более что он действительно хотел дать неимущим землю. Если бы он в то же время громко оплакивал Тиберия Гракха и называл героем, как делали Фульвий и Карбон, его вознесли бы до небес. А он вместо того поднялся на борьбу с демократией и стал защищать союзников, что и привело его к гибели.

³² Фронтон называет его речи *oratiunculae*, что заставляет догадываться, что подразумеваются короткие изящные речи (*Fronto, p. 28, 17*).

³³ Да простит мне читатель, что я передаю тремя русскими словами одно-единственное латинское слово *gravitas*. Но я не могу найти русского слова, которое могло бы выразить всю полноту латинского *gravitas*. И все переводчики, сколько я знаю, переводят это слово по-разному, в зависимости от контекста. У Валерия Максима есть целый раздел о *gravitas* в словах и поступках. И опять-таки я не могу свести все это к одному слову. Он называет Рутилия *gravis-simus civis*, что, несомненно, следует понимать как достойнейший гражданин, но достоинство это — суровое. Как пример его *gravitas* приведено следующее. Друг требовал от него какой-то незаконной услуги, а когда он наотрез отказал, в сердцах воскликнул: «Зачем мне твоя дружба, раз ты не делаешь то, о чем я прошу!» Рутилий отвечал: «Нет, зачем мне твоя, если я из-за тебя сделаю бесчестный поступок?» Это слова достойные, но и суровые. Далее, рассказывается о Манлиях. Один из них отказался быть консулом, сказав: «Просите кого-нибудь другого, квириты. Если вы заставите быть консулом меня, ни я не вынесу ваших нравов, ни вы — моей власти». И Максим прибавляет: «Если так властен был голос частного лица, сколь *graves* должны были быть фасции консула!» То есть очевидно — сколь сурова власть консула. Другой же, услышав, что союзники требуют права заседать в римском сенате, воскликнул, что своей рукой убьет первого союзника, который вступит в сенат. Это уже скорее резкость. Наконец, приводится знаменитый пример Попиллия, который велел царю Антиоху отвечать, не выходя из круга. Это опять скорее резкость. Как пример *gravitas* самого Сципиона приводится его крайне резкий

отзыв о коллеге-цензоре в народном собрании и о двух консулах — в сенате (*Val. Max.*, VI, 4).

³⁴ Я привожу эту цитату в великолепном переводе Зелинского. Но я сделала одно изменение. Именно: у Зелинского сказано — «сострадание к обиженным и ненависть к обидчикам». Это более в духе христианской русской литературы, на которой был воспитан Зелинский, чем Сципиона. В подлиннике стоит не кроткое сострадание, а активная защита.

³⁵ Любопытно, что было семь речей Сципиона против Котты. И именно семь речей против Верреса написал Цицерон, хотя в действительности ни одной из этих речей он не произнес — дело ограничилось просто предъявлением документов и опросом свидетелей. Поэтому я не исключаю, что Цицерон сознательно стилизовал свои «Веррины» под речи Сципиона против Котты.

³⁶ Цензорское клеймо (*nota censoria*) было действительно только в случае согласия обоих цензоров. На практике это означало, что один цензор мог стереть клеймо, поставленное коллегой. Клеймо теряло силу, если цензоры следующего люстра его не возобновляли или если римский народ выбирал наказанное лицо на какую-нибудь должность (Цицерон, *Туллий М. Полное собрание речей. Ред., введение и примеч. Ф. Ф. Зелинского. Т. 1, СПб., 1901. С. 563—564, примеч. 51*). Таким образом, цензорское замечание не имело рокового значения, а воспринималось скорее как некое предупреждение.

³⁷ У Сципиона — *inter cinaedos*. Античный комментатор объясняет, что словом «*cinaedi*» древние называли плясунов и мимов (*Non.*, V, 25). Ср. у Люцилия (*l.*, 19). Хотя уже тогда встречается и второе, гораздо более употребительное значение этого слова (например, в речи самого Сципиона — *fr.* 17).

³⁸ Порок, в котором Сципион обвиняет Галла (в подлиннике он выражается еще яснее), по словам Корнелия Непота, не считался предосудительным в Греции, но жестоко осуждался в Риме. В старину он даже карался смертью (*Nep. Proel.*, 4; *Val. Max.*, VI, 1, 10).

³⁹ Даже Астин, весьма нерасположенный к Сципиону, не сомневается, что юноша лишился коня вовсе не из-за пирага. Это не более как обычная ирония Сципиона (*Astin A.E. Op. cit. P. 120*).

⁴⁰ Полибий пишет о поступке Сципиона Старшего с нескрываемым восхищением. Но то, как повел себя на суде Эмилиан, говорит о большем. Поступив так в самый трудный, в самый опасный момент своей жизни, он доказал,

что Сципион был его идеалом, его героем, образцом для подражания.

⁴¹ Эти слова могут относиться, правда, к другому Помпею, отцу Великого. Петер относит их к этому последнему, Астин — к нашему Помпею (*HRR, p. 188; Astin A. E. Op. cit. P. 122—123*).

⁴² Время этого путешествия точно не установлено. Известно, что Сципион поехал на Восток в период между своей цензурой и вторым консульством (141—134). Этот вопрос вызывал большие споры. Дело в том, что путешествие было длинным — по Ван Страатену около двух лет, по Астину около полутора, между тем в жизни нашего героя трудно отыскать хотя бы один год, в течение которого он не появлялся бы в Риме:

141 — 140 — дело Азелла.

139 — закон Габиния, видимо, вдохновляемый Сципионом.

138 — дело Котты.

137 — закон Кассия, проведенный с помощью Сципиона.

136 — дело Манцина, в котором он участвовал.

135 — выборы в консулы.

Сводка мнений приведена у Ван Страатена. Теперь общепризнано, что наш герой выехал весной 140 года и возвратился либо в середине 139-го (Астин), либо в 138-м (Ван Страатен). Но Н. Н. Трухина недавно высказала другое мнение, именно, что Сципион путешествовал с 136 по 135 год. В принципе у нас нет никаких точных данных, чтобы принять или решительно отвергнуть эту точку зрения. Но я склоняюсь к первой датировке по следующим причинам.

Первое. Сципион в Пергаме, по-видимому, встретил Атала Филадельфа, который умер в 138 году (Ван Страатен).

Второе. 136 год очень занят у Сципиона. Он не только активно выступает в деле Манцина, но и произносит речь о продлении полномочий Д. Бруту (*De imperio D. Bruti, fr. 27*).

Третье. Обращает на себя внимание отсутствие в посольстве Лелия, постоянного спутника Сципиона, отсутствие столь заметное, что автор «Жизни замечательных мужей» даже ошибочно вводит его в состав посольства, так как не допускает мысли, что Сципион отправился в путешествие без своего друга. Видимо, Лелию помешала какая-то важная причина. Я думаю, его обязанности консула, которые он исполнял в 140 году.

Четвертое. При консуле Лелии чувствуется столь же странное отсутствие Сципиона. Известно, что Лелий сде-

лал попытку провести аграрный закон, но почему-то не упоминается, что Сципион ему помогал.

Пятое. В 136—135 годах все внимание сената и народа сосредоточено было на Испании, поэтому вряд ли подобное путешествие вообще могло произойти.

(*Van Straaten M. Panetius: sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition des fragments. Amsterdam, 1946, p.15—17; Astin A. E. Op. cit. P. 127.*)

⁴³ Нам известно, что Полибий путешествовал по Египту, причем при том же Птолемее и приблизительно в то же время (*Strab., XVII, 1, 12*). Это наводит на мысль, что друзья, как всегда, странствовали вместе.

⁴⁴ В литературе очень часто пытаются выяснить точный состав кружка Сципиона. На мой взгляд, вопрос поставлен не вполне правильно. Что такое «кружок Сципиона»? Это не политическая партия и не клуб. Это друзья Эмилиана. А они, понятно, менялись — ведь так называемый кружок существовал 37 лет. Членами кружка, несомненно, были Теренций и Рутилий. Но они никогда не видели друг друга, ибо Рутилий родился через несколько лет после смерти Теренция. Когда друзья писали комедии, Лелию было 24—25 лет. А впоследствии в кружок вошли оба его зятя. Значит, вопрос может стоять только так — каков был состав кружка на такой-то год. Но выяснить это не всегда представляется возможным. По сути, у нас два источника — один рассказывает о ранней юности Сципиона, когда кружок только возник, другой — о последних днях его жизни. Первый источник — это та эпиграмма против Теренция, о которой мы уже говорили. Автор описывает, как юный поэт вступил в дом девятнадцатилетнего Сципиона и стал членом его кружка. Кружок этот, согласно эпиграмме, состоял тогда из четырех человек — самого Сципиона, Лелия, Фила и Теренция. Но мы должны добавить сюда Полибия.

Второй источник — это диалог Цицерона «О государстве». Члены кружка собираются у Сципиона за несколько дней до его смерти. Их девять. Лелий, Фил, Маний Манилий... Спурий Муммий, спутник Сципиона в его путешествии на Восток. Это все ровесники Публия. И молодежь: оба зятя Лелия — Фанний и Сцевола Авгур, Рутилий и Туберон. Между этими крайними датами — ранней юностью и годом смерти, — вероятно, были и другие друзья. Были, например, Помпей и Тиберий Гракх, с которыми позже Сципион разорвал отношения.

С. Л. Утченко считает, что герои «Государства» представляют собой полный список кружка (*Утченко С. Л. По-*

литические учения Древнего Рима. М., 1977. С. 80—81). Но это не совсем так. Во-первых, как я уже говорила, это список на 129 год. Во-вторых, выведены не все члены кружка, собиравшиеся у Сципиона в последние дни его жизни. Отсутствуют: Полибий, Панетий, Люцилий и трагический поэт Пакувий. Между тем из Горация мы знаем, что Люцилий был членом кружка (*Hor. Sat., II, 1, 65—74*), а Пакувия Лелий называет у Цицерона другом и гостеприимцем (*De amic., 24*). Видимо, они отсутствуют не случайно. Цицерон намеренно вывел перед нами римских политиков, а не иноземцев и артистов. Кроме того, к этому списку надо добавить Рупилия, консула 132 года, который был близким другом Сципиона (*De amic., 69; 101*), но скончался к 129 году.

Наконец, Ф. Ф. Зелинский высказывает любопытную мысль, что в кружок могли входить женщины, например, жена Лелия, которую он так любил, и обе его дочери, прославленные своим умом и образованием (*Зелинский Ф. Ф. Античная гуманность // Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. СПб., 1995. С. 216*). Я вполне допускаю такую возможность. Это соответствует духу римских кружков. Цицерон же не стал выводить их по той же причине — он хотел представить нам одних политиков.

⁴⁵ Я здесь не стану вдаваться в рассуждения о Фаннии. Дело в том, что, согласно Цицерону, среди друзей Сципиона было два Фанния, причем они были не родственники, а однофамильцы. Цицерон сам однажды признался, что перепутал их и лишь теперь окончательно разобрался в этих Фанниях (*Att., XII, 5, 3*). Многие ученые полагают, что Фанний был один или что Цицерон приписывает одному Фаннию то, что делал другой и т. д. Я принимаю версию Цицерона. Литературу см. в книгах — *Peter. HRR. P. CCII—CCVII; ORF², p. 142—143*).

⁴⁶ Сейчас этот взгляд воскрес в трудах А. Тойнби.

⁴⁷ Я не могу согласиться с теми учеными, которые утверждают, что Полибий считал, что для римской республики настало уже время упадка. Будь так, как мог бы он назвать подчинение всего Средиземноморья Риму благотворнейшим событием? Можно ли назвать благотворным господство слабого, шатающегося государства? Упадок любой государственной формы, как говорит Полибий, сопровождается смутами и потрясениями. Но, если такие, смуты и потрясения обрушатся на владыку мира, всю вселенную будет трясти и лихорадить, как тяжелобольного. Историк говорит, что пока Рим находит исцеление в себе

самом, то есть пока это сильное, здоровое, устойчивое государство.

⁴⁸ По-видимому, именно он был автором «*vetustissimus liber*», которую упоминает Макробий. Из этой книги Макробий приводит древнейшую молитву, с помощью которой римляне переманивали к себе богов неприятеля. Значит, Фил был антикваром (*Macrob. Sat., III, 9, 7; ORF², p. 137*).

⁴⁹ В литературе распространена точка зрения, противоположная нашей. Принято считать, что это, наоборот, Полибий был учеником Панетия и все его необычные взгляды сложились в результате бесед с молодым стоиком (см., например, *Тарн. Эллинистическая цивилизация. С. 257; Мищенко Ф. в кн.: Полибий. Всеобщая история. Т. 2. М., 1895. С. 415*). Разумеется, доказать тут ничего нельзя — от Панетия дошли слишком маленькие фрагменты. Но мне представляется гораздо более вероятным, что такой зрелый, сложившийся мыслитель, как Полибий, повлиял на молодого родосца, а не наоборот. Ведь Панетий был совсем еще юным, он только-только кончил курс у Диогена, и между тем, как мы видели, разошелся с ним по важнейшим вопросам. Я вижу тут влияние Полибия. Мироззрение же самого Полибия объясняется его трезвым, скептическим, недоверчивым умом. Такой ум свойствен многим ученым, которые привыкли ничего не принимать на веру, все подвергать сомнению и взвешивать каждый факт. Особенно свойственно это историкам.

Далее. Полибия часто уверенно называют стоиком. Откуда берется подобная уверенность? Полибий нигде не называет себя стоиком, и никто из античных авторов к стоикам его не причисляет. Он ни разу не упоминает ни Панетия, ни Клеанфа, ни Зенона, ни Хрисиппа, ни вообще стоиков. Единственные философы, которых он цитирует, притом с неизменным уважением, это Платон и Аристотель. Современные историки называют его стоиком, во-первых, потому что он был в одном кружке с Панетием, во-вторых, потому что некоторые его утверждения напоминают стоические. Но прежде всего многие такого рода положения просто являются общим местом в античной литературе. Например, Полибий советует Полиарату и Зенону избежать унижения и покончить с собой. Это близко к догмату стоиков, которые не только не запрещали самоубийство, как Платон, но даже предписывали мудрецу, буде он очутится в безвыходном положении, добровольно уйти из жизни. Однако мы видели, что Эмилий Павел, который по-

нения не имел о стоиках, советовал то же самое пленному царю Персею.

Но, если бы даже Полибий и заимствовал кое-что у стоиков, это еще не дало бы нам право причислить его к ним. Цицерон, например, заимствует у стоиков очень много, но стоиком он себя не считал, и никто его стоиком не называет. Почему? Потому что Стоя — это единая, цельная, стройная система, подобная законченному зданию. Тот, кто взял бы отсюда для своих нужд какую-нибудь колонну или наличник, еще никак не мог быть назван стоиком. Так же, как человек, который, долго живя среди христиан, заимствовал бы некоторые положения христианской морали, но в то же время отрицал бы божественность Христа, бессмертие души и вообще бытие Божие, вряд ли мог быть назван христианином.

⁵⁰ Время рождения Люцилия неизвестно. Согласно Иерониму, он родился в 148 году. Но это совершенно невероятно. Во-первых, он сражался под Нуманцией в 134 году. Не мог же он пойти на войну в 14 лет! Во-вторых, он описывает многочисленные выступления Сципиона, в частности, его столкновение с Азеллом, и описывает как очевидец. А случилось это, как помнит читатель, в 141—140 году. В-третьих, согласно Горацию, он был большой приятель Сципиона и Лелия и держался с ними как равный. Но это вряд ли было бы возможно, если бы он был шестнадцатилетним мальчиком. Да и самое знакомство было бы тогда совершенно мимолетным, ибо уже в начале 129 года Сципион умер. Наконец, последнее. Гораций называет Люцилия «старцем» (*Sat., II, 1, 34*). Но умер Люцилий в 105 году. Если верить датировке Иеронима, ему было всего 45 лет. По римским понятиям, он отнюдь не был стариком. Из слов Горация ясно, что Люцилию было 60 лет или больше, то есть он родился не позднее 165 года.

С другой стороны, Люцилий не мог быть и ровесником Сципиона. Он говорит, что друзья уговаривали его быть публиканом в Азии. Азия стала провинцией в 133 году, а так как там шла война, — такие предложения можно датировать 131—130 годом. Вряд ли Люцилий мог бы серьезно говорить о подобных предложениях в 50 лет. Ему должно было быть лет 30—35. В этом возрасте многие наши современники бросают науку и идут в бизнес. Так поступали, вероятно, и современники Люцилия.

⁵¹ «Chirodota tunica inferior accubuerit» (*Gell., VII, 12*).

⁵² У Сципиона: «Eunt... in ludum saltatorium inter cinaedos» (*Macrob. Sat., III, 14, 7*). У Люцилия: «Stulte saltatum te

inter venisse cinaedos» (I, 19). Оба отрывка настолько сходны, что можно предположить, что Люцилий цитирует Сципиона.

⁵³ Приводимые здесь факты сообщаются в книге уже упоминавшегося Кольера, знатока жизни индейцев, — *Collier J. The Indians of Americas. N. Y., 1975*. Я позволила себе процитировать блестящее изложение этой книги, сделанное Шафаревичем: *Шафаревич И. Р. Россия и мировая катастрофа. Сочинения в трех томах. Т. 1. М., 1994. С. 419—421*.

⁵⁴ События в Испании мы знаем только из Аппиана. И это для нас великое несчастье. Я вовсе не отрицаю, что Аппиан очень умный и очень интересный автор и рассказ его обладает своеобразной прелестью. Но у него есть несколько крупных недостатков.

Первое. К сожалению, он совсем не разбирается в военном деле, а это большой недочет для историка римских войн. Из его повествования нельзя понять ни хода битвы, ни общего плана кампании. Например, в его рассказе битва при Заме представляется цепью неожиданных и беспорядочных единоборств в духе Гомера. Сципион вступает в бой со слоном, потом с Ганнибалом. Потом с Ганнибалом сражается Масинисса. Потом на него устремляется опять Сципион. Ганнибал неожиданно заметил на одном из холмов иберов и галлов и поскакал туда, надеясь позвать их на помощь. Но его воины решили, что он бежит, и сами кинулись врассыпную. А между тем Полибий говорит, что в битве этой командовали два лучших полководца и приложили максимум стараний при расположении войска. Вероятно, читатель уже почувствовал, что трудно понять, как Сципион спас римское войско под Неферисом. Так же трудно понять, как он спас Рут依лия под Нуманцией. Поэтому-то «Гражданские войны» много выше всех других произведений Аппиана.

Второе. Аппиан не оригинальный автор, а компилятор. Само по себе это совсем не так плохо. Плохо другое — выбор источников, которые он переписывает, подчас совершенно загадочен. Например, говоря о событиях, развернувшихся в Испании и Африке во время 2-й Пунической войны, он почему-то следует не Полибию, а каким-то другим писателям. Отсюда его чудовищные промахи. Например, говоря об Африке, он вообще забывает битву при Великих Равнинах, которая была генеральным сражением, после которого карфагеняне просили мира. Он совершенно неверно рассказывает о поджоге неприятельского лагеря Сципионом и т. д. Это-то и придает особый интерес по-

вествованию Аппиана, так как все остальные авторы благоразумно следовали Полибию, а он дает новые версии. Однако это же делает все события запутанными, непонятными и недостоверными в тех случаях, когда текст Полибия до нас не дошел. Тут остается только пожалеть, что Аппиан не мудрствуя лукаво не следовал Полибию. Именно так дело обстоит в его рассказе об Испании.

Третье. Аппиан конспектирует свои источники. Не изменяет и украшает, как Плутарх, а именно конспектирует. При этом он зачастую опускает очень важные факты. Например, говоря о взятии Карфагена, забывает сообщить, как попал туда сам полководец, а в рассказе о реформах Гракха не пишет об эпизоде с казнью Пергама. Из-за всего этого подчас очень трудно восстановить связь событий.

И последнее. Он очень небрежен, невнимателен и способен допустить ужасные ошибки. Так, в одном месте он пишет, что наш герой — сын дочери Сципиона Старшего, усыновленный своим дедом, вместе с которым он сражался в Азии в 190 году и попал в плен. Не говоря уже о всем прочем, наш герой родился в 185 году (*Syr.*, 29). Или в другом месте он называет племянника Сципиона Бутеоном, а его звали Фабий Максим (*Hiber.*, 84).

Вот почему к повествованию Аппиана об осаде Нуманции следует отнестись с долей скептицизма. Замечу, что он ни разу не упоминает имя Полибия, хотя тот оставил историю этой войны. Очевидно, Аппиан пользовался какими-то другими источниками.

⁵⁵ У Аппиана находим удивительное сообщение. Будто бы нумантинцы все-таки прорвались через крепость Сципиона и обратились за помощью к жителям города Лутии. Те составили заговор против римлян, но Сципион об этом узнал, потребовал выдачи заговорщиков и приказал отрубить им руки (*App. Hiber.*, 94).

Признаюсь, я совершенно не верю этому сообщению. Я не поверила бы ему, если бы речь шла не о Сципионе, воспитаннике Полибия и ученике Панетия, а о любом римском военачальнике, самом жестоком и злобном. Почему? Я объясню это сравнением. Если бы мне сказали, что Черчилль во время последней войны велел расстрелять целую огромную армию пленных, я бы могла в это поверить. Но если бы мне сообщили, что тот же Черчилль велел ослепить пленных, оставив по одному зрячему поводырю на каждую сотню, как это сделал один византийский император, я бы позволила себе усомниться в правдивости этого рассказа. И не потому, что это более жестоко. Это не соот-

ветствует времени и традициям народа. Вот почему, если бы я узнала, что римский военачальник перебил всех заговорщиков без сострадания, отрубил им головы, высек розгами, я бы всему этому с легкостью поверила. Но отрубить руки...

Тут я хотела бы остановиться на одном любопытном вопросе. О характере нашего героя существует два противоположных мнения — первое принадлежит его современникам и ближайшим потомкам, второе — английским ученым XX века, в первую очередь Астину. Вся античная традиция уверенно называет Сципиона человеком очень мягким и добрым, английские ученые не менее уверенно называют его жестоким. Так, Цицерон говорит, что Сципион был очень кроток (*lenissimus: Mur., 66*). Он считает его воплощением *humanitas*. *Humanitas* в понимании Цицерона — это квинтэссенция лучших человеческих качеств, и в первую очередь утонченного эллинского образования и гуманности. И особенно гуманности. Сам Цицерон был человеком исключительной мягкости, и всяческая жестокость вызывала у него ужас и отвращение. «Никогда жестокость не бывает полезна: жестокость противна человеческой природе (то есть *humanitas*. — Т. Б.)», — писал он (*De off., III, 47; пер. Ф. Зелинского*). Между тем он не колеблясь заявляет, что Сципион для него — идеал и образец для подражания. Точно так же смотрели на нашего героя Полибий, который называл его совершенством, и Панетий. Неужели все эти умные и благородные люди ошибались?

Ученые XIX века следовали античным авторам. Буассье считает Сципиона человеком «кротким и человеколюбивым от природы». Такого же мнения держался Моммзен (*Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М. б.з. С. 56; Моммзен Т. История Рима. М., 1937, Т. 2. С. 41*).

Астин приводит в доказательство своего мнения следующие аргументы: Сципион с любопытством смотрел на битву между нумидийцами и карфагенянами и в шутку сравнивал себя с Зевсом; он сжег Карфаген и на его развалинах сказал: «Хорошо!»; он жестоко обошелся с нумантинцами, отрубил руки жителям Лутии; наконец, он был безжалостным цензором. Признаюсь, для меня всего этого мало, чтобы поколебать всю античную традицию. Полибий и Панетий знали Сципиона лично, а Полибий был с ним под Карфагеном и под Нуманцией. Цицерон же слышал рассказы очевидцев и читал историю Нумантинской войны Полибия, воспоминания Рутилия, Фанния, Семпрония Азеллиона и Люцилия, которые сражались под нача-

лом Сципиона в Испании. Мы же составляем свое мнение на основании конспективной истории Алпиана, изобилующей пропусками и неточностями. Впрочем, даже известные нам факты противоречат этому.

Мне кажется, автор слишком серьезно воспринял шутку Сципиона, сравнившего себя с Зевсом. И потом, трудно ожидать, чтобы римский офицер, с 16 лет участвовавший в битвах, падал в обморок при виде крови. Вряд ли возможно обвинять Сципиона в разрушении Карфагена. Кроме того, на его развалинах он не радовался, как утверждает Астин, а плакал. Искоренение Нуманции было чем-то вроде ликвидации чеченской крепости и казалось необходимым. Что же до отрубленных рук, — о них я только что говорила. Признаюсь также, что я не вижу слишком большой жестокости и в том, что Сципион обидел Азелла и ему подобных людей.

На мой взгляд, все, что мы знаем о Сципионе, совершенно противоречит мнению Астина. Нам известно, что, где бы он ни появлялся, офицером или полководцем, он вызывал глубокое уважение и доверие у своих врагов. Испанцы хотят заключать договор только с ним, тогда еще неизвестным молодым офицером. Ради него они снабжают римлян необходимыми теплыми вещами. Карфагеняне не желают сдаваться никому, кроме него. Фамея сдается ему, не оговарив даже условий капитуляции. Газдрубал хоронит римских офицеров, объявляя, что делает это только ради Сципиона. Жена его, готовясь броситься в огонь, благодарит его. Чем это объяснить? Диодор прямо говорит, что он обходился с врагами гуманно, поэтому все сдавались только ему (*Diod., XXXII, 7*). Напомню еще один небольшой факт. Сципион пощадил Газдрубала, бросившегося к его ногам, несмотря на то, что тот причинил римлянам столько зла. Между тем Цезарь, славившийся своим милосердием (*clementia*) — его, наверно, не отрицает сам Астин, — когда его противник, галльский вождь Верцингеторикс, подобным же образом сел у его ног, взял его в плен, держал несколько лет до триумфа, а потом спокойно отрубил голову.

Зная все это, мы рисуем себе образ человека с мягким и великодушным сердцем. И мы, даже если бы не знали всех дальнейших событий, а *proci* должны были заключить, что при взятии Карфагена он испытывал острую боль при виде человеческих страданий. И вот мы узнаем, что он действительно плачет, глядя на горящий город.

И еще одно. По моему глубокому убеждению, человек жестокий и черствый не может не презирать отдельную

человеческую личность, которой он всегда готов спокойно пожертвовать. Но вряд ли найдется человек, столь уважавший чужую жизнь, как Сципион.

⁵⁶ Так у Ливия. У Аппиана и отчасти у Диодора мы видим другую версию (*App. Hiber., 96—98; Diod., XXXIV/XXXV, 4*). Но рассказ Аппиана представляется мне крайне путаным и недостоверным. Нумантинцы будто бы сначала сдались Сципиону, затем попросили у него один день и многие покончили с собой. Но почему они сперва сдались, а уж потом покончили с собой? Далее, в испанских городах было вообще очень распространено коллективное самоубийство. При этом жители уничтожали и все свои богатства, чтобы не оставлять их врагу. А мы знаем, что Сципион почти не вывез добычи и не мог даже дать наградных денег своим воинам. В случае коллективного самоубийства, естественно, к нежелающим умирать применялось насилие. И поэтому вряд ли главари допустили бы, чтобы кто-нибудь остался в живых. Наконец, Аппиан сообщает, что Сципион оставил 50 человек для триумфа, а остальных продал в рабство. Между тем он вряд ли мог бы так поступить в случае, если бы они сами отворили ему ворота. Скорее всего, как и сообщает Ливий, когда римляне ворвались в горящий город, было уже поздно, и мужественные защитники Нуманции погибли. И это гораздо более соответствует всему, что мы знаем о неукротимом и свободолюбивом духе кельтиберов.

⁵⁷ Я ни в какой мере не чувствую себя специалистом по социально-экономической истории Рима, а потому только излагаю общепринятую точку зрения, правда, с некоторыми коррективами. А именно. Я принимаю за аксиому, что аграрная реформа была необходима. В то же время мне кажется, что положение дел на 133 год было вовсе не так безнадежно, как обыкновенно представляют. Более того. Я полагаю, что болезненные явления только намечались в этот период. Что заставляет меня так думать?

Начнем с того, что нашими единственными источниками являются Аппиан и Плутарх. Оба они включают в свое повествование небольшой социально-экономический очерк, который рисует состояние Республики в самых черных тонах. Рим, по их словам, был на краю гибели. Спас его только закон Лициния—Секстия. Но потом он стал нарушаться, и тогда появился Тиберий Гракх. Оба пассажа имеют разительное сходство. Не подлежит сомнению, что они восходят к одному источнику. Замечу, что Плутарх, да и Аппиан вообще не интересовались социальной экономикой,

поэтому волей-неволей они должны были в данном случае переписать какого-то другого писателя, которого считали специалистом в данном вопросе. Что же это за источник? Несомненно, какой-то политический памфлет или речь, вышедшая из кругов, очень близких к Тиберию Гракху. Ссылка на закон Лициния—Секстия, принятый за 230 лет до Тиберия, в совершенно другую историческую эпоху, вряд ли была бы уместна в настоящей истории, но прекрасно подходит к памфлету или речи. Мне представляется, что автором этого сочинения был Гай Гракх. Во-первых, по свидетельству самого Плутарха, он написал много книг, в которых обосновывал необходимость аграрного преобразования (*Plut. Ti. Gr.*, 9). Во-вторых, Плутарх прямо ссылается на эти книги как на свой источник. В-третьих, он не упоминает ни о каких других сочинениях, написанных на эту тему. Кажется вполне естественным, что, рассказывая о Гракхах, он использовал сочинение самого Гракха. Пассаж написан резко, ярко и полемично. Тщетно было бы искать здесь указание на то, когда возник кризис — в начале II века, в середине или ближе к концу. Естественно, автор сгустил краски насколько возможно, и сведения, им сообщаемые, надо принимать с сугубой осторожностью.

Обращает на себя внимание тот факт, что мы не слышим ни об одной попытке аграрного преобразования до 140 года (о дате см. комментарий). Видимо, ранее никто не замечал беды.

У нас, к несчастью, нет ни одного объективного факта, который позволил бы нам реально судить о масштабах бедствия. Мы не знаем, каков был фонд италийской общественной земли, сколько людей потеряло землю и т. д. Поэтому ученые хватаются за единственный достоверный факт, именно за так называемую «статистику», то есть данные переписи населения, проводимой цензорами. Сами цензорские списки, понятно, до нас не дошли, но они известны нам из Ливия. Еще Моммзен отмечал, что списки показывают, что во II веке число римлян неуклонно падало, ибо вместе с землей они теряли фактически и свои гражданские права. Это очень беспокоило наиболее прозорливых из римских политиков. Так продолжалось до тех пор, пока не была проведена реформа Гракха. Тогда народонаселение Рима сделало гигантский скачок. Это уже не риторика, а реальные факты. Но именно эти-то реальные факты вызывают у меня некоторые возражения, вернее, сомнения и недоумения.

Прежде всего напомним сами факты. Материалы переписи показывают, что до 159 года численность римлян неуклонно росла. Так что ни о каком кризисе до 159 года говорить нельзя. Далее, наблюдается убыль населения с 338 314 до 324 тысяч человек. Потом в 142 году население опять начинает расти и уже насчитывает 328 442 человека, но в 136 году падает до 317 923. В 131—130 году цензором был Метелл Македонский. Он был очень обеспокоен и стал предлагать ввести законы против безбрачия. В 125 году перепись показала 394 736. Теперь я изложу свои недоумения.

Первое. Меня поражает, что ни один государственный деятель Рима до 131 года не обращал внимания на убыль населения. Даже такой вдумчивый человек, как Сципион. Первый и единственный, кто выразил тревогу, был Метелл. Но и в том, как он проявил ее, было что-то странное. Напомню, что он обнародовал материал своей переписи в 131—130 году, то есть в разгар земельных реформ. Сам он был сторонником гракханского закона. Казалось бы, он должен был говорить о земле, а не о безбрачии. Почему же он не связал убыль населения с аграрным вопросом? Почему этого не сделал вообще ни один политик? Почему такие убийственные факты не нашли отражения в речах Гая и других гракханцев? Почему о них не говорят в своих очерках Аппиан и Плутарх? Очевидно, все современники, как и Метелл, почему-то не связывали убыль населения с потерей земли.

Наконец последнее и самое главное. Метелл, как уже говорилось, обнародовал материал своей переписи в 131—130 году. И тогда наблюдалась катастрофическая убыль. А в 126—125-м неожиданно население возросло на одну пятую часть. И вот я спрашиваю — почему? Что же произошло за эти пять лет? Мне скажут — как что? Аграрная реформа. Но аграрная реформа проведена была в 133 году. Пик ее падает как раз на 132 год — это показал анализ *termini* — межевых камней (*Degrassi, Inscr. Lat. Lib. R. P. I, nos. 467—72; 474; Astin A. E. Op. cit. P. 232*). И несмотря на это, численность римлян совсем не увеличилась! Как же так? Комиссия столько времени активно наделяет граждан землей, а население продолжает убывать?

Более того. К концу 130 года вся собственно римская земля была уже роздана. В начале 129-го Сципион остановил деятельность комиссии. По-видимому, она так и не возобновила работу (*App. B. C., I, 23*). Поэтому во время своего трибуната Гай Гракх счел необходимым повторить зе-

мельный закон брата. И в эти-то годы население и выросло столь внезапно? Почему?

Я вовсе не претендую на собственное объяснение. Я только говорю, что существующее меня не удовлетворяет. Хочу, кстати, отметить некоторые факты. В 142—141 году была страшная эпидемия; с 139-го обострилась война в Испании. В 133 году она прекратилась, результаты этого, вероятно, должны были сказаться в следующем поколении. Замечу, что цензор Метелл насчитал 318 823 человека, «не считая вдов и сирот». Эта оговорка заставляет заподозрить убыль скорее в результате какой-то войны, чем обезземливания. Далее. Материалы люстров начиная с 168 года известны уже не из самого Ливия, а из эпитом, то есть из конспектов его «Истории». Дважды сообщаются цифры несколько подозрительные — 324 и 322 тыс. (*Ер.*, 48—49). Это странно, ибо обычно даются цифры не округленные, а совершенно точные. Все это заставляет меня относиться к «статистике» с некоторой осторожностью.

⁵⁸ Правда, в 142 году Сципий был цензором и в принципе мог предложить законопроект, но, очевидно, он считал, что это не дело цензора и столь же неуместно, как если бы подобные законы начал предлагать выбранный для войны консул.

⁵⁹ Единственный источник, упоминающий о законопроекте Лелия, — это Плутарх. Нам неизвестны ни точная формулировка, ни время. В литературе указывают обычно три даты — 151 год — предполагаемый трибунал Лелия, 145-й — его претора, 140-й — консульство. Со своей стороны я решительно отвергаю первую дату, так как трибунал Лелия вообще нигде не упоминается, и то, что он был трибуном, — фантазия исследователей. Из двух оставшихся дат я предпочла бы последнюю. Во-первых, идея аграрного преобразования носилась в воздухе и трудно предположить, что между законопроектами Лелия и Гракха прошло столько лет. Во-вторых, в 140 году Сципиона не было в Риме, и это объясняет странное молчание Плутарха о том, как вел себя во время обсуждения проекта Сципион.

⁶⁰ Разбор этого дела см. в кн.: *Бобровникова Т. А. Сципион Африканский. М., 1998. С. 359—363.*

⁶¹ Вся дальнейшая жизнь Гая подтверждает силу его любви к брату. Беседы об аграрном законе они могли вести в течение двух лет — с 136, когда Тиберий вернулся из Нуманции, по 134 год, когда Гай, в свою очередь, туда отправился. Гай был единственным человеком, который во всех подробностях изложил, как и когда у Тиберия появилась

впервые идея о законе (*Plut. Ti. Gracch., 8*). А Тиберий не задумываясь вводит этого мальчика в аграрную комиссию, то есть делает его своим ближайшим помощником. Значит, все было у них заранее обдуманно и договорено.

⁶² Часто дело представляют таким образом: Тиберий Гракх и сенат изначально противостояли друг другу: сенат являлся главным врагом Тиберия. Такую картину мы находим уже у Плутарха. Между тем, как мы увидим, эта схема резко противоречит многим фактам. Первое. Реформу поддерживало множество знатнейших людей, среди них Аппий Клавдий, *princeps* сената, Сцевола, консул этого года, Муциан, вскоре ставший консулом и понтификом, Фульвий, Катон и Карбон, знатнейшие люди. С сочувствием к реформе относился и Метелл, оплот аристократии. Разумеется, в сенате была группа богатых собственников, которые были ожесточенными врагами земельной реформы. Но совершенно невозможно утверждать, что сенат *в целом* был против реформ Тиберия. Далее, даже если мы поверим, что сам Тиберий был восторженным фантазером, который не знал реальной жизни, то уж Красс, Аппий и Сцевола ее прекрасно знали. Между тем они отнюдь не стремились к революции и перевороту. Стало быть, они твердо рассчитывали на поддержку части сената.

Эта ложная схема возникла оттого, что источники наши необъективны. Они происходят из двух противоположных лагерей — из стана оптиматов и стана популяров. Авторы-оптиматы, естественно, считают Тиберия мятежником и преступником, а потому утверждают, что мудрый сенат противостоял его разрушительным планам изначально. Другие сведения идут от популяров, во многом от самого Гая Гракха, которые столь же естественно ненавидят сенат, а потому представляют его мрачной силой, враждебной мудрой реформе Тиберия. Участие стольких знатных людей в реформе совершенно не подтверждает этой схемы.

⁶³ По тону и духу речь, сообщаемая Аппианом, резко отличается от тех, что Тиберий произносил перед народом. Призывы: «Давайте отдадим землю!» прямо направлены имущим.

⁶⁴ В рассказе Плутарха в этом месте можно заметить следы антигракханской версии, версии явно ложной, придуманной впоследствии врагами Тиберия. Он говорит, что после вето Октавия Гракх решил прибегнуть к насилию (*Plut. Ti. Gracch., 11*). Но это утверждение совершенно не вяжется с остальным рассказом. Плутарх сам только что со-

общил, что Тиберий остановил жизнь в городе, то есть собиравшись взять врагов измором, вовсе не помышляя о насилии. Во-вторых, по словам того же Плутарха, два сенатора предложили ему вместо кровопролития обратиться за помощью к отцам. И мятежный трибун сразу согласился. Можно ли поверить, что человек, решившийся на государственный переворот, через минуту кинулся бы к сенаторам, то есть именно к тем, против кого он намеревался поднять оружие, чтобы молить о помощи?! Но что происходит далее? Сенат, по словам Плутарха, не только отказывается помочь трибуну, но и грубо над ним насмехается, то есть смертельно оскорбляет. Казалось бы, теперь-то Тиберию и надо было бы вернуться к своему первоначальному плану и применить силу. Вместо этого он собирается отрешиться от должности коллегу, причем ставит вопрос на голосование, иными словами, до последней минуты старается сохранить хотя бы видимость законности.

⁶⁵ Из «Государства» Цицерона явствует, что Метелл вместе со Сцеволой были активными сторонниками гракханской реформы (*I, 31*). В то же время мы знаем, что Метелл резко выступал против Тиберия в сенате, а Фанний даже приводит в «Истории» его речь против Гракха (*Brut., 81*). Во время мятежа Гая Гракха Метелл с оружием в руках выступил в защиту конституции (*Cic. Phil., VIII, 14*). То есть он был противником не аграрного закона, а методов Тиберия.

⁶⁶ Приводимые Плутархом слова Метелла, по всей видимости, подлинные. Цицерон говорит, что историк Фанний, зять Лелия, поместил в своих анналах речь Метелла против Тиберия Гракха (*Brut., 81*). Между тем мы точно знаем, что Плутарх пользовался Фаннием или каким-то конспектом его истории. Говоря о подвигах Тиберия под стенами Карфагена, он прямо ссылается на Фанния (*Plut. Ti. Gracch., 4*).

⁶⁷ О детях Гракха дошли следующие известия. Метелл Нумидийский в 102 году до н. э. утверждал, что у Тиберия было три сына: «Из них один умер в Сардинии, неся военную службу; второй — ребенком в Пренесте, третий, родившийся после смерти отца, — в Риме» (*Val. Max., IX, 7, 2*).

Второе известие относится к последним дням жизни Тиберия и принадлежит его современнику, Семпронию Азеллиону. Он пишет, что за несколько дней до своей гибели Гракх стал молить квиритов, «чтобы они защитили его и его детей, и велел привести из них ребенка мужского пола, который у него тогда был» (*Fr., 7*). Из этой фразы следует, что, умирая, Тиберий оставил несколько детей, но только

одного сына. Это был, разумеется, старший, которому предстояло служить в Сардинии. Значит, младшего, умершего в детстве, уже не было на свете.

Третье известие принадлежит Гаю Гракху. В одной своей речи он говорит, что из всех потомков Сципиона Африканского и Тиберия Гракха остался только он и один мальчик (*ORF², fr. 47*). Что это за мальчик? Мнения ученых разделились. Мюнцер, Фраккаро и Астин считают, что под мальчиком Гай имел в виду собственного сына, так как Плутарх упоминает, что у него был ребенок. Речь датируется 122 годом. Стало быть, к этому времени не осталось в живых ни одного из сыновей Тиберия. Далее, они предполагают, что старший служил в Сардинии в 126 году вместе с Гаем и там скончался.

Эрл же полагает, что старший сын Тиберия был значительно моложе, умер в Сардинии только в 115 году и именно о нем говорит Гай Гракх. Что же касается ребенка самого Гая, то это была девочка.

Я полагаю, что наши источники слишком скудны, поэтому с полной уверенностью ничего утверждать нельзя. Но мне представляется маловероятным, чтобы сын Тиберия служил вместе с Гаем. Во-первых, Плутарх, который очень интересовался подобными вещами, ничего не упоминает о том, что вместе с Гракхом служил его юный племянник. Во-вторых, если мальчик начал службу в 18 лет, он должен был родиться в 144 году, когда отцу его было 18, то есть Тиберий должен был жениться в 17 лет, что вряд ли возможно. Поэтому я думаю, что мальчиком называет Гай именно старшего своего племянника. Что же касается его собственного ребенка, то это действительно могла быть девочка, ибо у нас нет никаких сведений о сыне Гая, а возможно, ребенок еще не родился, так как речь могла быть произнесена в 123 году, ребенок же мог родиться несколько месяцев спустя (*Fraccaro P. Studi sul'eta dei Gracchi, I: la tradizione storica sulla rivoluzione gracchiana. Citta di Castello, 1914, p. 42; Munzer F. Romische Adelsparteien und Adelsfamilien. Stuttgart, 1920, p. 268f.; Astin A. E. Op. cit., p. 319—321; Earl D. C. Tiberius Gracchus. A Study in Politics. Collection Latomus. LXVI, Brussels, 1963. P. 67 f.*).

⁶⁸ Сохранилось два рассказа о первой попытке Тиберия Гракха баллотироваться в трибуны — один, довольно подробный, мы находим у Аппиана, другой — очень краткий, у Плутарха. Астин пишет, что версия Плутарха недостоверна и враждебна Гракхам (*Op. cit., p. 217*). С первым утверждением нельзя не согласиться, второе мне представляется

совершенно неверным. Прежде всего обращает на себя внимание следующий факт. Плутарх и Аппиан, как давно было отмечено учеными, зачастую пользуются одними и теми же источниками, но Аппиан их сильно сокращает, так что его рассказ кажется настоящим конспектом. В данном же случае все наоборот. У Аппиана рассказ короткий, но достаточно вразумительный, у Плутарха же — какой-то неясный, скомканный конспект. Что заставило его сократить свое повествование? Довольно ясно. Он или его источник выбросил из рассказа все, что могло скомпрометировать Тиберия Гракха в глазах читателей. Поэтому Плутарх опустил, что трибуны запретили Тиберию ставить на голосование свою кандидатуру, что Тиберий, несмотря на это, рвался к избирательным урнам, что он попытался отнять председательство у Рубрия и передать его своему клиенту. При этом ясно, что Плутарху известен был полный рассказ о событиях этого дня. Он говорит, что Тиберий в своей речи хулил своих коллег, между тем сам Плутарх словом не упомянул, что коллеги ему чем-то мешали. Но все становится ясно, если вспомнить, что это они сорвали голосование в тот день. Далее, Плутарх мимоходом сообщает, что на следующий день председательствовал Муммий (у него Муций) (*Plut. Ti. Gracch., 18*). Значит, Тиберий все-таки добился того, чтобы ему передали председательство.

Нельзя согласиться с Аппианом в одном — он утверждает, что голосование началось и даже две первые трибы подали голоса за Гракха. Очень маловероятно, чтобы трибуны вмешались в середине голосования и в середине голосования Тиберий хотел бы сменить председателя.

⁶⁹ Самое существенное расхождение между нашими основными источниками — Аппианом и Плутархом — проявляется в описании последнего дня Гракха. Можно сказать, что это вполне закономерно. События развивались так бурно и стремительно, что даже корреспондент, вооруженный современной техникой, не смог бы в точности описать происшедшее. Однако все гораздо сложнее. Дело в том, что перед нами вовсе не два рассказа двух растерянных очевидцев, а две версии событий: сенатская (Аппиан) и гракханская (Плутарх).

В самом деле. Согласно Плутарху, события развивались примерно так, как я описывала, — Тиберий приходит для голосования, Флакк предупреждает его об опасности, в ответ на это сторонники Гракха вооружаются, а Тиберий делает свой знаменитый жест — дотрагивается до головы, чтобы дать понять народу об угрожающей ему опасности.

Тогда часть сената, несмотря на протесты консула, устремляется к месту голосования и убивает ни в чем не повинного трибуна (*Plut. Ti. Gracch., 18—19*).

Согласно же Аппиану, Тиберий еще накануне собрал своих приверженцев и сообщил им знак-пароль — если он подаст этот знак, они должны начать бой. Придя на другой день, он сразу же захватил центр народного собрания и храм. «Выведенный из себя трибунами, не позволявшими ставить на голосование его кандидатуру, Гракх дал условленный пароль». Приверженцы его начали вооруженные действия. «С этого момента пошла рукопашная». Началось смятение, было нанесено множество ран. Узнав об этом, сенат в полном составе — о сопротивлении консула Аппиан молчит — бросился против преступника (*App. B. C., I, 15—16*).

Разница между обоими рассказами очевидна. У Плутарха все насилие исходит от сената, который, видимо, с самого начала замышляет недоброе (предупреждение Фульвия!), а затем истолковывает невинный жест Тиберия как стремление к короне. Гракх с начала до конца только сопротивляется. У Аппиана насилие исходит от гракханцев. У них уже есть план захвата власти, а жест Тиберия — это знак-пароль, открывающий начало бойни. Кстати, это неопровержимо свидетельствует, что знак этот Тиберием действительно был подан. Ведь о нем упоминают оба автора. Кто же ближе к истине?

Мне скажут, это установить невозможно. Естественно, когда дело дошло до сражения и пролилась кровь, каждая сторона все сваливала на другую. Все это так. Но мне все-таки хочется попробовать распутать этот клубок.

Первое. Готовил ли кто-нибудь в тот день вооруженное выступление? Я утверждаю, что нет. Начнем с сената. Мы прекрасно знаем, как вели себя отцы, когда действительно готовились к бою. Так было, например, в случае с Гаем Гракхом, братом Тиберия. Прежде всего объявлялось чрезвычайное положение. Затем выбирался диктатор или консулу вручались диктаторские полномочия. Тогда диктатор предъявлял свой ультиматум мятежникам. Дело в том, что слово диктатора равнялось закону. Саллюстий пишет: «Эта власть... разрешает магистрату... готовить войско, вести войну... на войне и в дни мира иметь высшую власть и право жизни и смерти, в другом случае без приказа римского народа он не может сделать ничего из этого» (*Sall. Cat., 29, 3*). Убийство Тиберия впоследствии оправдывали знаменитым примером из древности — Ахала убил мятежного Спурия Мелия. Но беда в том, что Спурий Мелий отказался по-

виноваться диктатору, а Тиберий этого не сделал, так как диктатора тогда не было. Вот почему, с формальной точки зрения, убийца Мелия был прав, даже если бы Мелий был совершенно невинен, а убийца Гракха не был прав, будь даже Гракх злейшим преступником.

Далее. Пользуясь данной ему властью, диктатор может либо добиться повиновения мятежников, либо, если ему не повинуются, призвать граждан к оружию, что и было продемонстрировано в деле Гая Гракха. Аппиан пишет: «Меня удивляет следующее обстоятельство: сколько раз в подобных же случаях сенат спасал положение дела представлением одному лицу диктаторских полномочий, тогда же никому и в голову не пришло назначить диктатора» (*Арр. В. С., I, 16*). Почему? Потому что сенаторы не готовились к решительным действиям. Их застали врасплох. Стучилось что-то неожиданное, и они сломя голову бросились к месту голосования. Даже не вооружившись. Это обстоятельство особенно поражает. Никто не приготовил оружия. Дрались обломками скамеек. А это было бы невозможно, если бы в тот день отцы решились убить Тиберия Гракха. Замечу, что сенаторов в Риме было около 300. За Назикой устремилась только часть сената, причем безоружная. Между тем Тиберия окружала многотысячная толпа. Итак, сенаторы получили какую-то весть, столь ужасную, что, забыв все на свете, вооружившись чем попало, бросились из храма. Что же это за весть? Несомненно, весть о том, что Тиберий дал знак к вооруженному восстанию и его сторонники начали действовать.

Выходит, прав Аппиан, который говорит, что Тиберий заранее решил захватить Капитолий и подал знак-пароль? Нет, он не прав. У Тиберия было около трех тысяч сторонников. Если бы накануне он распределил между ними роли и вооружил их хотя бы кинжалами — а ношение кинжалов не запрещено было в Риме, — конечно, эти люди могли бы оказать серьезное сопротивление безоружным, малочисленным сенаторам. Но у гракханцев тоже не было оружия. Об этом говорят все источники — и сочувствующие Тиберию, и его обвиняющие. Они выламывали колья из забора и вырывали жезлы у служителей, которые должны были следить за порядком во время голосования. Плутарх подчеркивает, что все убитые были умерщвлены дубинами и камнями и не было ни одного, кто умер бы от меча (*Plut. Tī. Gracch., 19*). А из этого с неопровержимой ясностью следует, что гракханцы были готовы к бою не больше, чем сенаторы. Они действовали тоже под влиянием внезапного

порыва. К этому мы еще вернемся, а сейчас вновь обратимся к рассказу Плутарха.

В его повествовании поражает одна особенность. Он сообщает удивительные подробности — эпизод со шлемом Тиберия, точные слова Блоссия и пр. Но особенно знаменательно, что он в точности передает слова Флакка, который говорил среди страшной сумятицы, так что его слышал, вероятно, один Тиберий. Откуда такие поразительные подробности? Несомненно, источником его был какой-то писатель, чрезвычайно близкий к Тиберию, досконально знавший события этого рокового дня и всеми силами стремившийся обелить Гракха. Как очень вероятную кандидатуру я назвала бы Гая. Во-первых, как я уже говорила, у него было несколько книг, в которых он много писал о брате (*Plut. Ti. Gracch.*, 8). Во-вторых — и это еще важнее, — сохранился фрагмент его речи, где упоминается царская корона (*ORF², fr. 62*). Мальковатти весьма справедливо полагает, что речь была посвящена Тиберию, и Гай старался доказать, что его брат не стремился к царской власти и не требовал короны в день убийства (*ORF². P. 197*). Но раз так, Гай непременно должен был объяснить, что же в действительности означал жест брата. Он мог сделать это одним способом — подробно описать события того рокового дня. А значит, он должен был рассказать о появлении Флакка. Сделать это было тем более легко, что Флакк был приятелем Гая и мог в точности разъяснить, что же он сказал Тиберию.

Но Гай, хотя был очень хорошо осведомлен о ходе событий, был слишком пристрастным свидетелем. В своем рассказе он явно искажает истину. Первое. Он ничего не говорит о том, что трибуны препятствовали Тиберию и он их прогнал. Он пишет весьма глухо, что возникла небольшая потасовка, причем совершенно неясно, из-за чего. Второе. По его словам, Флакк сказал, что «богатые ...замышляют расправиться с Тиберием... и что в их распоряжении много вооруженных рабов и друзей» (*Plut. Ti. Gracch.*, 18). Но Флакк не мог сказать такого, ибо это была ложь. На этом основании Астин вообще сомневается, появлялся ли Флакк, а если и появлялся, говорит он, то не мог предупредить Тиберия о смертельной опасности, так как она ему тогда вовсе не угрожала. Но, если Флакк не появился, что могло заставить гракханцев, броситься к оружию? И потом. Зачем же Тиберий схватился за голову? По объяснению гракханцев, это означало, что ему грозит смерть. Нет, Флакк действительно появлялся, иначе все теряет смысл.

Вероятно, он сказал что-то не столь определенное. Быть может, передал слова Назики, который мог воскликнуть: «Смерть тирану!» Но Тиберий последние дни находился в совершенно невменяемом состоянии. Он испугался и подал сигнал вооружаться.

⁷⁰ Сципион, вне всякого сомнения, прибыл в Рим осенью 133 года. Известно, что на консульских выборах, которые происходили осенью, он поддержал Рупилия (*Cic. De amic., 73*).

⁷¹ В своей надписи консул Попиллий с гордостью говорит, что отдал общественные земли пахарям (*CIL, I. 2, p. 509*). (Эту надпись приводит еще Моммзен. Попытки Астина опровергнуть принадлежность ее Попиллию не кажутся убедительными.) Кроме того, все показывает, как резко изменилось настроение сената в 132 году. Установлено, что больше всего общественной земли роздано в 132 году (см. коммент. 57). Это значит, что сенат открыл неограниченный кредит для аграрного закона, которому при жизни несчастного Тиберия не давал ни асса.

⁷² Нам точно не известно, как менялся состав комиссии по годам. В 132 году в нее входили Гай, Аппий Клавдий и Красс Муциан. В 129 году на месте Аппия и Красса мы видим Карбона и Фульвия Флакка. Красс выбыл из комиссии, несомненно, уже в начале 131-го, когда стал консулом и решил покинуть Рим. Но мы не знаем, Карбон или Фульвий заменили его в комиссии. Равным образом нам неизвестно, когда скончался Аппий. Я предполагаю, что Карбон, несомненно, был в числе триумвиров уже в 131 году, ибо к этому году он считался признанным главой демократии. Я думаю также, что Аппий скончался в этом же году, так как он совершенно сходит со сцены и о нем ничего не слышно.

⁷³ Плутарх упоминает, что народ так преследовал Назику, что тот вынужден был покинуть Рим (*Plut. Ti. Gr., 21*). У Цицерона же Лелий говорит: «О том, что после Тиберия Гракха его друзья и близкие совершили по отношению к Публию Сципиону, я не в силах говорить без слез» (*De amic., 41*). О каком Сципионе здесь речь? На мой взгляд, не о нашем герое. Лелий решительно заявляет, что он не будет говорить о том, какой смертью погиб Сципион, и не произносит слова «убийство». Значит, он говорит о Сципионе Назике, о котором скорбит и в «Государстве». Если это предположение верно, то народ натравили на Назику «друзья и близкие» Тиберия. Далее Лелий упоминает Карбона и Гая. Видимо, их он и подразумевает под этим именем.

⁷⁴ Став трибуном, он сразу же предложил закон, по кото-

рому вопрос о гражданских правах и изгнании римского гражданина мог решить только римский народ (*Plut. Ti. Gr.*, 25). Он был направлен против Попиллия. Гай произнес против него две речи, и Попиллий, не дожидаясь приговора, покинул Италию. Вслед ему полетело решение, лишавшее его огня и воды в Италии. Многим это показалось жестокостью. Юные сыновья изгнанника и его родственницы вышли на Форум в трауре и умоляли квиритов о снисхождении. Тогда Гай примчался на площадь и произнес третью речь «Против Попиллия и матрон».

⁷⁵ Это видно из Аппиана (*I*, 23), а также из фрагмента речи Фанния (*ORF²*, 32, fr. 3).

⁷⁶ Я здесь не буду исследовать последние дни Гая так же подробно, как и последние дни Тиберия. Это выходит за рамки моей книги. Поэтому сейчас я скажу буквально несколько слов. До нас дошли два источника, повествующих об этих событиях, — Аппиан и Плутарх. В целом рассказ Плутарха кажется мне гораздо достовернее, но Аппиан сообщает несколько драгоценных подробностей, которые окончательно проясняют нам ход событий. Согласно Аппиану, к Гаю в храме кинулся какой-то плебей, схватил его за руки и умолял не губить Республику. В ответ на это один из приверженцев Гая заколол его кинжалом (*App. V. C.*, I, 25). Этот рассказ кажется мне неправдоподобным по следующим причинам.

Первое. Невероятно, чтобы убийство, причем убийство в храме, произошло по такому ничтожному поводу.

Второе. Невероятно, чтобы этого человека убили — да еще кинжалом! — у ног Гая и он не сумел помешать преступлению.

Наконец, маловероятно, чтобы плебей обратился с подобной просьбой к Гаю в столь неподходящий момент — он не собирался проводить законы, мешать сенату или поднимать мятеж.

Между тем у Плутарха убит ликтор (у автора «Жизнеописания прославленных мужей» — глашатай консула. *De vir. illustr.*, 65, 5), убит в ответ на оскорбление и убит стилем. Этот стиль, очевидно, метнули наподобие дротика. Так что убийца, видимо, находился довольно далеко от Гая, и тот не мог его остановить. Эта деталь, кроме того, показывает, что толпа была безоружна. Однако Плутарх ошибочно говорит, что ликтор бросил свои обидные слова толпе, окружавшей Фульвия (*Plut. C. Gracch.*, 13). Из всего дальнейшего следует, что Гай, а не Фульвий был обвинен в убийстве. Именно Гай бросился на Форум, пытаясь доказать свою

невиновность. По словам автора «Жизнеописания прославленных мужей», он даже в волнении прервал речь трибуна (*De vir. illustr.*, 65, 5). Далее Аппиан упоминает о гневном взгляде Гракха. Этот-то взгляд, по его словам, и принят был за сигнал к убийству. Оскорбление — гневный взгляд — удар стилем — это последовательные звенья цепи, перепутанные у наших авторов.

Аппиан упоминает еще об одном. Гай уклонился от участия в собрании и удалился в храм. Это кажется мне очень вероятным. Такое поведение соответствует всей его тактике после возвращения из Карфагена. По словам Плутарха, враги «хотели вывести Гая из себя», чтобы воспользоваться его вспышкой (*Plut. C. Gracch.*, 13). Он знал себя и всячески избегал конфликтов. Об этом ярко свидетельствует такой случай. Консул решил удалить из Рима италиков. Гай, бывший еще трибуном, издал декрет, обещая защитить союзников. «Никого, однако, он не защитил и, даже видя, как ликторы Фанния волокут его, Гая, приятеля и гостеприимца, прошел мимо... Как объяснял он сам, не желая доставлять противникам повода к схваткам и стычкам, повода, которого они жадно искали» (*Plut. C. Gracch.*, 12). Между тем известно, что одно упоминание об Африке приводило его в бешенство. Естественно, он решил не показываться на Форуме. Косвенным доказательством служат слова автора «Жизнеописания прославленных мужей». Он говорит, что Гай после убийства бросился на Форум, чтобы все разъяснить, и прервал речь народного трибуна. Какого трибуна? Конечно, Минуция, который, по словам того же писателя, хотел аннулировать его распоряжения в Карфагене. Значит, в то время как в храме произошло убийство, трибун произносил речь, а Гая почему-то не было (*De vir. illustr.*, 65, 5).

⁷⁷Правда, Плутарх говорит о критских стрелках, вызванных консулом. Но, даже если это правда, а не вымысел гракханцев, основной удар, несомненно, нанесли сами вооруженные граждане. Даже старый Метелл Македонский участвовал в бою.

⁷⁸Это ясно видно из Плутарха. Он пишет, что, по словам некоторых авторов, враги захватили Гая и его раба еще живыми. Но раб обнимал господина так крепко, что Гракха нельзя было убить, пока не умертвили и раба (*Plut. C. Gracch.*, 17). Однако все почти согласны, что Гая и его раба нашли уже мертвыми. Значит, упоминаемая легенда могла возникнуть только оттого, что мертвый раб продолжал обнимать господина.

⁷⁹Цензором этого года был тот самый суровый и чест-

ный Кассий, который по совету Сципиона провел в 137 году демократическую реформу голосования.

⁸⁰ Эти слова Сципиона, разумеется, никогда не были записаны им и изданы. Они принадлежат к числу тех мгновенных реплик, которые иной раз сам автор передает потом с некоторыми вариациями. Но Сципион, по-видимому, нашел очень емкую и запоминающуюся форму — все писатели повторяют его ответ почти с дословной точностью. Отмечу лишь два момента. Первое. Только Плутарх запомнил, что Сципион назвал народ не просто безоружным, но безоружным сбродом. Он, действительно, должен был употребить какое-то резкое выражение, так как все отмечают, что он оскорбил народ. Второе. Во всех источниках мы находим слова об Италии, которая для этого сброда не мать, а мачеха. Но Валерий Максим пишет, что Сципион еще прибавил, что сам когда-то привел их в Рим в оковах. А у автора «Жизнеописания прославленных мужей» читаем: «Кого я продавал с венком на голове (то есть как рабов. — Т. Б.)». Мне представляется, что это некоторая расшифровка слов Сципиона, комментарий, внесенный в текст, чтобы пояснить выражение — «не мать, а мачеха». Такого рода пояснения не свойственны были Сципиону, который всегда говорил с предельной краткостью (см., например, его слова о двух консулах, отправлявшихся в Испанию). Вот почему я признаю эти слова позднейшими добавлениями.

⁸¹ Из рассказа Ливия можно заключить, что Гай вмешался в дебаты уже после ответа Сципиона (*Ep.*, 59). Из речи Гая сохранилось три более или менее осмысленных отрывка (четвертый, fr. 20, состоит из двух слов). Первый фрагмент мы уже приводили. Следующий, восемнадцатый фрагмент, испорчен, но ясно читаются слова: «Не тот, кто убил человека». Иными словами, речь идет опять об убийстве Тиберия. Поэтому я считаю, что речь Гая была не столько агитацией за закон, сколько ответом на слова Сципиона о законности убийства его брата. Вот почему и саму речь логичнее представить как внезапный порыв. Ибо сам вопрос и ответ были неожиданностью.

⁸² Единственный источник, сообщающий об этом событии, Аппиан, утверждает, что Сципион выступил в сенате. Это сообщение принимает Астин (*Op. cit.*, p. 239—240). Но мне оно представляется мало правдоподобным. Во-первых, очень трудно поверить, чтобы остановить действие комиссии триумвиров, выбранной на народном собрании, мог кто-либо, кроме народа. Даже после убийства Тиберия сенат не мог запретить деятельность триумвиров. Гир об-

ращает на это внимание и считает, что в сенате произошло только предварительное обсуждение перед *rogatio* на Форуме (*Geer R.M. Notes of Land Law of Tiberius Gracchus // TAPhA, 70 (1939). P. 32sq.*). Но в таком случае деятельность комиссии не остановилась бы, как утверждает совершенно определенно сам Аппиан. Второе. В тексте самого Аппиана есть странное противоречие. Он говорит: «Выступив в сенате, Сципион не стал порицать закон Гракха, очевидно, не желая раздражать народ» (курсив мой. — *Т. Б. — App. B.C., I, 19*). Если он говорил в сенате, при чем же здесь народ? В сенате он мог говорить со всей откровенностью. Скорее всего, он говорил именно в народном собрании. На основании анализа текста Габба полагает, что Сципион апеллировал к народу, а не к сенату (*Gabba E. Appiani Bellorum civilium Liber primus. Florence, 1958. P. 60*). Моммзен также полагает, что Сципион провел свое предложение через народное собрание (*Т. 2. С. 98*).

⁸³ Есть мнение, что популярность Сципиона упала после его рокового ответа Карбону в 131 году. Иными словами, думают, что трибун достиг цели. Такого взгляда придерживается Астин (*Op. cit., p. 234*). На мой взгляд, эта точка зрения не подтверждается фактами.

Первое. Закон Карбона провалился — несмотря на популярность Карбона, резкий ответ Публия и экспансивное вмешательство Гая. Если уж тогда народ, только что в глаза так страшно оскорбленный Сципионом, проголосовал за него, значит, даже эти слова, даже в тот миг не убили его любви к нему.

Второе. Аппиан, рассказывая о событиях 129 года, то есть случившихся уже через два года, говорит, что народ негодовал против Сципиона, *которого до того ревниво любил* (*B. C. I, 19*). К событиям тех лет мы еще вернемся. Сейчас важно отметить, что до 129 года народ «ревниво любил Публия».

Третье. Плутарх, передавая этот эпизод, говорит, что Сципион «едва не потерял расположения народа» (курсив везде мой. — *Т. Б.; Ti. Gracch., 21*). Ведь его впервые прервали возмущенными криками. Но уже эти слова показывают, что расположение народа он все-таки не потерял.

Наконец, в 129 году Сципион один решился выступить со страшно непопулярным проектом. Такое мог себе позволить только очень любимый народом политик. И самое замечательное — он добился успеха.

Итак, до 129 года Сципион, безусловно, не потерял народного расположения. Утратил ли он его полностью в по-

следние месяцы жизни? Думаю, что нет. На это указывает ряд обстоятельств.

Первое. Сам факт его политического убийства. Убили его потому, что не могли победить другим путем. А ведь ареной борьбы был Форум.

Второе еще существеннее. Это свидетельство Цицерона. Тут я должна напомнить несколько фактов из его биографии. Как известно, оратор спас Республику от Катилины, был за это превознесен до небес, но несколько лет спустя трибун-популяр Клодий добился его изгнания, его дом был разрушен, сам он лишен огня и воды в спасенной им стране. Естественно, это оставило в его душе великую горечь. И он находил утешение в том, что отыскивал древних героев, которые тоже оказывали услуги отечеству, а потом также были оскорблены неблагодарным народом. К этой теме он возвращается неоднократно.

Если бы среди этих гонимых был и его кумир Сципион, он не только не стал бы этого скрывать — он бы всеми силами раздул и приукрасил этот факт. Но мы этого не видим ни разу. Более того. Диалог «Республика» происходит всего за несколько дней до смерти нашего героя. Разговор опять заходит о неблагодарной родине. И тут Сципион говорит об иных, нетленных, небесных наградах, которые ожидают гонимых. Было бы очень логичным, чтобы все присутствующие скорбели именно о чудовищной измене народа Сципиону. Тем более что он говорит о светлой участи, которая ожидает на небе его самого. Но вместо того речь идет о Назике, убийце Тиберия Гракха. Видимо, у Цицерона не было ни малейших оснований записывать нашего героя в число утративших народную любовь великих людей.

⁸⁴ Образ Лелия, данный Цицероном, по-видимому, соответствует действительности. Именно таким настроением проникнуты и те отрывки речи Лелия о Сципионе, которые до нас дошли. Цицерон, разумеется, читал эту речь полностью.

⁸⁵ Есть даже мнение, его разделяют Каркопино и Астин (*Op. cit.*, p. 241), что в надгробной речи Лелия прямо утверждается, что Сципион умер естественной смертью. В доказательство приводят слово *morbus*, ясно читающееся в тексте. Но фрагмент безнадежно испорчен. Вместо *morbus* некоторые восстанавливают *cum isto modo mortem obiit* (лит. см. *ORF²*, p. 121). Кроме того, даже если слово *morbus* и было в тексте, совершенно неясно, в какой связи оно было употреблено. У Цицерона Лелий говорит, что мгновенная смерть избавила Сципиона от старости, чувства конца и

пр. «О роде же смерти говорить трудно» (*De amic.*, 11—12). Вероятно, что-то в этом роде было и в речи Лелия.

⁸⁶ Существует еще один человек, которого обвиняют в убийстве Эмилиана. Но человек этот самый неожиданный. Аппиан пишет: «Это было делом рук Корнелии, матери Гракха, с целью воспрепятствовать отмене проведенного им закона; она действовала при помощи своей дочери Корнелии Семпронии» (*App. В. С.*, I, 20). Это сообщение я не могу, однако, принять. Видимо, оно плод обычной у Аппиана путаницы (см. коммент. 54). Первое. Корнелию глубоко чтили и друзья, и враги ее сыновей. В то время как их тела лишены были законного погребения, ей поставили статую на Форуме. Она почиталась чистейшей, добродетельнейшей женщиной Рима. Могло ли это быть, если бы над ней тяготело обвинение в подлом убийстве, уж не говорю — первого гражданина Рима, а просто близкого родственника?

Второе. Плутарх и Аппиан, как давно было замечено, пользовались какими-то общими источниками. Однако Плутарх перед Корнелией преклоняется. Обвинения в убийстве он не опровергает — он о нем просто не знает. Да и никто не знает о нем, кроме Аппиана.

Наконец, обращает на себя внимание вот что. Если Сципион был задушен, естественно, его жена не могла одна с ним справиться и впустила убийцу. У Аппиана же этим грозным убийцей была ее семидесятилетняя мать.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Все фрагменты римских анналистов даются по кн.: *Historicorum Romanorum reliquae*. Ed. H. Peter, Leipzig, 1870 (в тексте HRR).

Все фрагменты древних римских ораторов даются по изданию: *Oratorum romanorum fragmenta liberae rei publicae*. Coll. E. Malcovati. Sec. Ed., Torino, 1955 (в тексте ORF²).

Фрагменты сочинений Люциллия приводятся по изданию: *Lucilius. Satires. Texte établi, traduit et annoté par F. Charpin*. T. I—III. Paris, 1978 (в тексте Lucil.).

Все фрагменты Панеттия даются по кн.: *Van Straaten M. Panetius: sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition des fragments*. Amsterdam, 1946.

ИЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ

CIL	<i>Corpus inscriptionum latinarum</i> . Ed. Th. Mommsen et al. Vol. I—XVI. Leipzig — Berlin, 1862—1943.
Degrassi	Degrassi A. <i>Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae</i> . Berolini, 1965.
HRR	<i>Historicorum Romanorum reliquae</i> . Ed. H. Peter. Leipzig, 1870.
Lucil.	<i>Lucilius. Satires. Texte établi, traduit et annoté par F. Charpin</i> . T. I—III. Paris, 1978.
ORF ²	<i>Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae</i> . Coll. H. Malcovati. Sec. ed. Torino, 1955.

АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ

<i>Ael. Var.</i>	<i>Aeliani Varia historica</i>	Элиан. Пестрые рассказы
<i>Amm. Marc.</i>	<i>Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt</i>	Аммиан Марцеллин. История
<i>App. B.C.</i>	<i>Appiani De bello civili</i>	Аппиан.
Ital.	Italica	Гражданские войны
Hiber.	Hiberica	Италийские войны
Lib.	Libyca	Испанские войны
Samn.	Samnitica	Ливийские войны
<i>Asc. Ped.</i>	<i>Q. Asconii Pediani</i>	Самнитские войны
<i>Ad Cic. in Pis.</i>	<i>Ad Ciceronem commentarii</i>	Асконий Педиан.
<i>Cato. Carm. de mor.</i>	<i>M. Porcii Catonis Carmen de moribus</i>	Комментарий к Цицерону
Fr.	<i>Fragmenta Orationum</i>	Катон Старший.
<i>Cic. Acad. Pr</i>	<i>Ciceronis Academicorum priorum liber secundus, qui inscribitur Lucullus</i>	Песнь о нравах
<i>Ad fam.</i>	<i>Epistulae ad familiares</i>	Фрагменты речей
		Цицерон.
		Академические исследования, или Лукулл
		Письма к близким

<i>Ad Q. fr.</i>	Epistulae ad Quintum fratrem	Письма к брату Квинту
<i>Att.</i>	Epistulae ad Atticum	Письма к Аттику
<i>Ad Quir.</i>	Ad quirites post reditum	К квиритам после возвращения
<i>Brut.</i>	Brutus	Брут
<i>Cluent.</i>	Pro Cluentio	Речь за Клуэнция
<i>De amic.</i>	De amicitia	О дружбе
<i>De cons. prov.</i>	De provinciis consularibus	О консульских провинциях
<i>De fin.</i>	De finibus malorum et bonorum	О пределах добра и зла
<i>De leg.</i>	De legibus	О законах
<i>De or.</i>	De oratore	Об ораторе
<i>De nat. deor.</i>	De natura deorum	О природе богов
<i>De off.</i>	De officiis	Об обязанностях
<i>De re publ.</i>	De re publica	О государстве
<i>Div.</i>	De divinatione	О предвидении
<i>Font.</i>	Pro Fonteio	Речь в защиту Фонтя
<i>Har. resp.</i>	De Haruspicum responsis	Об ответах гаруспиков
<i>Phil.</i>	Philippicae	Филиппики
<i>Post. red. in sen.</i>	Post reditum in senatu	Речь после возвращения в сенате
<i>Pro Cael</i>	Pro Caelio Rufo	Речь в защиту Целия Руфа
<i>Pro domo suo</i>	Pro domo sua	О своем доме
<i>Pro Mil.</i>	Pro Milone	Речь за Милона
<i>Pro Mur.</i>	Pro Murena	Речь за Мурену
<i>Pro rege Deiot.</i>	Pro rege Deiotaro	Речь за царя Дейотара
<i>Rab. mai.</i>	Pro Rabirio Majore	Речь за Рабирия Старшего
<i>Senect.</i>	De senectute	О старости
<i>Tusc.</i>	Tusculanae disputationes	Тускуланские беседы
<i>Verr.</i>	In Verrem	Речи против Верреса
<i>Comm. Pet.</i>	Commentariolum petitionis	Краткое наставление по соисканию
<i>Dig.</i>	Digesta	Дигесты
<i>Dio.</i>	<i>Dionis Cassii</i> <i>Cocceiani</i> Historia Romana	<i>Дион Кассий Кокцеян.</i> Римская история
<i>Diod.</i>	<i>Diodori Siculi</i> Bibliotheca historica	<i>Диодор Сицилийский.</i> Историческая библиотека
<i>Diog. L.</i>	<i>Diogenis Laertii</i> De clarorum philosophorum vitis	<i>Диоген Лаэртский.</i> О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
<i>Fest.</i>	<i>Festi</i> De verborum significatu	<i>Фест.</i> О значении слов
<i>Flor. L.</i>	<i>Annaei Flori</i> Epitome de gestis Romanorum	<i>Флор.</i> Краткая история деяний римлян
<i>Frontin.</i>	<i>Frontini</i> Strategemata	<i>Фронтин.</i> Стратегемы
<i>Gell.</i>	<i>Auli Gellii</i> Noctes Atticae	<i>Авл Геллий.</i> Аттические ночи

<i>Heren.</i>	Rhetorica ad Herennium.	Риторика к Гереннию
<i>Herod.</i>	<i>Herodoti</i> Historia	<i>Геродот.</i> История
<i>Hor. Carm.</i>	<i>Horatii</i> Carmina	<i>Гораций.</i> Оды
<i>Epod.</i>	Epodon liber	Эподы
<i>Sat.</i>	Saturae	Сатиры
<i>Jul. Obsequ.</i>	<i>Julii Obsequentis</i> Prodigiorum liber imperfectus	<i>Юлий Обсеквенс.</i> О чудесном
<i>Justin.</i>	<i>Justini</i> Historiarum Philippi- carum ex Trogo Pompejo	<i>Юстин.</i> Эпитома из Истории Помпея Трога
<i>Juv.</i>	<i>D. Junii Juvenalis</i> Satires	<i>Ювенал.</i> Сатиры
<i>Lact. Div. Inst.</i>	<i>Lactantii</i> Institutiones divinae	<i>Лактанций.</i> Божественные установления
<i>Liv.</i>	<i>Titi Livii</i> Ab urbe condita	<i>Тит Ливий.</i> История Рима от основания города.
<i>Ep.</i>	Epitomae librorum deperditorum	Эпитомы
<i>Lucil.</i>	<i>Lucilii</i> Satires (phragmenta)	<i>Люцилий.</i> Сатиры (фрагменты)
<i>Macrob. Sat.</i>	<i>Ambrosii Theodosii</i> <i>Macrobii</i> Saturnalia	<i>Макробий.</i> Сатурналии
<i>Nep. Fr.</i>	<i>Cornelii Nepotis</i> Fragmenta	<i>Непот.</i> Фрагменты
<i>Prol.</i>	Prologus	Вступление
<i>Oros.</i>	<i>Pauli Orosii</i> Historiae adversus paganos	<i>Павел Орозий.</i> История против язычников
<i>Ovid. Ars. am.</i>	<i>P. Ovidii Nasonis</i> Ars amatoria	<i>Овидий.</i> Искусство любви
<i>Fast.</i>	Fasti	Фасты
<i>Paus.</i>	<i>Pausaniae</i> Graeciae descriptio	<i>Павсаний.</i> Описание Эллады
<i>Philo De aetern. mund.</i>	<i>Philonis</i> De aeternitatae mundi	<i>Филон.</i> О вечности мира
<i>Plaut. Capt.</i>	<i>T. Maccii Plauti</i> Captivi	<i>Плавт.</i> Пленники
<i>Plin. N. H.</i>	<i>C. Plinii Majoris</i> Naturalis historiae libri	<i>Плиний Старший.</i> Естественная история
<i>Plut.</i>	<i>Phutarchi</i> Vitae parallelae	Плутарх. Сравнительные жизнеописания
<i>Anton.</i>	Antonius	Антоний
<i>Arat.</i>	Aratus	Арат
<i>Brut.</i>	Brutus	Брут
<i>Cat. mai.</i>	Cato major	Катон Старший
<i>Cat. min.</i>	Cato minor	Катон Младший

<i>C. Gracch.</i>	C. Gracchus	Гай Гракх
<i>Ti. Gracch.</i>	Ti. Gracchus	Тиберий Гракх
<i>Lucul.</i>	Lucullus	Лукулл
<i>Mar.</i>	Marius	Марий
<i>Marc.</i>	Marcus	Марций
<i>Marcel.</i>	Marcellus	Марцелл
<i>Num.</i>	Numa	Нума
<i>Paul.</i>	Aemilius Paulus	Эмилий Павел
<i>Philop.</i>	Philopoemen	Филопемен
<i>Pomp.</i>	Pompeius	Помпей
<i>Popl.</i>	Poplicola	Попликола
<i>Rom.</i>	Romulus	Ромул
<i>Conviv.</i>	Questionum convivalium libri IX	Застольные беседы
<i>Qu.R.</i>	Questiones Romanae	Римские вопросы
<i>Praec. gerend. rei publ.</i>	Praecepta gerenda rei publici	Наставления об управлении государством
<i>Reg. et imp. apophegm. Sc. Min.</i>	Regum et imperatorum apophegmata. <i>Scipio Africanus Minor</i>	Изречения царей и полководцев. <i>Сципион Младший.</i>
<i>Met.</i>	<i>Metellus</i>	Метелл Македонский
<i>Polyb.</i>	<i>Polybii</i> Historiae libri XL	<i>Палибий.</i> История
<i>Porpb. Ad Hor.</i>	<i>Porpbirion</i>	<i>Порпфирий</i>
<i>Carm.</i>	Commentum Horatium	Комментарий к <i>Горацию</i>
<i>Prob.</i>	<i>Probi</i> qui dicitur in Vergilii Bucolica et Georgica Commentarius	<i>Проб.</i> Комментарий к «Георгикам» и «Буколикам» <i>Вергилия</i>
<i>Procl. Diadoch. In Plat. Tim.</i>	<i>Proclis Diadochi</i> In <i>Platonis</i> Timaeum	<i>Прокл Диадок.</i> Комментарий к «Тимею» <i>Платона</i>
<i>Quintil. Inst.</i>	<i>M. Fabi Quintiliani</i> Institutionis oratoriae libri XII	<i>Квинтилиан.</i> Наставление оратору
<i>Sall. Cat.</i>	<i>C. Sallustii</i> Crispi Catilinae conjuratio	<i>Саллюстий.</i> Заговор Катилины
<i>Invect. Jug.</i>	Invectivae Bellum Jugurthinum	Речь против Цицерона Югуртинская война
<i>Sext. Adv. math.</i>	<i>Sexti Empirici</i> Adversus mathematicos	<i>Секст Эмпирик.</i> Против ученых
<i>Schol. Bob. in Cic.</i>	Scholiam in Ciceronis orationes Bobiensia	Схолии к речам Цицерона
<i>Sen. Dial.</i>	<i>L. Annaei Senecae</i> Dialogorum libri XII	<i>Сенека.</i> Диалоги
<i>Stobae. Eclog.</i>	<i>Stobaei</i> Antologii libri duo priores qui inscribi solent eclogae physicae et ethicae	<i>Стобей.</i> Антология физики и этики
<i>Strab.</i>	<i>Strabonis</i> Geographica	<i>Страбон.</i> География

<i>Suet. Ter.</i>	<i>C. Suetonii Tranquilli</i> De poeta Terentii	<i>Светоний.</i> О поэте Теренции
<i>Suid. Lexicon</i>	<i>Suidae</i> Lexicon	<i>Свида.</i> Лексикон
<i>Symmach. Epist.</i> <i>in Gratianum Aug.</i>	<i>Symmachi</i> Epistulae	<i>Симмах.</i> Письма
<i>Tac. Dial.</i>	<i>Taciti</i> Dialogus de oratoribus	<i>Тацит.</i> Диалог об ораторах
<i>Ter. Adelph.</i> <i>Andr.</i> <i>Eun.</i> <i>Heut.</i> <i>Phorm.</i>	<i>P. Terenti Afri</i> Adelphoe Andria Eunuchus Heauton timorumenos Phormio	<i>Теренций.</i> Братья Девушка с Андроса Евнух Самостоятель Формион
<i>Thuc.</i>	<i>Thucydidis</i> Historia	<i>Фукидид.</i> История
<i>Val. Max.</i>	<i>Valerii Maximi</i> Factorum et dictorum memorabilium libri IX	<i>Валерий Максим.</i> Достопримечательности в делах и словах
<i>Veget.</i>	<i>Flavii Vegetti Renati</i> Epitome rei militaris	<i>Веgetий.</i> Эпитомы военного дела
<i>Vell.</i>	<i>Velleji Paterculi</i> Historiae Romanae libri duo	<i>Веллей Патеркул.</i> Римская история в двух книгах
<i>Verg. Aen.</i>	<i>P. Vergilii Maronis</i> Aeneis	<i>Вергилий.</i> Энеида
<i>Vir. Illustr.</i>	De viris illustribus	О знаменитых мужах
<i>Xenoph. Oecon.</i>	<i>Xenophontis</i> Oeconomica	<i>Ксенофонт.</i> Домострой
<i>Zon.</i>	<i>Zonarae</i> Annales	<i>Зонара.</i> Анналы

ПЕРЕВОДЫ ЦИТИРУЮТСЯ ПО ИЗДАНИЯМ:

Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. I—III. — М., 1989—1993.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. — М., 1961—1964.

Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. — М., 1890—1895.

Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах. — Л., 1969.

Цицерон М. Туллий. Полное собрание речей. Т. I. Ред. Ф. Ф. Зелинский. — СПб., 1901.

Цицерон М. Туллий. Письма. Т. I—III. — М.; Л., 1949—1951.

Цицерон М. Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. — М., 1972.

Во всех остальных случаях даны переводы автора.

СЛОВАРЬ РИМСКИХ ТЕРМИНОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В КНИГЕ

Атриум — главная комната римского дома с колоннами и квадратным отверстием в потолке, через которое проникал свет.

Император — победоносный римский вождь; полководец.

Квестор — магистрат, ведавший финансами. При полководце квестор вел его счетные книги. Квестура обычно считалась началом карьеры для римлянина. Срок его полномочий — год.

Квириды — название полноправных римских граждан.

Клиенты — люди, которые находятся под покровительством знатного человека, своего *патрона*. Они оказывают ему все знаки почтения, а взамен он защищает их. Патрон, оставивший в беде клиента, считался страшным преступником. У знатных людей клиентами могли быть города, народы и целые страны.

Консуляр — бывший консул. Это название свидетельствовало об уважении, но не давало реальной власти.

Ликторы — служители, члены почетной свиты, которую имели при себе консулы, преторы, диктатор и некоторые жрецы. Консульские ликторы несли символы его власти — *фасции* — связки прутьев и секиры.

Магистраты — римские должностные лица. Все они были выбраны всенародно, коллегиальны и подотчетны народу. Избирались они на год за исключением диктатора и цензора. Первый исполнял свои обязанности не более шести месяцев, второй — полтора года.

Понтифик верховный — верховный жрец, глава всего римского культа. Их выбирали на народном собрании пожизненно.

Претор — магистрат, ведавший судебными делами. Избирался сроком на один год.

Принципс сената — первый в списке сенаторов. Назначался цензорами. В спорных случаях он первый высказывался.

вал свое мнение. Никакой реальной власти это не давало и было лишь данью уважения.

Пунийцы — так римляне называли жителей Карфагена.

Ростры — возвышение для оратора, украшенное носами неприятельских кораблей. Находились на Форуме. Остатки роствр сохранились до наших дней.

Трибун военный — офицер, командовавший легионом.

Фасции (или *фаски*) — пучки прутьев и секиры, знаки консульского достоинства. Их несут ликторы.

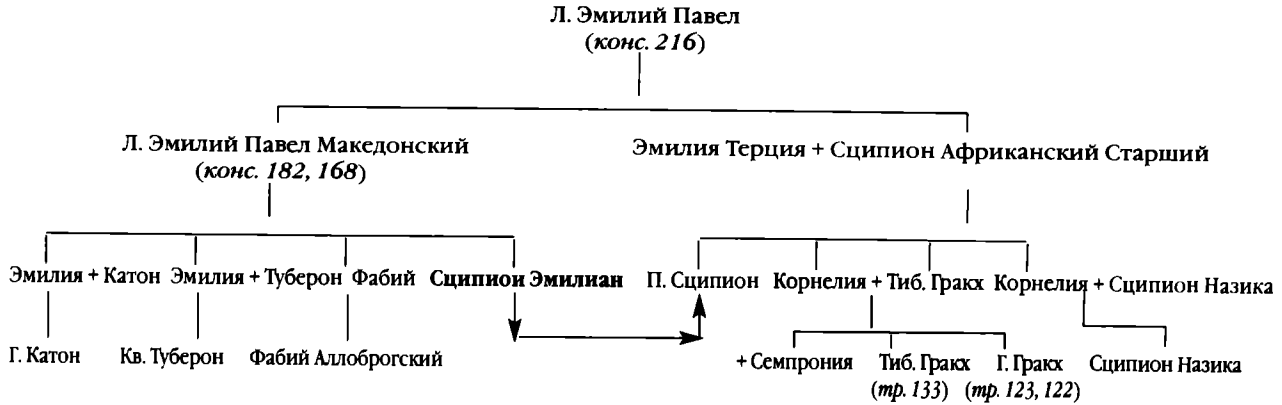
Форум — площадь в Риме, где проходили народные собрания. Само слово ассоциировалось у римлян с политической жизнью.

Эдил — магистрат. Заведовал праздниками, снабжением Рима и следил за спокойствием на его улицах. Избирались в эдилы обычно молодые люди. Срок полномочий — один год.

ПРИЛОЖЕНИЕ
РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА I

491



Условные обозначения: конс. — консул; тр. — народный трибун.

ТАБЛИЦА II

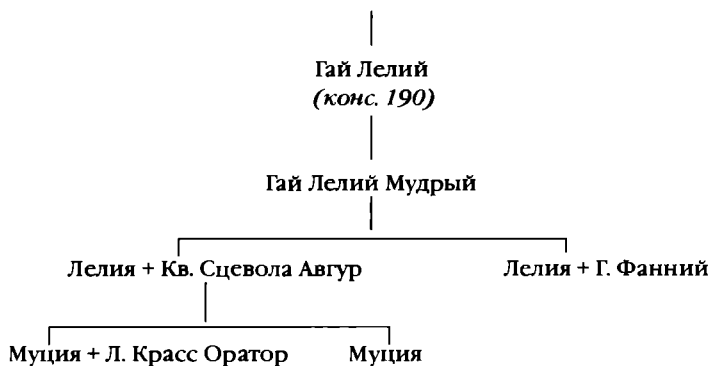


ТАБЛИЦА III



СОДЕРЖАНИЕ

От автора

7

Глава I. Знатный римский юноша

Римский патриций старых нравов. Воспитание старое и новое. Римский турист в Греции. Триумф. Рим глазами образованного грека. Римская молодежь знатного происхождения. Обычный способ добиваться популярности. Выезды римских дам, их наряды и колесницы. Имущественные вопросы. В доме знатного римлянина. Обеды и развлечения. Римский театр. Комедия. Детективная история одного знаменитого поэта. Похороны знатного человека — обряд, поминки. Римский астроном. Путешествие по Италии: харчевни, цены. Война и набор войска.

12

Глава II. Римский воин

Римлянин на войне. Почетные венки. Дипломатия и переговоры. Дисциплина. Осада и штурм.

83

Глава III. Римский политик

Что нужно было для того, чтобы занять первое место в государстве. Римское красноречие и его роль. Римский оратор. Обучение красноречию. Процедура соискания общественных должностей. Номенклатур. Одежда соискателя и его поведение. Предвыборная борьба. Цензура. Примеры цензурской строгости. Школа танцев. Смотр всадников на Форуме. Судебные процессы. Римский турист на Востоке. Роскошный двор Птолемея. Чудеса Египта: пирамиды, бык Апис, ручные крокодилы.

135

Глава IV. Образованный римлянин

Как проводили образованные римляне свой досуг. Ученый II века до н. э. Энциклопедия античной жизни. Римская республика и ее структура. Греческие философы в Риме. Насмешки над ними. Ученые чудаки. Поэт-сатирик. Разврат и нравы нуворишей.

193

Глава V. Римский полководец

«Чеченские войны» Рима. Полководец и его строгость. Бани при лагере и чаши для охлаждения напитков. Партизанская война.

306

Глава VI. Политическая борьба и реформы в Риме
Римская земельная собственность. Римская семья. Положение женщин в Риме и в Афинах. Гетеры. Ауспиции — общественные гадания. Священные куры. Дурные знамения. Суеверие римлян. Как римляне проводили законы. Священные полномочия трибуна. Жаркая политическая борьба. Битвы на Форуме. Тайна одного знаменитого убийства. Идеал римлянина.

331

Заключение

444

Примечания

446

Список основных источников и сокращений

484

Словарь римских терминов, употребляемых в книге

489

Приложение

Родословные таблицы

491

Бобровникова Т. А.
Б 72 Повседневная жизнь римского патриция в эпоху разрушения Карфагена. — М.: Мол. гвардия, 2001. — 493[3] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 5-235-02399-4

В книге Татьяны Бобровниковой ярко и увлекательно повествуется о повседневной жизни знатных граждан Рима в республиканскую эпоху, столь славную великими ратными подвигами. Читатель узнает о том, как воспитывали и обучали римскую молодежь, о развлечениях и выездах знатных дам, о том, как воевали, праздновали триумф и боролись за власть римские патриции, подробно ознакомится с трагической историей братьев Гракхов, а главное — с жизнью знаменитого разрушителя Карфагена, замечательного полководца и типичного римлянина Сципиона Младшего.

УДК 937.04

ББК 63.3(0)3

Бобровникова Татьяна Андреевна

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РИМСКОГО ПАТРИЦИЯ
В ЭПОХУ РАЗРУШЕНИЯ КАРФАГЕНА**

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **О. И. Ярикова**

Младший редактор **М. Н. Иванова**

Художественный редактор **К. Г. Фадин**

Технический редактор **Н. А. Тихонова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманниа**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 04.07.2000. Подписано в печать 19.12.2000. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 26,04+0,84 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 29934.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства 103030, Москва, Сушевская ул., 21.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии 103030, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02399-4